„НАШ СОВРЕМЕННИК"

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА ЖУРНАЛА 1964-1974

„НАШ СОВРЕМЕННИК"

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА ЖУРНАЛА 1964-1974

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА 1975

«Наш современник». Избранная проза журнала (1964—1974). Сборник. Предисловие С. Викулова. М., Н37 «Современник», 1975.

494 с.

Сборник составлен из произведений, представляющих журнал «Наш современник».

Разнообразны подход к теме и ее раскрытие, но авторов журнала объединяет реалистический рисунок письма, пафос утверждения неистощимого нравственного богатства и душевной щедрости народа.

Н $\frac{70302-076}{М106(03)-75}$ 31—75

ПЕРВАЯ ВЕХА

Журналу «Наш современник» (1 января 1974 года) исполнилось десять лет, и эта книга, составленная из произведений писателей, постоянно печатающихся на его страницах, — первая веха в его еще не очень длинной, но полной напряженных творческих исканий биографии.

В настоящее время тираж «Нашего современника» перевалил за 100 тысяч, и это уже кое-что значит: журнал читают, о произведениях, появившихся на его страницах, не только говорят, но и пишут, иногда хвалят, иногда критикуют, а иногда и спорят, и спор этот нередко выливается в настоящие литературные дискуссии. Так, например, было после появления в журнале повестей Г. Троепольского «Белый Бим черное ухо», В. Астафьева «Пастух и пастушка», пьесы В. Белова «Над светлой водой...», романа С. Залыгина «Южноамериканский вариант».

И то что журнал в полтора раза увеличился в объеме, справедливо рассматривалось всеми как признание его реальных достижений, выразившихся, в первую очередь, в том, что он к этому времени объединил вокруг себя довольно большой отряд талантливых, по общему признанию, писателей.

Вслед за Г. Троепольским в «Наш современник» пришли Ф. Абрамов с повестью «Алька», В. Шукшин с его блестящими рассказами и повестью «Калина красная», В. Солоухин с рассказами и тоже повестью «Прекрасная Адыгене», В. Лихоносов с повестями «Люблю тебя светло», «Чистые глаза», «Элегия»; журналу предложили свои романы С. Залыгин и В. Росляков («Последняя война»); Ю. Казаков опубликовал в нем заключительные главы своего «Северного дневника», В. Тендряков — повесть «Три мешка сорной пшеницы»; Л. Мартынов выступил с автобиографической повестью «Воздушные фрегаты»; нашли свое место в этом ряду повести и рассказы и таких интересных и своеобразных писателей, как Г. Семенов, В. Колыхалов, К. Воробьев, В. Сапожников, В. Измайлов...

Если учесть, что, кроме названных писателей, в эти же годы в «Нашем современнике» начали постоянно печататься Виктор Астафьев, Евгений Носов, Юрий Нагибин, Василий Белов, Сергей Никитин, то всякому, мало-мальски разбирающемуся в современном литературном процессе, будет ясно, что круг авторов «Нашего современника» стал достаточно широким и достаточно художественно авторитетным.

А между тем авторский актив «Нашего современника» за последние пять-шесть лет пополнился еще и новыми именами. Мало кто не читал, наверное, — а если не читал, то наверняка слышал о повести Валентина Распутина «Последний срок». Но ведь и она впервые была напечатана на страницах нашего журнала. С выходом в свет «Последнего срока» и читатели и критики увидели, что в литературу пришел художник крупного и самобытного дарования.

Любой журнал считает делом чести «открыть», ввести в литературу нового, еще мало кому известного писателя. Редакция «Нашего современника» самым внимательным образом прочитывает рукописи молодых, поступающие, как правило, самотеком (есть такое словцо в лексиконе работников журнальных редакций), и охотно предоставляет свои страницы всем, кто бесспорно талантлив, кто идет в литературу со своим словом, со своим миропониманием.

Активный поиск молодых талантов, терпеливая работа с ними в конце концов оправдывает себя. Со страниц нашего журнала за последние годы, кроме В. Распутина, уверенно заявили о себе В. Шугаев, В. Потанин, А. Скалон, Г. Баженов — и в самое последнее время калужанин В. Волков (повесть «Три деревни, два села»), вятич О. Куваев (роман «Территория»), а также сибиряки В. Афонин, М. Малиновский, В. Макшеев и владимирец А. Василевский.

Каковы, в самых общих чертах, особенности дарования писателей, сотрудничающих с нашим журналом?

Во-первых, следует отметить, что почти все они — выходцы из самых глубин народной жизни, люди, что называется, бывалые, с большим жизненным опытом и, как следствие, с обостренным социальным и гражданским чутьем, с прекрасным знанием народных характеров и народного языка.

Им близки лучшие традиции русской классической литературы — ее демократизм и народность, включающие в себя и ясность стиля, и все богатство русского языка, и социальную, общественную значимость жизненного материала, ставшего предметом художественного исследования, и глубокий психологизм в раскрытии характеров, и, конечно, патриотизм, выражающийся прежде всего в благородном стремлении подчеркнуть в своем народе его лучшие черты — боевой и трудовой героизм, братское, основанное на равноправии и взаимном уважении отношение к другим народам.

Книжка, которую мне пришлось предварять этим коротким вступлением, не вместила и трети того, что должно бы в ней присутствовать. Желая сделать ее все же как можно более представительной, мы отказались от имевшихся в нашем распоряжении романов и повестей, решительно предпочтя им рассказы, тем более что этот жанр в журнале занимает весьма почетное место.

Сергей Викулов —
главный редактор журнала
«Наш современник»

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

ШОПЕН, СОНАТА НОМЕР ДВА

После первых осенних дождей серый пыльный большак почернел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводской грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было курить, слушать, как Ромка, валторнист, травит свои бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентками, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разнаряженных музыкантов.

— Эй, завлекалки! — задевали их ребята. — Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?

Ромка хватал с колен валторну и, пузырясь на ветру плащом-«болоньей», рвал студеный осенний воздух рублеными пронзительными звуками «Лебединого озера»: «Лата-та-та-та-атара-та-а-а...»

В ответ летели бураки, грохали по машине, парни, с хохотом пригибаясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу.

— Полегче, полегче там! — кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку. — Чего урожай расходуете!

— Взяли б да помогли! — кричали девчата. — Ишь, вырядились! Тунеядцы!

Машина проносилась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутливой перебранкой, уже бежали к дороге, к грузо-

вику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.

— Эх, соскочу! — хохотал Пашка. — Ой, поймаю курносую! — Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт один только раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: «Ти-та-та-та-та-а-а...»

Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.

— Вы что, чокнутые? Стекла побьют!

Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время налета девчат вынужденный пригибать голову, обернулся и осадил парней:

— Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься!

— А что им сделается? — Пашка с недоумением повертел никелированными дисками.

Дядя Саша нахмурился.

— Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже — угомонитесь.

— Все, старшой, все!

Ребята нехотя рассаживались по стульям.

А дядя Саша ворчал:

— Разбаловались, понимаешь... Не на свадьбу едем. Понимать надо.

— Ну все, отбой. Мир-дружба!

Серенькая, в мелком крапе кепка старшого была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово синели впалые щеки, чисто выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевиотового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатиновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал её при себе.

Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная орденская звездочка, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в затишке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречь дорогу.

Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел КрАЗ. В кузове, наращенном грубыми неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голубых близнеца-самосвала — тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили, пока позволяла погода, управиться с самой докучливой культурой.

Великая русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров и выше. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, надвинувшийся из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.

И, может быть, не случайно на этих высотах, не одоленных ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасенные народы могли бы начать новое летосчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водораздельных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда еще просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фасе. К маленькой станции Прохоровке, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, саперы свозили с окрестных полей изувеченные танки — свои и чужие. Мертво набычась, смердя перегоревшей соляркой, зияя рваными пробоинами, стояли рядом «фердинанды», «тигры», «пантеры», наши самоходки и «тридцатьчетверки», союзные «черчилли», «шерманы», громоздкие многобашенные «виктории». Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди него можно было и заблудиться.

Дядя Саша курил па ветру, оглядывал высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.

— Зойка приехала? — слышался возбужденный Пашкин голос. — Заливаешь?

— Сам видел, — рассказывал Роман. — Юбка — во! До пяток. С каким-то флотским.

— Хахаль небось.

— Да похоже — муж. В универмаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: «Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете».

— Про меня не спросила? — с неловкостью хохотнул Пашка.

— Нужен ты ей больно!..

Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых завалов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных раскаленных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов, танки, казалось, попрежнему ненавидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробоины, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не натолкнулся в одном месте на тошнотворно-сладкую вонь, исходившую от «тигра» с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом...

— Спорим, уведу! — все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши. — Нет, спорим?!

— Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.

— Давай на бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!

— Брось, дело дохлое, — успокаивал Ромка. — Морячок — что надо. Бумажник достал за ковер платить — одни красненькие.

— Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.

— Ты первый? Ну, трепач!..

Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распахано и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли и сгладили оспяные рытвины от мин и фугасов, и только по холмам остались братские могилы.

Дядя Саша, иногда наведываясь в поля с ружьецом, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетронутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты на жнивье, не дают скотине

топтать куртинки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковей, понежнее: белый вьюнок, ромашку, синие цветы цикория, а уходя — перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам нечаянно набредал на такой островок, где в жухлой осенней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, венчавшей могильное изголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой вечерней зари, наедине со своими мыслями, смотрел, как печалью сочатся закаты над этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там белыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не полегший тогда во рву, прорастает одним из них...

— Дядь Саш! — не сразу услыхал старшой. — А дядь Саш!

Он обернулся и увидел граненый буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей из-под берета ровной челочкой было деловито-озабоченно. От хода грузовика водка всплескивалась, подмачивая половинку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.

— С нами за компанию, — поддержал Иван, по прозвищу «Бейный», высокий нескладный парень с белесым козьим пушком на скулах, игравший в оркестре на бейном басе.

Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: «Ах ты паршивец! Ты ж еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери из оркестра!» Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:

— Я не буду. Спасибо.

— Дядь Саш! Ну, дядь Саш! — наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохин, и второй тенор Белибин.

Дядя Саша недовольно молчал.

— Ладно тебе, шеф! — с обидой сказал Пашка. — Холодно ведь. До костей продуло. — Он зябко потер ладони. — А ты не будешь, так и мы не будем.

— Нет, ребята, — твердо сказал дядя Саша. — Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне Гимн сегодня играть, — и отвернулся.

— Так и нам играть! — почему-то обрадовались ребята. — Что ж теперь, выливать за борт?

— Да заткнитесь вы! — оборвал Ромка.

— Севка! — обиженно крикнул барабанщику Пашка. — Дай сюда стакан! Дай, говорю, — и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку. — Ну и черт с вами! — ворчал он громко неизвестно на кого. — Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.

Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Наново отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед домами за весело раскрашенными штакетниками багряно кучерявилась вишенная молодь. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горланя. И долго еще гонялась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо. Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.

— Ну, честное слово, как маленькие, — досадливо обернулся дядя Саша.

Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, звякали под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассевал золу с горячих еще пепелищ.

Громыхнул под колесами расшатанный мостик, внизу холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполья, тоже восставшего из праха.

Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и раза два пересекли похожие друг на друга речушки.

Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света: одни — на запад, к Днепру, другие — к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.

За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи чернел он осенней пахотой, был крут и наг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака сизым брюхом задевали неприютную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепаханной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно по-муравьиному копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и оттого порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтание в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины собираться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.

Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сеялки белела «Волга». Люди толклись на лоскуте нетронутой желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого конуса. Тут же, у подножия, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одинаковых пилоточках старательно собирали весь этот мусор.

К машине с оркестром тотчас подошло несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на втэковских комиссиях. Прямо через борт он

обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железнодорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двум-трем незнакомым мужикам и деду Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.

— Давай, ребята, струмент сюда, — хлопотливо распоряжался дед Василий, ладонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незаношенная, должно быть, он берег и надевал ее только по торжественным случаям, а на груди совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке покачивались белые и желтые медали. — На травку струмент несите, на травку.

Он принял через борт самую большую слепящую никелем трубу и бережно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон и однорукий Степан потащили за растяжки барабан. Вслед понесли, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядком еловые венки с яркими бумажными цветами.

— На траве оно мягче, — уважительно приговаривал дед Василий. — Струмент все-таки. Вещь ценная...

По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них гомонили дети, затеяли беготню в салочки вокруг соломы. Тут и там прохаживались принаряженные парни с девчатами. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным. После церемонных рукопожатий парни сразу закурили, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.

Несколько мужчин, должно быть, председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой «Волги». На загорелых шеях белели негнущиеся воротнички нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без нужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.

Фронтовики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колен и клапанов, потом, как всегда при встречах, принялись вспоминать, кто и где воевал, докуда дошел, где застала победа.

— У тебя, Федор, помнится, вроде бы «Слава» была? — спросил дядя Саша.

Федор махнул рукой сокрушенно:

— Да не нашел. Кинулся в сундук — вот эти лежат, а «Славы» нету. Небось внук, демоненок, баловался и задевал куда-то. Приставал, помню: дай поносить, дай поносить. Ну, на, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.

— А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку, — дед Василий смеялся беззубым ртом. — Понятия никакого нету, чем за это плачено.

— Дак они, медали-то, вроде как уж и без надобности были, — сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах. — Победу и ту однова забыли спраздновать. Самый для орденов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно выряжаться. Это вот теперь опять надевать начали.

Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды — у кого сколько и какие.

— Медали пришпилить — куда ни шло, — сказал Степан Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия. — От них на одежке никаких следов не остается. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эвон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать орден ай нет? И надеть охота, и костюм дырявить жалко.

— Оно ежели б как раньше: навинтил, да и носи без съему, — поддакнул фронтовик в резиновых сапогах.

— Ну да, ну да, — кивнул Холодов. — Не станешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.

Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:

— Ты, Федор, за свою «Славу» сколько получал?

— Уж и не помню... Рублей тридцать, кажись. Еще старыми.

— Выходит, трешку по-нонешнему?

— Да нынче и вовсе ничего, — заметил Тихон Аляпин.

— Знаю, что ничего. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.

— Всем платить — ого, сколь надо!

— Да уж сколь? Всего-то рублишко за «Отвагу».

— Тебе рубль да другому рубль — мильон и набежит. Одной «Отваги» и то знаешь сколько?

— Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось, — возразил Холодов. — Много ее, «Отваги»-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним новобранцам и то уже под пятьдесят...

— Так-то оно так. Костлявая чинов не разбирает...

— Выходит, казне полегче теперь стало. Можно бы какую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.

— Ну и крохобор ты, Степк! — сплюнул Федор. — Дай награду тебе, да еще мзду в карман. Да нешто мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: «Я воров прогнал, проявил геройство, давай, мать, за это трояк!» Ведь не станешь у своей же матери требовать? Не станешь! Так и это надо понимать.

— Ну, уел, уел он тебя, Степка! — засмеялись фронтовики. — Ничего не скажешь!

— Да я про что? — тоже рассмеялся Холодов. — Мне разве деньги нужны, чудак-человек. Трешка — какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табашные деньги, а — приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь — тебе очередь уступают, глядят с уважением.

— Тебе и сейчас уступают, вон рукав пустой.

— Да не дюже-то раздвигаются.

— Э-э, мужички! — воскликнул дед Василий. — Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!

К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузный, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль обоих пиджачных бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то инодержавный «лев», который за неимением места расположился почти на самом

животе. Казалось, Селиванов потому так тяжко дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.

— Привет, гвардия! — сипло пробасил он, расплываясь в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серенькими глазами по наградам собравшихся.

Дед Василий плутовато сощурился:

— Упрел однако, Кузьмич! Шутка ли, такой иконостас притащил. Никаких грудей не хватит — наедай не наедай.

В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстранявший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а ныне — своего председателя. Да и все знали: Кузьмич — мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.

Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:

— Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают — с того конца поля видать.

— Не-е, Кузьмич, не угадал! — зареготал дед Василий. — Это не я. Это мне баба надраила.

Фронтовики засмеялись.

— Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищеными на народ.

— Ай да молодец баба! — весело похвалил Иван Кузьмич. — Вот кому ордена носить — женщинам нашим!

— Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половину нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А это ничуть не слаще войны.

— Значит, это старуха тебе так наблистила?

— Она, она! Да и как не наблистить? — развел руками дед Василий. — Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель, — все едино гаснут. Нету того блеску, как было.

— Время, отец, время работает, — сказал Иван Кузьмич.

— Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистратились, — заметил Федор. — У всех вон седина из-под шапок.

— А у меня дак и вовсе волос упал, — дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: — Во, как коленка! А в Будапешт этаким молодцом вступал.

— Ну ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой. — Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.

— А я и не ропщу! — готовно кивнул дед Василий. — Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем уже нет.

— Ох, и верно, мужики, бежит время! — Тихон Аляпин досадливо пересунул на седой голове путейскую фуражку с молотками. — Соберемся когда вот так, солдаты, глядь — того нет, этот не пришел... Совсем мало нас остается...

— А что ж ты хотел, — сказал Федор. — Ты думал, уцелел, дак война тебя минула. Не-е! Сидит она у всех у нас. Грызет, подтачивает. Кого раны доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года...

Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулись за сигаретами.

Наконец подкатил райисполкомовский «газик», остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухощавый капитан с плащ-палаткой, приторочённой на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФа Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегая вперед, громко оповещал:

— Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Женщины у скирды, вас тоже касается!

Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке несильно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, переминались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набегали низкие серые тучи. Они накрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.

— Значит, так... — дядя Саша оглядел строй оркестрантов. — Как только снимут брезент — сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.

— Да не волнуйся, шеф. — Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало. — Слабаем что надо.

— Вы мне бросьте это — «слабаем»! — дядя Саша нахмурился. — Ты, Павел, тарелками не очень-то звякай. Только тебя и слышишь.

— А что? Я все по уму. И в нотах указано: форто.

— Форто, форто... Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.

Пашка обиделся:

— Зря придираешься, старшой.

Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митинг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С разрубленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел угрюмовато, но был тихим, непритязательным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шепетовского укрепрайона, он потерял семью — жену и двух девочек — и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.

— Друзья мои! — заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, застя уродливый шрам ладонью. Матери и отцы... братья и сестры... дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память... кто отдал свои жизни...

Быть может, под гулкими сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым осенним небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где послышнее. А Пашка все гудел обиженно:

— Вечно на меня бочку катит. Вон Курочкин ноты прочитать до дела не может, так ему ничего...

— Помолчи, пожалуйста! — досадливо обернулся дядя Саша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.

Налетевший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:

— ...дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами... Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память...

Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица книзу.

— Вот возьму и уйду! — Пашка в самом деле отошел в сторону.

— Павел, — прошептал дядя Саша гневно, — встань в строй.

Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.

— Встань, говорю! — так же шепотом повторил старшой.

Парень, кисло глядя в поле, нехотя подчинился. И тут, перебивая военкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:

— В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.

Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, принялся разматывать веревку, витками охватывающую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнул пузырем. Бадейко держал его неловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирен и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:

Агапов Д. М., рядовой
Аникин С. К., рядовой
Борвенков В. В., мл. сержант
Вяткин К. Д., рядовой
Гаркуша И. С., рядовой
Захорьян А. Ш., сержант
Иванов И. П., сержант
Махов А. Я., старшина

Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.

Мокряков Т. С., рядовой
Мурзабеков Б., рядовой
Нечитайло Х. П., рядовой
Ноготков С. С., мл. лейтенант
Нуриев А., рядовой
Обрезков П. С., рядовой
Парфенов А. М., мл. сержант

Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на «п» — Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может, — под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту...

Ему уже махали рукой, делали знаки, чтоб оркестр начинал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.

— Три-четыре! И-и... — вобрав в себя воздух, он кивнул ребятам уже с трубой, прислоненной к губам.

Медь дружно рванула: «Союз нерушимый республик свободных...» Он не услышал своего корнета, а только почувствовал пальцами напряженную дрожь инструмента. Сотни раз на своем веку играл он Гимн с тех самых пор, как впервые разучил его на фронте. Но когда снова и снова брался он за трубу, какой-то озноб охватывал его. Он поднял взгляд на парней, уже отрешенно-сдержанных, враз посерьезневших, и одобрительно прикрыл глаза.

Засекин первым снял шляпу и склонил голову. Вслед за ним то здесь, то там замелькали руки, стаскивающие шапки. Женщины с прилипшими к ногам ребятишками тоже сняли с них кепчонки и, скорбно понурившись, теребили непокрытые мальчишечьи головы. И только военком не снял своей фуражки, а, приложив руку к малиновому околышу, стоял навытяжку, напряженно мигая, и пальцы подрагивали у его седого виска.

«...Мы в битвах решали судьбу поколений...» — мысленно выговаривал слова текста дядя Саша, следя, как ладно и вовремя отсекают ритм звонкие всплески Пашкиных тарелок. «Молодец! Вот может же, когда захочет».

Перебирая клапаны, дядя Саша слушал оркестр и вспоминал, как летом сорок четвертого под Быховом он в первый раз разучивал Гимн. Молодых офицеров вызвали специально в штаб дивизии, где под баян знакомили с напевом, чтобы потом они научили своих солдат. Музыка показалась тогда очень трудной, и, возвращаясь со спевки, командиры, чтобы не забыть, донести мелодию до окопов, всю дорогу напевали ее вполголоса. Наверно, странно было в прифронтовой полосе видеть разноголосо, нестройно бормочущих офицеров. Многие, пока шли, незаметно для себя все-таки перепутали нить напева, переиначили на свой лад, и потому в окопах солдаты сперва исполняли Гимн вразнобой — один взвод так, другой — этак. Но зато слова знали все назубок.

Дядя Саша дал отмашку, и музыка смолкла. В общем, мелодию проиграли сносно, и даже новичок Курочкин пробасил уверенно, без сбоев.

— Спасибо, ребята, — поблагодарил старшой, вытирая мундштук сатиновым чехлом. — Молодцы!

— Ну вот, а ты все ворчал, — бросил Пашка.

К памятнику сквозь толпу, пара за парой, уже шагали пионеры в белых пилоточках, несли венки в черно-красных лентах. Шествие возглавляла молоденькая вожатая с высоким начесом каштановых, должно быть подкрашенных волос, и тоже в красном галстуке.

Девушка ступала торжественно, ни на кого не глядя, молодое лицо ее пылало и было тоже торжественно, даже строго.

Подножие со всех сторон обложили венками. Двое школьников — мальчик и девочка — замерли справа и слева, подняв руку в салюте. Остальные, отойдя, выстроились рядами, четко обозначенными белыми шапочками.

Митинг начался.

Сначала речь держал председатель здешнего колхоза Осинкин, на чьей земле был сооружен этот памятник. Невысокий энергичный крепыш, на котором, как на молодом кочане с мороза, все поскрипывало и похрустывало — и новенький синтетический плащик с опояской, и крепкие каблукастые полуботинки, — он быстрыми шажками сменил военкома у подножия, снял узкую тирольскую шляпу и обвел всех живыми цыганскими глазами. Колхоз его славился вокально-танцевальным ансамблем, гвоздем которого считался знаменитый «Тимоня», инструментованный старинными рожками, сопелками и кугиклами и каждый год бравший первые премии на областных смотрах. Этот ансамбль был, так сказать, увлечением Осинкина, да он и сам не прочь и спеть, и станцевать при случае. Осинкин же почитался душой различных слетов и районных мероприятий на воздухе, вроде Дня тракториста или праздника Урожая, и непременно избирался во всевозможные жюри. Но при всем при том вел хозяйство расчетливо, даже прижимисто, не любил рисковать, тратить копейку на «ветер», и прежде чем завести какую-нибудь новую машину, скажем, дождевальную установку или суперзерносушилку, сначала посмотрит у соседа, стоит она того или не стоит. Говорил он всегда безо всяких бумажек, на память называл многозначные цифры распаханных под зябь гектаров, надоенных центнеров молока, сданных яиц, заготовленного силоса, внесенных удобрений, называл суммы доходов и расходов, капиталовложений, неделимых фондов. Словом,

любил цифру и умел ее подать, а потому слушали его всегда с оживленным вниманием.

Здесь, на открытии памятника, Осинкина тоже слушали с интересом. Он рассказывал, как было развернуто соревнование на уборке урожая за личное право положить первый кирпич в основание обелиска и что в результате их колхоз сдал уже больше половины сахарной свеклы и, несмотря на отдаленность от приемного пункта, занял на вывозке третье почетное место в районной сводке.

А дядя Саша все смотрел на цементный конус, отыскивая на табличке место, на котором его прервали.

Праведников Г. А., рядовой
Проскурин С. М., рядовой
Пыжов А. С., лейтенант
Рогачев М. В., мл. сержант
Родионов Н. И., рядовой

Как и все остальные здесь, дядя Саша тоже не знал никого из этого списка, но имена неотвратимо притягивали к себе.

— ...Итоги подводить нам еще рано, — продолжал Осинкин, — но то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то — миллион двести пачек рафинада, можно сказать, уже положили на прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получится по пачке сахару на каждого жителя таких городов-гигантов, как Харьков или Новосибирск.

Романов Ф. С., мл. сержант, —

про себя читал дядя Саша.

Салямов М., рядовой
Санько А. Д., рядовой

— ... Вот сейчас закончим свои дела в поле, — воодушевленно говорил Осинкин, — подчистим там кое-что и вернемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион — отпустим миллион, надо полтора — дадим полтора. А как же? Хорошо поработали — будем культурно отдыхать, верно, девчата? А отдыхать у

нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ, — пожалуйста, еще один диплом привезли.

Говоря, Осинкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.

Сыромятников В. С., рядовой
Тихомиров П. К., рядовой
Тугаринов М. З., рядовой

Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осинкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.

...Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредевшую, измотанную шквальным огнем, ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он ничком висел на немецкой колючей проволоке, сникнув посиневшей стриженой головой. Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприютного, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем нарос горб снега, нелепый, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по ночам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потеряли еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и всем было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое... Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, повел роту через проделан-

ные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шинели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава...

Узляков С. Н., рядовой
Умеренков К. Г., рядовой
Федунец М. С., старшина

Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество...

И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если... Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое... А еще — прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автоматом, через мгновение уже черно и смрадно дымится воронка и комья выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окровениться...

Фомичев В. А., мл. сержант
Ходов С. М., сержант
Цуканов А. Ф., мл. сержант

В это время пионервожатая выкрикнула:

— Никто не забыт, ничто не забыто!

Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребятишкам.

Выступило и еще несколько человек: заведующая здешним клубом — женщина уже в годах, но еще проворная, в искусственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, надевший по этому случаю свой совсем еще новенький

мундир с яркой нашивкой на рукаве и по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отчеканивший о преемственности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближней деревни. Начал он с Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продекламировать стихи и уже прочел было первые три строчки:

Воткнув копье, он бросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег... —

но неожиданно запнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягал память, твердя последние слова: «а спину полдень жег...», «а спину полдень жег...», однако, так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: «Извините, извините», — отступил в толпу.

Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц — в зимней суконной шали, с заветренным лицом. За ней побежал было мальчик лет шести, но на него зацыкали, потянулось сразу несколько рук: «Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?» Однако мальчонка увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо набычась.

— Ничего, пусть постоит, — сдержанно улыбнулся Засекин. — Ишь ты какой герой!

А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу побледнела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже поранетая на всю жисть...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим народом, она наконец отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумев найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подняла под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая, война.

Мальчонка, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел на граненое острие обелиска.

От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.

— Ну что тут можно добавить? — трудно, задышливо начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих орденов. — Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию. Это хорошо, это нужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну, конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осинкин мог бы пригласить и поименитей специалистов, поставить и повыше, и поосновательней, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него на это хватило бы — в миллионерах ходит...

Стоявший неподалеку Осинкин нетерпеливо переступил, похрумкал скрипучими штиблетами.

— ...Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.

— Брось, брось, Кузьмич! — не сдержался Осинкин. — Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели: там тоже такой, наш даше повыше.

— Дело, в конце концов, не в мраморе и высоте памятника, — продолжал Селиванов, — а в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на русскую землю. — Селиванов перевел дыхание. — Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они! — Иван Кузьмич указал на обелиск. — Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так — в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами — от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы — путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками

подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и неслышно для нас захлебывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей... Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь ее был такой же!

В толпе кто-то всхлипнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:

— Заканчиваю, товарищи... Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участники и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.

Ему дружно похлопали.

Больше желающих выступать не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий — Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:

— Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мово. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.

Так они препирались тихонько, а слово тем временем было предоставлено самому Засекину.

Засекин вышел в круг и взглянул на часы...

Сегодня дядя Саша слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую, и было слышно, как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были приехать снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, беспокоился.

Но насчет чехов дядя Саша только предполагал, а возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела:

все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.

Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовал международное положение, рассказал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с особенным интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.

Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный ветром, в расстегнутой до пупа рубахе, убегая позади толпы от кого-то, запнулся о лежавшую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забуянил:

— Ты домой меня не гони! Нечево меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверезей тебя!..

Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все вскрикивал визгливо:

— По какому такому праву? Я тоже воевал!

— Но, но! Раскудахтался! — весело покрикивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, заняться каким ни есть действом. — Будешь выёгиваться — мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!

— А чево она, зануда... Указчица! Нынче наш день. Хочу — гуляю!

Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрав на пахоте оброненный башмак.

Засекин молчал, сдержанно покашливал — пережидал.

— Это твой артист? — спросил он наконец Осинкина.

— Да тут один... В примаках живет.

— Зачем привезли такого?

— Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, незаметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь... Приеду — мы с ним разберемся. Вот шельмец!

— Нехорошо получается, товарищ Осинкин.

Парни дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, загудела, мужики стали закуривать. А из кузова неслось разудало:

И все отдал бы за ласки взора-а,
Лишь ты владела б мной одна-а...

— Перебрал Никитич, перебрал! — снисходительно жмурили в толпе мужика. — Вот ведь и печник хороший, а — с изъяном.

Засекин после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа все еще стояла вокруг обелиска и мужчины не надевали шапок.

— Все, товарищи! Все! — вскинул руки Бадейко. — Спасибо за внимание!

Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходились нехотя, озираясь, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.

Засекин, бегло попрощавшись и уже на ходу напомнив «Так завтра сессия, товарищи! И — никаких опозданий!», направился со своими спутниками к урчавшему мотором «газику» и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.

— Василий Михайлович! — окликнул из своей «Волги» Селиванов. — Садись, подброшу.

— Да вот не знаю... — растерялся дед Василий. — Тут робяты маракуют того... Я, поди, еще побуду маленько... Дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.

— Спасибо, братцы! Мне этого теперь — ни-ни!.. — Иван Кузьмич положил руку на ордена. — Барахлит что-то...

— Ну, ежели так, то конешно...

Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малышни, тоже уехал, и было видно, как скособочилась на одну сторону перегруженная старенькая машинка.

Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатили мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешие, кому идти было недалеко, до ближайших деревень, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладони.

— Все отдал бы за ласки взорра-а... — продолжал выкрикивать мужичонка, высовываясь из-за борта и опять оседая на дно кузова. — И ты б... и ты б...

Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть:

— О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами.

Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.

— Во, еще один орелик! — оживился дед Василий. — Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.

Фронтовики охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая дополна, в дяди Сашину руку вложили помидор.

— Давай, товарищ лейтенант, — кивнул дед Василий. — А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.

Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.

— Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом...

— Вечная память... Вечная память, — нестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки. — Вечная вам память.

Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.

Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в нерешительности замялся.

— Тебе чего, Павел? — поднял глаза дядя Саша.

— Да... хотел узнать... Играть больше не будем?

— Нет.

— Тогда нам тоже можно порубать?

— Садись, пожалуйста, — подвинулся Федор.

— Да нет, спасибо. У нас своя компания. — Он постоял, разглядывая мужиков, потом с обидой сказал: — С нами так не стал, старшой.

— Иди, Павел, — попросил дядя Саша. — Я сейчас приду.

— Да чего уж, сиди, — сказал Пашка. — Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.

Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.

Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассевшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрываясь полой, и обносил рюмку по кругу.

— Давай, Степ, бери... Тихон, твой черед...

Фронтовики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розоватую кашицу соли и, не дожевав еще, лезли в карманы за куревом. А с машин нетерпеливо окликали:

— Эй, мужики! Вы чего там колдуете? Поехали!

— Да сейчас! — отмахнулся Федор. — Сейчас едем.

— Ждать не будем! — кричали с машин.

— Ох эти бабы! — подосадовал дед Василий, вставая. — Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.

Фронтовики нехотя начали подниматься.

— Так пусть себе едут, — сказал дядя Саша. — У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?

— Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.

— Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.

Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не дожидались. Машины начали разъезжаться.

Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся оделять по новому заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:

— А вот, братцы, был у нас один случай!..

— Ну, ну, давай.

— Брали мы под Орлом одну высоту. И высотка-то не больно какая, а не подступишься: все открыто, ни кусточка, ни задоринки, а по низу — топь. Ну, раз сунулись — не вышло, в другой — никаких делов. Строчит и строчит из дота. Пробовали бить по нему из минометов — дым, пыль, ну, думаем, все, накрыли! Сунемся, а он опять: тра-та-та-та... Живой, гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилося, да не было при нас

никакой артиллерии. Одни ротные минометы. Ну а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а немец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому-то часу высота была захвачена, да и только!

— Ну дак вы б ее ночью-то, по темному...

— Погоди ты, ночью... До ночи вон сколь было ждать. Да... Сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет — злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб неймет. Вот тебе подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную деревню. Если я найду, что мне нужно, — даю слово, после обеда сковырнем немца.

— А что ж ему такое нужно-то было?

— Не перебивай. Сказать, так неинтересно будет. Слушай... Ну, отпустили его, пополз парень. Глядь — вертается, волокет что-то в мешке. Полдеревни, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину зайдет...

— А-а! — засмеялся Федор. — Разгадал — зеркало!

— Ну, разгадал — нечего теперь и рассказывать...

— Давай, давай!

— Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай, наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну, конечно, там, окромя пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделали. Так потом и возили с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.

— Дак это ж на Одере так вот прожекторами ослепляли.

— Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская.

— А то вот раз было... — начал фронтовик в резиновых сапогах.

И пошло, и пошло... Заговорили мужики, закраснелись лицами, заблестели глазами — не от водки, нет! Что там водка, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего — и геройского, и горше горького...

Возле обелиска не осталось теперь ни одного человека, и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.

— Сколько же их там лежит? — в раздумье спросил Степан Холодов.

— Сорок девять, — ответил дядя Саша.

— Да-а... Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.

— Дак они из разных мест, должно.

— Ну, это я так, к примеру.

— Сорок девять еще немного. — Холодов полез за новой папиросой.

— Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.

— А говорят, будто только по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено, — сказал Холодов. — Лектор один приезжал, так рассказывал...

— Вполне может быть.

— Сколько же тогда по всей России? — прикидывал дед Василий.

— А вот и считай...

— Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.

— Сказано: всего двадцать миллионов.

— А немца сколь?

— Что-то миллиона четыре с небольшим, — сказал дядя Саша.

— Только-то? — удивился Холодов.

— А что — мало?

— Нда-а... Как же так, били-били, а только четыре мильона нахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пятерых...

— Дак, чудак человек, — сказал Федор. — Мы одних только ихних солдат, а они кого попадя: и баб наших, и

пацанов. Вон у военкома — и женку, и обеих девчушек... А сколь в Германию поугнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллионов и набралось.

— Ох, лихо, лихо, — вздохнул дед Василий. — Не заесть, не запить этова. Не заесть, не запить...

Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, сказал как-то осиянно, осветясь лицом:

— А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с неприятелем — святое дело, што ни говори! Из всех смертей смерть! Ну вот што я! Ну, еще покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Снесут за деревню и закопают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял— это уже смерть вон какая! Глядишь, и мне памятник бы поставили.

Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле барабана о чем-то спорили музыканты:

— Не, Жорик, мелькомбинату ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кирюхи одни.

— Не скажи! Вот увидишь, воткнут.

— Слабо! Они даже райпотребсоюзу продули.

Степан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, выбившийся из-под ремня.

— Ты говоришь — четыреста... — сказал он. — Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.

Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигнутые еще обелиски.

— Надо бы раньше начинать ставить-то, — сказал Федор. — По свежим следам. Молодняк вон подрос, должон видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся — и все. Ровно, гладко, как ничего и не было.

— Я вам так скажу, — дед Василий обтер ладонью усы. — Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой кон опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разъедина. Солдата не воротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.

Возле барабана дружно смеялись ребята.

— Вот дает! Заливает!

— Чего? — кипятился Пашка. — У них один Зюзя чего стоит!

— Дерьмо твой Зюзя.

— Зюзя — дерьмо? Ха-ха! А ты видел, как он штрафной бил? Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцати метров. Как врежет! Под самую планку.

Мужики помолчали, прислушиваясь к спорившим музыкантам.

— Н-да... — Тихон поскреб под черной путейской фуражкой. — Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на площади вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарняком. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрынчат. И девчатки с ними, все в белых платьицах. Гляжу, на граните бутылка, стакан. Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли? А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим. Марш, говорю, по домам! Осерчал я. А они и в толк не возьмут. Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной. Во как!

Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что друг за другом необозримо бугали из виду. Его лучи отыскали среди этих холмов неприметную дотоле церквушку. Трепетный, бегучий свет быстро перемещался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межевая цепочка тополей на соседнем склоне, медным отливом затеплились пашни, и среди них радостно зазеленели полотнища озими.

Фронтовики, привалившись к теплому боку скирды, загляделись невольно на это неожиданное прозрение солнца, на торопливый и просветляющий бег лучей его по земле.

И вдруг на фоне темного неба, загроможденного тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кинжально острая грань обелиска. В этот предвечерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над будничной суетой, и, может быть, потому пышная кипень

венков у подножия — эта пестрота бумажных цветов, сосновой зелени, черных и красных бантов — показалась дяде Саше каким-то тщетным и ненужным убранством. Как старый музыкант, не раз имевший дело с погребениями, он не терпел венков. Скоро они пожелтеют, осыплется хвоя, дожди смоют с лент непрочные слова, написанные зубным порошком, и нет ничего печальнее видеть потом на могильной плите этот пожухлый мусор.

Солнце, посветив недолго, опять затянулось хмурой наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. А вскоре предвечерняя синь и вовсе скорбно окутала холмы.

— Пора, однако, по домам. — Дед Василий оглядел небо. — Кабы дождя не натянуло. Второй день что-то мозжит нога, окаянная.

Остальные, вспомнив про разные свои дела, тоже засобирались, и дядя Саша пошел сказать своему шоферу, спавшему в кабине, чтоб тот развез фронтовиков по домам.

И вскоре, пофыркивая и покачиваясь на ухабах, машина увезла и деда Василия, и всех прочих.

К вечеру поутихло. Тучи присмирело сгрудились, непроницаемой толщей повисли над головой. Начало моросить — сперва одной только мокрой пылью, а потом посыпало и всерьез. Оркестранты, оставив лежать на жнивье инструменты, укрылись под застрехой обдерганной скирды.

Уже в который раз выходил дядя Саша на край пахоты, подолгу глядел в сторону большака, откуда вот уже два часа дожидались машины. Но кругом было глухо, как бывает только в осеннем ненастном поле.

— Ну что, старшой? — нетерпеливо окликали его оркестранты.

Дядя Саша молча возвращался к стогу.

— Небось самогон трескает, — заключил о шофере Пашка. — Это точно.

Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок

с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.

— А у меня сегодня верная десятка гавкнула, — сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами. — А то и побольше.

— А тебе куда? — поинтересовался Иван-бейный. — На «жмурика»?

— Ха, па «жмурика»... — Сохин брезгливо поморщился. — На «жмуриков» я уже давно не клюю. Это ты, поди, трояки там сшибаешь. На свадьбу в одно место приглашали.

— Свадьба — это дело, — согласился Иван. — Я быва-ал. Только играть помногу заставляют.

Иван-бейный принялся выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.

— Гаммы проигрывает, — усмехнулся Ромка.

Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван-бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то налетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомонящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую «болонью», попробовал укрыться, но не улежал под нею, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ и, как затравленный хорек, свирепо зыркнул по сторонам.

— И на кой хрен надо было отдавать машину! — сплюнул он, яростно тряхнув за плевком рыжей всклокоченной головой. — Теперь вот припухай.

— Да, тут старшой перемудрил, — отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша взад-вперед прохаживается вдоль стога.

Остальные сдержанно помалкивали.

— Всего-то пару раз и сыграли. Стоило ли переться в такую даль! — продолжал распаляться Пашка. — Другого оркестра не могли найти, что ли? Да теперь

в каждом колхозе полно духачей. — Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под «болоньи» выкрикнул: — Небось старшой сам и напросился!

— Да помолчи ты наконец! — оборвал его дядя Саша.

Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плашмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми! И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:

— Разобрать инструменты!

Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.

— Встать всем! — глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.

Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.

— А в чем дело, старшой? — с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами. — Что это он, а?

Поеживаясь от дождя, па ходу вытряхивая из пиджаков и штанов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы.

Послышались раздраженные голоса:

— Чья альтуха?

— Да тихо ты, козел, валторну раздавишь. Смотреть надо!

— Заткнись!

— Иван, забирай свою иерихонскую?

Дядя Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую пашню. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнобой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:

— По три разбери-ись!

Ребята недовольно запротестовали:

— А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?

— Прекратить разговоры!

Порядок построения оркестра все знали хорошо: корнеты — вперед, за ними тенора, альты, басы... Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.

— Да брось фасонить, старшой, — снова попробовал отговорить Сохин. — Ну, чего ты?

— Стать в строй! — Голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.

— Ого! — отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибиным.

— Барабан здесь? — окликнул дядя Саша, оглядывая хмуро переминавшихся оркестрантов.

— Здесь! — подал голос Сева из заднего ряда.

— Бейный бас?

— Ну, вот он я... — неохотно отозвался Иван.

— Шагом ар-рш! — Дядя Саша круто повернулся и зашагал вниз. — И не отставать!

Шли в отчужденном молчании, было только слышно липкое чавканье подошв на ослизлом проселке да бряцанье труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застясь от дождя, закуривал на ходу. И только Пашка продолжал недовольно бубнить, понося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.

— И куда мы? — с язвительностью спросил Сохин.

— Куда, куда! — сразу пыхнул Пашка. — С кудыкиной горы — в тартарары.

— Ясное дело: теперь до большака, — предположил Жора.

— Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?

— А там — на попутку.

— Плевать! — фыркнул Пашка. — Идем до первой деревни.

— А на работу? — с растерянностью спросил Курочкин. — Мне завтра в первую заступать.

— А это старшой отвечает. Наше дело телячье.

Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбегал и сбегал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь

ногами, спускались будто в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.

Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под ногами зачавкала жижа.

— Все! Начерпал в корочки, — кисло объявил Пашка. — На той неделе тридцатку отдал, теперь хана им.

— А ты ходи по камушкам, — усмехнулся Ромка.

— По каким камушкам? Какие тут камушки — сплошное болото.

Дорогу обступили черные громады ракит, под которыми сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спинам. Строй окончательно рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть наваленный шоферами в топких колдобинах. Ветки пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлюпом выбрызгивалась грязь. Иванбейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кепку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идут вовсе не туда, не по той дороге, и вообще зря стронулись с места.

— Вот увидите, запремся куда-нибудь, — ворчал он, долговязо и неуклюже перепрыгивая по затонувшим слегам. — Днем, когда ехали, никакого болота не было.

— Это точно! — злорадствовал Пашка. — Завел Сусанин! И что б я еще куда поехал! Мотал я такую самодеятельность!

Дядя Саша остановился, подождал Пашку.

— Ты вот что, Павел, — сказал он, придерживая парня за рукав. — Возьми-ка у Севы барабан.

— А почему, спрашивается, я?

— Да потому, что у тебя одни тарелки.

— Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.

— Нет, понесешь ты, — жестко сказал дядя Саша.

— Все Павел да Павел, — передразнил Пашка. — Целый день придираешься.

— Ну, хорошо. Не возьмешь барабан — понесу я.

Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашиных пальцев. И вдруг заорал:

— Севка, паразит, давай свое грохало!

— Ладно, дядь Саш, я сам, — откликнулся Сева. — Мне еще не тяжело.

— Отдай, отдай! — строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед. — Пусть понесет.

Пашка сорвал с подошедшего Севы барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.

— У, оглоед!

Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплелся сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.

Держась за хлипкие перильца, ощупью минули какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.

Наконец кончился ракитник, и постепенно начал угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, враз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надоедливо телеграфные столбы в серой хляби меркнущего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам. Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, нестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанно-вязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее ног старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, ничего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал — отдал фронтовикам машину.

...В сорок третьем из запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так

же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только ночами: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать — сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шинели, не успевающие просыхать за время коротких дневок, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забытья — и опять топает, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелись постройки пункта назначения. У всех билась одна только мысль: дойти, свалиться и спать, спать — все равно где, на чем...

И вдруг конный посыльный: прибывшее пополнение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: «Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!» На перекрестке в открытом «виллисе» стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тащившейся роте. «Поздравляю со вступлением в Действующую армию! — хрипло выкрикнул командир полка. — Всем присваиваю звание гвардейцев!» И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый праздничный марш: «Утро красит нежным светом...» Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Понурые, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли нестройные, разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые ряды даже попытались отбить строевым — так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! «Кипучая, могучая, никем не победимая!» — звонко, радостно пели трубы, и рота, воспрянувшая и слившаяся, вторила им тяжелым и грозным шагом. «Хорошо идете, товарищи гвардейцы! — перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник. — Благодарю за службу, сынки!»

В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатикилометровый форсированный бросок.

Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...

— Подтяни-ись! — подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.

На взгорке возле крайней избы старшой остановился. Сквозь перехлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штакетник, за которым в палисаднике взахлеб булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван-бейный снял с плеча свою «иерихонскую», опрокинул раструбом книзу и вылил скопившуюся воду. Почуяв за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре послышались шлепающие шажки, громыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась девушка в долгополом халате.

— Ой, кто это? — отпрянула она, увидев сверкавшие на свету трубы.

— Бременские музыканты, — нарочитым басом отозвался Ромка, всегда готовый потрепаться с девчатами.

— Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! — девушка убежала, бросив дверь открытой. — Ма, там пришли-и...

В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврике, постланном у порога на чистом крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.

Вышла женщина, круглолицая, полнеющая, в теплом платке на плечах. Дядя Саша сказал, кто они и откуда.

— Ой, лихо, в такой-то проливень! — сочувственно ужаснулась она, выглядывая за порог. — Да что ж вы стоите! Проходите уж, чего зря мокнуть.

Оркестранты стали было складывать инструменты на свету под окнами, но хозяйка запротестовала:

— И музыку заносите. Пропасть не пропадет, а кто ж ее знает... Машина невзначай колесами наедет или еще что... Чего ж бросать.

Ребята, пошмурыгав о траву туфлями, пообтрусив плащи, начали подниматься на крыльцо, сразу наполнив коридор запахом дождя и мокрой одежды. Кот предусмотрительно ушмыгнул в кухню. Не зная, оставаться ли им здесь или можно войти в дом, парни неловко теснились, озирались по сторонам.

— Проходите, проходите в горницу, — ободрила их женщина. — Машина мимо пойдет, никуда она не денется. По такой дороге не вот-то проскочит. Ее и в доме будет слыхать.

Покидав в коридоре плащи и башмаки, ребята присмирело, гуськом прошли через кухню в горницу.

Возле кафельной грубки, спрятав руки за спину, стояли четыре девушки, настороженно поглядывавшие на незваных гостей.

— Еще раз здрасьте, — вкрадчиво сказал Ромка. Подойдя к девушке, открывавшей им дверь, протянул руку топориком, представился:

— Рома.

Девушка пыхнула, некоторое время смущенно смотрела на Ромкину ладонь и, наконец решившись пожать ее, тихо промолвила:

— Вера.

— Очень приятно! — удовлетворился Ромка и передал ладонь другой девушке:

— Рома.

— Серафима, — охотно назвала себя другая девушка, в черном спортивном костюме.

— Рома.

— Надя.

— Рома.

— Нонна.

— Очень, очень приятно. А это все моя охрана. — Ромка повел рукой, указывая на обступивших оркестрантов. — Знаете, как поется: «Ох, рано встает охрана!»

Девушки засмеялись.

Неловкость первых минут была преодолена, и вот уже

Ромка, подкладывая хворост в занявшийся костерок беседы, допытывался:

— Значит, все четверо — родные сестры?

— Ага, сиамские близнецы, — подтвердила Серафима.

— Ясно.

— Бурачные побратимы, — уточнила Надя.

— А это уже неясно.

— Что ж тут неясного? Приехали в колхоз бурак копать.

— Значит, студенты! Так это вы в нас бураками кидались?

— Когда? — удивились девушки.

— Где? — спросил Ромка.

— Что — где? — переглянулись девчата.

— Это вы спрашиваете — где.

Девушки, наконец разгадав подвох, расхохотались.

Дядя Саша остался на кухне с хозяйкой, только что принесшей со двора ведерко с прессованным углем.

Гремя совком, подбрасывая брикеты, мокро шипевшие на огне, она сетовала на дождь, которому можно было бы и повременить, поскольку в полях еще много свеклы. Ей-то дождь ничего, она работает под крышей, на ферме, а другим женщинам теперь достанется: благо ли возиться с бураками по такой земле! Вот и девочки из города у нее квартируют, прислали на уборку. Та вон, в халатике, — ее дочь Вера, а остальные приезжие. Только вернулись с поля, едва успели умыться, переодеться, а завтра чуть свет опять идти. И Вера с ними ходит, оторвали от занятий. В этом году десятый кончает, класс ответственный, а тоже не посмотрели, отправили на бурак.

Говорила она охотно, с той гостеприимной приветливостью, которая невольно усвоена безмужними деревенскими женщинами.

— Да вот решила угольком протопить, просушить девчачью одежку, а то пришли, как гуща. Можно б и русскую печь затопить, девок теплом побаловать, да опасливо — дымить начнет, столько времени нетопленная. Да теперь и редко кто топит печи, все больше плитами обходятся. Меньше хлопот. Это же раньше сами хлеба пекли, да скотине всякого варева на каждый день. А те-

перь все это отпало. Думала даже сломать печку-то, в доме попросторнеет, да как-то рушить жалко, привыкли. Еще девочкой на ней сиживала, уж годов, годов той печке!

— Дом-то вроде новый, — заметил дядя Саша, оглядывая ровный потолок и свежую матицу.

— Да домок-то, верно, новый, после войны ставленный, а печка старая, еще от той хаты. Это ж как немец спалил деревню, так одни печи и торчали. На нашей весь кирпич пулями да осколками поиссечен, такие щербатины были! Потом, правда, глиной позамазали, а если обмазку отколупнуть, так на ней, бедной, живого места не сыщешь. Она у нас геройская печка, хоть медаль цепляй, — улыбнулась хозяйка. — Жалко разорять теперь.

Из боковушки, опираясь о дверной косяк, выползла старуха в подшитых валенках, тихо, без интереса поздоровалась.

— Да вот, мам, про нашу печь заговорили, — чуть громче обратилась к ней женщина. — Как ее пулями-то посекло.

— А-а. — Старуха, придерживая одной рукой поясницу и опираясь о стол, медленно опустилась на табуретку. — Было, было, — она уже оживленней поглядела на нового человека.

— От печки все и пошло. Вся наша жизнь теперешняя. Как немец-то ушел, — сказала женщина с добродушной веселостью, — вылезли мы из погреба на свет божий, а света божьего и нет. От нашего двора — ни былочки, ни поживочки, одна черная печка. Поглядела — а труба без крыши-то до того высокая да страшная! А окрест глянули — и деревни нету. Одна дорога. И поле — вот оно, совсем близко.

— Про щи скажи, Пелагеюшка, про щи, — напомнила старуха.

Женщина засмеялась:

— У нас щи перед тем в печи варились. Еще до пожара. Ну, сковырнули крышку-то, а там одна сажа.

Старуха улыбнулась слабо:

— Упарились.

— Ага... Ну дак что было делать, с чего начинать?

Как жить? Стали мы нашу кормилицу плетнем оплетать да глиной плетень обмазывать. А сверху крышу из бурьяна накидали. Сарай не сарай, а затишок вроде вышел. С того и начали.

В кухню выскочила раскрасневшаяся Вера, хозяйкина дочь, спросила:

— Мам, можно яблок ребятам дать?

— Да разве жалко? — готовно согласилась Пелагея.— Свои, не купленные. Сходи, доченька, набери.

Девушка вышла в сени и, воротясь, быстро прошла в горницу с решетом крупной, улежалой антоновки. Из комнаты тянуло сигаретным дымом, дядя Саша слышал, как Ромка, видать уже освоившись, трепался там вовсю, и девчонки то и дело прыскали смехом.

— Может, и вы чего покушаете? — обернулась к дяде Саше хозяйка. — Весь-то день, поди, в поле играли. — И, не дожидаясь ответа, засуетилась у полки, достала хлеб, из крынки налила молока в кружку, обтерла донышко и поднесла гостю. — Оно бы лучше чего горячененького, да девчатки пришли, все подобрали.

— Кушай, кушай, — закивала старуха и, помолчав, спросила: — Это ж на каком поле играли, не расслышала я?

— Да вот там, за вашей деревней, — указал дядя Саша. — Как мосток перейти.

— Ага, ага...

— На заяружной пожне, мама, — пояснила Пелагея.

— Ага, ага... На заяружной... — повторила за дочерью старуха. — Дак там-то дюже сильные бои были. Сколь недель бились: он — наших, а наши — его, он вот как палит, а наши не уступают. Коса на камень. Уж так изрыта пожня была, так изрыта! А уж гранатов этих да всякого смертоубийства оставлено — как ребятишки убегут туды, аж сердце захолонет. Сколь покалечило беспонятных. Дикое поле сделалось, весны две не пахали, все, бывало, голодные собаки туда бегали.

Дядя Саша придвинул кружку, и, пока ел, обе женщины как-то вдруг смолкли и, пригорюнившись, с тихим вниманием, исподволь смотрели, как сидит он у них за столом, этот немолодой, усталый мужчина, как ест хлеб и прихлебывает молоко.

— Ох-хо-хо, — вздохнула каким-то своим думам старуха и темной рукой погладила на столе скатерку. А он, запивая хлеб молоком, чувствовал на себе их взгляды и думал, что, наверно, давно за этим столом не кормили мужчину и давно, должно быть, живет в этом доме тоска по хозяину.

Вера опять выбегала в сени с опорожненным решетом, и в горнице весело гомонили, наперебой хрустели яблоками.

— А чем рассчитываться будем за такой сервис? — слышался голос Ромки.

— Да что вы! Ничего и не надо, — отвечала Вера. — Вы уж лучше сыграйте что-нибудь.

— Это всегда пожалуйста.

Старуха, склонив голову, некоторое время тугоухо прислушивалась к разговору в комнате, потом сказала:

— Наш Лексей тоже, бывало, на гармошке играл. Вот так же соберутся, и ну шуметь.

— Дак и Коля тоже играл, — живо заметила Пелагея.

— И Коля, и Коля... — согласно закивала старуха. — Коля тоже веселый был. Они обои веселые были.

— Сыновья? — спросил дядя Саша.

— Сыно-очки, сыно-очки, — опять закивала старуха. — Вот ее, Пелагеюшкины, братья. Принеси, Пелагея, карточки-то, покажь человеку.

Пелагея сходила в темную, без света боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями, окрашенную голубой масляной краской, так же как и цветные горшки на подоконнике, как рукомойник в углу, и, на ходу протирая стекло передником, сказала извинительно:

— Висела в горнице, а Верка: сними да сними. Говорит, будто не вешают теперь всех заодно в одной раме, не модно. Теперь, дескать, в альбомах надо держать. Ну, я взяла и сняла, перевесила к маме в темную.

Хозяйка поставила рамку на стол, прислонила к стене. Старуха, щурясь, напрягаясь лицом, потянулась к фотографиям:

— Я дак теперь и не различаю, который тут где. Это вот не Лексей ли? Ну-ка, Пелагея, ты зрячая.

— Это Коля с дружками. Еще в эмтээсе снимались.

— Ага, ага... Дак а это кто же тогда, не пойму?

— И это тоже Коля. — И уже дяде Саше пояснила: — Колиных тут целых три карточки. Вот еще он. С Василием. Это наш, деревенский. Они в одной части были. А Лешина одна-разъединственная. Леша-то наш, вот он. Как же ты, мама, забыла? Он всегда у нас с этого краю был.

— Дак, может, переставили когда... — оправдывалась старуха. — А так, как же, помню... Лексей... сыночек...

Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена крошечная фотокарточка с уголком для печати. Дядя Саша и сам едва различил на ней уже слабые очертания лица, плохо пропечатанного каким-то фронтовым фотографом, погасшего от времени. На снимке просматривались одни только глаза да еще солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженой голове. Вот-вот истают с этого кусочка бумаги последние человеческие черты, подернутся желтым налетом небытия. И дядя Саша подумал, что, должно быть, старуха-мать, сама угасающая и полуслепая, уже не обращается к этой карточке: она давно для нее блеклая пустота. И даже память, быть может, все труднее, все невернее воскрешает далекие, годами застланные черты. И только верным остается материнское сердце.

— Лексея-то помню... — как-то отрешенно, уйдя в себя, проговорила старуха. — Как же, первенец мой. Уже зубочки резались, а я все грудью баловала. Уж так прикусит, бывало... — Старуха провела по пустой ситцевой кофте и, наткнувшись на пуговицу, успокоила на ней мелко дрожащую руку.

— Ну, а это мы тут со Степой, — встревоженно метнув взгляд на мать, поспешно и даже весело сказала Пелагея. — Сразу как поженились. Это уже опосля войны. — Пелагея задержала тихий и грустный взгляд на фотографии, где она, простенько, на пробор причесанная девчонка, радостно-настороженная, едва доставала до плеча строгого, уже в летах мужчины. И уважительно, чуть дрогнувшим голосом, добавила: — Со своим Степаном Петровичем...

Она помолчала, предоставляя дяде Саше поглядеть на себя молодую и на своего Степана.

— Ну, а это все двоюродные да тетки. Весь наш боковой корень. Только папы нашего здесь нет. До войны как-то не успел сняться, а потом просили-просили, чтоб с фронта прислал, так и не дождались. Все есть, а его нету...

Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла ее в темную боковушку и, воротясь, подытожила:

— Четверо легло из нашего дома. А по деревне так и не счесть.

— А четвертый кто же? — спросил дядя Саша.

— А четвертый Степа мой. Мы с ним уже опосля войны поженились. Он-то до самой Германии дошел, а это потом смерть и его нашла, уже дома достала. Раны у него открылися. Перемогался, перемогался, лег в больницу, да больше и не вышел оттуда...

Лицо Пелагеи дернулось, и она быстро прошла к плите, высыпала из ведра остатки угля. Потом долго через конфорку шуровала кочергой, разгребала, уравнивала брикетины.

— Степа-то мой у себя лежит, ухоженный, — вздохнула она, не поворачиваясь от плиты. — И оградку мы ему поставили, и карточки подменяем. Я сразу десять штук увеличила, чтоб надолго хватило, пока сама жива. Да и так когда сходишь поплачешься, бабье дело... А уж как те мои родненькие лежат, и где они... Ездила я года два назад поискать папину могилку. Сообщали, будто под Великими Луками он. Ну, поехала. В военкомате даже район указали. Около станции Локня. И верно, стоят там памятники. Дак под которым наш-то? Вечная слава, а кому — не написано. А может, и не под которым. Местные-то люди сказывают, будто и теперь еще из омшар да болот костяки достают... С тем и вернулась я... Ну, а Николай в морской авиации служил. — Пелагея понизила голос: — Того и искать нечего... А Леша наш до сего дня без похоронной... Я раньше тоже ждала, да что ж теперь... Столько лет прошло... Одна мама все надеется...

Старуха ревниво прислушивалась, потом подняла глаза в потолочный угол, выдохнула скорбный полушепот:

— Ох, светы мои батюшки! Ох, неприбранные лежат страдальцы наши!

— Что ты, мама! — испуганно возразила Пелагея. — Как так можно? Неприбранные! Выдумает тоже.

Дядя Саша молча курил, глядя на черные стекла ночного окна, по которым, подсвеченные из комнаты, косо чиркали трассирующие капли дождя. И опять ему привиделся тот неизвестный солдат на проволоке под дождем и пулями, синими руками просившийся к земле. И как потом осыпался он из своей шинели костьми и прахом...

А старуха, утвердив обе руки на коленях, безмолвно сидела, уставившись в малиновое поддувало, сидела так, как, наверно, привыкла за долгие годы сидеть в терпеливом ожидании чуда.

В соседней горнице девчата опять стали просить Ромку сыграть что-нибудь:

— Ну чего вы, правда! Что вам, воздуху жалко, что ли?

— Шейк? Босса-нова? — небрежно кинул Ромка.

— А играете? — обрадовались девушки.

— Спрашиваете!

— Ой, шейк, мальчики! Шейк!

— Ну как, братва, слабаем?

— Рванем!

— Ой, давайте, давайте! — студентки забили в ладоши.

На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски наваляясь на косяк, возбужденно сказал:

— Шеф, там девчонки шейк просят сбацать. Как смотришь?

Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка.

Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него каким-то невидящим взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней:

— Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?

Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:

— Сыграй, милай, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда

играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой... Дак и Коля тоже любил... Сыграй, милай, сыграй.

Дядя Саша пристально вгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:

— Давай, правда, сыграем, Роман.

И убежденно добавил, вставая:

— Несите-ка инструменты.

В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонку к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.

— Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?

— А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.

— Я не буду, — замялась Вера. — Я не умею такие.

— Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.

И девушки скрылись за занавеской.

— А ты почему не взял инструмент? — Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.

— Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.

— Ты мне нужен как раз. Иди возьми.

Сохин передернул плечами, недовольно вышел.

Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшого, изготовившись, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкавший чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержано переговариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.

Дядя Саша постучал ногтем по корнету.

Трубы замерли в изготовке.

И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:

— Шопен... Соната... номер... два.

Какое-то время оркестранты смятенно смотрели на старшого, глазами, немотой своей как бы спрашивая: какая соната? при чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.

Дядя Саша опять постучал по трубе:

— Играем часть третью. Вы ее знаете.

— Ну, знаем, конечно... — сдержанно кивнул за всех Ромка.

— Прошу повнимательнее.

Он еще раз оглядел оркестр.

— Начали!

И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.

Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыла глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.

Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади остальных Иван-бейный старательно надувал щеки, вперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.

Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша.

И Пашка с еще не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.

Звуки страдания тяжко бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.

Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом.

Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела недвижно и прямо.

Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем дому. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.

И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.

Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.

Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней. И как проливается последний дождь при умытом солнце — уже без туч и тяжелых раскатов грома, — так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без литавр, басов и барабанов.

Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.

Освободившиеся от игры ребята — басы, баритоны — в немой завороженности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета звучавшим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаивала, иссякала, и, когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому

началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.

И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.

Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.

— Ну, вот и ладно... — проговорила она. — Хорошо сыграли... Вот и проводили наших... Спасибо.

И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол.

Оркестранты молча закуривали.

Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.

Проходили набухшие водой низины, глухие распаханные поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька, и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взахлеб брехали из глубины дворов.

Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.

Как тогда, в сорок третьем...

И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:

— Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем...

ЮРИЙ НАГИБИН

ГДЕ-ТО ВОЗЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ

В первый раз Петров поехал туда на машине ГАЗ-69. На этом воинском вездеходе разрешается проезжать через Москву, а не ездить по городу. Петров так всегда и делал, пользуясь машиной лишь для рыбалки, охоты, загородных вылазок, путешествия по стране, в Москве же довольствовался общественным транспортом.

Милиционеры с поразительной чуткостью угадывали — держишь ли ты путь к далекой загородной цели или нахально раскатываешь на «козле» по столице. В последнем случае полосатый жезл решительно преграждал путь. И Петров, не выносивший наставлений и выговоров, почти никогда не нарушал правила. Так какого же черта погнал он «козла» в забытый переулок на задах консерватории? Он задавал себе этот вопрос, когда, попетляв по Кисловским и соседним переулкам, засыпался-таки при выезде на улицу Герцена. И хотя он поторопился заверить пожилого орудовца, что сам все знает, что его подвел не явившийся на условленное место друг-рыболов, ему пришлось показывать зачем-то права и технический талон, выслушивать долгое назидание, словно был он не доктором наук, а нашкодившим уличным мальчишкой.

Так чего же он добивался, когда вывел из холодного железного гаража своего застоявшегося, настывшего «козла» и, с трудом раскочегарив, отправился искать забытый дом в забытом переулке? Несложный анализ объяснял все: он хотел нарваться на досадную неприятность и тем отбить у себя охоту к дальнейшим путешествиям в прошлое. Он не помнил адреса, но, явись сюда пешеходом, с присущей ему добросовестностью стал бы расспрашивать прохожих, смущаясь их холодных, недоумевающих, а то

и раздраженных лиц, злясь на себя, проклиная свою привычку во всем доходить до нуля и все более заходясь от бесплодных поисков, превращая малую неудачу в душевную муку, становясь всерьез несчастным, безнадежно и душно несчастным, каким он никогда не бывал, до прихода старости. На машине же все сводилось к витку вокруг неузнанного места.

Он признал себя старым, когда ему исполнилось пятьдесят лет, не потому, что вдруг ощутил груз прожитого,— он чувствовал себя физически лучше, чем пять-шесть лет назад, а потому, что верил в магический смысл рубежей — в семилетний цикл развития человеческого организма, в юбилейные даты, в круглые цифры. На исходе пятого десятка он ходил гоголем, был полон победительной энергии, в пятьдесят покорно расслабил мышцы и тот не имеющий названия сцеп, который держит личность в сборе. Про себя он определял это так: перестал бороться, вышел из игры, хотя он и раньше ни с кем не боролся и не участвовал ни в какой игре. Он просто и счастливо жил в своей профессии и в своих привычках.

Рано защитив докторскую диссертацию по археологии, Петров понял, что никакой он не исследователь — ему скучно раскапывать курганы, выискивая черепки разбитых кувшинов и другие жалостные следы давно минувшей жизни. То, о чем так сладостно было читать в детстве и отрочестве и чем так увлекательно было заниматься в дни коротких студенческих практик, оказалось в качестве единственного дела невыносимо нудным, изнурительным и вовсе не спортивным. Главное для археолога, если нет случайной и ошеломляющей удачи, — это маниакальная терпеливость, какой Петров вовсе не обладал. И он стал писать о тех, кто обладал не присущим ему качеством, а также о великих счастливцах вроде Шлимана — пусть тот открыл вовсе не Трою — или Картера, нашедшего гробницу Тутанхамона. Петров ездил в Луксор, в Долину царей, спускался по крутым ступенькам в прохладную тень гробницы, слушал увлекательно-лживые рассказы поджарых проводников и наслаждался потрясением Картера, вдруг узревшего сказочные богатства мальчика-фараона, ныне наполняющие громадный музей в Каире.

Он радостно, живо, иные критики писали даже — «вдохновенно» рассказал об этом в книге. А потом прошел по следам Шлимана и написал другую книгу, не уступавшую первой. С тех пор вышел десяток книг, имевших успех у читателей, их много раз переиздавали, переводили на иностранные языки. Эти книги писались из глубины науки, хотя и человеком слишком ленивым, чтобы самому сделать значительное открытие. Но если всерьез — дело не в лени, просто у него не было таланта исследователя, а был талант популяризатора. Ученые-археологи пренебрежительно называли его книги «беллетристикой», «чтивом». Он не понимал, что тут плохого, — ведь это означало доступность, занимательность, а такие книги для того и пишутся, чтобы привлечь к науке далеких от нее людей, в первую голову молодых. Впрочем, мнение бывших коллег мало его трогало, поскольку ученым их ранга он и сам мог быть, да не захотел. А те немногие богатыри, которые действительно двигали вперед науку, его книг не читали. Да они и вообще ничего не читали, кроме Сименона, Агаты Кристи и появившейся в недавнее время серии «Сент-Антонио». Богатыри науки владели хотя бы одним иностранным языком и не испытывали недостатка в подобной литературе.

Писать новую книгу всегда было для него радостью, так же как и охотиться, рыбачить, путешествовать по старым русским городам, где пахнет историей и серьезным, не с ветру, бытом наших предков. А еще были романы — нечастые, но были, а вот семьи, можно сказать, не было. Лет пять назад они с женой молча предоставили друг другу полную свободу, оставаясь под одной крышей и за общим столом. Им надоело притворяться, будто один другому нужен. Они с самого начала строили храм совместной жизни не на любви, а на трезвом житейском расчете — надо же человеку семью иметь. Они нравились друг другу, у них все хорошо получалось вдвоем, и они с энтузиазмом создали сына, выросшего в угрюмого, сосредоточенного в себе юношу, которому от родителей нужно было лишь одно: чтобы его оставили в покое. Была еще дочка, вступившая в самый неприятный для отца возраст, когда к неприкосновенному — и дышать-то на него боишься — чистому, нежному, насквозь домашнему

существу потянулись жадные, бесцеремонные руки волосатых, громких юнцов в срамно обтяжных джинсах, подчеркивающих кривизну ног и костистость зада. Сознанием Петров понимал естественность и неотвратимость происходящего и то, что оскорбляющие его одним своим видом молодые люди — неплохие ребята, которые будут строить завтрашний день науки, инженерии, искусства, литературы. Но не мог он ничего поделать с собой — дочь стала ему чужда и неприятна и сама теперь избегала его, сблизившись, как никогда прежде, с матерью. Ну и ладно! Оказалось, что последние годы его отношения с женой держались не на душевной близости, не на постели, не на силе привычки, а только на детях. Птенцы вылетели из гнезда, пусть не в буквальном смысле, и опустевшая сорная ямка потеряла всякую привлекательность. Без мучительных и бесплодных объяснений они дали друг другу вольную. И — по чести — не злоупотребляли обретенной свободой. Порой Петров начинал сомневаться, есть ли у жены кто-то вне дома. Если и есть — она же не старуха и не святоша, — то человек этот в совершенстве владел эффектом *отсутствия*, был не видим, не слышим, не ощутим ни в какое время суток, ни в какое время года. Но, возможно, это объяснялось тем, что наблюдательность Петрова спала.

При всем том для знакомых они оставались семьей чуть ли не образцовой. У них был открытый, хлебосольный дом и та легкая атмосфера, какая встречается разве что в пансионатах, но не в семейном быту; у хозяев — неизменная приветливость лиц, а в ясных глазах не истаивает только что сотрясавшая стены квартиры ссора или сцена ревности. Про себя же Петров назвал свой домашний образ жизни — первобытным: *он* добывал пищу, *она* поддерживала огонь в очаге. Так спокойно и неудержимо катились они в старость...

Петров был из тех людей, которые не порывают со своим началом, для него прошлое было так же существенно и несомненно, как настоящее, и душевная жизнь неотделима от памяти, что не мешало ему с иронией относиться к писателям, превозносящим детские годы над всем последующим временем, словно взрослая жизнь — непомерно разросшаяся ботва на сладком клубне детства.

И когда раз в году он приходил на традиционную встречу школьных друзей, их постаревшие, увядшие лица радовали его не тем, что будили память о школе в старинном, с колоннами и лепниной, барском доме, построенном чуть ли не Растрелли, о величественно-грустных Покровских казармах, о Яузе в крапивно-репейных берегах и дребезжавшей одновагонной «Аннушке», а чувством покоя и безопасности — тут можно было не бояться удара в спину, расслабиться, как спящая кошка. Конечно, и Покровские казармы, и Яуза, и школа в пронзительно-голубой с белым хоромине, и шаткий трамвайный вагончик, без устали кольцующий Москву, имел прямое отношение к этому чувству, все так, но совершенно обязательно беспрерывно аукаться с духами былого,— пожилые мальчики и девочки с Покровских ворот были хороши в своем нынешнем образе, все прочее оставалось в подтексте. Наверное, поэтому они никогда не говорили о школьных делишках, и пресловутое: «А помнишь?»— якобы непременный, трогательный выкрик всех ветеранов войны, школы или двора — здесь почти не звучало.

Но вдруг прошлое нанесло Петрову удар под ложечку. Оно всплыло в нем морозным февралем 1943 года, переулком где-то возле консерватории, странным, печальным, светлым вечером, когда чуть скособоченный убылью месяц висел меж темных аэростатов, демаскируя своим хрустальным светом засиненную маскировочными огнями Москву. Это была самая плохая пора в жизни Петрова, хуже фронта и госпиталя, хуже непереносимых ночей над постелью мечущегося в пунцовом жару ребенка. И он по мере сил старался не вспоминать о том времени, а если и вспоминал, то под успокоительную мелодию: все проходит, все проходит.

Так ли на самом деле? Все ли проходит, да проходит ли что-нибудь? Даже физическая боль не минует бесследно. Иначе он не мог бы в свои пятьдесят так ненавидеть большой серый дом на улице Чернышевского, где в глубине темного, прокопченного двора жил зубной врач, у которого он единственный раз в жизни — семилетним — лечил зубы. Бормашина, в миг приготовившая гнездо для пломбы в мягком молочном клычке, навсегда наделила

для него невыносимым ужасом этот ничем не примечательный уголок Москвы. А можно ли поверить, что бесследно проходит боль, навинтившая на свой бур всю душу под одуряющее зудение фальшиво-уклончивых слов? Да и вообще ничего не забывается, не проходит бесследно. Какие-то клетки умирают в тебе, их уже не восстановить, ты носишь в себе эти мертвые клетки, и они мешают живым своей исключенностью из единой игры организма, нарушают его режим.

Но он жил с этими воспоминаниями и последние годы даже не очень тяготился ими. И вдруг оказалось, что в невысокого пошиба муке — а он понимал, хоть и лопух был, что его серьезная грустная роль обесценивалась дешевизной спектакля, в котором его заставили играть, — сверкнуло золотое зернышко, такое крошечное, невесомое, скромное, что он совсем забыл о нем на десятилетия, такое прочное, живучее и яркое, что свет его пробился в сумрак надвигающейся старости.

До той давней встречи в переулке возле консерватории он без малого год пролежал в госпитале, где ему укоротили размозженные пальцы на левой ноге, перед тем чуть не целый день провел на фронте, а до этого из него семь месяцев готовили командира взвода в пехотном училище, даром ухлопав средства и время на незадачливого младшего лейтенанта, умудрившегося попасть в инвалиды, ровным счетом ничем не отплатив за учение.

Надо сказать, задолго до того, как Матросов совершил свой смертный подвиг, неясный образ амбразуры, заткнутой человеческим телом ради победы, томил воображение Петрова. Для того-то и пошел он добровольцем на фронт, бросив институт на третьем курсе и женщину, которую любил больше всего на свете. Знал бы он, целуя на прощание любимую, ставшую под разлуку его женой, что героический порыв обернется бездарной неудачей! Но на войне все так же просто, как и в мирной жизни. Ведь только когда втыкаешь флажки в карту, с усилием разгадывая ребусы Информбюро, создается иллюзия ясности: вот это фронт, а это тыл, здесь неприятель, здесь наши, здесь война, а здесь войны нет. На деле все куда сложнее. Прежде всего, добровольца Петрова война на целых семь месяцев увела в сонный волжский городок,

где в старинных промозглых кирпичных казармах разместилось пехотное училище. Он отнюдь не стремился к офицерской карьере, он хотел на фронт, в бой, но ему холодно и твердо объяснили: государство не для того учило его в десятилетке, а потом еще два года в институте, чтобы посылать рядовым. Избыток образования встал между ним и подвигом. Кстати, не первый раз. Еще в июле он ушел на фронт с ополчением московских студентов. Они дошли до Вязьмы, сбив в кровь ноги в непомерных горных ботинках, которыми их экипировали, страдая животом от жидкой баланды и тяжелого горохового концентрата, — «кишечным маршем» назвал этот поход молодой, смешливый декан их факультета.

Под Вязьмой их нежданно настиг приказ — студентов вернуть для окончания учебы. Так и поплелись они вспять без выстрела, если не считать саморазрядившейся в руках одного из ополченцев учебной винтовки. Пуля поразила бедро — на военном языке зад называется бедром — веселого декана. Тогда Петров избрал самый простой, как ему казалось, путь: пошел в райвоенкомат. Его не взяли. В действие вступил приказ — студентам доучиваться, и с поразительной быстротой им вклеили в воинские билеты листки отсрочек. В конце концов сработала его настойчивость, подкрепленная убылью среднего командного состава. Ему сказали: пойдешь в школу лейтенантов — возьмем. Он согласился и уехал на Волгу, где изнурительная учеба чередовалась у будущих командиров с любовью к ласковым волжанкам, наскучившим одиночеством. Впрочем, Петров только шагал и грыз гранит военной науки, а время, остающееся для любви, тратил на длинные письма жене.

В марте следующего года весь выпуск отправили на фронт. Лейтенантская учеба не поколебала наивных представлений Петрова о четкой, как на карте, линии фронта, разломившей пространство на войну и мир. Бесконечно долго добирались они до войны, сперва поездом, потом на грузовиках. Они миновали Москву и плацдармы осенне-зимних боев, миновали освобожденные города, оставили позади Новгород, просверкнувший в белесых тучах тусклой позолотой облупившихся крестов, и увидели тяжелое орудие и горстку бойцов возле него.

Орудие изредка, но оглушительно стреляло, дергаясь стволом, и Петров решил, что это и есть война Но орудие осталось позади, и опять пошли вполне мирные снежные поля, полуразрушенные, а то и нетронутые деревни, в них бабы, старики, ребятишки. Стелились под колеса изжеванные дороги, и обочь стыли трупы лошадей. И была большая, людная деревня, где слышалась гармонь, моталось множество всякого военного и гражданского населения, мелькали, зажав армейский ватник у горла, смазливые девчата-связистки, лихо тормозили у крылечек виллисы, гремели разлитыми бортами грузовики, и вся эта озабоченная, шумная, густая жизнь, завертевшая командиров, бойцов, крестьян и миловидных девушек, называлась вторым эшелоном армии.

Их старшой куда-то отлучился, и Петров так намерз в своей шинелишке — им не успели выдать зимнего обмундирования, а день был люто ветреный и морозный, — так устал и расклеился от тряски, что уже не пытался разобраться в окружающем. Ему хотелось одного: скорее добраться до той войны, где не лихачат на виллисах, не играют на гармошках, не пялят глаз на тугие икры связисток, а сражаются с неприятелем.

И они опять ехали то быстрей, то медленней, и снова обочь дороги валялись трупы лошадей, искромсанные ножами по ребрам и грудине, и розвальни полозьями вверх. Навстречу им задышливо ползли газогенераторные машины с топками по обе стороны кабины, похожими на бачки-титаны. Теперь все чаще попадались разбитые орудия, мертвые танки и танкетки, штабеля минных ящиков, — много добра раскидала по дорогам война, а сама все отступала и отступала в глубину сухо-морозного простора. И была новая деревня и новая долгая отлучка старшого, вернувшегося с буханками теплого хлеба, твердой, как камень, кровяной колбасой и чекушками холоднеющего спирта. Здесь находился штаб дивизии, и кто-то из ребят сошел, остальные же поехали дальше, через посеченный снарядами, уродливый лес-инвалид, и дорога стала еще ухабистей, перепаханная снарядами, минами, гусеницами танков и тягачей. Они обгоняли крестьянские розвальни с пожилыми бойцами-ездовыми, и тогда пахло совсем не войной, а деревней — лошадью,

соломой, сеном. И на каком-то печальном обнажении земли, напоминавшем татарское кладбище с торчащими в разные стороны каменюками (то были останки напрочь уничтоженного поселка), они вылезли из грузовика и пустились догонять войну пешим ходом.

От усталости, неразбавленного спирта, тупо сковавшего мозг, и теплого хлеба, тяжело легшего на желудок, Петров впал в какое-то муторное полузабытье. Смутно запомнился лишь сосняк, накаты блиндажей и командир в байковой рубашке и брюках с хвостами спущенных помочей, растирающий красную шею снегом. Кажется, этот командир и забрал оставшихся ребят, лишь Петров со старшим потащились дальше.

Полянка за полянкой и лес, то густой, чистый, сохранившийся до последней ветки, то опять обглоданный снарядами калека. Из березового погорелья они вышли на краю долины, пересеченной заснеженной рекой, низкие берега были помечены лозинами и сухим быльем. За рекой слева темнел лесок, весь остальной простор являл притуманенную пустоту, где не могло укрыться никакой войны. Отяжелевшим мозгом Петров решил, что они каким-то образом пронизали войну насквозь и вышли туда, где войны снова не было. А старшой вопреки очевидности говорит о каком-то бое, находящемся в самом разгаре, и называет наблюдательным пунктом блиндаж с окопчиком. И с устало-грустным чувством Петров подумал, что они все еще не добрались до настоящей войны. Даже голоса ее не было слышно, но, возможно, это объяснялось тем, что они вышли к войне с подветра.

Старшой отвел Петрова в полутемный блиндаж, где было людно и так накурено, что заслезились глаза, и сам исчез. Петров подождал его, подождал и, оглушенный криками связных, ослепленный дымом, выбрался наружу. В окопчике старшого не оказалось, видимо, он пошел отыскивать свою войну. Петров не то чтобы огорчился, но почувствовал себя еще более одиноким, хотя со старшим его не связывали ни дружба, ни приятельство. Тут в окопчик из блиндажа вышли двое — майор в романовском полушубке и старший политрук в солдатской шинели.

— Комсомолец? — спросил старший политрук Петрова.

— Да!.. Конечно.

— Будешь комсоргом полка. Временно, на этот бой.

— Светлякова-то, вишь, убило, — пояснил майор, как стало ясно, командир полка.

Старший политрук колюче глянул на Петрова.

— Справишься?

— Нет, — ответил чистосердечно Петров, понятия не имевший об обязанностях комсорга полка.

— Во дает! — рассеянно восхитился командир полка и скрылся в блиндаже.

— А что я должен делать? — пробормотал Петров.

— Прежде всего личный пример... — строго начал старший политрук, но, знать, что-то непредвиденное случилось на этой скрытой от непосвященных войне, потому что, не договорив, он опрометью кинулся в блиндаж.

Но и сказанное им подбодрило Петрова. Он пытался стряхнуть с себя одурение, собраться для дела. Он тер себя по каменному животу и глотал слюну, чтобы изгнать жжение из пищевода, когда снова показался майор.

— Правдухин! — заорал он в никуда. — Опять пропал!.. Комсорг!.. — продолжал он на крике, хотя Петров находился в двух шагах. — Отнеси второму! — и сунул Петрову какую-то бумажку.

— Какому второму? — не понял Петров.

— Комбату два Солончакову.

— А где сейчас товарищ Солончаков? — вежливо спросил Петров.

— В бою... Где же ему быть?.. — и командир полка снова скрылся.

По счастью, в окопе возник старшина с громадным термосом в руках.

— Где второй батальон? — обратился к нему Петров.

— Тама! — не задерживаясь, махнул на лесок старшина.

И Петров отправился в этот лесок через заснеженное, перепаханное снарядами поле, через реку, вдруг оскользавшую под ногой едва припорошенным ледком, и странное чувство опасности давило ему на плечи, холодило лоб, понуждало сжимать тело в комочек. Его наспех

учили воевать, он не был готов даже к такому чепуховому испытанию, как держать себя в пространстве между НП полка и НП батальона, ведущего бой. Он умел шагать строевым, походным и торжественным шагом, мог построить взвод, занять оборону, решить несколько простых задач по тактике, но не знал, как ориентироваться на местности, распознавать вражеский огонь. У него было детское представление о переднем крае как о рубеже: здесь — наши, а там — противник. Но его тело чуяло невнятную опасность и само оберегало себя. Он не добрался еще до леска, а уже знал, что поле простреливается, воздух весь перечеркнут тихо поющими струнами. То ли противник вел прицельный огонь по нему, то ли, что вернее, держал в напряжении наш НП и коммуникации. Он пригибался, прядал за сугробы, передвигался бросками, почти так, как это делал бы бывалый солдат.

Он добрался до леска, где ему показали блиндаж Солончакова, озабоченного и сердитого капитана, коротко спросившего: «Кто такой?» — «Комсорг полка!» — браво доложил Петров. «Ты вроде другим был», — заметил Солончаков, пробежал послание, скомкал в кулаке и яростно набросился на пожилого человека в грязнейшем маскхалате — даже непонятно было, как сумел он так измараться в окружающей белизне. В отборной брани несколько раз прозвучало слово «связь». Петрову неприятно было, что из-за него нагорело почтенному человеку в грязной холстине, но еще больше огорчило, что войны и здесь не оказалось. Он хотел сосредоточиться, разобраться в происходящем и найти в нем свое место, не случайное, а твердо задуманное, раз и навсегда выбранное — в направлении амбразуры, но это было куда как не просто. Прежде всего надо раздобыть карту, сообразил он, и тут услышал: «Комсорг! Куда девался? На, отнеси Шишкину!»

Петров отправился в указанном направлении и вскоре почти попал в войну. Немцы накрыли лесок артиллерийским огнем. Петров лежал под громадным полувывороченным из земли сосновым пнем, а вокруг вздымались и рушились грязевые фонтаны, трещали сучья; валились со стоном деревья, и, пролежав минут десять, Петров решил, что это никогда не кончится и надо выполнять

поручение. Он встал и, пригнувшись зачем-то, затрусил вперед, оступаясь, падая, натыкаясь на стволы, подгоняемый охлестами земли и снега. Но когда артобстрел кончился, он понял, что и это еще не война, ведь и тылы обстреливают, а война — это прямое ощущение противника, который вот он — перед тобой, и ты прорываешься сквозь все преграды, чтобы сломать ему горло.

Но когда он оказался лицом к лицу с войной, то совсем забыл о том, что надо делать. Это случилось ближе к вечеру. Его так упорно гоняли взад и вперед, что он уже начал немного разбираться в местности, угадывать звук летящей мины, слышать автоматные и пулеметные пули, бултыхание тяжелого снаряда, ничем не грозящее — этот груз следовал в дальний рейс. Еще немного, и он разобрался бы в происходящем и сбросил крылатые сандалии Гермеса, доставшиеся ему явно по наследству от погибшего комсорга. Петрову вовсе не улыбалась роль сверхштатного связного, и он решил объясниться с комиссаром полка начистоту. Коль назначили комсоргом, так уж дайте им стать, только скажите, что надо сделать: выпустить боевой листок, произнести речь, принять кого-нибудь в комсомол?.. Он был готов на все, лишь бы пробраться на линию огня, а там он покажет силу личного примера. Решение было принято, и на душе полегчало. А физически он по-прежнему чувствовал себя худо: хлеб огромным, плотным комом отягощал желудок, изжога серной кислотой травила слизистую оболочку пищевода. Плевать! Главное — до настоящей войны добраться. Меж тем война уже несколько мгновений смотрела на него впритык голубыми, расширенными от ужаса глазами немецкого солдата.

Петров полз вперед под чиликающими минами и чуть не наскочил лоб в лоб на молоденького, лет девятнадцати, немчика, наверное, такого же лопуха, как он сам, тоже куда-то и зачем-то посланного и залегшего под минами в чужом лесу, тоже не знавшего местности и не натренированного на опасность, на встречу с противником, и, возможно, вовсе не труса, но обалдевшего до паралича от нежданной встречи. Все это Петров осмыслил после, тогда же, увидев перед собой бледное востроносое юношеское лицо под лобастой каской, он тоже остолбенел —

не от страха, от какого-то совсем иного, сложного чувства: тут были и гадливость, острая телесная гадливость к чужой, враждебной, омерзительной субстанции, и почти слезная обида, что немец забрался так далеко, где ему быть вовсе не положено, и смутное отвращение к тому, чем может обернуться их встреча. Но разбираться в своих ощущениях он стал позже, и уже трудно было решить, что пережито на самом деле, а что додумалось после. Тогда же двое мальчишек, столкнувшихся в иссеченном минами лесу, не спуская друг с друга вытаращенных глаз, быстро-быстро заработали локтями и коленями и расползлись, как раки, задом, врозь. Петров остановился, лишь уткнувшись пятками в развилье сросшихся корнями сосен. Тогда он встал, уперся грудью о низкий, пружинистый сук, и его вырвало — всем теплым ржаным хлебом, кровяной колбасой, спиртом, голубоглазым немцем и самим собой. После этого ему стало чуть легче.

Ну, а что должен был он сделать? Убить этого хлипкого мальчишку в каске, похожей на ночной горшок? Была какая-то неправда в столь естественном на войне поступке. Он был готов убивать немецких солдат, а не конкретного немца, в чьи глаза успел заглянуть, особенно такого молодого, востроносого и растерянного. Наверное, потом он сможет убить немца любого облика и возраста, но к этому надо прийти. А сейчас ему больше годится амбразура. И тут же испуганно подумал: а не исключает ли только что случившееся — жалкое и смехотворное — амбразуру, и понял, что не только не исключает, но делает насущно необходимой. С этим он и направился на НП для решительного разговора с комиссаром полка. Разговор не состоялся — Петрова ранило. После госпитальные врачи авторитетно утверждали, что то был осколок артспаряда, обрезавший носок левого сапога. Из дыры торчала окровавленная, тоже ровно обрезанная портянка.

В госпиталях — сперва полевом, потом тыловом — с ним возились до тех пор, пока не спасли все, что можно было спасти. Ему грозила потеря ступни, — он отделался частью пальцев, причем самый ненужный, мизинец, вовсе уцелел, а в помощь пострадавшим ему выдали про-

тез-носок с гуттаперчевой насадкой. Хорошая штука, но ему она почему-то мало помогала. Без костыля, потом без палочки он падал, ступая на левую ногу. Вот ведь какая чепуха — нет нескольких маленьких косточек, а человек не может ходить!

Постепенно, еще в госпитале, он научился пользоваться укороченной ступней вполне сносно, чуть подсобляя себе кленовой тросточкой, которую сосед по койке, старый солдат-вологжанин, умелый резчик по дереву, украсил затейливым узором. В госпитале он научился и кое-чему другому, не менее важному. Его не переставала удручать встреча с немцем. Было такое чувство, будто отпущенный восвояси немец и произвел тот выстрел, который выбил его, Петрова, из строя. Он решил никому и никогда не рассказывать об этом случае и в самом себе заглушить унизительное воспоминание.

Смесь из растерянности, отвращения и великодушия могла быть оправдана лишь последующей суровостью воина, беспощадного к врагам и к собственной жизни. Но не очень-то похоже, чтобы ему позволили теперь воплотиться в образ беспощадного воина. Врачи упорно поговаривали о демобилизации. А голубоглазый немчик, если не заплутался окончательно в ничейном лесу, наверняка очухался от потрясения и заиграл автоматом на гибель кому-то из наших. Вот почему недопустимо великодушие па войне. Правда, не стоит брать на себя лишнее — великодушия в его поступке не так уж много, совсем чуть-чуть, по все-таки было, а еще хуже все остальное — растерянность, душевная квелость, смятение и черт знает что еще.

Сам не понимая зачем, в одну из бессонных ночей, когда снотворное не могло пересилить боли в отрезанных пальцах, Петров доверился соседу по койке, старому солдату вологжанину. Старому солдату было едва за тридцать, но он воевал уже третью войну: был под Халхин-голом, на финской и с первого дня впрягся в Отечественную. Солдат выслушал его спокойно, не перебивая, лишь порой скрываясь под одеялом, чтоб сделать затяжку — в палате курить запрещено, — и, мельком усмехнувшись, сказал: «Это что! В первом бою, когда командир нас поднял, я все портчонки замочил. Хорошо, в степях солнце

горячее — обсохло, ребята не заметили». У Петрова что-то оборвалось внутри — пусть не впрямую, но старый солдат уподобил его поступок этому крайнему сраму. «Да я не от страха, — сказал он с тоской. — Сам не пойму с чего». — «А это и есть страх, когда сам не поймешь с чего. На войне многое так делается, и кабы только рядовыми! Потом, конечно, пообвыкнешь, хотя, чтоб вовсе страх прошел, такого не бывает. И ты не верь, если кто загинать начнет. Я четыре раза награжденный, обо мне цельная канделашка в газетах написана: бесстрашный воин и всякая фигня. А какое, к лешему, бесстрашие, когда ты весь мясной и мягкий и ничем не защищенный? Чепуха все это, пенá. А чего ты от немца пополз, а он от тебя — удивляться нечего. Тут бы и каждый очумел, когда в первый раз и чуть не рылом во врага ткнулся, — законное дело!..»

Это давало пищу для размышлений, весьма непривычных... В другой раз старый солдат поправил Петрова, когда тот обмолвился, что так и не видел войны. «Как же ты ее не видел, когда здесь лежишь? Небось не с печи свалился. А дезертира ко мне бы не подложили. Другое дело, что повезло тебе здорово, самой малостью отделался. Без пальцéв (у него была манера ставить неожиданные ударения в самых простых словах) на лапе ты за милую душу проживешь, а главное — отыгрался, и совесть спокойна, и всего себя сохранил, без чутóчка». Но совесть-то и не давала покоя Петрову, и он с жадностью вслушивался и неторопливые рассуждения солдата, учитывая их, но не принимая в утоление душевной истомы.

Оправдывая поведение Петрова с немцем и положительно относясь к его краткому пребыванию возле фронта, старый солдат не мог взять в толк, почему, будучи студентом-третьекурсником и располагая отсрочкой, он вообще оказался на фронте. «Не имели они права тебя брать, раз документы на руках!» — «Да я сам!..» — «Ты бы написал куда следует, обжаловал, им бы хвост накрутили! Где это сказано — раз война, все законы по боку!» — возмущался солдат. «Добровольно я, понимаешь, добровольно!» Петрову почему-то стыдно было произносить это соответствующее истине слово. «Мало ли что, — гнул свое солдат, — тебя небось профессора учили, сколько ж

это денег стоило! Нет, должны были доучить тебя до конца...»

Тогда Петров спросил солдата, а если бы, мол, тебя не взяли на войну по призыву, пошел бы ты сам? «Как же это могли меня не взять? Что, я больной или порченый, что, у меня глаз кривой или грыжа в паху?» — «Да нет, просто так, не взяли — и все!» — «Так не бывает. Кто же тогда врага отгонит?» — «Другие, — втолковывал ему Петров. — Считай так: народу хватает, и тебя оставили дома на развод. Пошел бы ты сам?» — «А без меня не может хватать, — возражал солдат. — Кто же на моем-то месте будет?» — «Свято место пусто не бывает, другой там будет, не хуже тебя, а может, и получше», — подначивал Петров. «Это, что ль, как в старину — богатые мужики за сынов своих в солдатчину некрутов покупали?» — усмехнулся солдат. «Ну, хочешь — так, хочешь — просто обошли тебя, забыли. Или, скажем, перебор произошел, и тебе говорят: ступай домой, без тебя справимся». — «Мое почтение! — заулыбался щербатым ртом солдат, и как-то распустилось, расслабилось его жесткое, подбористое лицо. — Со всем нашим удовольствием!»

Ясности разговор не дал: чтобы прийти к последнему, потребовалась слишком долгая и хитрая работа, — израненный и утомленный беспрерывными войнами солдат упрямо отталкивал спасительную руку. «А кто же на моем месте будет?» — вот оно главное! Перед солдатом не стояло проблемы: идти, не идти, а все умозрительные предположения яйца выеденного не стоили. Петров же мог пропустить войну мимо себя, но не захотел этого, и, что бы ни говорил солдат, правильно поступил. А вот то, что у него не получилось толка, — дело другое.

Рассуждения старого солдата мудры и оправдательны, но куда вернее его же: «А кто на моем месте будет?»

Из госпиталя его отправили на комиссию. Годен к нестроевой службе в тылу — было заключение. Поглядев на его огорченное лицо, председатель комиссии сказал: «Вы студент-третьекурсник, вас охотно демобилизуют». Но этого как раз ему и не хотелось.

Возвращение в Москву осталось одним из самых жалких воспоминаний его жизни. Он словно предчувствовал

это и не сообщил жене о своем приезде. Он решил поехать сперва к матери, перевести дух и собраться нацельно. Но, выходя из вагона на Ленинградском вокзале в числе других военных людей — отпускников, командированных, инвалидов, пронизанный чувством дорожного братства с ними, крепко и ладно ощущая всю свою солдатскую одежду — шершавую шинель с зелеными фронтовыми погонами, кирзовые сапоги, плотно натянутые на ватные брюки, и самодельную фуражку, которую выменял в госпитале на ушанку, ловко опираясь о кленовую тросточку и поддерживая большим пальцем лямку рюкзака, он пожалел, что жена его не встречает. Все мальчишеское, сохранившееся в нем, возжаждало этой встречи — фронтовика с верной фронтовичкой. Но когда он случайно угодил в раму высокого зеркала в зале ожиданий, то чуть не застонал от унижения. Навстречу ему с мутной пыльной поверхности ковыляла неуклюжая фигура какого-то ряженого. Из необмявшегося, огромного, как хомут, воротника куцей шинельки торчала тонкая цыплячья шея, на странно большой голове сидела милицейская фуражка, — за неимением малинового околыша кустарь-картузник поставил бордовый, а тулья отливала синевой, на боку нелепо торчала сумка с противогазом, — он сразу увидел, что противогазов здесь также никто не носит, ремень без портупеи провис под тяжестью нагана, грязный вещмешок завершал геройский облик. Ко всему еще в этом шутейном одеянии ему можно было от силы дать семнадцать лет, — школяр, решивший сбежать на фронт, или сын полка, которого не сумели должным образом экипировать.

Он не помнил, как добрался до дома. Когда улеглась первая слезная суматоха встречи, мать сказала: «Боже мой, ты же совсем ребенок! Как я могла тебя отпустить!» А потом полезла в залавок и достала что-то большое, серое, пыльное и траченное молью, что он поначалу принял за одеяло, но оказалось, это старая кавалерийская шинель его давно умершего отца. Мать сохранила шинель с гражданской войны. Таких сейчас не носили: мышиного цвета, долгополая, чуть не до самой земли, с длиннющим разрезом сзади, с заостренными углами ворота и стреловидными отворотами на рукавах, приталенная и хотя

с глухим солдатским запа́хом, но, судя по сукну, командирская, и даже со старомодным воинским шиком. Она села как влитая, прибавив Петрову роста, которым он и так не был обделен, скрыла кирзовые голенища сапог, оставив на обозрение только кожаные головки. Он почувствовал волнение: шинель облегала юношеское тело отца, которого он не знал, разминувшись с ним на пороге сознания и памяти. Она побывала на кронштадтском льду и под Варшавой, спасала отца от холода, дождя и снега, но от пуль спасти не могла, и крестики штопок помечали места, куда входил свинец. Под длинными полами шинели ходуном ходили потные бока усталого коня, на ее ворс падали искры костров. А сейчас эта боевая, продымленная и простреляная шинель послужит годному к нестроевой службе в тылу младшему лейтенанту, что вышел из боя, так и не вступив в него.

Мать достала потемневшие, потрескавшиеся, но все равно великолепные ремни и ушанку с пожелтевшим барашковым мехом и переколола на нее звездочку. Петров нахлобучил шапку, затянул ремни, и мать сказала: «Теперь я вижу, что ты изменился и возмужал». Он и сам с неожиданным интересом пригляделся к своему отражению в зеркале. Ему понравилась худоба смуглых щек и четкая линия прежде раздражающе мягкого рта. С таким лицом можно жить...

Жена и крепко спаянная семья ее довольно скоро доказали Петрову, что он переоценил волевой разрез своего потвердевшего рта. У жены оказались новые друзья. Она никогда не имела близких подруг, предпочитая надежность мужской дружбы. На этот раз в друзьях ходили два молодых богатыря: безбородый Добрыня Никитич, оказавшийся, к удивлению Петрова, флейтистом-белобилетником — у этого Вырвидуба были плохие нервы, и только что отпущенный из госпиталя военный моряк, с широкой грудью и ускользающим взглядом Алеши Поповича. Богатыри смущались Петрова, что поначалу доставляло ему даже некоторое удовольствие, словно доказательство его возмужания и особых прав на Нину. Он любил Нину и привык верить ей, ему и в голову не приходило, что у богатырей тоже могли быть какие-то права на нее. И смущение их было браконьерством.

Нину он любил со школьной скамьи. В девятом классе она переехала в другой район, перешла в другую школу и стала недосягаемой. Все же год с лишним обивал он ее порог, терпеливо и огорченно выслушивая лицемерные сожаления Нининой матери, большой смуглой красавицы, похожей на креолку. Доверчивый, преданный и настырный, он появлялся вновь и вновь, не замечая, что Нинина мать откровенно издевается над ним, — за что она его так не любила? — не постигая охлаждения подруги и тщетно пытаясь найти какую-то свою вину. Он перестал ходить, поняв вдруг, что не может больше видеть ликующую людоедскую улыбку на смуглом лице. Он долго не мог понять, какие силы отвели от него Нину, хотя, конечно, догадывался о существе этих сил.

Они встретились случайно через два года на юге, просто, душевно и грустно. Нина, смуглая, белозубая и большая — вся в мать — стала еще более красива, но уже не девичьей, а зрелой женской красотой, и Петров понял, что по-прежнему любит ее и никогда не переставал любить. Но он даже заикнуться об этом не смел. Нина была на год старше его. В школе эта разница никак не ощущалась, тем более что они сидели за одной партой, — Нина пошла учиться с некоторым опозданием. Он почувствовал эту разницу в дни редких, коротких встреч, когда она переехала в другую часть города. Что-то лениво-покровительственное появилось в ее тоне и во всей манере поведения, словно она знала нечто такое, чего не знал он. Впрочем, так, наверное, оно и было. Встретив Нину после долгой разлуки, Петров поймал себя на том, что относится к ней как к даме. А ведь он, черт возьми, и сам не мальчик, у него был роман с замужней женщиной! Но при Нине эта блистательная победа — не ясно только, чья? — как-то странно обесценивалась. Он таскался с Ниной на дикий пляж и в горы, ни на миг не рассчитывая заинтересовать ее своей тусклой личностью. Но каким-то непостижимым образом заинтересовал.

В день приезда Нина видела его на вокзале, он кого-то провожал. Да, он провожал девушку по имени Таня, с которой познакомился несколько дней назад на море, в шторм. «Она тонула, и ты помог ей выплыть?» — насмешливо спросила Нина. «Это она помогла мне». — «Ты

шутишь». — «Нет, у меня свело ногу, а она прекрасно плавает». — «Ну, а что было дальше?» — «Ничего». Будь он поискушеннее, похитрее, он бы так и не говорил, — в темно-карих, сочных глазах Нины зажегся сухой огонек ревности. «Не лги!» Удивленный, он вяло вспомнил, что они ходили в каньоны. В полнолуние изрезанные глубокими морщинами пади кажутся строем боевых слонов Гамилькара — можно придумать и другой, такой же условный, хотя и соответствующий чему-то образ. А до этого они выпили по стакану плодоягодного вина в ларьке. «Вон какая богатая программа! Меня ты в каньоны не приглашал. Ну, и кто она, эта девушка?» — «Кончает техникум. Работает». — «Кем?» — «Она не сказала». — «Парикмахершей, наверное». — «Не знаю. Едва ли. Она собирается в педагогический. Она очень молчаливая». За весь вечер они не обменялись и десятком фраз. Что еще он узнал? Что Таня живет вдвоем с теткой. Петрову хотелось больше знать о ней, но Таня только улыбалась, а если он слишком наседал, то роняла хрипловатым детским шепотом: «Ну, зачем вам?..»

Непонятная Нинина настойчивость разворошила в нем то, чего ему не хотелось трогать. Почему вдруг кинулся он провожать Таню на вокзал в автобусе, похожем на мятую консервную банку? Между ними не возникло курортной короткости, они не уславливались о встречах в Москве, не обменивались адресами и телефонами. Они попрощались возле домика, где Таня снимала угол веранды, улыбнулись друг другу, а утром он как угорелый примчался на остановку и на ходу вскочил в автобус. После двадцати пыльных и тряских километров молчания он поставил на площадку тамбура вагона ее легкий чемоданчик, она махнула рукой и скрылась за спиной проводницы. Он двинулся вдоль вагонных окон и увидел ее круглое и тугое, как детский мячик, лицо за серым стеклом. Она стала дергать поручни, но окно не открывалось. Она оставила тщетные попытки. В такие минуты даже близким и любящим людям нечего делать друг с другом, тягостная, ничем не заполняемая пустота обрушивается кошмаром. А тут пустоты не оказалось. Жизнь напряглась, и время убыстрилось. Петров вдруг заметил, какие у Тани пушистые глаза. В длинющих нижних и верхних

ресницах покоился ясный свет надежности, серьезности и доброты. Если б поезд не ушел!.. И как только он подумал об этом, лязгнули буфера, и вагон тихо поплыл прочь. Он пошел следом и у обреза платформы заметил, как Таня вдавила висок в раму окна, чтобы дольше видеть его. Ее огромные ресницы склеились слезами. Он и сам чуть не разревелся, а потом выпил мутного рислинга в вокзальном буфете и как-то сразу успокоился. Хорошо, что было коротенькое это знакомство, этот странный и нежный вздох. Сейчас растревоженное Ниной переживание вновь прокатилось по сердцу и погасло уже навсегда. Рядом была женщина, которую он любил с того самого дня, как в нем проснулась душа, большая, яркая, горячая от солнца, женщина, прекрасная ему каждым словом, каждым движением, даже если слово неумно, недобро, а движение неловко. И главное, теперь, когда он совсем ни на что не рассчитывал, эта женщина остановила на нем медленный взгляд сочно-карих, тяжелых глаз.

Они стали близкими. На пустынном берегу, на холодном и влажном заплеске, при далеком, но неуклонно приближающемся мигании электрического фонарика пограничников, обрыскивающих пляж.

Потрясенный, растроганный, благодарный, он сразу простил ей то, к чему внутренне был готов: не первой любовью оказался он у нее. Что ж, мы квиты, уверял он себя, зная, что это неправда. Нина потерпела какое-то поражение в той взрослой жизни, которую начала так рано. Она оттолкнула его не ради сверстника, не ради нового молодого увлечения. То было устройством судьбы, крупной практической игрой, затеянной ею матерью, обожавшей дочь — эгоистически, самовластно и неумно. Отсюда и ненависть к нему красавицы-людоедки, она боялась, что Петров утащит Нину назад в детство, в молодую чушь и бредь. А для нее счастье рисовалось в виде роскошно обставленной берлоги. В своей собственной жизни она возвела могучее здание изобильного, жирного быта на сутулых плечах бесталанного, но трудолюбивого и дьявольски упорного администратора от науки. Нина бессознательно следовала расчетам матери, — рано созревшим девушкам нравятся мужчины много их старше,

причем жизненное положение ощущается не грубо материально, а как знак мужского достоинства. Но что-то не вышло, и сейчас Нина твердой рукой вернула к себе Петрова. Ею двигала и старая привязанность, и желание отомстить матери, не сумевшей устроить ее судьбу, и еще больше — необходимость самоутверждения. Она нарочно преувеличивала бедную, ни в чем не повинную Таню, чтоб создать иллюзию торжества своей неотразимости.

Вороша прошлое после неудачной поездки в переулок на задах консерватории, Петров пытался понять, насколько он был зряч и насколько слеп в те далекие молодые дни. Порой казалось, что чуть ли не с нынешней холодной прозорливостью видел он тайную подоплеку всех Нининых поступков, порой он приписывал себе почти младенческую наивность и доверчивость. Истина находилась не то чтобы посредине, а где-то сбоку. Не стоило вешать на Нину всех собак. Она была по-своему искренна с ним. Он был ей нужен не меньше, чем она ему. Разница состояла лишь в том, что она нужна была ему ради нее самой, а он — для восстановления пострадавшего женского чувства. Она лечилась им от раны, полученной в ином бою. И была благодарна ему за вернувшуюся уверенность в себе, за безграничную власть над ним, за то, что он был так полно и откровенно счастлив с нею. Это она предложила расписаться, когда началась война: «Так нам будет труднее потерять друг друга». Тогда можно было расписаться и развестись в один и тот же день, но Нинина мать отметила этот чисто формальный жест грандиозным скандалом, совместившим трагедийный пафос с кухонной низостью. Видимо, по ее расчетам, полагалось сразу поставить мальчишку на должное место, пусть знает, что хватил кус не по зубам. В дальнейшем так и оказалось, а потерять друг друга ничего не стоило и со штемпелем в паспорте...

Очутившись по возвращении из госпиталя в доме своей жены, Петров обнаружил, что акции его пали почти до нуля. Нина была загадочна, печальна и далека, а теща, то и дело озаряясь каннибальской улыбкой, отпускала шпильки по адресу тех, кому дома не сидится. Наконец

до Петрова дошло, что его уход в армию и намерение вернуться туда же расцениваются почти как шлянье на сторону. Ему было стыдно за тещу, и он упорно делал вид, что не замечает ее придирок. И тут из глубины своей отрешенности, безразличия и начальственной спеси всплыл тесть, поблескивая телескопьей выпуклостью очков. «Какие ваши планы?» — «Вернуться в армию». — «Кем же вы будете служить — кладовщиком, писарем?» — «Кем поставят». — «Я всегда мечтал выдать дочь за кладовщика». И тесть вновь скрылся в непрозрачной глубине.

Похоже, тогда получил он окончательно безнадежную оценку. Его стали откровенно выживать из дома. И странно, при всей своей деликатности он долго не понимал этого. Ему казалось, что Нину смущает ежевечернее гостевание в доме флейтиста и раненого моряка, но она не умеет избавиться от них и потому злится. А еще больше удручена этим теща, человек старых правил. Он стал уходить по вечерам, чтоб не подчеркивать своим присутствием бестактности назойливых визитеров. А нога болела, и он всерьез опасался, что вновь назначенная комиссия начисто забракует его. И своим опасением поделился с Ниной.

— Что же будет? — спросила она с испугом.

— Вернусь в институт.

— А где ты будешь жить?

— Как где?.. Что случилось, Нина?

Она расплакалась бурно, он даже не думал, что она умеет так плакать. Она думала, что он вернется на фронт. Тогда бы она во всем разобралась, поняла бы себя. Возможно, все осталось бы по-прежнему, она любит его, как друга, как прекрасного человека, как свою молодость и все самое лучшее в жизни. И она сумеет преодолеть предубеждение родителей. Но сейчас он далек от нее. Ему не нужно было уезжать, когда все было так еще зыбко, непрочно, да к тому же в такое трудное время. Эти мальчики чудные, и они любят ее, она не может указать им на дверь. Их рыцарственное соперничество бесконечно трогательно. А раз так...

— То на дверь указывают мне, — усмехнулся из своей пустоты Петров. — А кого ты выбрала, надеюсь, не флейтиста?

— Не знаю, ничего не знаю! — снова заплакала Нина. — Давай не будем разводиться. Может быть, все еще наладится.

Он молча пожал плечами, удивляясь, что она придает значение такой чепухе.

Ему помогла отцовская шинель. Он надел ее, затянул поверх ремня и в тугости суконного обжима почувствовал, что обязан быть мужественным. В такой шинели, хотя бы ради прежнего ее владельца, нельзя распускать нюни. Стараясь не хромать, он вышел, спустился по лестнице, и железный февральский мороз остро ударил ему в грудь, перехватив дыхание...

...Они встретились с Ниной года через два после войны. Его вызвали судебной повесткой на развод. В тот день их курс уезжал в Лопасню на картошку. Он явился в суд в старых военных брюках, ватнике и сапогах, чтоб сразу отсюда отправиться на вокзал. Но приехал он в Лопасню с последней электричкой, проведя весь день и вечер со своей, уже бывшей, женой. В суде он держался неловко, обращался к жене по фамилии, вызывая на ее полных, ярко и красиво накрашенных губах сожалеющую улыбку. Но она простила ему все неловкости и глупое смущение, сама же держалась с таким достоинством, тактом и доброжелательностью, словно развод был для нее привычным делом. Хотя они разводились по взаимному согласию, с обтекаемой формулировкой «не сошлись характерами», Петров чувствовал, что выглядит в глазах судей и немногочисленной публики подонком, виновником крушения семьи, а Нина — потерпевшей, но щедро прощающей стороной. Между тем развод был нужен ей, чтобы оформить брак с флейтистом. Петрову больше нравился моряк, но, видимо, сказался приход мира, и нежная флейта осилила военный барабан. Петров не чувствовал ревности к флейтисту, злости к Нине и даже досады на судебную комедию, в которой так плохо играл. За минувшие годы Нина достигла пика формы — величественная, как собор, яркая, как карнавал, она вызывала у Петрова бескорыстное восхищение. Его ничуть не заботило, что он невзрачен и беден рядом с ней, он даже не верил, что когда-то обнимал ее, целовал это жаркое, сверкающее лицо, что эта победная стать нежно покорялась ему. Он

не думал считаться с ней судьбами и своим откровенным радостным восторгом стал вровень с нею. И получил неожиданную награду. Флейтист был на гастролях, и Нина повела его в свою новую квартиру.

Странно, легкое презрение, не мешавшее и упоению, и радости, и удивленному счастью, он испытал только к себе. Нина осталась на пьедестале, совершив необъяснимое, но, видимо, справедливое женское дело. Ей нужен был зачем-то этот жест последнего великодушия к нему, этот «куп де грас», как бы снимающий с него былое унижение. Петров не жалел флейтиста, даже испытал минутное злорадство, но про себя знал: лучше б не было этого ненужного счастья, искупления, мести, этой подачки судьбы...

Потом они не виделись долго, почти всю жизнь. И он ничего не слыхал о ней, она как-то странно канула, впрочем, может быть, это он канул. Они существовали словно в разных измерениях и потому не могли столкнуться в земных координатах. Боже, кого только не встречал он за эти годы! И ветеранов своего дворового детства, и однокашников, и университетских товарищей, и немногочисленных фронтовых друзей, — раз даже мелькнул на платформе Малой Вишеры старый солдат, то ли не узнавший его в окне поезда, то ли не заметивший; он натыкался — всегда не во время — на своих мимолетных подруг, сталкивался с полузабытыми фигурами из ненужного круга курортных знакомых, мужественно отбивался от дальних родственников, но никогда не видел Нины, даже легкого следа ее, хоть промелька тени. О ней никто не упоминал в разговоре, а ведь на слуху у каждого человека ежедневно сотни знакомых и незнакомых имен, и даже богатырь-флейтист — косвенный знак ее присутствия в мире — ничем не напоминал о себе. А ведь ребята зверски насиловали телевизор, проигрыватель и транзисторные приемники. Но, может быть, он, Петров, забыл или перепутал его имя, а флейта звучала в эфире? Уж не умерла ли Нина? — спрашивал он себя порой, но горечь, оставшаяся на губах от дней юности и не смягченная милосердной подачкой более поздних лет, не давала места печали. Он излечился от Нины и думал о ней хуже, нежели в ту легендарную пору, когда прошлое было его

мучительно свершающейся жизнью. Но, столкнувшись с ней случайно на улице, он разом растерял накопленное годами спокойствие и независимость.

Петров отправился на рыбалку с товарищем детства. Едва выехали, возникла вечная тема всех подобных предприятий — горючее. Товарищ ничего с собой не взял, и Петров тоже — он рассчитывал на буфет. Но буфет откроется только завтра, в субботу, и самый приятный, неусталый ужин пройдет всухую. Подъехали к гастроному. Петров взял деньги, в неположенном месте перебежал улицу и скрылся от свистка дружинника в магазине, откуда вышел счастливым обладателем бутылки «экстры» и двух пачек сигарет «Шипка». Он силился засунуть бутылку в карман ватных штанов и почти преуспел в этом, когда услышал звонкий женский голос:

— Ну, надо же!.. Ах ты, пропащая душа!..

Он скользнул взглядом окрест себя и увидел Нину. Она была в том же самом черном каракулевом пальто, что и в последний раз, перешитом по моде и удлиненном, в высоких кожаных сапогах и вязаном берете, открывавшем ее смуглое, горячее лицо в обрамлении каштановых прядей. Первовидение дало обман чуда: время пощадило ее, не состарив ни на год. Но достаточно оказалось нескольких минут, чтобы обнаружить печальные следы перемен: гусиные лапки у глаз, дряблость подбородка, темные родинки на шее, тусклоту прежде блестящих волос, коронки на зубах. Все же в своем возрасте она была еще хороша, в ней легко прочитывался юный облик. И неприсущая ей прежде оживленность красила ее.

Взволнованность Нины передалась ему, выбила из колеи, повергла в душевное и умственное смятение. Быть может, это помешало и его наблюдательности, и способности к выводам, и даже угадыванию интонации. Все, что она говорила, звучало ликованием удачи. С флейтистом они давно расстались. Пирожок оказался ни с чем. Бог с ним! Ее мужем стал моряк, помнишь?.. О, они жили прекрасно! У них сын уже в восьмом классе. Круглый отличник. Но и с этим мужем она разъехалась два года назад. Так получилось. Сейчас живет довольно далеко

от центра, в Кузьминках. Но метро рядом и прекрасный воздух!..

— Ну, а ты? — участливо спросила она, и звонкий голос сник.

— Что я... живу, — он еще брал разбег для более вразумительного ответа, когда она сказала, странно блеснув глазами:

— Похоже, опять едешь на картошку?

Чуть отстранившись, она жадно оглядывала его раздобревшую фигуру в тесном засаленном ватнике. Большие карие глаза не пропустили ни дыры на локте, ни оборванной пуговицы, скользнули по вязаной шапочке, резиновым, подвернутым ниже колен сапогам и задержались на торчащей из кармана бутылке.

— Она — матушка?.. — И эта незаконченная вроде бы фраза подвела итог ее наблюдениям.

«Да она принимает меня за алкаша! — осенило Петрова. — Ей кажется, что она все про меня поняла. Но почему она не дала мне толком ответить? Для работяги, идущего со стройки, мой вид вполне позволителен, но для человека так называемой интеллигентной профессии настолько нетипичен, что следовало хотя бы не торопиться с выводами. С какой безжалостной быстротой произвела она меня в потерпевшего полный крах человека! Почему так легко поверила самому плохому? Значит, в непрекращающемся счете со мной ее устраивает лишь крайняя степень моего падения. Стало быть, и самой ей не больно сладко?»

Да! Наконец-то навел он фокус. Рядом с ним стояла немолодая, поблекшая женщина в потертой шубейке, с которой уже ничего не могли поделать все ухищрения перекройки и перелицовки. Дешевая косметика: свалявшаяся в шарики тушь на ресницах, полустершаяся лиловая помада и грубая пудра лишь усугубляли разрушительную работу времени и разочарования. Жизнь давно выпустила Нину из теплых объятий на холод и сквозняк, и, поняв это, Петров уже не хотел ни в чем ее разубеждать. Он усмехнулся и развел руками, словно признавая справедливость горького упрека.

— Ты никуда не торопишься, — решила Нина. — Проводи меня до дома. Мне хочется поговорить с тобой,

а мой хозяин ненавидит, когда я шляюсь, — она подчеркнула последним словом абсурдность ревнивых подозрений «хозяина».

То был отставной полковник, которому по сложным квартирным и семейным обстоятельствам никак не удавалось стать ее законным мужем. Прекрасный человек, любит ее сына, как родного, быть может, не без военного педантизма, но зато непримиримый враг всяких рюмочек и закусочек.

С глуповатой ухмылкой Петров принял намек, все более подчиняясь навязанной ему роли.

Когда они сели в вагон, он вспомнил о товарище и устало выплеснул его из головы. Вагон как-то разобщил их с Ниной, хотя они сидели рядом. Она то рылась в хозяйственной сумке, то говорила что-то пустое — для самой себя, а не для собеседника, о домашних делах. Но иногда они вдруг улыбались друг другу, прежнему своему, давно умершему, похороненному и не оживленному встречей.

Уносясь все дальше к ненужным Кузьминкам, Петров чувствовал себя героем фарса, но это не веселило, даже когда он пытался взглянуть на происходящее из будущего. Что-то тут мешало спасительному юмору.

Они вышли из метро, и Нина вдруг запретила провожать себя дальше. То ли боялась ревнивого «хозяина», то ли, что вернее, не хотела попасться на глаза соседям с таким непрезентабельным спутником. «Неужели ни ей, ни ее близким никогда не попадалась моя книжка или хотя бы статьи в журналах и газетах? — подумал Петров. — Впрочем, у меня настолько распространенная фамилия, что она могла и внимания не обратить. Но возможно и другое, она допускала совпадение мое с Петровым, который пишет и о котором пишут, и боялась, не хотела этого. Отсюда ее неделикатность и радость, когда она обнаружила во мне доходягу. Она так и не спросила, чем я занимаюсь, как живу. А ей это ни к чему — успокоительный образ банкрота налицо и не нужно ни осложнять, ни колебать его».

— Прощай, — сказала она, — теперь уж мы едва ли встретимся.

— Почему? — спросил он, сильно и полно жалея эту женщину, так уверенно и нераскаянно прошедшую мимо его любви, мимо всего, чем был он.

— Сколько же ты собираешься жить? — холодно сказала она и ушла в своей вечной шубке, равнодушной, чуть в раскачку, не играющей в молодость походкой.

Она ушла, а он приказал себе не думать о ней сейчас, не резать по живому. Скорее назад, к верному, чертыхающемуся на чем свет стоит, но все же не бросившему его товарищу.

...Конечно, не встреча с Ниной заставила его так остро и трудно почувствовать возраст, это зрело в нем исподволь, скапливалось неприметно. Очки, неумолимая бессонница, острая обидчивость и стремление рвать отношения, когда еще возможно объяснение, ненависть к книгам с плохим концом и раздражение на их авторов — это и многое другое, отдающее старческим чудачеством, ощущалось Петровым смиренно и твердо, как переход в иной возрастной климат. Встреча с Ниной, словно катализатор, завершила постижение неумолимого процесса. Теперь он окончательно знал, что будущее, в котором можно что-то исправить, выяснить, хоть исплакать, не существует для него и тех, кто создавал и наполнял его душевную жизнь. А он, оказывается, еще на что-то рассчитывал. На что? На возвращение былого? На раскаяние?.. Воздаяние по заслугам?.. Какая чепуха, он никогда и в мыслях этого не держал. Да! И все-таки смутная, черт знает куда загнанная надежда на какой-то душевный реванш, видать, существовала, и не надо обманывать самого себя. Скажем так: надежда на обретение последнего покоя, не в лермонтовском смысле — под сенью дуба, в земле, а прижизненного покоя. Но все это рухнуло за каких-нибудь полчаса. Оказалось, ему ровным счетом ничего не нужно от чужой и чуждой женщины, которую он проводил на метро до Кузьминок. Напротив, он сделал все возможное, чтоб оставить ее в спасительном неведении. Таков был конец истории, начавшейся за изрезанной перочинным ножиком школьной партой.

Но как же сильна была она в нем, если и сейчас случайная, пустая, нелепая, смехотворная встреча вывернула его наизнанку! И как сумел он уцелеть тогда, когда вы-

шагнул от Нины в морозную щемящую пустоту в траченной молью кавалерийской шинели, припадая на больную ногу, не солдат и не штатский, недоучившийся студент и уволенный в глубокий запас муж, щенок, не умеющий даже огрызнуться? И ведь у него мелькала мысль о самоубийстве, и мать, все молча понимавшая, спрятала куда-то наган.

Вот тогда-то и возник дом вблизи консерватории. В переулке, где он, коренной москвич и городской шатала, почему-то никогда не бывал. Забытый дом стоял в начале забытого переулка, если считать со стороны Никитской площади. Впрочем, Никитская тут ни при чем, они попали в переулок каким-то проходным двором. Почему память так старательно стерла географию события? Чтобы не было пути назад, чтобы не сделаться иждивенцем чужого милосердия, чтобы золотой лучик не погас в мути ненужной суеты?

Случайность, непреднамеренность, хаотическая бесцельность происходящего с тобой настолько утомляет и обессиливает душу, что начинаешь искать значение символа там, где всякое значение заведомо отсутствует. Убеждаешь себя, что жизнь запрограммирована хотя бы в главных, опорных пунктах, на самом же деле ты просто участник броунова движения — беспорядочной толкотни человеческих молекул. Неожиданный толчок бросает тебя вперед, или вбок, или назад, а там другой толчок, и ты несешься в прямо противоположную сторону, а потом с глубокомысленным видом пытаешься постигнуть смысл своих движений. Все это так, но разрази его гром небесный, если он когда-нибудь поверит, что встретил Таню случайно.

А было так. Все еще находясь под угрозой демобилизации, он пытался вернуться на фронт через Главное Политическое управление. И вот, выходя после очередного уклончивого ответа из подъезда на улицу Фрунзе, он столкнулся с какой-то девушкой. Шагнул в сторону и вновь наскочил на нее. Он буркнул: «Извините!» — и снова уперся в тонкую, стройную фигурку. Он знал, что значит в психопатологии обыденной жизни такая вот довольно распространенная уличная неловкость, когда двое прохожих начинают топтаться друг перед другом,

мешая пройти, и разозлился на себя. Но после новой тщетной попытки разминуться с облегчением понял, что не виноват, это девушка затеяла игру. Он вынырнул из своего душевного подвала, взглянул ей в лицо и не сразу, а через ощутимые мгновения — череда воспоминаний: море, сведенная нога, каньоны, пыльный вагон, обрез вокзальной платформы, слипшиеся от слез ресницы — узнал Таню.

— Боже мой, Таня, это вы?

Она ответила кивком головы и взмахом ресниц: да, я.

И тут он на миг усомнился в этом. Повзрослевшее лицо ее совсем не походило на тугой детский мячик, оно опало, побледнело, смягчился угол крепких скул, да и весь абрис женственно помягчал, лишь золотистые глаза в длиннющих, пушистых, «махровых» ресницах остались теми же — юными, ясными, добрыми.

— Какими судьбами? В институт?.. Из института?.. В библиотеку? — В руках у нее был небольшой, туго набитый портфель, и он молол языком, чтоб заглушить поднявшуюся в нем непонятную боль.

Таня смотрела на него с улыбкой. И вообще-то молчаливая, она не пыталась прервать это словоизвержение.

— Как вы повзрослели! Вы были тогда еще школьницей. Нет, что я говорю! Вы учились в техникуме. Учились и работали. И собирались поступить в педагогический? Верно? — Он спрашивал и сам отвечал. — А жили вы вдвоем с теткой. Видите, я все помню. И спасение на водах тоже помню!..

— Что с вами? Как вы? — произнесла она тихим и каким-то сострадающим голосом.

Он даже чуть отшатнулся, — интонация словно подразумевала, что она знает о его неудачах. Да нет, откуда ей знать! Хотя... палочка в руке, хромота, одинокая звездочка на погоне — все это не могло служить приметами успеха.

— Да вот, — сказал он с неловкой улыбкой. — Кутузова из меня не получилось... Филемона тоже, — добавил он, тускло радуясь, что второй образ до нее не дойдет.

— А может, дело в Бавкиде?

— Что вы знаете о Бавкиде? — пробормотал он.

— Ничего.

— Откуда вы знаете, что я был женат... Собственно, не был, а есть... Хотя, по правде, я уже и сам не знаю... — Он запутывался все больше и, разозленный, сказал почти грубо: — Вам что-нибудь известно о моей жене?

— Нет.

— Почему же вы сказали о Бавкиде?

— «Филемон и Бавкида». Мы проходили.

— Ну и что с того! Почему вы решили, что она виновата?

— Конечно, она.

— Почему не я?

— Вы — нет! — она сделала рукой жест, словно защищалась от пущенного в лицо снежка. — Вы — праздник!

Петров расхохотался. Он отчетливо видел себя всего, как будто перед ним держали зеркало, отражающее не только его внешнюю, но и внутреннюю суть. Он так мало стоил в собственных глазах, так неценен был и себе, и другим, во всех измерениях и плоскостях, что неожиданное уподобление его празднику вызвало в нем почти болезненный приступ смеха.

Она терпеливо смотрела, как он смеется, чуть покачиваясь верхней половиной туловища, как вытирает слезы носовым платком, а потом сморкается в тот же платок, прячет его в карман, и, обессиленный, успокаивается.

И вот так устроен человек, особенно когда человек молод и душа не высохла в нем, как осенний лист: из своего смеха Петров вернулся другим. Не то чтобы он поверил в себя как в праздник, но некая иная возможность его образа забрезжила ему. Этой девушке не было никакой нужды льстить ему, говорить неправду. Преувеличивать немного — другое дело. Она расположена к нему, их короткая давняя встреча запомнилась ей добром. И он помнил бы Таню сильнее и лучше, если б ее не заслонила своим большим и важным существом Нина. Да что все — Нина, Нина!.. Довольно Нины. Хоть минуту пожить без нее. Вот он стоит, никем и ничем не связанный, а перед ним этот божий подарок, девушка с пушистыми глазами, полными света и доброты. Впервые за многие месяцы младшего лейтенанта что-то отпустило внутри.

— Давайте я вас провожу, — предложил он.

— Я только сдам книги, — сказала Таня.

— Я подожду вас.

Она благодарно провела узкой рукой в перчатке по обшлагу его шинели. Он хотел попросить ее идти не очень быстро, но она сразу и естественно попала ему в шаг.

Он настроился на длительное ожидание возле серых стен студенческой библиотеки, но она вернулась тотчас же — сдала книги и не стала заказывать новых.

Они пошли по вечереющим улицам. Она держала его под руку, и маленькая ее рука нагрела ему локоть через сукно. Для всех людей получение взаимной информации— путь к сближению — любовному, дружескому, соседскому или деловому. Но Таня не нуждалась в каких-либо сведениях, кроме тех, которые не создавались из самого присутствия человека, и не считала нужным что-либо сообщать о себе. В этом была мудрость: важна живая суть человека, а не то, что он о себе думает. Ведь если всерьез, — не бывает объективной передачи фактов, а лишь замаскированное более или менее отношение человека к этим фактам, иначе — к самому себе. И коль факты лично тебе неведомы, то и о человеке ты тоже ничего не узнаешь. А если тебя в самом деле интересует человек, из его молчания, отрывистых, чисто бытовых слов, равно как из всплесков сиюминутного чувства, жестов, походки, взглядов, улыбок ты узнаешь неизмеримо больше о нем, нежели из самой подробной устной анкеты или рассказов о тех обстоятельствах жизни, которые тебе начисто неизвестны.

Но, увы, далеко не сразу осознал он Танину правоту. А до того долго и деланно рассуждал о месте человека на войне, нарочито бесстрастно и полуискренне говорил об отношениях с женой, приведших к разрыву. Таня не помогала ему ни одним вопросом, ни словом оценки, согласия или несогласия. Ей вполне хватало зримой очевидности: его хромоты, палочки и свободы, позволяющей шататься по городу и не спешить к другой женщине.

«Скрытная она, что ли?» — удивлялся Петров, злясь на свою болтливость, отнюдь не чрезмерную, если бы у него был собеседник. Но Таню и вообще так не назовешь, она сомолчальница. Ну, а замолчи я тоже? Так и будем вышагивать Москву, словно за похоронными дрогами?

Но проделать опыт не решался. А Таня вовсе не была скрытной, на каждый в лоб поставленный вопрос она отвечала с легким вздохом — прямо и четко. Родители умерли. Давно. От скоротечной чахотки. Брат пропал без вести. Ее тетка старая дева. Они живут вдвоем. В институт она пошла не по выбору, а куда легче поступить.

Все эти сведения ни на волос не приближали его к Таниной сути, но удержаться было выше его сил. «А разве вы не могли избрать специальность по влечению?» — «Нет». — «Почему?» — «Меня не влечет ни к одной специальности». — «Но к чему-то вас все-таки влечет?» И, спокойно повернув к нему лицо с пушистыми ресницами, сейчас белыми от снежинок, она сказала:

— К вам.

И тут он наконец замолчал из уважения к ее признанию и познал благость молчания.

Как же прекрасна тишина, возникающая между двумя! Они шли вдоль Москвы-реки, останавливались и смотрели на черную дымящуюся воду, кое-где прихваченную у берегов желтоватым льдом. Перед ними медленно всплывали в темнеющее небо аэростаты воздушного заграждения, и, казалось, им тяжело и страшно подниматься туда, в пустоту над крышами и трубами, они по-осиному складывали толстое тело. И глубок, почти нетронут был голубоватый снег на тротуаре вдоль кремлевской стены, а на проезжей части набережной изжеван до асфальтовой протеми шинами и гусеницами военной техники. И не по-городскому сахаристо белел снег на ветвях деревьев и в зубцах крепостной городьбы. Прохожие попадались редко — еще не кончился рабочий день, да с реки тянуло холодным ветром, и не было тут жилья — лишь стены, стены, а в разрывах — площади, и пешеходы, оберегая свое скудное тепло, не забредали даром на набережную.

Потом они миновали стену Китай-города и через Китайский проезд вышли на площадь Ногина, оттуда плетением каких-то переулков, припахивающих ладаном из действующих церквей, вышли на Яузский бульвар и совершили восхождение к площади Пушкина. Этот путь Петров всегда считал «восхождением», хотя на самом деле ты совершаешь спуск. Но путь к памятнику Пушкина

для настоящего москвича может быть только путем наверх. И когда они подошли к Таниному дому в начале Большой Бронной, ему казалось, что он много, очень много узнал о своей спутнице, хотя редкий словесный переброс касался лишь обстава долгой прогулки. Нет, еще выяснилось, что тетку, с которой она живет, зовут «тетя Голубушка».

У подъезда бес витийства снова овладел Петровым, наверное, от страха, что все кончилось и он опять останется наедине с собой. Как хорошо было бы встретиться небольшой, доброй компанией, посидеть и выпить. Послушать музыку, потанцевать, провести довоенный вечер. К чему он все это нес? У него не было возможности собрать компании — негде и не на что. Дома — прихварывающая мать, а пол-литра на рынке стоило пятьсот рублей. Музыки, кстати, у него тоже никакой не имелось, равно как и друзей. Истинным во всем этом бессильном трепе было одно — ему хотелось снова увидеть Таню.

— Через неделю годится? — вдруг спросила она.

— Годится... — проговорил он растерянно. — А где?

— Найдем. В восемь вечера можете?

— Боже мой, когда угодно! Я же ничего не делаю. Но почему так поздно?

— Так, — улыбнулась Таня. — В восемь ноль-ноль приходите сюда.

Он засмеялся, услышав этот воинский и лаконичный язык, козырнул и пошел восвояси, тут только почувствовав, как натрудил раненую ногу.

...На Тишинском рынке Петров обменял свою сомнительную фуражку на бутылку вина. В должный час он был возле Таниного подъезда, она уже ждала его с двумя авоськами в руках.

И тут в памяти начинается ералаш. Когда человек что-то значил для Петрова, он очень сильно, слишком сильно ощущал его присутствие. До утраты самостоятельности, словно под гипнозом. Если б он встретился с кем-нибудь другим, то наверняка запомнил бы несложный путь от Большой Бронной до переулка на задах консерватории. Но окружающее едва просвечивало сквозь тонкую Танину фигуру, да и то вспышками. К тому же шли туда не прямо, а сперва повернули в сторону Патриарших

прудов и там на каком-то углу забрали Танину приятельницу Инессу, рослую девицу с западающим взглядом. Петров не сразу понял, что Инесса косила. Для маскировки на пол-лица у нее был сброшен рядок темных волос. Но это мало помогало, оставшийся открытым глаз старался за двоих, он то закатывался под лоб, то заваливался к переносью, то почти исчезал, оставляя на обозрение голубоватый, блестящий и полный, как глобус, белок. Косина Инессы целиком завладела его вниманием. Таня существовала для него словно в безвоздушном пространстве. Немногие скупые сведения, сообщенные ею, говорили лишь об одиночестве, которое и без того угадывалось. И — вот первая материальная и одушевленная спутница ее существования, к тому же снабженная столь резкой и назойливой приметой, близкая подруга, повереппая ее тайн. Но последнее определение он тут же отверг. Было очевидно, что Инесса ничего не знает о нем. Он был для нее тем бесформенным и неопределенным, что называется обычно «мой знакомый» или «один парень». И, тяготясь этой призрачностью, он поторопился снабдить Инессу краткими сведениями о себе. В свою очередь Инесса сообщила, что преподает в музыкальной школе по классу скрипки. Петров смущенно обнаружил, что можно было прекрасно обойтись без этого обмена, ничего не открывающего в тайне человека. Как быстро выветрился из него недавний урок!

Тусклая болтовня с Инессой заняла его настолько, что он не заметил, как они очутились в узком переулке, чисто и гладко устланном снегом. Снег блестел под луной, деревья высовывали из-за оград темные ветви. В синем маскировочном свете, освещающем номера домов, медленно проплывали крупные снежинки. Ему понадобилось зачем-то нарушить благословенную тишину этого заснеженного переулка ненужным вопросом:

— Куда мы идем?

— Увидите, — сказала Таня.

— К Игорьку, — сообщила суетная на его же лад Инесса. — Мировой парень! В энергетическом учится. На четвертом курсе.

Ну, а учись Игорь в другом институте или на другом курсе, что изменилось бы? Неужели он повернул бы назад?

Так же мало стоило определение «мировой парень» — люди по-разному видят друг друга. Петров с уважением поглядел на Таню. Надо иметь мужество жить так вот, молча, не подменяя и не предваряя словами сути переживания, не думая защититься, укрыться, спастись от жизни с помощью слов. Он вышел из среды, где словам придавалось слишком много значения. От Нины легче было добиться нежности, поймав ее в словесную ловушку, нежели порывом искреннего чувства.

Они долго поднимались по крутой и темной — хоть глаз выколи — лестнице, и он боялся загреметь с авоськами на скользких, обшарпанных ступенях. Его удивляло, что подъем так затянулся, дом снаружи представлялся двухэтажным. Затем была остановка и нашаривание звонка по холодной клеенке с металлическими кнопками, по дверному ребрастому косяку и шершавой мерзлой стене. Наконец палец поймал круглую кнопку, жалобный звук раздался потерянно далеко, в глубине незнакомого жилья, вертикальная прорезь света обернулась золотыми воротами, и мягкий, гостеприимный голос сказал: «Прошу! Прошу!» Лицо открывшего Петров не сразу разглядел, ослепленный резким переходом от кромешной тьмы к свету. Последовала непременная возня в прихожей, — у кого-то оборвалась вешалка, куда девать авоськи? — и чуть неловкое вступление в обиталище с большим оранжевым абажуром и хорошо протопленной кафельной печью — теплая, уютная ячейка человеческого существования, обманчиво изолированная от большого мира.

— Моя хаза, — с улыбкой сказал Игорек.

Он был чуть выше среднего роста, плотный, с правильными, незапоминающимися чертами лица и пластичными движениями. Было приятно смотреть, как он собирает на стол, — их приход застал его за этим занятием. Инесса тут же принялась помогать. В гнедом шерстяном, туго обтягивающем платье, с могучим крупом и крепкими ногами, Инесса наводила на мысль, что кентавр не обязательно мужского пола.

И было досадно за суматоху на ее лице, так противоречащую гармонии мощной стати: серо-голубой глаз резвился в гнезде, наделяя хозяйку то лукавством, то веселой дерзостью, то горестной обидой. Приходилось одергивать

себя, чтобы не отозваться на непроизвольную смену выражения Инессиного лица.

— Инесска — сила! — доверительно шепнул Игорек, когда та вышла зачем-то на кухню, где хозяйничала Таня.

— Сила! — подтвердил Петров.

— Жаль, не хочет глаза исправить! — вздохнул Игорек.

— Почему?

— Боится, что на слухе скажется. Слух ее кормит.

— А какая связь?

— По-моему, никакой. Но пойди — убеди ее!

Петрова попросили открыть бутылки, после чего освободили от всех обязанностей. Его донельзя удивила изобильная закуска. Он успел забыть, что такое бывает на свете: копченая колбаса, ветчина, швейцарский сыр, баночка сардин. В Нинином доме со дня объявления войны стали готовить на касторовом масле, хотя залавки ломились. Они же с матерью жили на «служащую» карточку, продаттестат никак не удавалось оформить.

— Где мы и когда мы? — сказал Петров. — Может, война нам только снилась и сейчас мы проснулись?

— Я сам ничего не понимаю, — поддержал Игорек, — откуда девчонки раздобыли такой харч!

— Кочумай! — сказала Инесса, что на музыкальном языке означает: помалкивай.

Игорек поставил пластинку.

Ночью в одиночестве безмолвном
Помни обо мне, —

взмолился рыдающий голос Кето Джапаридзе. Петров пристально смотрел на кончик папиросы. Войны нет, казалось ему, и он еще ничего не знает о себе. Не знает, что даст уйти врагу, столкнувшись с ним глаза в глаза, что даст уйти любимой женщине, не столкнувшись с ней глаза в глаза, не знает, что счастье вовсе не обещано ему от рождения, да и многого другого, о чем только начинает догадываться сейчас.

Если мы расстанемся с тобою,
Помни обо мне.
Если будешь счастлив ты с другою,
Помни обо мне.

А ужасно, если так и будет на самом деле, откликнулся он певице. Какое же это счастье с другою, если все время помнишь о прежней. Да и вообще, что это за состояние такое — быть счастливым? Сейчас ему кажется, что в дни Нины он все время был счастлив. Но разве ощущал он это счастье, так вещно и так неотрывно, как нынешнее несчастье — из часа в час и из минуты в минуту? Конечно, нет! Было счастье близости, а в остальное время внутренняя свобода, когда он был открыт всей полноте жизни и внутри этой широкой внешней жизни мог испытывать любые чувства: гнев, горе, ненависть, даже влюбленность. О несчастье помнишь все время, о счастье же, когда оно есть, забываешь. Ладно, хватит мерихлюдий! Он не сумел бороться за женщину, так будет бороться против женщины, тем более что у него оказался такой сильный союзник, как спустившаяся с неба в должном месте и в должный час Таня.

...Петров помнил, что, слегка захмелев, пытался выразить Тане свою благодарность, но она сказала как-то очень серьезно:

— Не надо. Прошу вас, не надо.

— Мне хочется, чтобы вы поняли, насколько...

— Я очень, очень прошу! — сказала Таня.

Он был так уверен, что не заслуживает копченой колбасы и швейцарского сыра, теплой печки и доброго отношения, что, наверное, не внял бы и этому предупреждению, но тут Инесса запела сильным, носовым, подчиненным безупречному слуху голосом, аккомпанируя себе на стареньком пианино:

Жили два товарища на свете,
Хлеб и соль делили пополам,
Оба молодые, оба Пети,
Оба та-ра-ри-ра, та-ра-там...

Инесса знала много смешных песенок и душещипательных романсов, лучше которых ничего нет, когда так нужно короткое забытье, и тут бессильны Бах и Моцарт, Бетховен и Брамс, тут на вершине «Полонез» Огинского. а внизу цыганщина и «жестокие» романсы.

Бывают в жизни встречи,
Любовь лишь только раз,
Я в тот далекий вечер
Любил безумно вас... —

пела Инесса, закидывая назад голову, и лицо ее с закрытыми глазами было скульптурно красиво.

— Эх, Инесске бы полипы вырезать, как бы она пела! — влюбленно шепнул Игорек.

— Почему она не вырежет?

— Боится слух потерять.

Тут Петров спохватился, что подобный разговор уже был, и не стал спрашивать, какая связь между слухом и полипами...

...Петрова удивляло, что его появление в этой дружной компании не вызывает ни малейшего любопытства. Ни Инесса, ни Игорек ни о чем его не спрашивали, не наблюдали исподволь, что было бы вполне естественно, не пытались проникнуть в суть их с Таней отношений. И ведь он был как-никак человеком с войны, но и о войне не упоминалось. Лишь Игорек вскользь обмолвился, что ему надо идти на очередное переосвидетельствование. У этого спокойного, добродушного парня не было проблемы амбразуры. Петров догадывался, что за деликатностью его новых знакомцев стоит жесткий приказ: оставить человека в покое! Он даже слышал интонацию Таниного тихого, немного сипловатого, когда в полшепота, и серебристо-ясного, когда с нажимом, голоса, каким она отдавала команду друзьям. Большая, фигуристая, щедро озвученная Инесса была в подчинении у своей хрупкой подруги, в радостном подчинении, что чувствовалось сразу, хотя и не найдешь тому явных доказательств. Так подчиняются не силе, не более активному, целеустремленному характеру, а высокому чину душевного благородства. Но приказ приказом, а все же Таня должна была как-то объяснить его своим друзьям. Вернее, определить свое к нему отношение. Подбитый войной человек, неудачник в личной жизни — отличная точка приложения рычага жалости. И, уважая Танину сострадательность, они ведут себя с ним осторожно, как с больным. Это немного грустно, немного скучно и немного противно. Стоп! Таня не сделает ничего противного, тайно унижаю-

щего человека. Конечно, она могла сказать своим друзьям: не надоедайте ему, дайте спокойно провести вечер, и все — она же не любит ничего предварять словами. И при чем тут жалость? Когда-то она помогла ему выплыть, но спасение на водах не ее специальность. Сейчас ее рука вновь протянулась к нему, но она не сестра милосердия. Ее тонкое тело полно силы и грации, в ней все — прямота и смелость. Так что же тогда?.. Верно, недоуменное чувство отразилось на его лице, потому что Таня спросила сквозь отчаянное фортиссимо Инессы:

— Вам скучно?

— Нет. С чего вы взяли?

— Вас что-то раздражает?

— Господь с вами!.. Если меня что-то и раздражает, так это я сам.

— Я вижу — вам грустно, —сказала она огорченно.

— Да нет же! Я забыл, что бывает так здорово! Просто я в ссоре с самим собой. Но ничего, мы еще помиримся.

— Иногда это труднее, чем с другим человеком, — сказала Таня.

На последней рюмке вспомнили о том, что за окнами. Инесса сказала своим сильным носовым голосом:

— Ну, за победу! И, главное, чтоб поскорее! — И, оставив в глазнице лишь серник радужки, потянулась с рюмкой к Петрову.

Каждый выпил до капли. И сразу стали готовить постели.

Петров решил, что ему следует отправляться восвояси, но было четверть второго, а в Москве существовал комендантский час.

— Ребята, ложитесь, потом — мы! — сказала Инесса и понесла на кухню поднос с грязной посудой.

Постелено было на широком диване и на полу, возле печки. Обеденный стол разделял ложа.

— Вы где хотите? — спросил Игорек.

— На полу, конечно.

— По-солдатски, значит? — обрадовался Игорек и, раздевшись с умопомрачительной быстротой, юркнул под ватное одеяло на диване.

Вернулась из кухни Инесса, села на краешек дивана и стала медленно расстегивать платье. Игорек высунул

из-под одеяла голую руку и щелкнул выключателем. Теперь в комнату проникал лишь свет из кухни, где возилась Таня. Петров прошел за стол, разделся и лег. Затем охнули пружины старого дивана под тяжестью крупного тела, и сразу послышался бормот, наподобие голубиного, но не лирический, а в тоне ссоры. Под этот бормот он забылся, а когда вновь пришел в себя, рядом лежала Таня. Он очнулся от ощущения свежести и прохлады, будто его перенесли в росную траву. Пушистый глаз проблескивал темноту. Он коснулся ее волос. И она мгновенно подалась к нему, прижалась тонким, легким телом.

— Чья вы, Таня? — спросил Петров, стесняясь своего громкого заколотившегося сердца.

— Ничья.

— Я тоже ничей, но еще не привык к этому.

— Вы мой, — сказала Таня, обняла его, навлекла на себя и, чуть отняв голову от подушки, стала целовать нежным и сильным ртом.

Внезапно он резко отстранился и почти вырвался из ее рук.

— Нет, — сказал он. — Нельзя.

Она не отпускала его, у нее были сильные руки, сильный рот, сильное тело. Откуда что бралось в такой хрупкости? Это стало похоже на борьбу.

— Нет, Таня, — сказал Петров. — Если это будет, то не сейчас, не так.

— Постойте, — она не отпускала его. — Я так хочу...

— Нет, — сказал он. — Я не стану вором.

— Зачем вы это говорите? Я же сама...

— Ночь кончится, я уйду, уеду!

Она поцеловала его как-то иначе, благодарно, что ли?

— Все равно я вас не выпущу.

— Но вам тяжело.

— Нет, и теперь замолчите.

Он почувствовал влагу на ее лице, она плакала бесшумно, одними глазами. Но капкана рук так и не разомкнула, и он слышал в себе движение крови, ощущал каждый сосудик, каждый нерв, ему открылось, что человек лишь в ничтожной мере живет своим телом, может, сотой долей его восприимчивости.

А потом было утро и возникшее еще в полумраке пробуждения чувство, что ее нет ни рядом, ни в комнате, ни в квартире. Дух отлетел, остались голые стены. Так и оказалось. Она прибрала за собой все что можно было прибрать, не мешая его сну: свою подушку, ворох какого-то тряпья, заменявшего тюфяк, шинель, служившую добавочным одеялом. Она не употребляла косметики, на его коже не сохранилось даже слабого аромата. Она полностью освободила его от себя, чтобы не чувствовал ни обязательств, ни сожалений, ничего из обременяющих тягостей, какими люди так охотно награждают друг друга и за малое сближение Она покинула его свободным и легким, это было ее высшим даром.

Он поднялся и пошел в ванну. Душ не работал, и полуголый Игорек, покряхтывая, мылся холодной водой над фарфоровой раковиной умывальника.

— Как успехи? — спросил он, звучно шлепая себя ладонью по груди и плечам.

— Какие успехи? — не понял Петров, а когда понял, как-то бессильно разозлился. — Вы в своем уме? У нас не те отношения. — И, чтобы прекратить дальнейшие расспросы, поздравил Игорька с прекрасной ночью.

— Пустой номер, — уныло вздохнул тот.

— А я думал, что у вас старая любовь.

— Любовь первоклассников. Она боится слух потерять.

Он пустил Петрова к умывальнику, а сам стал растираться серым вафельным полотенцем.

— Не нравится мне все это, — проворчал он с кислым, недовольным видом неудовлетворенного и непроспавшегося человека.

— О чем вы?

— Откуда вся эта жратва?.. По карточкам не получишь, на рынке не купить.

— Куда вы гнете? — Петров поднял мокрое лицо.

— Никуда не гну, — нахмурился Игорек. — Только мне, например, хоть лопни, сардинок не достать. Конечно, у меня нет таких ножек, как у Танечки.

По-настоящему способно взбесить лишь подозрение, содержащее хоть тень правды. Но Петрову было известно

то, что неизвестно Игорьку, и позыв к расправе минул, едва возникнув. Он сказал насмешливо:

— То-то вам кусок в горло не шел!.. Смотрю, не ест человек, не пьет!..

У Игорька было повышенное чувство опасности. Он ничего не сказал и ретировался. Когда через несколько минут Петров вышел из ванны, Игорька и след простыл. Большая печальная Инесса налила Петрову стакан спитого чая, подвинула тарелку с засохшим сыром. У нее действительно был необыкновенный слух, сквозь толстую стену и шум бьющей из крана воды она услышала их разговор.

— Хорошо, что вы не дали ему в морду, — сказала она. — Тане было бы неприятно. Он неплохой парень... на фоне того, что осталось. Но дудак, знаете такую птицу? Танька по донорской книжке отоварилась. Она за неделю два раза кровь сдала.

— А разве так можно? — в минуты растерянности человек нередко цепляется к чепухе.

— Все можно, когда хочешь.

Значит, они пили Танину кровь, заедая Таниной кровью. Алой кровью из тоненьких сосудов, из тихого сердца, чей слабый стук слышал сегодня ночью. Он вдруг понял, что душа имеет форму тела, не к физическому горлу, а к горлу души подступил комок.

— Да, — сказал он. — «Не спрошу тебя, какой ценой куплены твои масла». А надо бы спросить! Когда война, слишком многому цена — кровь.

— Только не продавайте меня, — почти жалобно попросила Инесса. — А то мне хана. Я без Таньки загнусь. — И, заметив удивленный взгляд Петрова, сказала: — А кто у меня есть? Отец погиб, мать хуже маленькой, и еще две сеструхи. И все это хозяйство — на моих ушах. Конечно, я за слух боюсь... я за всю себя боюсь — на мне трое, и пусть Игорек дуру из меня не делает... А Танька — золото! — И тут же, спохватившись, предупреждая расспросы, добавила: — О Таньке — только с ней самой. Я и так лишнего наболтала. Меня этот дудак своим паскудством завел. Ладно, пора идти, может, еще встретимся когда...

Нет, не встретились...

Наверное, несчастные, потерпевшие крушение, даже просто неуверенные люди испускают некое скорбное излучение, позволяющее власть и силу имущим с ходу отказывать им. Человек и рта не открыл, он еще сохраняет лоск мучительной подготовки: бодрость, подтянутость, прямой взгляд, вежливо-уверенную улыбку, а уже сидящий за большим столом знает, что все это обман, перед ним неудачник — незримые лучи сообщили, и холодно решает: отказать. Сколько порогов обил Петров, и все даром. А после ночи возле Тани сразу устроил свою судьбу, даже не заходя в святая святых начальственных кабинетов, а прямо в пропускной ПУРа.

Он разговорился с франтоватым бригадным комиссаром в роскошной, тонкого сукна шинельной шубе с барашковым воротником и в барашковой кубанке на крупной, красивой голове. Тот оказался начальником отдела агитации и пропаганды Политуправления одного из северных фронтов. Почти вся армия, а тем более высший комсостав, уже перешли на погоны, а этот бригадный обнаруживал трогательное пристрастие к ромбикам. Видимо, при переаттестации ему не светило звание генерал-майора и не хотелось возвращаться к давно преодоленному полковничьему чину, и вот он и «донашивал» старые знаки различия. По причине той же ущемленности ему нравилось разыгрывать из себя Гарун-аль-Рашида. Услыхав о делах Петрова, он хлопнул себя по лбу: «В нашей фронтовой газете искали литсотрудника. Я вас забираю». Угадав слабину бригадного комиссара, Петров разыграл деликатное недоверие в возможности такого чуда — ему сейчас все давалось легко — и в результате уже вечером получил предписание: «Убыть к месту назначения». Бригадный сказал, что забирает его с собой. Он возвращался на фронт на своей «эмке», во главе целой колонны спецмашин: радиопередвижки и двух походных типографий. Выезжали через день, на рассвете.

В канун отъезда Петров забежал к Тане, с трудом отыскав ее квартиру. Ему открыла старообразная, хотя, наверное, вовсе не старая годами женщина в кофточке с эмалевой брошкой и военной безрукавке, в плиссированной юбке и валенках.

— Можно Таню?

— Какую еще Таню? — недовольно спросила женщина, глянув через плечо Петрова, словно ожидая, что главное скрывается за ним.

— Ну, Таню, студентку, — он вдруг обнаружил, что не знает Таниной фамилии. — Я — Петров!

— Будь здоров, Иван Петров! — женщина громко засмеялась.

При всей чудине и нелюбезности в ней была какая-то симпатичность. Да это тетя Голубушка! Тут он сообразил, что сдержанная Таня едва ли сообщила родным о его существовании.

— Простите, вы не тетя Голубушка?

— Ну, а хоть бы?.. — насупилась она.

— Передайте, пожалуйста, Тане, что приходил Петров... Разрешите, я лучше напишу.

В квартиру тетя Голубушка его не пустила, и он написал коротенькую записку на клочке бумаги, подложив под него командирскую сумку. Он понял, что тетя Голубушка непременно прочтет записку, и был краток. «Таня, я уезжаю во фронтовую газету. Спасибо вам за все. Вы меня снова вытащили из воды». Оттого, что листок лежал на шершавой поверхности дерматина, почерк получился с «дражементом». Тетя Голубушка взяла записку с видимой неохотой и сомнением, но с тайным любопытством, будто судебную повестку для передачи соседу. Ну, вот и все.

— До свидания, тетя Голубушка!

— Будь здоров, Иван Петров! — снова засмеялась она.

Когда он следующий раз, через несколько лет, пришел к этому дому, там была строительная площадка. Строился жилой комплекс и кафе «Лира».

Как же так получилось? Сейчас, за баранкой своего «газика», пятидесятидвухлетний Петров не мог постичь, как выпустил он из рук эту теплую, доверчиво отдававшуюся ему жизнь. А между тем было бы куда как неестественно, если бы эта встреча вылилась во что-то большее. Ведь он любил не Таню, а Нину, любил и ненавидел и думал о ней постоянно, а о Тане лишь вспоминал с нежностью и удивлением, как о чем-то почти пригрезившемся. А потом ему и вовсе стало казаться, что неожиданную,

странную, щемяще-милую и грустную встречу он просто выдумал, взяв за основу грубую и плоскую реальность дней войны.

Неся свою скучную, не героическую службу — бесконечная правка рукописей в тесном купе поезда, в котором размещались редакция и типография фронтовой газеты, — он был поглощен одной мыслью — вернуться на войну. Ни черта не получилось, нога не пустила, медицинская комиссия упрямо стояла на своем — нестроевик. Он и до простых журналистских поездок на фронт дорвался лишь в самом конце войны. Грамотный литправщик был нужнее газете, чем сборщик фронтовых новостей. А еще приходилось заменять выпускающего, корректора, ответственного секретаря — вот какие амбразуры выпало ему затыкать. Каждому свое.

По окончании войны его сразу демобилизовали, и он вернулся в институт. Он так прочно все забыл, что пошел на второй, а не на третий курс. Трудная, в отвычку, учеба, болезнь и смерть матери, студенческая нужда привыкшего к армейской сытости и обеспеченности человека, Тишинский рынок, где с плеч загонялась полученная по ордеру женская шуба, практика, поездки в колхоз на картошку, библиотека, зачеты, экзамены, вечные поиски заработка и, в общем, при всех бытовых сложностях, отличнейшая и не дающая опомниться институтская жизнь позволила затягиваться ранам и тускнеть воспоминаниям, в том числе и дорогим.

Что же, он совсем забыл Таню и никогда не мелькало в нем желания увидеть ее? Мелькало, да и не только мелькало, иной раз прямо за горло брало... Но притащиться к ней полуголодным студентом не первой молодости, донашивающим старый китель? Нет! В третий раз — он же верил в магию чисел — надо явиться к ней на белом коне удачи. Но до удачи путь долог, и платить за нее слишком дорого. К середине жизненного пути, когда окончательно формируется личность и определяется судьба, человек вообще отметает все расслабляющее, тянущее его в сторону от поставленной цели — если, конечно, есть цель, — наиболее далеко отступает от детства и юности, от своих добрых истоков. Вот тогда он и докатился до того, что память о Тане стал считать памятью *мнимой*.

А потом, когда начинаешь мысленно собирать утраченное время, прошлое обретает новую ценность; чувствуя себя достаточно твердо в настоящем, хочешь опереть себя и о былое. Происходит переоценка ценностей, все возвращается в свой чин: «То, что было всего мне дороже, по заслугам дороже всего». Вот тогда и понесло его на Большую Бронную. Столь желанного когда-то ощущения удачи не было, хотя удача, наверно, была. Во всяком случае, не было душевного пищенства, необходимости ухватиться жестом утопающего за тонкую и сильную руку. Точно ли не было?.. Выяснить это не удалось. На месте старого дома высокие краны с мигающими самолетными огоньками вверху наращивали кладку стен. Принесло его на пепелище военной юности и с легким вздохом сожаления понесло дальше, в продолжение жизни.

И в этой жизни у него хватало времени на все: часами гонять шары в душном полуподвале, воняющем папиросным дымом, пылью и мужским потом, сидеть в орущей толпе на футбольных матчах, ходить на концерты и выставки только потому, что все идут, равно, впрочем, и на то, чтоб жадно, со вкусом писать, интересно и трудно путешествовать, охотиться, ловить рыбу, играть с дочерью и разговаривать с сыном о книгах, встречаться с отличными людьми и славными женщинами, вручать душу великой поэзии, не просто любить литературу и искусство, а иметь там вечных спутников, удивляться заре и закату, звездному небу и неиссякаемости человеческого в человеке. Не стало у него времени лишь на то, чтоб найти Таню по еще живым следам ее дома. Ведь знал же кто-нибудь из тех, кто сломал и снес этот дом, куда девались населявшие его люди. Неужели ему не хотелось увидеть Таню хоть из простого любопытства, ну, хоть из чувства благодарности?

Он догадывался об искусственности таких мыслей. У него не могло быть к Тане простого любопытства, а из благодарности ничего не делается на свете. И сейчас им владела вовсе не благодарность, он вспомнил невесомость ее головы, легкость и крепость долгого тела, нежность дыхания, трогавшего ему щеку, тихий стукоток ее обескровленного сердечка и проблескивающий темноту опущенный глаз. Лучше этого ничего не было в жизни. Ни к

чему тут и сравнительная степень, просто ничего не было, кроме этого, а он обронил свою единственную ценность и даже не оглянулся. Чтобы начать искать Таню, нужно такое вот безвыходное чувство, но к этому надо было прийти.

Поиск начался неудачно, он даже не нашел переулка, а еще надо было узнать дом и чтоб в доме том по-прежнему жил Игорек. Укротил ли он своего пугливого и строптивого кентавра? Петров знал, что нельзя искать Таню посредством каких-то смутных, но, конечно же, существующих административных способов, скажем, с помощью домовых книг, верно, сохранившихся в затхлых архивных подвалах. Гибнут высшие ценности человечества: картины, скульптуры, дивные здания, легче всего книги — целыми библиотеками, но архивная бытовая дрянь матерински сохраняется государством при всех катаклизмах. Но пусть он преуспеет и получит из ледяных пальцев подвальной феи нужную справку, куда переселили жильцов дома по Большой Бронной, — дальше будет легче идти по следу, но какую Таню обретет он в конце этого справочного пути? Из канцелярщины сказки не возникают. Он должен найти ее так, как нашел далеким февральским днем, когда она воробьем родилась из морозно синеющего воздуха. Тогда ему было плохо, и она явилась. Сейчас ему снова плохо, пусть по-другому, но это дает надежду, что она откликнется. Горько, что у них так мало времени впереди. Таня тоже старая, ей под пятьдесят, а это уже не бабье лето, а глубокая осень. Боже мой, боже, куда ушло время?..

Теперь он что ни день плутал по кривым, потаенным переулкам на задах консерватории. Ходил, конечно, пешком, из машины призрак не увидишь.

И наконец он выходил свой переулок среди таких схожих между собой, серых, извилистых, сокровенных переулков, переплетающихся возле улицы Герцена. И в этом переулке облюбовал старый желтый дом с мезонином и глубокой подворотней с заворотом на другом конце, делающем ее непроглядной. Но что-то мешало ему подняться по темной узкой лестнице, видимой в распахе единственного парадного. То ли неуверенность в сделанном выборе, то ли отсутствие какого-то ободряющего

знака, то ли боязнь ошибки, разочарования?.. Он решил не торопить событий...

И все это время он испытывал странный молодой подъем, прекращавшийся лишь ночью в бессоннице, какой он не знал с госпитальной поры, но тогда он не спал от боли, а сейчас невесть отчего. Он ложился с радостной надеждой на ожидающее его утро, когда можно будет снова начать жить, работать, думать о Тане и о том, что сегодня переулок откроет ему свой простой секрет, ведь даже маленькая зеленая калитка, укрытая в стене, явилась настойчиво и страстно искавшему ее человеку, а тут целый дом, пусть и невеличка по нынешним высотным временам. Его начинала укачивать дремотная зыбь, и вдруг разом чья-то грубая рука хватала за шкирку и вбрасывала в бесцельную явь. В эти ночные пустые часы ему не думалось, не вспоминалось, не любилось. Сердца не было, но он все-таки жил, будто по инерции, затем, поняв, что разгона еще надолго хватит, успокаивался, засыпал и просыпался опять счастливый.

Настал день, когда он утратил осмотрительность и со своей смешной для всякого стороннего, нормального сознания тайной очутился в державе земных координат. Какой-то дядя в дамском меховом жакете поверх ночной сорочки выскочил из подворотни облюбованного дома и — к нему: а вам чего, гражданин, тут надобно?

Ну вот, тогда милиционер, теперь этот доброхот! До чего строгой дисциплине реальности подчинена наша жизнь, если безобидные попытки прорваться в страну прошлого вызывают неукоснительный отпор! «А вам-то какое дело?» — сказал Петров, отлично зная, что недреманному оку обывателя до всего есть дело и человек в дамской жакетке осуществляет сейчас высшее назначение гражданина — бдительность. Ну, конечно, этот дядя давно его приметил: «Вы тут что ни день слоняетесь, высматриваете и вынюхиваете...» А разве тут запретная зона, разве улицы не принадлежат всем прохожим в равной мере? И еще какие-то справедливые и ничего не стоящие слова произносил Петров, сам зная их тщетность.

— Документы! — потребовал доброхот порядка.

И хотя это было сказано обычным, даже пониженным деловым тоном, магическое слово разнеслось громом по переулку, мгновенно собрав вокруг них толпу.

— Что вы ко мне привязались? — сказал Петров, оценивая взглядом сухопарую фигуру противника.

— Предъявите документы!

— А на каком основании? Кто вы такой? — Не надо было этого говорить. Неужели он сразу не понял, что апломб доброхота имеет пусть шаткие, но достаточные для причинения малых неприятностей основания. Так редки стали люди, неспособные хоть как-то угнетать себе подобных. Петров был одним из этих немногих, безоружных. Доброхот немедленно извлек из кармана штанов какую-то книжечку. Он не успел надеть шапку, напялил второпях жепину жакетку, но свидетельства своей власти не забыл. «Таня, Таня, зачем ты оставила меня!» Петров еще пытался сохранить чувство собственного достоинства, а между тем народ не безмолвствовал. Какая-то тетка крикливо подтверждала, что уже видела его здесь, другие вспоминали загадочного квартирного убийцу Ионесяна, кто-то советовал послать за милиционером. «Вон где аукнулось, а где откликнулось!» — с грустью думал Петров, оглядывая странно исказившиеся лица своих тихих земляков.

— Не понимаю, чего вы распетушились? Я ищу дом, в котором был раз во время войны. Там жил мой знакомый...

— Ладно, ладно, документы!..

И тут душный ужас толкнулся в сердце. Скорее вон отсюда, из замкнутого пространства подозрительности.

— Вот, — он протянул доброхоту свой паспорт. — А это пропуск в Дом ученых, — добавил он, окончательно сдаваясь на милость победителей.

Каждый старался заглянуть в паспорт, который неуклюже, но внимательно обследовал доброхот порядка. И вдруг какой-то подросток с коньками под мышкой спросил:

— Это вы книжку про Шлимана написали?

— Я, — сказал Петров.

— «Сокровища Тутанхамона» тоже ваша?

— Да.

Парнишка присвистнул.

— А чего вы сейчас пишете?

Доброхот в жакетке умел быстро оценивать положение, сам он едва ли читал эти книжки, но сразу все понял.

— Пожалуйста, товарищ Петров, — сказал он, возвращая паспорт (на пропуск Дома ученых он даже не взглянул). — Все в порядке. Так чем могу быть полезен? — Словно Петров обращался к нему за помощью.

Петров знал, что толка не будет, да и не хотелось ему никакой помощи ни от кого, но пришлось назвать Игорька, сообщить его приметы. С той же охотой, с какой только что хотели линчевать незнакомца, окружающие пытались помочь ему. После бурной сцены выяснилось, что никто из собравшихся Игорька не знает. Зато у каждого нашелся бесценный совет, как вести поиски. Затем его с почетом отпустили, а любознательный паренек с коньками даже проводил до автобусной остановки.

Больше в переулок на задах консерватории Петров не заглядывал, и наваждение прошлого оставило его на какое-то время. А затем вернулось глухой безысходной сердечной тоской.

Однажды, не сладив с чем-то в себе, он зашел к жене. Она встретила его сдержанно-настороженно. Уже раскаиваясь в своей слабости, он все же попытался рассказать ей о странной власти захватившего его воспоминания.

— Что со мной?.. Какой-то перелом?.. Старость или, наоборот, обновление?

— Это, несомненно, склероз, — сказала жена убежденно. — Ты давление давно не проверял?

— Да при чем тут давление?.. Я хочу понять, что мне делать?

— Пойти к хорошему врачу. И немедленно бросить курить.

Он осторожно прикрыл за собой дверь. Попытка доверия не удалась. Он прошел в темный кабинет, щелкнул выключателем и сразу погасил свет, чтобы вернуть ночное звездное небо за окнами. Хорошо жить на десятом этаже, на самом краю города. Под ним было Царицыно и темные руины баженовского дворца в окружении темных деревьев. Малые неудобства отдаленности с лихвой окупаются тем, что всегда видишь небо со всеми его огня-

ми и вот такой переливающейся в самой себе, с острыми, частыми лучиками звездочкой, заглядывающей к нему в окно. Звездочка была пушиста, как Танин глаз.

Я должен искать ее, думал Петров, но не так, как делал это до сих пор. Эти мои поиски смешны и глупы. Прежней Тани уже не существует, а той, что есть, я не нужен. Все равно, прервал он ход своих размышлений, если б я встретил немолодую, усталую и вовсе некрасивую женщину, бывшую некогда моей Таней, то кинулся бы седой башкой ей в колени, и ничего больше не надо. Но я должен искать ее без всякой надежды встретить. Искать в других, в моем угрюмом, прекрасном сыне, в отдалившейся дочери; и пусть жена чужда мне, я все же не откажу и ей в зоркости; искать в каждом человеке и в себе самом, прежде всего в себе самом искать этот свет, делающий жизнь драгоценной. Я больше не боюсь старости, пусть приходит, если еще не пришла, я готов соответствовать ее целям и достоинству. Я знаю теперь, старость — не остановка, не начало конца, а новая ступень ракеты, летящей в неведомое нам, вон к той пушистой звезде...

Он прожил несколько удивительных, взволнованных дней, жадно вглядываясь в человеческие лица. Не беда, что он читал на них чаще всего равнодушие, озабоченность, хмурую отчужденность, но случалось, и воодушевление, остающееся для него тайным. Он знал, что нужно терпение, а чудо явится, не может не явиться.

Чудо явилось куда раньше, нежели он ожидал. Ночью, после того как он долго не мог уснуть, не то чтобы встревоженный, но как-то сбитый с толку беспорядком в грудной клетке: сердце то обрывалось, то колотилось оглушающе громко в плече, горле, виске — какой сон в таком шуме! — то замирало и почти вовсе останавливалось — пойди усни в такой зловещей тишине! — в измотавшей его одурьной яви он почувствовал рядом с собой долгое прохладное тело, и легкая нежная голова прилегла ему на локтевой сгиб, и без удивления, с мгновенной готовностью к счастью он понял, что Таня наконец пришла. И он принял как должное, что приходится расплачиваться за это разрывной болью под черепной крышкой и таким стеснением в груди, что едва не выпустил Таню из

рук. Но все-таки не выпустил и держал ее до последнего мига так просто покинувшей его жизни.

Он умер от инфаркта и инсульта, происшедших одновременно. Жена была права, но добрый совет ее все равно опоздал. Вскрытие показало, что сосуды были вконец изношены, а сердце так произвестковалось, что стало как стеклянное.

Сын, героически боровшийся со слезами, и почти преуспевший в этом, и обретший в своей победе чувство превосходства над матерью и сестрой, услышав образное выражение диагноза, сказал почти надменно:

— Стеклянное сердце?.. Что же, оно звенело?

— Да, — с далекой улыбкой отозвалась мать. — Только мы не слышали.

ГРИГОРИЙ КОНОВАЛОВ

ПОСТОЙ В КУДЕЯРОВЕ

1

Вражьим боем битый, испугом пытанный, матерщиной родных командиров крещенный, бравый усталым безразличием к бравости, с орденом Красной Звезды на груди, с вещмешком за плечами, Дорофей Кудеяров подошел в сумерках к дому своей тетки Ульяны Ротмистровой.

Дорофей пестовал в себе гордость за родное Кудеярово, будто оно едва ли не ровесник Москвы, а красотой переважило все селения, за какие довелось ему в свои двадцать неполных лет воевать уже около года. Дым над банями, белые сугробы дремавших вповалку гусей на зеленом берегу пруда до сладкой боли тревожили его сердце.

Пригрелось Кудеярово в долине на правом берегу Волги, с трех сторон укрытое от ветров горами с меловыми распадками, дубовыми лесами и единственными на всем земном шаре меловыми соснами, взятыми на заметку академиями наук всего мира. На полянах перепелки, стрепеты выводились во множестве, по равнине же, за лесами, разгуливали дудаки, выглядывая из высоких трав, изузоренных полевыми цветами с пчелиным гудом над ними. Перед войной лоси по-свойски заходили в село, чуя доброту людскую. Один молоденький как-то просунул лопоухую наивную башку в открытое окно местного любителя природы, долго внюхивался в висевшие на стене гербарии и от цветочной пыли так расчихался, что разбудил самого разнежившегося в послеобеденном сне натуралиста и его верного Полкана.

Верхний край села, поближе к лесу, заселен Аввакумовыми, Староверовыми и в особенности Кудеяровыми.

Целительный ли воздух в глубоких межгориях или уремная глухомань принимали с незапамятных времен староверов, но только понастроили они скитов, развели рыбу в прудах, садами зелено окудрявили солнечные склоны. Устояли староверы перед никоновскими и петровско-бесовскими гонителями древлева обычая и строгости духовной. В новое же, советское время, их не трогали, и они вроде как бы взыграли, ибо были уравнены со всеми верующими одним лишь тем, что отделила власть церковь от государства, а молодое поколение ко всем верам повернулось спиной.

Но в эту страдную военную пору Дорофей Кудеяров блюл в сердце любое, даже самое маленькое, порой наивное проявление предками душевной крепости. И он тревожными просящими руками памяти ощупывал багажишко своего познания истории народа, отыскивал родные корешки.

Ведь совсем недавно еще плитой каменной, замками пудовыми отгораживали учителя Русь от Дорофея, напускали тумана, будто во все поры прежние клубилась тьма в России, и блуждали в той тьме губошлепы-ротозеи, а управляли ими дошлые иноземцы, не измаянные раздумьями о смысле жизни, зато разворотливые и рукастые...

Когда же велением времени для подкрепления духа воинского были вызваны образы Невского, Донского и других умных, смелых и знатных россиян, Дорофей обрадовался и как бы посильнее стал, будто испил того самого кваску, каким вызволяли из калек в богатыри мудрые старики Илью Муромца.

Родословную свою и само название села он смелее повел от брата царя Ивана Грозного — разбойника Кудеяра, облюбовавшего селение на Волге. Но открытие это Дорофей держал про себя, зная усмешливый нрав и куцую историческую память своих сверстников.

Себя Дорофей находил похожим на Грозного, каким предстал царь в описаниях своего современника Катырева-Ростовского: «Царь Иоанн грудь имеша широку, очи серы пронзающи, нос протягновен и покляп».

Все это было у Дорофея Кудеярова — беркутиная мускулистость, протягновенный нос, о котором девчонки шутили: семерым рос, а одному достался.

Давно когда-то, мальчишкой, Дорофей затаился в бане на полке, напустив нестерпимого пару, ветловой палочкой подпер внизу свой горбато нависающий нос, поверив соседу старику, будто таким способом можно выпрямить нос до задорной курносости, как у Мишки — сестренки его двоюродной. Тогда Дорофей еще не подозревал о своем родстве с Иоанном Четвертым. До слепоты уходился в пару, и вынесла его тетка Ульяна полуживого, насилу отлежался на свежаке.

А нос оказался с годами вполне уместным на сухощавом лице и вместе с серыми, коршунячьей округлости глазами придавал ему выражение веселой решительности.

В Кудеярове со времен Петра Великого зажились военные лагеря. На окраине, в задичавших садах, осадисто стояли красного кирпича старинные казармы с высокими этажами, длинными крутыми пролетами железных лестниц, гулкими коридорами. Замкнутый корпусами квадратный двор, мощенный каменной брусчаткой, был неразгаданной тайной для подростков и заневестившихся девчат, поджидавших, когда из пропускных ворот выйдут бравые солдаты.

Тесно было в казармах, а пополнение все прибывало, Поставили койки на койки, ножки верхних приваривали к спинкам нижних, и получилось двухъярусное жилье. Многих офицеров рассовали по частным домам — жители издавна привечали военных. За двести лет тут сложился особый тип жителей — с врожденной военной выправкой, прямым, смелым, поедающим начальство взглядом, с короткой чистосердечной речью: «Так точно, никак нет...»

На улицах поближе к казармам много было семей Солдатовых, Гренадеровых, Сержантовых, Капитановых, Майоровых, две семьи даже Полковниковых и одна Генералова. В лагеря эти, видно, не заезжали одни только маршалы, потому и не оставили о себе память в Кудеярове.

Солдатский быт отложился на жизни села. Даже в мирное время все мужское население — от младенца до согбенного старца — щеголяло в военном обмундировании. Донашивали солдатские и офицерские брюки, гим-

настерки, шинели, фуражки, ездили на выбракованных лошадях, впряженных в списанные военные повозки. Даже дизеля на электростанции были армейские.

Кудеяровки рослые, статные, с тем особенным сострададением в глазах, которое свойственно солдаткам. Они поют чаще всего старинные песни о разлуке, о верности, о подвигах мужей. Кудеяровки — мастера придумывать песни.

Я посею больше маку,
По головке буду рвать.
Провожу мила в солдаты,
По годочку буду ждать.

Столь терпеливое ожидание звучало в песнях времен первой германской войны.

О нонешней войне рано подросшие девчонки, кутаясь сумерками, голосисто распевали:

Лейтенанты уезжают,
Уезжают день и ночь,
А на память оставляют
Кому сына, кому дочь.

Третьего дня прибыл Дорофей в свое родное Кудеярово, где, как сказал ему знакомый майор, формировалась бронетанковая армия для решения крупных стратегических задач. Хотя тяжелые бои велись уже в излучине Дона, из Кудеярова военных не брали, наоборот, присылали сюда новые и новые партии офицеров различных родов войск, главным образом из разбитых немцами частей.

Отрадная, беззаботная, должна была, казалось бы, наступить для Дорофея Кудеярова жизнь с того самого часу, когда он сошел с пароходика вместе с сотней молодых офицеров. Ведь пока не сформировались команды, не прибыло начальство, можно было утром отметиться у дежурного по казарме и уйти на целый день, с одобрительной улыбкой подмигнув поварам, перед окнами кухни в тени кленов гуртовались принаряженные молодайки. Два ресторана — один на площади, другой, плавучий, на Волге, против зеленого базара и старых купеческих лабазов, — заняло нахлынувшее офицерство.

Старожилы — военнослужащие кудеяровского гарнизона — попритихли перед фронтовиками. Только летчики, наезжавшие с левобережного аэродрома, независимо слонялись по улицам, будто одни-одинешеньки во чистом поле прогуливались в ожидании, что сейчас вот, сбиваясь с шага на бег, сияя отрадно и пропаще глазами, бросится с закружившейся головой навстречу опаленная любовью девушка. Если летчики были в штатских парусиновых брюках и кремовых, с короткими рукавами рубахах, все равно опытный глаз Дорофея признавал их по особой манере держать себя с едва заметным превосходством и особенной, высшего класса хулиганистостью, дозволительной людям короткой надземной жизни.

Беззаботно пожить Дорофею мешала тетка Ульяна и ее дочь Милка. Он рано осиротел, привык к воле, боялся быть запестованным, заученным до скукоты родственниками. Пьяным или с похмелья опасался зайти к тетке, а трезвым вот уже три дня не был, да и гостевал-то у знакомых лишь потому, чтобы оттянуть встречу с теткой, если уж невозможно избежать.

Шести лет он полюбил тетку Ульяну. Породистая, белая, ласковая, она пахла молоком и молодыми огурцами. Посадит, бывало, на одно колено его, на другое — дочь свою Милку и давай раскачивать, напевая:

Где кровь лилась — там вязель сплелась,
Где кость лежит — там шихан стоит.
Где слеза пала — там озеро стало.

Плакал от песни сосед, мельник Никифор Генералов, расстегнув ворот красной рубашки, ловя пальцами метавшийся кадык. Вытерев слезы, улыбался, дыбил над левой бровью чуб табачного цвета, поправлял усы в мучной подбелке, а под усами улыбчиво поблескивали добродушные широкие зубы.

Несчастным безысходно был Дорофей в ту пору потому, что тетка Ульяна и Никифор сиживали рядком на плотине в омутовом сумраке загустевших плакучих ив.

Зажал как-то Дорофейка в руке пятак, пошел к батюшке с мольбой повенчать его.

Веселыми кружевами выткались мелкие морщинки на розовом лице батюшки.

— Кого-кого хочешь взять-то? — ласково спросил он, положив руку на голову Дорофея.

— Тетку Ульку.

— Господи, как хорошо-то! С нею я тебя повенчаю без денег. А на этот пятак купи конфет Милке.

Указал батюшка на Милку и будто взял да и разделил одну душу на двоих, половину — Милке, половину — Дорофею. Приживил он Дорофея к Милке на всю-то жизнь...

3

Тьма была душная, пахло пылью, цветами, теплым прудом с гусями.

В доме тетки Ульяны скрипнула сенечная дверь. Но так, как прежде, — добродушно, нараспев, — а жестковато, сварливо. По садовой дорожке приближался к калитке мужчина важной валкостью, поскрипывая кожаными ремнями на офицерском, без знаков различия, мундире.

Дорофей признал в нем Алешку Денежкина, своего почти сверстника, и отступил под навес акаций.

— Леня, когда ждать? — метнулся из сеней голос, будто теткин, но без былого веселого перелива.

— Хоть бы на фронт от этих дежурств: ни днем, ни ночью покоя нет.

Дорофей выждал, пока, простучав по мосткам, не заглохли Алешкины шаги, тихо открыл калитку, пошел к сеням, пригибаясь под вишнями. В темных сенцах столкнулся с кем-то и, качнувшись, непроизвольно обнял плечи — теплые, женские.

— Прошу прощения...

— В темноте, да не в обиде, — голос так дрогнул, что сердце у Дорофея заныло.

— Тетя Уля! Это я, Дорофей...

— А я уж набегала к казарме поглядеть со сторонки, каким офицером выдурился мой Дорофейка. Ведь мы, бабы, все секреты знаем. И когда ты приехал Чего долго не заявлялся? Вон Алексей часа два ждал тебя...

— Он тут кто?

— Да вроде... постоялец. А так — дитя у них...

Враз поостыл Дорофей: стоит ли встречаться с Милкой?

«Но ведь я не чужой им... Да и ничего мне от них не надо. Поговорю, выпью, если угостят...»

На кухне тетка Ульяна зажгла керосиновую лампу, спустила на окно закатанную кверху черную завеску. Отяжелела тетка на ногу, в стане располнела. И глаза уже не блестят. Видать, слезы пригасили блеск.

Жила тетка в боковушке напротив кухни. Горницу с двумя спальнями занимали дочь и Алексей Денежкин.

Слабосердечной стала Ульяна, уж очень горестно глядела на суровое лицо племянника, плакала, запивая слезы травяным настоем.

— В ту войну мужа сбелосветили, эта — Федю отняла... под Москвой. Восемнадцати с половиной лет... А тут от Васи нету вестей... Господи, ведь пуля только еще летит к сыну, а материно сердце уже мрет, холодеет...

Дорофей отвел в сторону влажно-потяжелевшие глаза и долго не мог взглянуть на Ульяну, сквозь шум в голове слышал ее свыкшийся со страданием голос:

— Разваливаюсь я совсем... Времечко жерновами перемалывает.

— Тетя Уля, скажи своему зятю, чтобы не особенно форсисто рвался на фронт, дежурил бы тут исправно.

— Его не возьмут, по брони оставили. Он послушный, сказали: сиди и руководи, он и сидит, руководит.

— Кем и чем?

— На суконной фабрике... Боятся его. Праведный он.

«Ишь, гад праведный, отхватил дом, Милку увел...»

— Обижает? — спросил Дорофей, в надежде поругаться с Денежкиным. И очень огорчился: жалоб у тетки не было.

— Если Милка довольна, я рад.

— О жизни не скажешь — довольна, она не тем словом выговаривается, жизнь-то.

— Я говорю, мне все равно, если она нашла, — отрезал Дорофей.

— Раз как-то мамка заставила меня в праздник теленка пасти в лугах, — встряла в разговор Милка, — и уж

так мне было обидно, что заплакала я. А ты пришел и вместе со мною пас.

— Нашла я вас в лебеде, спите около теленка... — улыбнулась тетка Ульяна.

— А помнишь, Милка, сорвали с меня картуз ребятишки, перекидывают друг другу, а я мечусь между ними. Изнемог, сел на траву и реву! Ты выручила картуз.

— Вы неразлучными росли. То за твоей матерью ходили, то за мной. Помнишь мать свою? — сказала Ульяна.

— Огорчил я ее. Послала раз в церковь, а я сел на дорогу, снял сапоги. Мол, не пойду. Портянками меня она отлупцевала. Ох, как жалко мамку...

— Рано померла Варя. Весной на пашне застудилась, скоротечную схватила. Лежала в сенях на циновке камышовой, пришла в себя, попросила тебя показать — проститься захотела. А без Милки ты ни шагу. Взялись рука за руку, зашли в сенцы. Припали к лицу Вари, ты к одной щеке, Милка к другой, и давай в два голоса причитать: «Милая наша мамка, не оставляй нас...» А Варя опять потерялась в жару, глаза видят не людей, а уж другое, что блазнится. Господи, как хорошо поют молитвы за стенкой, говорит...

Милка и Дорофей переглянулись, вздохнули глубоко — временем очищенные от боли воспоминания эти были печальны и светлы. Ульяна вышла в сени, зажгла там коптилку.

— Я никак не вспомню, что за песню ты пела о трех поруках... — задумчиво сказал Дорофей.

Милка улыбнулась, запела вполголоса:

Я в белом свете на примете.
Полюбила одного, пострадала за него.
Я божилась и клялась — в три поруки отдалась:
Первая порука — моя правая рука,
Вторая порука — моя русая коса,
А третья порука — моя девичья краса.

И жалостно, и легко пела она, потому что грудь перестала ныть, а сын спал, причмокивая пухлыми губами, а Дорофей — вторая, самая милая, рисковая и так ей нужная полозина души ее — курил на ступеньке порога,

улыбаясь чему-то далекому и близкому. Завтра уедет на фронт. Может, никогда больше не увидит его Милка. И будет томиться тоскою ее душа, метаться над несбывшимся, как голубка над пожаром...

— Дорофеюшка, это Милица-то при тебе распелась-разворковалась. А так-то все помалкивает себе, — подала голос тетка из сеней. — Свои тут мы люди, скажу: законный-то брак не узаконивается...

— Так уж! Сегодня как раз все и решится... — сказала Милка. И опять она, подперев подбородок ладонью, в той примиренно-печальной позе, в какой исстари стояли при дороге-разлучнице русские солдатки, встала у косяка, глядя на Дорофея рассеянным взглядом.

— Не признаешь меня, Мила?

Не сразу очнулась она от навеянного полынным безбрежием сна:

— Слишком признаю...

Дорофей вскинулся, но тут же осадил себя, прошел к столу.

— Можно одну?

— Сама тебе налью.

Отставил рюмку. Провел ладонью по своему лицу ото лба до подбородка.

— Мила, если не увидимся больше и тебе станет скучно, прошу тебя вспомнить, кем ты была для меня в этот вечер. Ладно? А?

— Я не знаю: кем была?

— Мне, наверно, надо помирать. Иного выхода нет. Ни одна женщина не была для меня... как ты...

Милка положила руки на стол, опустила на них голову.

— Зачем ты сказал мне эти слова? — тихо, потерянно спросила она. — Ведь есть же у тебя... с радостью услышала бы...

— Я давно люблю... вашу семью люблю...

— А если я пропаду? — спросила она, глядя в глаза Дорофею.

Шестьдесят дней изнурялся он тяжелой тайной: воевал Дорофей вместе с Василием, братом своим двоюродным, тетки Ульяны сыном, — и пал Василий на его глазах. Теперь он почувствовал, что может раскрыться перед

Милкой. Но сначала рассказывал о своих подвигах, раздувая свое жестокое бесстрашие. И тут же просил Милку не всему верить: «Могу ведь порисоваться перед тобой...»

— Нет, я тебе верю во всем. Если не сделал нынче, сделаешь завтра...

— Милка, ты молодец! Никому не признавался, тебе откроюсь: был в плену... Никто на свете не знает об этом позоре моем...

Что-то изменилось в лице Милки, тревожно повернулась она к порогу.

Там стоял крупный, полнеющий человек в офицерском мундире без знаков различия.

— Мила, помоги, — сказал он, протягивая свертки.

Дорофей встал, выжидая. Алешка Денежкин подошел, поздоровался и проследовал в свою комнату. Там переоделся и вышел к столу в штатском.

3

Началась гулянка с каким-то двойным смыслом: вроде бы и в честь Дорофея, и в то же время в честь брачного союза Милки и Денежкина. За Дорофея Денежкин выпил охотно, а за свой брачный союз что-то не решился. Два года уже ходит к Милке, живет по неделе, а расписаться не может: не то со старой женой не ударил еще горшок об горшок, не то держится за ядреную вдову Зинку Крестовую, председательшу райисполкома. «Осерчает Зинка, немедля разбронирует Алексея», — говаривала, подвыпив, тетка Ульяна.

Денежкин не шибко рьяно опровергал эти рассуждения Ульяны и все косился оком на Дорофея, весь целиком тонул в изучении этого непонятного для него человека.

А Дорофей неволил себя сейчас же подружиться с Денежкиным, если уж Милка избрала его в мужья, ребенка родила от него.

И мудрая тетка Ульяна, уманив Дорофея на кухню, будто помочь ей, взяла его за оба уха, как в детстве, строговато внушила: возрадуешься на этой гулянке —

себя возвысишь, покой душевный сестре принесешь, уважение заслуженного зятя обретешь, а если уйдешь или любовь свою к двоюродной сестре не скроешь, то век будет тебя заносить на сторону, косорылить душу... Оступаются смолоду...

— Тетка Улька, мне, наверное, помирать надо...

Под белым высоким, как у богородицы, лбом построжели глаза тетки Ульяны:

— Вода по низинкам сама собой разливается. А к тому шихану, на каком холостая вольная жизнь твоя крылами помахивает, не подошли еще волны. Я тебе такую, прямо из яблоневого цвета выведу — одним взглядом ее счастлив будешь всю жизнь. А Милицы сторонись: мечется, как первотелка, слепнями в кровь искусанная. С брачком она, Милица-то: тоска на нее нападает непонятная... Даешь зарок? — заклинала Ульяна племянника.

С трудом разомкнул спаенные жаркой сухостью губы:

— Ладно, устранюсь...

За столом Дорофей качнулся в воспоминания:

— Помнишь, Денежкин, как собирали землянику на полянах? Найдет Милица целую кулигу спелой ягоды, машет платочком, окликает. Сама о себе забывает, рвет одну ягоду в свой туесок, другую — в твой. А ты, Алеша, умник с детских лет. Набредешь на ягоду, примолкнешь, затаишься, окликай тебя не окликай — не отзовешься. А ведь совсем рядом по-перепелиному схоронился, того и гляди наступишь на тебя, а не найдешь. А?

Алексей, смеясь, покачал головой:

— Детство, детство... Ну, давай за тебя махнем по одной, сирота ты бедовая.

Нашла-наехала на Дорофея упрямая поперечность, онемел, на потемневших скулах густо взошли веснушки. И чем строптивее отнекивался от питья и еды, тем тяжелее становилось ему от всеобщего внимания. Милка начала скучнеть, Ульяна — гневаться. А Денежкин — с едва заметной издевкой пересаливать свое усердие: так и казалось, будто не на брачном пиру пьют-едят, а чествуют героя Кудеярова, сокрушившего неприятеля. И не знают, как ублажить лейтенанта.

Стыдобно и униженно сознавал Дорофей свое упрямство, молчаливое лютование. Но сладить со своей поперешностью уж не мог. А когда хозяйка поставила на стол последнее кушанье, кашу-выгонялку, и все чинно вытерли губы, чтобы встать, Дорофей начал пить водку. Все присели, ожидая, чем это кончится.

Дорофей полез к Алексею навязываться с дружбой, которая стоит куда выше привязанности к женщине, если даже у женщины такие погибельно-красивые глаза. Не смущаясь ухмылкой Денежкина, он горячо говорил, стоя перед ним с рюмкой:

— Дорогой Алеша, на меня во всем можешь положиться...

Денежкин не понимал, в чем он мог положиться на подвыпившего, раздерганного Кудеярова. И все же встал, по-братски обнял Дорофея, всего на мгновение прикрыв его широким размахом плеч, как орел птенца. И сколько было превосходства и снисходительности в его спокойном лице, что Дорофей, отстранившись, начал бледнеть.

Как во сне, Дорофей опустился на колено и злым шепотом произнес слова из письма Ивана Грозного к монахам Пустозерского монастыря:

— «Аз, смердящий пес, бью челом пред вами, о святые отцы! — И дальше, встав на ноги, своими словами рисовал картину, как монахи, из бояр сосланных рекрутированные, развесили уши при самоуничижении Иоанна и как он их, разомлевших от гордыни, уличил в блуде: — Постов не блюдете, пиво наяриваете и, яко жеребцы стоялые, мечетесь через тын к сельским девкам!»

И далее двинул наотмашку:

— «Ужо доберусь, выгяну кнутом вдоль спины!..»

Ульяна объясняла Денежкину выходку Дорофея непривычкой к водке, неумением пить. Но Денежкин, постукивая пальцами по столу, все четче прозревал прищуренными глазами опасного в Дорофее человека, притаившегося под личиной разухабистого офицерика. И он все ждал своей минуты поддеть его крючком, а заодно развеселить Милку — что-то шибко загорюнилась.

Ей-то казалось, что поняла она Дорофея до самой утаенной глубины... С древних времен лечили сердечную

тоску русские молодцы отлучкой невозвратной в дикое поле, чтобы сложить там голову за волю вольную. И такие прострелы пронзали Милкину душу, что хоть впору раскручивай назад эту налегке справляемую свадьбу и вой в голос, как на поминках...

Ульяна холодновато оглядела со всех сторон племянника, решила посадить его на место, не роняя его достоинства офицерского, а заодно показать зятю, пусть пока не записанному, наведывающемуся к Милке будто к сударушке, что он хоть и забронированный, заговоренный от смерти хлопотами Зинки Крестовой, все же не к нему, а к Дорофею поворачивается она, Ульяна, изболевшимся материнским сердцем.

— Дорофейка, — начала она, самим тоном показывая, что знает его бесштанным карапузом, когда он в ангельском сне пруденил под себя. — Коли ты в орденах, вот и озадачу я тебя прямо по-бабьи, потому что наши тут ничего не знают: почему штанов не удержите! Гитлер-то совсем рядом огонь мечет, а? Что же с нами будет-то?

Денежкин аж помолодел от ее вопроса, с отроческим простодушием, чуть разинув рот, уставился на Кудеярова: как тот будет выкручиваться-выпутываться?

А Дорофей, нагловато-светло подмигнув Денежкину коршунячьим оком, сказал преспокойно:

— Все идет по плану, тетка Ульяна. Наше командование все знает, все планирует. Мы за ним как у Христа за пазухой. Всему свое время, у дороги два конца: один — в Россию, другой — в Германию, в логово зверя. Чего тебе привезти из Берлина, а? Наказывай, пока я с вами.

— Недавно наши по радио говорили: отошли на подготовленные позиции, потеряли без вести сколько-то тысяч солдат... А ты дурачком прикидываешься. С Алексея спрос маленький — в тылу трудится, что ему велят, то и будет толмить, а ты-то там бывал...

В душе Дорофея вновь поднялись приглушенные было тыловой тишиной чувства недоумения, горечи и озабоченности. Как мякину стряхнул он с себя наигранную снисходительность к старой женщине, напрямую пошел в изловчившиеся поймать его руки Алешки Денежкина,

не стараясь больше подавлять в себе росшую день ото дня тревогу.

— Гм, гм... пропали без вести! — заговорил Дорофей с беспощадностью, зло кривя на сторону страдальческий рот. — Чай, не иголка! Скажу тебе, тетка Уля, и тебе, Милица, а Алексей сам все знает частично — расколошматил нас под Харьковом... Первый день поперли мы на Изюм лихо. Вешняя распутица нам нипочем. Фрицы начали психовать, отходить местами. Линия обороны вроде дрогнула, прогнулась. А через несколько дней мы оказались в окружении... Много наших попало в плен... Даже раненый командарм Городнянский...

Вместе с генералом на грузовой машине вырывался из окружения Кудеяров. Стоял командарм на коленях в кузове, руки к пулемету прикипели, Дорофей подавал ему ленты. Красиво и страшно было окровавленное лицо командарма. Скончался не приходя в себя. Немцы построили пленных и в их присутствии похоронили русского генерала с воинскими почестями.

Особенно подчеркнул Дорофей, что, оказавшись в плену, не заменял он лейтенантское обмундирование солдатским, не зарывал в землю документов. Наверно, по легкомыслию. Это легкомыслие да веселость и помогли ему бежать, когда гнали пленных на запад по степи, мимо балок и перелесков.

Но Милке он рассказывал (говорил только ей, не замечая Ульяны и Алексея Денежкина), как напряженно разрабатывала мысль один хитрее другого планы побега. Теперь он и сам верил, что планы возникали тогда, на марше, а не придумал он их позже, чтобы объяснить себе и людям прямо-таки сказочно успешный побег.

В действительности же даже за несколько минут до того, как живая внутренняя сила метнула его в кусты неклена, у него не было никакого плана побега. Шел со всеми, пока еще не осознав ужаса своего положения. Все шли, и он шел под редким конвоем. Но когда увидел за селом скворцов, певших у своих гнезд в дуплистом нагом дубе, вдруг с такой горькой явью понял, что с ним произошло, что заплакал. За деревом понижался дубовый скат в густом подлеске. Оглянулся на скворцов, и вдруг все его молодое тело каждым мускулом собралось

для прыжка и, кажется, само собой метнулось за кусты и покатилось в овраг. Когда засвистели пули, срезая ветки орешника, он уже сидел на земле, обняв дубок, не в силах унять икоту.

На дне дола на травке-зимовухе отстоялась снеговая вода в кружевах пены у закрайка. Спасло его то, что он, припав грудью к земле, пил настоявшуюся на пресной траве воду по-волчьему беззвучно. Тот же, кто выслеживал его, минуту спустя лакал из этой лужи по-собачьему громко. И это погубило выслежника, хотя и был он с автоматом. Дорофей по-рысьему сиганул ему на спину...

Не то везло ему, не то характер был незлопамятный, но только забывал Дорофей обидное, — в жизни больше веселого было. Но война, как оспа, чернокрапила память. И он превозмогал себя, чтобы забыть и тем более утаить от светлой, совсем еще девчоночьей души Милки коекакие обидные, могущие унизить его, а заодно и честь армии подробности своего поединка с немцем и затем обретения полной свободы уже у себя, в рядах родной армии...

— Ты просто чудо! — воскликнула Милка с искренностью, смутившей не только Денежкина, но и Дорофея. Потому-то он и сказал:

— Девочка, а вдруг да я полюблю тебя... Алексей, вдруг да случится, а?

— Герою вроде не положено быть пошляком... — рассудительно сказал Денежкин.

Глубоким вздохом Ульяна пригасила вспыхнувший огонек, будто ногой наступила на побежавшее по ковылю горбатое пламя.

— Охо-хо... не служил ли мой сынок, Вася, под командой того генерала...

Дорофей передернул плечами не то от водки, рюмку которой держал перед ноздрями, не то от недосыпания.

— Васька лупит фрицев почем зря, — с нажимом заговорил он. Оттого, что перед глазами его лежало проклеванное пулями тело Василия, он весь вечер, как только заходила речь о Васе, бодряческим тоном хвалил его. — Везет моему брательнику, как в сказке. Лишь

со склизом пуля щеку обожгла — девка мимо проходила, он за ней поворачивался, как подсолнух за солнцем. Чуть шею не свихнул.

Дорофей утешал тетку байкой о подвиге ее сына: перебил, по меньшей мере, два десятка рядовых да трех офицеров. Ульяна качала головой, радуясь, что сын жив, и смущаясь его беспощадностью.

— А что? Война виновата. До войны-то я курицы не обижал, а теперь могу спокойненько разрешить хоть сотню, хоть тысячу неприятелей. Заметьте себе: мордобой идет лишь год, а редкий солдат не убивал... А что будет с людьми, если повоевать придется годика три-четыре?

— Да неужели в этом году не закончится? — изумилась Милка, взглянув на Алексея.

— Да каким же образом? — почти выкрикнул Дорофей в лицо Алексея. — Пока остановить-то его не можем. А там еще нужно повернуть спиной к нам и лупить, лупить, гнать.

— А если немец на Волгу придет? — спросила Ульяна.

— Ну и напугал ты женщин, Кудеяров, — сказал Денежкин.

— Ну и что, если придет? — просто и как бы мимоходом отозвался Дорофей, привыкнув, что на войне всякое бывает. — Все равно вывернем его наизнанку... Тетя Уля, разрешите, я набью номенклатурную морду Алешке Денежкину?

Ульяна взглянула в глаза племянника, горестно отказалась.

— Не надо ссоры.

— Да как ж не надо, если он не женится на Милке?

— Мы скоро распишемся, — сказала Милка.

— Не твое, Дорофей, дело, — мягко вразумил Денежкин, чокаясь с Дорофеем. — Ты бы меньше брехал, панику не сеял. Ну, давай выпьем. — Выпил, зажевал огурцом. — Знаешь, сегодня взяли тут одного, а ведь он десятой доли не трепал спроть тебя...

— Так вот, — подзуживая, продолжал Дорофей. — Там кровь, слезы, горечь... а ты... Нет, Васька набил бы тебе морду... Он брат Милки. — Денежкин ушел в свою

комнату, снова вышел. Уже в своей военной форме, без знаков различия.

— Я на дежурство, — сказал он Милке. У порога задержался, поманил пальцем Дорофея и, когда тот подошел, обнял его. — Прощай, брат. Наверно, не увидимся. Извиняй, если резким словом задел...

— Ну что ты, Алешка... И я прижигал тебя калепым словом не по злости... Разобьем фрица, потолкуем обо всем спокойно.

— Слава богу, помирились... Нынче и в тылу не легко, — сказала Ульяна.

4

По окнам и крышам мокро шумел дождь. Милка убрала со стола, застелила диван. И, вынося свое одеяло в сени, сказала:

— Я там посплю.

Дорофей докурил, лег. Сердце зашлось от ударов. Ощупывая руками темноту, ступая по скрипевшим половицам, пошел в сени. Двери оказались подпертыми.

— Милка, пусти...

В горнице заплакал ребенок, послышался голос Ульяны: «Ш-ш-ш»

— Пусти, мне нужно выйти... А то зашумлю.

Дверь, пискнув, отлипла. Дорофей качнулся, оступился на ступеньке, вылетел в сени. Мимо прожгла Милка, обдав запахом здорового тела. Не зажигая света, она вынесла в сени мундир и сапоги Дорофея.

— Отдыхай, а я на кухне.

— Господи, неужели ты не поверила мне? Зачем же я душу выворачивал? — сиротливо тосковал в темноте Дорофей.

— Спи на моей постели. Мама уснет, я приду, наговоримся.

... До рассвета Дорофей скреб ногтями дверь, умолял Милку впустить.

— Нужно слово сказать такое... решить жизнь, Мила...

Она не отвечала, хотя дыхание ее слышалось.

Когда гость успокоился, Милка вышла в сени. Сквозь щели в двери слабый выбелился рассвет. Дорофей спал лицом вниз, подмяв щекой подушку. Пониже выстриженного загорелого затылка совсем по-детски белела шея. Милка жалостно улыбнулась, укрыла Дорофея простыней. Принесла из колодца воды, налила в рукомойник, умылась. Села на порожек. У ног темнилась наискось срезанная козырьком крыши тень.

Дорофей проснулся поздно, поначалу не понимая, где он. Повернулся на спину. Под крышей висели березовые веники. На пороге сидела в зеленой кофте Милка. Солнце высветило ее профиль с плавной линией подбородка, с наивно вздернутым носом.

Она встала, пристально взглянула в его глаза:

— Как отдыхалось-то?

По взгляду ее он понял, что она все еще не решила, стоит ли придавать особенное значение его вчерашним словам.

«Женщины мудрее нас», — подумал Дорофей, глубоко и облегченно вздохнул, потягиваясь.

— Ты молодец, — сказал он, беря полотенце из ее рук.

Отступив в тень ветвей, она взглядывала в его лицо, разминая при этом на рукаве гимнастерки шов.

По лицу Дорофея проходили тени

Он решился:

— Вася... не маялся, погиб, как уснул... Прости, не мог я вчера тете Ульяне сказать...

Милка заплакала тихо, потаенно

5

А тетка Ульяна, как и в те былые, войной задымленные времена, стояла в этот утренний час у каменной, ниже пояса стенки и разговаривала со вдовым стариком Никифором Генераловым. Никифор подлаживался к ней лет двадцать. Бывало, летом, умаявшись каждый в своем хозяйстве, они сходились у стены, разделявшей их дворы, жаловались друг другу на одиночество. Два раза пробовали сойтись под одну крышу. Ульяна приходила к нему

через лаз в стене, но вскоре возвращалась в свой дом, успев лишь подмести в доме деда полы.

— Почему убежала от Никифора? — спросил ее Дорофей однажды.

— Блины не получились у меня, вот и вернулась.

По обычаю кудеяровских баб, молодка после первой ночи печет блины, и вся родня и шабры спешат отведать их: чем пышнее, ноздреватее пропитанные маслом блины, тем счастливее жизнь молодоженов.

Ульяне, как на грех, не удавались блины, будто кто нарочно муку подменивал. Так и жили со стариком Генераловым — врозь скучали, встречались у стены, взявшись за руки, отводили душу беседой, а блины выходили — заклеклые склизни.

Выстоялось в это утро доброе, с прозеленью от садов небо. Благостной теплынью омыло Ульяну в солдатской гимнастерке и деда в кителе, видно, с плеча не ниже полковничьего. Стенка между соседями стала совсем низенькой: понемногу, камень за камнем, разбирали ее то дед, то Ульяна.

Увидав племянника, Ульяна оставила своего жениха.

— Тетя, дорогая... — проговорил Дорофей. — Я думал, все перегорело во мне... Милка воскресила меня. Ради нее стоит мне поберечь кое-что в душе... А ты внучат нянчить будешь...

— Не понимаю я вас, молодых, — сказала Ульяна с внутренней мукой.

— Не беспокойтесь, у нас есть время дорогу верную найти.

— Что-то часто кидает вас на проселки...

В эту ночь Милка сама не спала и Дорофею позволила забываться лишь короткой дремой.

— Завтра удешь, и ваша часть уедет...

— Да откуда тебе известно?

— Женщины завели блины прощальные. Они все знают.

В полночь стук в окно:

— Лейтенант Кудеяров! — позвал мужской голос.

А у Милки все готово: блины напечены, распарились в корчажке. В вещмешок Дорофея уложила она платоч-

ки, белье. И так загрустила, что Дорофей не мог и одного блина съесть.

— Ну, хватит, улыбнись, дурочка...

... Рано на заре в разных концах Кудеярова заголосили женщины. Прощались с солдатами, садившимися в грузовые машины...

Бородатый начальник штаба бригады, высунувшись из кабины, хлопал по плечу молоденькую, приговаривал, что лет через восемнадцать — двадцать приедет формировать дивизию из потомков воинов.

Проводив Дорофея, Милка торопко зашагала домой. Издалека завидела мать — Ульяна в тени под яблоней кормила внука, тягуче напевала:

Где кровь лилась — там вязель сплелась,
Где кость лежит — там шихан стоит,
Где слеза пала — там озеро стало...

АЛЕКСАНДР ЯШИН

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Я перестал учиться, когда получил первый гонорар. До чего же все это было давно, и до чего весело вспоминать обо всем этом.

Гонорар пришел из Москвы, из «Пионерской правды». Там время от времени печатали мои заметки о школьной жизни, а однажды была помещена даже басня «Олашки» — о буржуе, который отказался есть оладьи, когда узнал, что они испечены из советской муки. Принципиальные были буржуи в то время!

Денежный перевод, если не ошибаюсь, рублей на тридцать, застал меня врасплох. У меня больше двадцати копеек еще никогда не бывало.

Не без труда получив деньги на районной почте, я купил в магазине конфет, обливных пряников и папирос и ринулся пешком в родную деревню. Дело было зимой. Носил я тогда лапти, теплой одежонки, конечно, не было, и идти мне было легко. Но я не шел, а бежал. Бежал бегом все двадцать километров. Напевал ли при этом песни и приплясывал ли — не помню. Помню только, что за всю дорогу не съел ни одной конфетки, ни одного пряника, потому что хотел все целиком донести до деревни для своей матери. Похвастать хотелось: вот, мол, я какой! И, конечно, пачку папирос не распечатал — я еще не курил тогда.

Зимние дни коротки, и как ни легок я был на ногу, а все-таки до деревни добрался только к ночи. В темноте углы срубов потрескивали от мороза, а в избах горела лучина в светильниках. В одном только доме была керосиновая лампа, окна его светились ярче прочих. В этом доме собиралась молодежь на посиделки. У нас такие

посиделки зовут «беседками». Девушки чинно сидят на лавках с прясницами, прядут лен или куделю, да поют песни под гармошку, да стараются понравиться парням, каждая своему, а некоторые всем сразу, а парни, пока не начинается кадриль, просто бездельничают, зубоскалят.

Мне было тогда меньше пятнадцати лет, но не это важно. Важно то, что одна из деревенских девушек мне уже нравилась, я был уже влюблен в нее — во взрослую, в невесту. О чем я тогда думал, чего хотел — один бог знает. Сам я если и знал что, то теперь забыл.

Не донеся до дому пряники и конфеты, я прежде всего решил появиться на беседках. Еще ни разу на беседках не принимали меня всерьез, ни в чьих глазах я еще не был взрослым. «Ну, что ж что не принимали, — думал я. — Не принимали, а сейчас примут».

Очень я нравился себе в тот день!

Керосиновая лампа висела на крюку посреди избы и горела в полную силу: беседка еще только началась, но клубы и кольца табачного дыма уже не рассеивались, не таяли, а передвигались под потолком, плотные и густые. Девушки в ярких домотканых, реже в ситцевых сарафанах, как обычно, сидели на прясничных копыльях вдоль стен по окружности всей избы и крутили веретена, и поплевывали на пальцы левой руки, вытягивавшие нитку из кудели. Парни толпились посреди избы, а кое-кто, посмелее, сидел на коленях у девушек либо рядом, занимая их разговорами и мешая прясть. Довольные девушки повизгивали, похохатывали. В темном углу за большой русской пекаркой, где всегда пахло пирогами и кислым капустным подпольем, какая-то парочка целовалась. Сладостное и таинственное для меня на этих посиделках только-только возникало.

Моя любовь, Анна, сидела далеко не на самом почетном месте, а в углу справа, в полусумраке кухни, но была она самая красивая из всех. Красный пестрядинный сарафан с белыми нитяными квадратами, кофта синяя, яркая, тоже пестрядинная, и никакого платка на голове. А на лице — улыбочка, не улыбка, а улыбочка — ласковая, хитренькая, при которой щеки чуть подтягиваются кверху и на одной из них образуется ямочка, а глаза

прищуриваются. Да еще волосы, заплетенные в косу, и с очень яркой, но уже не красной и не синей, а, кажется, фиолетовой, ярко-фиолетовой лентой; да еще глаза, поблескивающие, все понимающие, чуть прищуренные и, кажется, серые; да еще руки, быстрые, работящие и, наверно, тоже ласковые. Эх, потрогать бы их когда-нибудь! Правой рукой Анна крутила веретено, и так сильно, что оно жужжало от удовольствия, а пальцы левой руки двигались все время у кудельной бороды.

Анна была так красива, что, конечно, никто из парней не осмеливался сесть рядом с нею, только я один осмелюсь сегодня! А что полусумрак на кухне — так это же хорошо: тут, в углу, по крайней мере ничего не будет видно. Ничего! И еще хорошо, что близко отсюда запечье, тот таинственный уголок, куда время от времени уходят сговоренные пары целоваться. Неужели и это для меня сегодня возможно?

Войдя в избу, я первым делом роздал ребятам папиросы. Кажется, ничего особенного при этом не произошло. Ребята просто расхватали всю пачку сразу и стали курить: папиросы все же не махорка. Дыму в избе стало еще больше.

Затем я подсел к моей девушке, к моей Анне. Подсел, как садятся взрослые парни к своим девушкам. Раньше я никогда не осмеливался сидеть рядом с Анной, а сейчас сел. Анна пряла лен. Она не удивилась, что я ткнулся на лавку рядом с ее прясницей. Теперь надо было заговорить с ней. Я еще ни разу не расхрабрился до такой степени, чтобы заговорить с нею. Не смог я заговорить и на этот раз. Но на этот раз все было по-другому, на моей стороне теперь были всяческие преимущества, на моей стороне была сила — и конфеты, и пряники, и то, что я — настоящий писатель, иначе разве послали бы мне деньги из самой Москвы. Сегодня на беседках я был самый главный человек.

Я достал из кармана конфету, развернул бумажку и сам, своей рукой положил конфету Анне в рот. И опять ничего особенного не произошло. Анна просто взглянула на меня, открыла рот и съела ее. Но все-таки она взглянула на меня. Все-таки она меня заметила. Я быстро развернул следующую конфету и снова положил Анне

в рот. Она съела и ее, но при этом засмеялась. Щеки ее приподнялись, округлились, красивые глаза сузились.

Так и пошло: я ее кормил конфетами, а она смеялась. Над чем? Над кем? Надо мной, конечно! Но меня это нисколько не смущало. Все равно она была красивее всех, и я сегодня был всех лучше. Ах, если бы я смог с нею заговорить!

Она бы спросила меня:

«Ты все еще учишься?»

А я бы ей ответил:

«Учусь — что! Я — писатель. Понимаешь, писатель, самый настоящий. Мне уже и деньги платят за то, что я писатель. А ты знаешь, что это такое? Вот, например, все эти конфеты, пряники, папиросы — это все откуда? Просто, понимаешь, пишу, и все».

Так беззастенчиво хвастать в городе я, конечно бы, не смог, там сразу меня поймали бы. Но здесь можно было. Ведь парень перед девушкой всегда немножко рисуется, хвастается. А как же иначе? Иначе разве она его полюбит?

Беда только, что я не смог и на этот раз заговорить со своей Анной. Но я был счастлив уже от того, что она ела мои конфеты и смеялась надо мной. И когда она съела их все, я выложил ей в подол все обливные пряники. Она съела и пряники.

Сам я так и не попробовал ни пряников, ни конфет. Отчего это — от большой любви или от расчета, от скупости или от сердечной доброты?

Домой я пришел с беседок поздней ночью, когда все уже спали, и, голодный, заснул на случайной соломенной подстилке возле курятника.

Утром мать подошла к моей постели. Она не будила меня, а просто остановилась надо мной, заложив руки за спину, и я проснулся сам. Добрая, бедная мама! Она все уже знала. Она знала, что ее несмышленый, но опасно бойкий первенец, живущий в городе без родительского присмотра, где-то раздобыл деньги, — конечно же, не чистые это деньги, не трудовые! — покупает папиросы, курит сам и угощает других, а всякие сласти раздает девкам. Уж и до девок дело дошло!

— Здравствуй, мама! — говорю я ей. — Поесть бы чего-нибудь!

А она мне:

— Скажи, парень, где деньги взял?

И от этих слов счастье всего вчерашнего дня снова запело в моей душе и, вероятно, засветилось в глазах. Я не удержался, и опять меня понесло:

— Я, мама, писатель. Понимаешь, писатель! — говорил я ей, почти захлебываясь от восторга. — Мне заплатили гонорар. Из Москвы перевели. Я израсходовал мало, ты не бойся, я еще и тебе дам денег. А потом опять сочиню чего-нибудь. Гонорар, понимаешь?

— Ты мне зубы не заговаривай, — начала сердиться мать, — правду скажешь, ничего тебе не сделаю. Где взял деньги?

— Так я же правду говорю: я — писатель, поэт. Это гонорар. Творчество, понимаешь?

Добрая моя мама! Вряд ли она и сейчас понимает, откуда у сына порой берутся деньги: на службу он не ходит, хозяйства не имеет, никаким промыслом не занимается. Сколько лет работали в стране ликбезы, а старая моя мама так и доживает свой век неграмотной, и попрежнему для нее что писатель, что писарь — одно и то же.

— Ах, ты так, сквалыга окаянный! — вконец рассердилась она. — Признаться по чести не хочешь? Всю жизнь правду скрывать будешь, не по совести жить? Вот я с тебя шкуру спущу, раз ты писатель...

И в руках у матери за спиной оказалась свежая березовая вица — розга. Она стащила с меня замызганное одеяльце, и я, ненакормленный, неодетый, получил свой первый настоящий гонорар. Конечно, я ни в чем не был виноват, но ведь и она мне только добра хотела. Вот и суди после этого, кто прав, кто неправ...

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ИГРЕНЬКА[1]

Собиралась Люся долго. Одеться хотелось так, чтобы и удобно было в лесу, и чтобы выглядеть прилично. Не для людей — в лесу она могла никого и не встретить, а для себя — от раз и навсегда заведенного правила одеваться аккуратно. От этого зависит и настроение, и даже дела. Люся верила, что неудачи тоже с глазами, и прежде чем пристать к кому-нибудь, они видят, как человек держится, чего он стоит и даже то, как он выглядит внешне. На крепкого, благополучного человека они редко решаются нападать.

Подходящая темная кофта нашлась у снохи Нади, а что надеть еще, Люся никак не могла выбрать. Надя принесла ей свои шаровары и сапоги, но Люся отложила их в сторону — это не для нее. Как бы сейчас пригодились ей брюки и купленные специально для поездок за город туристские ботинки, да кто знал, что выпадет здесь идти за грибами. Она уже готова была никуда не ходить, раз не в чем идти, да услышала с улицы голос возвращающейся сестры Варвары, представила, как та весь день будет топтаться рядом и тянуть душу своим хныканьем, и сама попросила, сняла у Нади с ног кеды. Очень уж не хотелось оставаться дома, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать — ни жалеть, ни подбадривать. Родня, близкая родня, с которой надо вести себя по-другому, чем со всеми остальными людьми, а она вовсе не чувствовала особой, кровной близости между собой и ними, только знала о ней умом. Это вызывало в ней раз-

---

[1] Отрывок из повести «Последний срок».

дражение и против себя — оттого, что она не может сойтись с ними душевно и проникнуться одним общим радостным настроением встречи, и против них, и даже против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать, — именно потому, что напрасно. И сколько ей еще жить здесь, никто не знает. День, два, три? А может, больше?

Чтобы не встретить деревенских, Люся, минуя улицу, прошла в переулок через огород и поднялась на первую, рядом с деревней гору. Она с самого начала решила, что не будет торопиться, для нее важно было пройтись по лесу, подышать свежим воздухом — то, ради чего в выходные она выезжала за город за многие километры. А тут лес — вот он, рядом. Непростительно было бы не использовать счастливо появившуюся возможность побывать в нем без лишних хлопот: не надо договариваться о машине, набирать с собой еду, суетиться — встала и пошла. А грибы — что ж грибы! — они как заделье, раз уж в деревне не принято без нужды прогуливаться по лесу. Попадутся на глаза — сорвет, не попадутся — ну и не надо.

Она поднялась на гору и остановилась отдохнуть. Ей показалось, что с тех пор как она не была здесь, гора стала меньше, положе; Люся подумала, что, наверное, ей это в самом деле только кажется, потому что выросла, повзрослела она сама и изменились ее представления о величинах. Люся вспомнила, как когда-то ребятишками они легко скатывались с нее до ворот. Она оглянулась на два покосившихся столба, которые остались от ворот, и прикинула: теперь не докатиться, нет. А что же с воротами, почему нет ворот? Ну да, не сеют, не пашут, значит, нечего от скота и запирать, все четыре стороны открыты настежь. За Верхней и Нижней речками ворота, конечно, тоже снесены и поскотина разгорожена.

И тут Люся поняла, почему гора стала меньше: ее срезали. Она была не так большая, как крутая, и мешала машинам. Тогда, наверное, и пригнали сюда бульдозер. Вот и канава слева едва заметна, та самая, почти в два человеческих роста канава, в которой по весне громыхала красная от глины вода и, отгромыхав, скатывалась на

огороды. Подмытые стенки канавы ухали так, что за рекой отзывалось эхо. Матери, отпуская ребятишек из дому, перво-наперво наказывали не подходить близко к канаве, а уж потом — не выкалывать друг другу глаза. Канава и в самом деле таила в себе для ребятишек какую-то тревожную, неизведанную опасность, скрытую еще дальше, за тем, что видели глаза. Не много было в округе запретных мест, которые бы они не излазили вдоль и поперек, но канаву обходили, хотя проникнуть в нее было не так уж и трудно. Кто-то когда-то пустил слух, что дно в ней — это вовсе и не дно, а обман, что за ним пустота, ведущая чуть ли не в преисподнюю, и слух этот помнили. Может быть, не очень и верили, но помнили.

И вот теперь канаву засыпали, утрамбовали, похоронив все связанные с ней страхи. Не стало еще одного таинственного места, к которому прежде испытывали боязливую почтительность, — все меньше и меньше их остается на свете...

Перед другой, затяжной горой машинная дорога свернула влево, в обход — эту гору срезать было не просто. Люся пошла прямо, по старой дороге, от которой осталась только тропа, заросшая по сторонам высокой, выстоявшейся травой. Лес на горе стал реже и сквозил теперь до самого поля, на каждом шагу торчали пни и пеньки, недалеко от дороги валялись уже почерневшие и потрескавшиеся, не впрок заготовленные жерди. Возле них сразу густо полезла и перепуталась трава, из нее, словно скелеты, выгибались сухие сучья — прежде хоть вблизи деревни их собирали на топливо, а сейчас и это никому не надо; Люся вчера видела: весь берег у реки завален оставшимся после погрузки лесом, возле каждой избы лежат бревна. Да и разделывают их теперь бензопилами — раз, два, и готово, не то что раньше, когда собирали воскресники. Опять, воскресники: то, что было не под силу одной семье, делали миром, брали с собой ребятишек, находя им сподручную работу; Люся помнила, как любила она складывать поленницы, находя какую-то особую радость в том, чтобы устраивать в порядок приятные для глаза желтые сосновые поленья с тонкой шелковистой шкуркой, какая бывает ближе к вершине. И сезон для заготовки дров был

один — весна, чтобы за лето они успели высохнуть, а теперь в любое время подбирай и пили уже готовую кубатуру.

«Нет, что-то было все-таки в этих воскресниках, — с неожиданной грустью подумала Люся. — И люди на них шли с удовольствием. Кого не приглашали, тот уж понимал, что хозяева не считают его своим, что ему отказано в дружбе и доверии».

И работа — дружная, звонкая, с разноголосицей пил и топоров, с отчаянным уханьем поваленных лесин, отзывающимся в душе восторженной тревогой, с обязательным подшучиванием и заигрыванием друг с другом и дразнящим ожиданием угощения, ради которого хозяйку заранее отпускали домой. После зимы это была первая работа в лесу, к тому же не очень трудная, и ее любили. От солнца, от леса, от пьянящих запахов, исходивших от ожившей земли, в одинаковое для молодых и немолодых ребячье возбуждение приходила душа, не успокаиваясь долго, до опустошающей усталости. С обновленной землей менялись, казалось, и чувства, необъяснимыми путями соединяясь с дальней, наиболее чуткой порой человека, когда он тоньше слышал и зорче видел; древние инстинкты с непонятной настойчивостью заставляли присматриваться, принюхиваться, отыскивая что-то и под ногами, и в воздухе, что-то забытое, утерянное, но не исчезнувшее совсем.

Вместо воды пили березовый сок, который тело принимало как снадобье — бережно и со вниманием, верящим в скорый отклик. Сок собирали ребятишки, они же отыскивали и выкапывали первые саранки, желтые луковицы которых таяли во рту как сахарные; со сведенными лицами, только чтобы не отстать друг от друга, а не для того вовсе, чтобы утолить какую-то редкую нутряную жажду, сосали пихтовую зелень. И, конечно, не обходилось без лиственничной серы, без которой в этот день было так же нельзя, как в пасху без яиц, и которую жевали даже мужики, а потом, разбередив десны, материли ее и хватались за курево.

Эти воспоминания вызвали в Люсе не волнение, а скорее любопытство: как странно и как далеко это было.

будто и не с ней, не при ней вовсе, а при ком-то, кто был до нее. Она не звала их, они явились сами, без спросу, откликаясь на то, что встречали глаза.

Сразу, как только крутизна в горе утихла, начинались поля. Люся вышла на открытое место и в недоумении огляделась: что такое, уж не заблудилась ли она? Нет, конечно: вон Касаловка — поля слева, уходящие к Нижней речке, назывались Касаловкой; вон, впереди, где с одной стороны видна изгородь, оставшаяся от гумна, — Ближняя елань; за ней Вышка; справа дорога повела на Дальнюю елань. Эти названия пришли к ней так легко, будто она пользовалась ими каждый день, хотя только перед этим не могла вспомнить, как называются острова напротив деревни, и Люся удивилась себе: что это с ней? Казалось, какой-то голос — травяной или ветряной — наносил живущие здесь слова и слух, уловив их, дал для повторения.

Люся медленно подвигалась по дороге вперед, узнавая и не узнавая открывшиеся места. Если смотреть поверху, вот она, Касаловка, вот Ближняя елань, за ней Вышка. А на земле все это сходилось в одном чужом широком запустении, которому не хотели верить глаза. Дорога, взбиравшаяся в гору узенькой тропкой, снова сошлась здесь с машинной и, не жалея земли, расползлась по сторонам. Поля заросли, затягиваясь с нижнего края густым, расторопным осинником; отдельно от него, ближе к середине, держалась сосновая поросль, там и сям торчали дудки. Уже и не отличить было поля от межей, сцепились — не оторвать. Хлебный дух, привычный для этой поры, давно истаял; пахло перезревающей лесной мешаниной, да от заброшенной земли исходило пресное сухое дыхание.

Не удержавшись, Люся свернула влево и пошла через поле. Земля еще не взялась целиной и была комковатой, серой; привыкнув поднимать хлеба, она, казалось, надеялась на чудо и из последних сил берегла себя для сева, но возле намечающегося соснячка, угадывая хвою, уже копошились муравьи — значит, поверили, что здесь их никто не тронет.

Сколько же прошло лет, как уехал отсюда колхоз? Семь, восемь, девять? Что-то около того. Колхоз, можно

сказать, и не уехал, а растаял на месте, увезли только машины, которых и было-то немного, да кой-какой инвентарь. Поля не увезешь — вот они, поля; люди тоже остались, не так-то просто тронуться с насиженного места, освященного родными могилами, и двигаться неизвестно куда. Уехали только три семьи из переселенцев, и то одна потом вернулась.

Колхоз назывался «Память Чапаева», и Люся опять удивилась тому, с какой легкостью всплыло откуда-то это никому не нужное теперь название и сиротливо улетело в поля. Не будь она здесь, среди всего, что было с ним связано, ни за что бы не вспомнила. Впрочем, потом уже, без Люси, колхоз переименовали и, кажется, не один раз, но другого названия она не знала.

Колхозу «Память Чапаева» не повезло сразу с двух сторон. Во-первых, рядом с ним, в одной деревне, обосновался леспромхоз — богатый, денежный; причем деньги, как в сказке, выдавали аккуратно через каждые полмесяца, и молодежь всякими правдами и неправдами побежала из колхоза. Для этого даже не надо было срываться с места и менять свою жизнь, все было тут же, дома. А попробуй колхоз удержать у себя хорошего механизатора, когда тот видит, что в леспромхозе он, по самому скромному счету, заработает в три раза больше.

Пока боролись с одной бедой, подоспела другая — началось объединение колхозов, и «Память Чапаева» прицепили к такому же, как он, горюну, до которого было почти пятьдесят километров тайги. Тут уж не только молодежь, чуть ли не вся деревня повалила в леспромхоз. Дошло до того, что некому стало кормить скот. Тот колхоз перегнал к себе коров, овец, но поля года два еще обрабатывал, отправляя сюда на помощь своих людей, хотя их, конечно, не хватало и дома. Помыкался он, помыкался, да и свез к себе оставшееся добро. А поля забросили. Вот они, поля, то, что от них осталось.

Люся еще раз осмотрелась вокруг, и ее кольнуло неожиданное, родившееся уже здесь чувство вины, будто она могла чем-то помочь им и не помогла. «Ну что за чепуха, — отмахнулась она. — Я здесь совсем ни при чем.

Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Она подумала, что у деревенских, оставивших землю ради леса, это чувство должно быть сильнее, пусть они от него и страдают, если способны страдать, а она и в самом деле оказалась тут случайно и едва ли когда-нибудь приедет сюда еще.

И все-таки легкое прогулочное настроение было испорчено, а чем, она и сама не могла понять. Она уже жалела, что не осталась дома, но и вернуться назад тоже не смогла бы, если бы даже захотела: ее вело что-то помимо ее желания, и она, подчиняясь ему, послушно переставляла ноги. На старой меже Люся решила присесть на примеченную еще издали белую колодину, отполированную дождями и солнцем, чтобы отдохнуть на ней и успокоиться, и почему-то прошла мимо, хотя и не помнила, как прошла, перенеслась дальше. Она оглянулась — не вернуться ли, но уже знала, что не вернется, не сможет, что она не вольна поступать сейчас так, как ей нравится.

Мысль, явившаяся Люсе, застала ее врасплох. Она подумала, что ей должно быть горько, гораздо горше того, что она чувствует, потому что видит эту заброшенную, запущенную землю впервые после того, как знала ее другой. Но горечи или боли не было — была растерянность, постепенно переходящая в непонятную, пугающую тревогу, которая, казалось, передавалась от земли, оттого что земля помнит ее, — ведь она, Люся, не один раз бывала здесь прежде и даже работала. «И даже работала», — как оправдание повторила она и только тут с удивлением осознала, что было за этими словами.

Они заставили ее остановиться и еще раз осмотреться вокруг — она медленно обвела глазами все, что было на виду и выше, по небу, зная и не зная, что она ищет, и повернула вниз, к редкому, просвечивающему леску. За ним скрывалось небольшое, клином уходящее к Нижней речке поле, которое взволнованная память выделила из всего остального. Люся торопилась, боясь, что поле заросло совсем и его уже не найти. Она помнила, что где-то там, внизу, к полю должна быть дорога, но спускаться к ней Люсе показалось далеко, и она пошла напрямик,

через лес. Ей хотелось прежде взглянуть на поле украдкой, со стороны, проверить, оно ли это, не ошиблась ли она и что с ним сталось. Ее уже не покидало недоброе чувство, что кто-то с самого начала подсматривает за ней, следит за каждым ее шагом, и она старалась спрятаться, уйти с открытого места.

Наконец впереди совсем посветлело, и Люся увидела поле — то самое. Не выходя, она смотрела на него из-за деревьев. Широкая старая межа сбереглась и походила теперь на просеку; ее затвердевшая, объятая травой земля не давала взойти семенам деревьев, зато сразу за ней, на паханом, покатился под гору легкий осинник. Там, где он задержался, чуть пониже, как привидевшееся чудо, был огород — кто-то облюбовал здесь землю и посадил картошку. Картофельная ботва на солнцепеке пожухла больше, чем в деревне, но не упала, она была по-полевому низкорослой и походила скорее на тычки, под которыми ничего нет. Это оттого, что странно и непривычно было видеть здесь картошку.

Воспоминание, которое привело сюда Люсю, относилось к голодным послевоенным годам. Не то к сорок шестому, не то к сорок седьмому. Весной, перед севом, Люсю отправили бороновать это поле. Накануне шел дождь, земля была сырой и липла к бороне так, что та волочилась как шкура. По-доброму, следовало, конечно, подождать, пока земля подсохнет, но ждать то ли не могли, то ли не хотели. К тому же перед этим поле отдыхало, было отдано под пар и сильно заросло, прошлогодняя трава забивала зубья, и борона все время волочилась поверху, то и дело ее приходилось переворачивать и чистить. Конь Люсе достался старый, слабосильный. они все в ту весну едва таскали ноги, но этот и вовсе был похож на тень.

И опять, уже в который раз сегодня, Люся услышала, как прозвучало в ней нужное слово. Игренька. Коня звали Игренькой, и с этим словом, которое все еще звучало в ушах, воспоминание сразу стало намного полнее и яснее. Люся отчетливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной гривой и серебряной звездой во лбу — худого до того, что, казалось, высохли даже копыта, и себя за ним — тоненькую, во что попало одетую

девчонку, взмахивающую вожжами и подпрыгивающую на одной ноге, чтобы второй вдавить борону в землю. Позади остается волнистый, причудливый след.

Лопатки у Игреньки ходили вместе с ногами: вперед-назад, вперед-назад. Под гору он еще стаскивал борону, но после того как разворачивались, до верхней межи останавливался раз десять. Переводя ноги, он вытягивался и хрипел. Люся уже не понукала его, не гнала и чистила борону только тогда, когда он изнемогал, а вычистив, трогала его по боку вожжой. Перед тем как стронуться, Игреньке надо было раскачаться, сразу с места он взять не мог. Его часто заносило в сторону: в гору он тянул с закрытыми глазами — наверное, чтобы не видеть, сколько осталось до межи. Девчонка тогда измучилась с ним, измучилась с травой, с грязью, она, как и Игренька, тоже держалась на пределе сил, и тогдашнее состояние вдруг передалось сейчас Люсе и сжало ее. Она почувствовала такую усталость и такую беспомощность, что опустилась на траву, так и не выйдя на поле.

В конце концов Игренька запнулся и упал. Люся перепугалась. Она стала дергать вожжи, потом схватила за узду и потянула голову коня вверх — он мотал головой и стягивал ее на землю. Люся закричала на Игреньку — не столько от злости, сколько от страха, и от страха же стала пинать его во впалый бок. От ударов по телу коня прокатывались судорожные толчки, но он не делал даже попытки подняться. Оглядываясь, Люся отступила от него, потом набежала и попробовала подхватить коня в беремя, царапая его с того бока, на который он упал, только напрасно оттягивая его обвисшую, податливую кожу. Тогда Люся бросилась в деревню.

Слава богу, мать была дома. Они бегом прибежали обратно, к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув под себя ноги, земля вокруг него была изъезжена — видно, без Люси, в недобром, напугавшем его предчувствии он пытался подняться и не смог, а теперь успокаивался, смирившись с тем, что будет приласкан проникающим сквозь землю покоем. Мать присела перед

ним на колени, стала гладить по тонкой, как стесанной, шее.

— Игреня, — приговаривала она. — Ты это чё удумал, Игреня? От дурной, от дурной. От уж трава полезла, а ты пропадать собрался. Осталось дотерпеть-то неделю, не больше, и жить будешь, любая кочка па жвачку подаст. Ты погоди, Игреня, не поддавайся. Раз уж зиму перезимовал, тепери сам бог велел потерпеть. Осталось-то уж... господи... раз плюнуть осталось-то. Чё там зиму — войну мы с тобой пережили. Всю войну ты, бедовый, на лесозаготовках маялся, бревны таскал, а такая ли это работа? И таскал, дюжил. А тут уж на характере можно продержаться, я давно уж на характере держусь.

Конь повернул к ней острую, как клюв, морду, потянулся к ее рукам губами.

— Ничё нету, — испугалась мать. — У меня ничё нету, Игреня, ничё не взяла. От дура дак дура. А он все понимает, хошь и конь. Ишо бы, Игреня, да не понимал.— Она гладила его по морде, теребила свалявшуюся челку. — Он, подите, не такое в толк брал, чё и другой человек не возьмет. В позапрошлом годе, когда Игреньке бревном сломало ногу и хотели его отдать на мясо, — кто на трех ногах в тайгу ускакал? Он, Игренька. Покуль кость на свое место не взялась, не выходил, отлеживался. Потом ишо сколь хромал. А я тебя никому не давала, на тебе, на хромоногом, воду на молоканку возила, а чтоб ногу не бередить, наливала нецельную бочку.

Конь вскинул голову и тонко, виновато заржал. Мать потрепала его по шее, и он, откликаясь на ласку, заржал во второй раз и завозил под собой ногами.

— Погоди, Игреня, — заторопилась мать и стала освобождать его от постромок. — Погоди, сичас. Сичас мы с тобой будем подыматься. И то, хватит лежать, належался. — Игренька водил за ней головой и дрожал от нетерпения и страха за свою слабость. Когда мать взяла его под уздцы, он с силой выкинул вперед передние ноги, но далеко, неудобно, так что пришлось подтягивать их ближе, напружинился, натянулся, вздымая задние, и не смог, осел обратно. Отвернувшись от матери, он снова

заржал, и в его голосе было отчаяние: не могу, сами видите, не могу. Мать стала успокаивать его: — Погоди, Игреня, погоди, отдохни. Не сразу. Ишь ты, сразу захотел. Сел, и то хорошо, и то давай сюды. Сичас отдохнешь и подымешься. Ничё, ничё. Ох ты, Игреня, ты, Игреня.

Она обвела глазами Люсину работу, не удержалась и упрекнула:

— Повдоль надо было ездить, а не поперек. Тут на бугор и здоровый конь не вытянет. А ему где же...

— Ага, такой гон...

— Ну и чё? Ехала бы и ехала помаленьку, никто тебя не гнал. Земля-то одна — хошь вдоль, хошь поперек. Сколь ее тут есть, столь и есть. Не прибудет.

Она подала Люсе повод, а сама зашла сбоку и, хлопнув коня по спине, подхватила его снизу. Игренька переставил передние ноги, как бы уходя с уронившего его места, и вытянул задние, в последнем отчаянном усилии выпрямил их и встал в полный рост. Он покачивался на своих четырех ногах, а мать поддерживала его, обняв рукой за спину, и радостно приговаривала:

— Ну и от, ну и от. Я ить тебе говорила. А то пропадать собрался — ну не грех ли? Скажи кому, дак и обсмеют тебя, подумают, дизентир. А какой ты дизентир, Игреня? Господи, какой ты дизентир? Хлопни на тебе комара — ты и повалишься. От и весь с тебя дизентир. Тебя ли сичас на работу назначать? Пойдем, дизентир, пойдем.

Она взяла его в повод и потянула за собой. Раскачавшись, конь тронулся, почти сразу же остановился и, будто испугавшись, что опять упадет, заковылял дальше.

... Люся поднялась и, отряхиваясь, еще раз взглянула на огород среди поля, словно хотела удостовериться, что все это было не сейчас, не только что, а давным-давно, больше двадцати лет назад. Освобождаясь от стоящей перед глазами картины с Игренькой, она медленно побрела вверх, в гору, откуда перед тем спустилась, но воспоминание не оставляло ее. Казалось, она что-то не поняла в нем, что пришло оно не для того только, чтобы показать, как это было тяжело и горько, но и с какой-то

другой, затаенной, бередящей мыслью, которую она не распознала. Люсю охватили досада и недовольство собой, тем, что поддалась какому-то незнакомому, пугающему ее своей пытливостью чувству, и она решила идти быстрее, чтобы ходьбой освободиться от него.

«И даже работала». Она услышала даже интонацию, с которой полчаса назад произнесла в себе слова, заставившие ее искать это поле. Да, работала — как все. И косила, и гребла, и боронила, и полола, и собирала — мало ли в колхозе было дел. «И пахала», — добавил в ней кто-то. В самом деле, и пахала — как это она забыла о таком? Правда, всего два дня, потому что за плугом она еще могла ходить, но переводить его из борозды в борозду у нее не хватало силенок.

Она росла слабой и пошла работать позже своих подружек — только в последние военные годы. А до того мать жалела ее и оставляла дома с Танькой, с нынешней Татьяной из Киева.

Лес кончился, и Люся опять вышла на поднимающиеся вверх поля. Здесь, на открытом месте, широко раскинулся ясный, уже нагревшийся день с чистыми резкими краями: воздух в нем, если смотреть вдаль, тонко, неуловимо позванивал на солнце, и этот верхний, угадывающийся звон казался единственным. Внизу при Люсиных шагах все смолкло, затаилось. Земля под ногами не отзывалась, была окаменевшей, глухой лес на горе призрачно пошевеливался, дышал едва заметным в воздухе белесоватым березовым дымком, исходящим от спелого осеннего существования, от тепла и сытости. Небо за лесом спокойно и ровно стекало вниз, за землю; небо было высокое, легкое, но синь на нем уже отцветала, чувства в его глубине стало меньше, в его загадочности появилась усталость.

По полю Люся повернула еще левей, к речке. Она ступала осторожно, будто крадучись, хотя ее хорошо было видно со всех сторон. Где-то там должна быть дорога, и Люся решила, что лучше сделать круг, зато идти по дороге — так безопасней. Она прекрасно знала, что бояться здесь нечего, и все-таки не могла отделаться от непонятно откуда взявшейся уверенности, что кто-то за ней следит, и это было не просто предчувствие того, что

может произойти впереди, это странным образом связывалось с прошлым, с каким-то потерянным воспоминанием, за которое с нее теперь спросится. Ей казалось, что, пойдя в лес, она легкомысленно поддалась на чью-то уловку, что ее сюда заманили, но вернуться сейчас обратно было нельзя — тогда то, ради чего ее увели из дома, произойдет сейчас же, на месте, и она, боясь, оттягивала его наступление, вела его за собой все дальше и дальше.

Она все-таки нашла дорогу, но легче ей от этого не стало. Борясь с искушением броситься по ней вниз и бежать-бежать со всех ног до самой деревни, она медленно, словно пробуя дорогу, испытывая ее крепость и безопасность, пошла в гору. Нет, не добежать, она уже разучилась бегать. Дорога была заброшенной, в окаменевших комках, воздух над ней, казалось, ссохся, и Люсе скоро стало душно. Она подумала, что лучше идти полем, но не сошла с дороги, не могла сделать в сторону ни одного шага, подчиняясь чьей-то чужой воле, которую невозможно ослушаться, и Люся наконец поняла, что на эту-то дорогу и нельзя было ей ступать, что она для нее теперь — как узкий длинный коридор с высокими прозрачными стенами, через которые не перелезть, не выбраться, и коридор этот приведет ее к чему-то неожиданному, может быть, страшному. Острые комки сквозь кеды резали ей ноги, но она не обращала внимания на боль, целиком занятая тем, чтобы ее не застала врасплох какая-то другая опасность.

Она шла-шла и остановилась: как раз посреди дороги, как еж, лежал муравейник. Она долго с недоумением смотрела на эту живую, шевелящуюся кочку: почему муравейник здесь, не в стороне? Как ей пройти? Что делать? Может быть, теперь можно повернуть домой? Она обернулась и ничего не увидела позади себя — все было залито солнцем, и его свет ослепил Люсю. Осторожно, выставив в стороны руки, чтобы не удариться о прозрачные стены, она перешагнула у края муравейника на свободную дорогу и обрадовалась, что ничего не случилось.

«Что это я! — упрекнула она себя. — Что это, в самом деле, я так распустилась? Я здесь каждый кустик знаю,

что тут со мной может произойти? Какая ерунда! Вышла прогуляться, подышать свежим воздухом и — на тебе! — поддалась каким-то глупым, детским страхам. Это все нервы, нервы — надо их лечить. Вот сейчас дойду до пустоши и буду собирать грибы. А потом домой. Здесь у меня все родное — разве можно тут чего-нибудь бояться? Какая я все-таки дуреха!»

Она пошла веселее, увереннее: до леса оставалось немного.

И вдруг, не соглашаясь с этой ее уверенностью, заглушая ее, воздух пронзил тонкий и далекий, сильно избывшийся, но все еще слышный, нескончаемый испуганный крик:

— Минька-а-а-а!

Люся вздрогнула и замерла; она узнала его, это был ее собственный крик. Медленно-медленно, как под грузом, повернула она голову влево: черемуховый куст был там же, на прежнем месте, посреди поля. Кто-то когда-то пожалел его, объехал плугом, и он разросся, поднялся, отвоевал себе у пашни землю и стал давать урожаи. Повинуясь первому невольному чувству, Люся сделала к нему шаг и неожиданно сошла с дороги, дорога выпустила ее. Люся не удивилась, она уже поняла, что не сама выбирает, куда ей идти, что ее направляет какая-то посторонняя, живущая в этих местах и исповедующая ее сегодня сила.

Вблизи черемуховое гнездо оказалось сильно разграбленным. Срубленные засохшие кусты валялись на земле; живые, с редкой зеленью, затянутой паутиной, выглядели убого: самые лучшие, крепкие ветки были с них оборваны. Сохранилась лишь боковая, жидкая поросль, до которой можно достать рукой, а всю середину вынесли, там теперь торчали только высокие, по грудь человеку, голые пни, от которых гнулись в стороны уцелевшие кусты. Кое-где еще висели ягодки. Люся сорвала несколько — они были мягкие, сладко-прохладные, как и тогда, с привкусом мяты, — и крик, найдясь через много-много лет, вдруг снова нахлынул на Люсю и сжал ее. Она испуганно осмотрелась — никого, и все-таки на всякий случай зашла за куст так, чтобы ее не видно было от Нижней речки.

Это случилось тоже сразу после войны. Жизнь тогда, не успев опомниться после четырех окаянных лет, гуляла еще крепко, зло: голодовка, разбой, суды, слезы. Второе лето вдоль реки откуда-то с севера бежали власовцы, наводя на маленькие деревеньки страх: там зарезали корову, там изнасиловали и убили бабу, там ограбили магазин, там усыпили чем-то всю семью и обчистили до последней нитки. Одно время мужики выставляли на ночь караулы, но беженцы творили свои дела, когда их не ждали. Правда, где-то в низовьях двоих поймали; Люся вспомнила, что она видела, как их везли в район. Они сидели в одной телеге спиной друг к другу, со связанными руками, обросшие, оборванные, злые и смотрели на людей с усталым вызовом.

Власовцы, как правило, бежали в начале лета, а к концу слухи о них затихали, и деревенская жизнь успокаивалась, бабы безбоязненно шли опять в лес, плыли за реку — хоть на колхозную работу, хоть куда, словно для беженцев, как для клещей, существовал какой-то определенный сезон, после которого они никому уже были не страшны.

В августе, ближе к середине, мать отправила Михаила и Люсю к этому кусту. Наверно, она заприметила его еще раньше по густой, яркой цветени, а потом проверила и ахнула: в тот неурожайный на черемуху год он ломился от ягоды. В высоких хлебах с дороги его было не видать, а сам он от тяжести пригнулся к земле — поэтому и сохранился, дал черемухе доспеть до полной готовности.

Рвать ее было одно удовольствие. Уж на что Михаил не любил возиться с ягодой, не находя терпения, чтобы одни и те же движения повторять тысячи раз, но тут загорелся и он. Черемуха была крупная, в длинных и чистых, без листа, тяжелых гроздьях — только успевай подставляй под них руки. Михаил передвигал за собой ведро, а Люся для удобства подвязала запан и ссыпала из него лишь тогда, когда груз на животе начинал оттягивать. Зато вывалишь, и в ведре сразу прибавится на ладонь, а то и больше. Приятно было даже пропускать черемуху через руки — словно подставлять их под прохладную, нежную струю; хоть и мягкая, поздняя, она

чудом не мялась и ложилась ягодка к ягодке. За каких-нибудь два часа Михаил и Люся до краев наполнили свои ведра, а куст едва ли удалось обобрать даже наполовину.

Они сходили домой и решили вернуться. Оставлять куст с ягодой на другой день было рискованно. Теперь, когда они знали к нему дорогу, казалось, что в любую минуту на него может наткнуться кто угодно. После обеда настоялся жар; Михаил, поддавшись лени, тянулся в гору кое-как и далеко отстал от Люси. Она не захотела его ждать и одна вышла к короткой, незаметной в хлебах меже, на которой стоял куст. До него оставалось уже шагов двадцать, может, чуть больше, когда куст вдруг зашевелился и на землю с него, как приведение, спрыгнул какой-то незнакомый страшный человек в зимней шапке с подвязанными наверх ушами — страшный уже одной этой шапкой в невыносимо душный летний день. Это было так неожиданно, что Люся остолбенела и, вместо того чтобы кинуться от него, застыла как вкопанная. Человек засмеялся нервным, нетерпеливым и радостным смешком и поманил ее к себе пальцем. Она успела рассмотреть его: невысокий, коренастый, с черным небритым лицом, скрадывающим годы, бесцветные глаза горят белым, сумасшедшим огнем.

Вот здесь, вот здесь он и стоял, удобно расставив ноги в сапогах, уверенный, что никуда она от него не денется, настолько, что позволил себе, как кошке с мышкой, еще поиграть, позабавиться с ней, чтобы полнее и сытнее была потом победа: перед тем как праздновать ее, он разжигал в себе голод. И снова Люся в полную меру пережила весь тот ужас, которым грозила ей тогда эта встреча, и ее пробрала дрожь. Оглядываясь, она отступила от куста в поле, но вспомнила, что совсем уйти отсюда ей все равно сейчас не удастся.

Когда человек засмеялся и поманил ее к себе пальцем, Люся попятилась. Он сделал обиженное лицо и развел руки: что, мол, еще за фокусы? Она пятилась все дальше и дальше. Не выдержав, он осторожно, как бы стараясь не вспугнуть, пошел на нее; на лице его, скошенном от холодного волнения на одну сторону, прыгала короткая жесткая улыбка. И тут Люся наконец бросилась бежать.

Она выскочила на дорогу и припустила по ней вниз, к деревне. Человек, отставший на пашне, где его сапоги проваливались в мягкой земле и заплетались в хлебах, теперь догонял ее — она уже слышала за своей спиной его шумное, всхрапистое дыхание. Она обезумела от страха и неслась с ведром, загребая им воздух. Сзади ее уже царапнули руки, но в последний момент она успела оторваться от них и выпустила ведро — громыхая, оно покатилось за ней по дороге.

— Минька-а-а!

Она закричала и тут же увидела впереди фигуру брата. Он шел неторопливо, вразвалку, а услышав крик, остановился. Но уже в следующее мгновение он рванулся навстречу Люсе. Человек тоже заметил Михаила и резко затормозил, он никак не ожидал встретить здесь кого-то еще и растерялся. Люся проскочила мимо Михаила, но, отбежав на безопасное расстояние, попридержалась, страх за брата заставил ее остановиться. Она закричала снова. Человек успел разглядеть, что перед ним почти мальчишка, сопляк, и теперь наступал на него крадущимися, издевательскими шагами.

— Минька-а! Убегай! Убегай! Минька-а! — надрывалась Люся.

Михаил поднял с земли камень и напружинился. Человек быстро, как для прыжка, присел, и Михаил отскочил назад. Человек зло, отрывисто засмеялся. Он снова попробовал испугать Михаила, но тот больше не двинулся с места; сжимая камень в руке, он ждал. Тогда человек и правда бросился на него — бросился и сразу свернул в сторону; нарочито припадая на одну ногу, он неторопливо, с видом сильного, не захотевшего заниматься пустяками, побежал через все поле к Нижней речке. Он решил не испытывать судьбу и, пока не поздно, скрыться: уж очень громко кричала Люся.

...Так же неожиданно, как возник, крик вдруг прекратился, и вокруг далеко и полно упала ясная, веселая от солнца тишина. Люся догадалась, что теперь можно идти дальше, воспоминание кончилось, и, тяжело тронувшись с места, направилась все туда же — к пустошке, за рыжиками. Она подумала о рыжиках, как о слабом, но еще возможном спасении: если сорвет хоть один,

хоть самый маленький, тогда останется надежда, что все обойдется. А что, собственно, должно обойтись? Чего она боится? Неизвестно. Ничего не известно. Она боялась даже размышлять о том, пристало ли ей чего-нибудь здесь бояться, ей казалось, что и мысли ее тоже могут быть кем-то услышаны и истолкованы неверно. Она устала, ноги заплетались, но устала не от ходьбы, потому что и прошла-то пустяки, каких-нибудь три-четыре километра, а от чего-то другого, более значительного, важного, может быть, от воспоминаний, от этих слишком ярких воспоминаний, которые, как сговорившись, подстерегали ее сегодня на каждом шагу и заставляли переживать все заново — для какой-то своей, скрытой цели. Казалось, жизнь вернулась назад, потому что она, Люся, здесь что-то забыла, потеряла что-то очень ценное и необходимое, без чего нельзя; но и повторившись, прежнее, бывшее когда-то давно, не исчезало совсем, а лишь отходило в сторонку, чтобы видеть, что с ней сталось после этого повторения, что в ней прибыло или убыло, отозвалось или омертвело навеки, — вот они окружили ее и следуют за ней все дальше и дальше: справа, шатаясь от холода и из последних сил волоча за собой по весенней грязи борону, бредет Игренька, слева скачет на черемуховом кусту незнакомый страшный человек в зимней шапке. Там еще и еще...

Люся остановилась. Неправда. Здесь нет никого, ни души, она одна. Эти страхи так же нелепы, как шапка на том человеке в жаркий летний день, эта тревога пуста: просто нервы после телеграммы о матери приготовились к беде, к потрясению...

Она осматривалась вокруг снова и снова. Да, никого; солнечно, тихо, спокойно. Слишком солнечно, слишком тихо и спокойно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Она одна, но одна среди чужого, затаившегося безмолвия, где все внимание направлено только на нее. Ей некуда спрятаться. Нет, надо бежать отсюда. «Бежать, бежать», — твердила она. Зачем, ну зачем она вылезла из деревни? Кто ее сюда гнал? Что она здесь забыла?

«Забыла»?! Мысль вдруг задержалась на этом слове и придвинула его к Люсе ближе. Забыла... Вот оно наконец то, что, не открываясь, почти с самого начала сегодня

изводило ее какой-то молчаливой давней виной, за которую придется держать ответ. В самом деле, там, в городе, в своей новой жизни, Люся все забыла — и воскресники по весне, когда заготавливали дрова, и поля, где работала, и завалившегося Игреньку, и случай у черемухового куста, и многое-многое другое, что бывало еще раньше, — забыла совсем, до пустоты. Она забыла, что когда-то боронила, пахала... Да, боронила, пахала — подумать только! Странно, что и это, не разобрав, она выкинула из памяти, уж этим-то можно бы и гордиться — едва ли кто-нибудь из ее приятельниц ходил за плугом. Давным-давно уже она не трогала воспоминаний о деревне, и они окаменели, слежались в одном отринутом неподвижном комке, затолканном в дальний пыльный угол, как узел с отслужившим свое старьем. И вот сегодня они неожиданно вспыхнули.

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

КОНИ

Ой, конь вороной,
Белые копыта,
Когда кончится война,
Поедим досыта.

Из народных частушек военного времени

Волосатиха дышала то береговым теплом, то холодом своего плеса, и в этом дыхании глохли без того редкие ночные звуки. Бряканье молочных фляг на проезжей телеге, ленивая воркотня давно отнерестившейся лягушки, рыбий всплеск — все это было с вечера, позади, а сухой звон кузнечиков делал тишину еще осязаемей.

«Надо будет хоть на одну Мальку колоколец навязать, — подумалось Лабуте, — все повеселее будет».

Он вышел на сухой, обсыпанный сосновыми шишками бугор, выбрал место над самой Волосатихой, поломал валежнику и развел костер.

Кони паслись в паровом поле и не так далеко. Он чувствовал это особым своим чутьем и спокойно курил, экономно подлаживая горящие сучья. Слева виднелось белое колено дымящейся Волосатихи. Справа угадывалась песчаная дорога. По слухам, как раз в этом месте часто «блазнило и пугало»: давно когда-то схоронили тут спившегося коновала. Говорили, что коновал был нездешний, что ночью в летнюю пору он вставал из земли и до рассвета жадно пил из реки воду, не мог напиться и будто бы всю ночь в его сухом от жажды горле булькала речная вода...

Лабутя подкинул на огонь и огляделся. Костер полыхал и палил угольками, пламя то раздвигало сумрак, то сжималось. На концах прутьев шипела влага. Лабутя поглядел на часы (правление в прошлый сезон премировало его карманными часами). Времени было далеко за полночь.

— Что-то Серега сегодня долго загулялся, — вслух подумал пастух, но тут же услышал недальний свист.

«Серега, где твоя дорога», как его называли, был шофер, возил председателя и ходил каждый вечер гулять к учительнице. Шел он от нее и сейчас, палкой сбивая придорожные лютики.

— Лабутя! — издалека еще окликнул он.

— Приворачивай, парень, покури! — радостно отозвался пастух. — Что-то ты, парень, задлялся, я уж думаю — уехал куда.

Прикуривая от костра, Серега сел на корточки, вытянул губы, на шее заходило адамово яблочко.

— Не видал, председатель не проходил? — спросил парень.

— Нет, не видал. А ты пожевать не хочешь? У меня вон рыбник свежий, сегодняшний. — И Лабутя снял корзинку с куста.

Серега съел полпирога и ушел домой, а Лабутя долго восхищенно глядел ему в спину и радовался, что Серега поел у него и закурил. «Хорош парень, — думал он, улыбаясь. — Второй сезон к учительнице ходит. И одежда хорошая».

У Лабути была одна давняя сладкая задумка. Он с волнением ждал тот день, когда Серега будет жениться на миловидной учительнице и как он, Лабутя, запряжет Гуску — вороную игривую кобылку — и прокатит молодых к сельсовету, на виду у всех, как завяжет хвост Гуске узлом и прокатит, и колокольцы будут звенеть на морозе...

* * *

Мало кто помнит, когда и как прижился в колхозе Лабутя. Еще во время войны он часто ночевал в здешних местах. Зимой за кусок хлебушка подшивал валенки, летом пас коров, и все понемногу привыкли к нему. Считали за своего. Году в сорок пятом колхоз отдал ему домишко умершей безродной старухи. Лабутя поселился в этой хоромине и утвердился в колхозе окончательно. В конторе открыли новый лицевой счет на имя Ивана Александровича Петрова, но никто, кроме председателей, не называл его по имени: только и слышно было — Лабутя да Лабутя.

Летом он по-прежнему жил в пастухах. Коренастый, коротконогий, с бесхитростными светло-синими глазами

и коротенькими ресницами, он улыбался и давал закурить каждому. Причем всегда радовался, если кто-нибудь с ним заговорит и покурит.

Никто не знал и того, сколько ему лет. Правда, иногда кой-какие сердобольные бабы спрашивали у него о годах, но он только улыбался да говорил: «И-и, матушка, я уже и со счету сбился». Однако выглядел он еще не старым, особенно если побреется да сходит в баню, причем первое он делал так же редко, как часто второе. У него никого из родных, видно, не осталось, родом он был из-под какой-то далекой Устрики. Сначала таинственная эта Устрика изредка всплывала в его разговорах, потом совсем забылась, и Лабутя больше не заикался о ней.

Кроме всех людей любил он еще животных, особенно лошадей. Каждую весну он справлял обутку, натачивал топор и, как только появлялась первая трава, шел в контору «рядиться», хотя рядиться было, собственно, нечего, все знали, что Лабутя снова за трудодни все лето будет пасти коней.

Так было много лет подряд. Так было и в это лето.

В бригаде когда-то числилось много лошадей, около сорока, теперь же осталось только десять. Лабутя знал каждую так, как знал самого себя.

Конечно же, на первом счету у него была Малька — кобыла пожилая, но веселого, доброго нрава. С годами сникла брабансоновская Малькина стать, длинные плечи покрылись седыми пятнами от прошлых стирышей, «пятачки» стирышей белели и на спине, где клалась седелка. Кто учтет, сколько Малька за свой век перепахала загонов, перевозила снопов, сколько колесных спиц оставила на длинных лошадиных дорогах? Но еще и теперь в ночь и в холод она безотказно встает в любые оглобли, слышит малейшее движение веревочных вожжей, и ей все кажется, что что-то она не так сделала, хотя чаще всего неладно делают сами ездовые. Недавно один мальчишка ездил в лес за корьем и заехал в незнакомое место. До деревни было далеко, он заблудился и тянул совсем не ту вожжу. Малька же все заворачивала в другую сторону. Тогда мальчишка вырубил специальный прут (она терпеливо ждала, пока он вырубал) и исступленно начал бить ее по крестцу, по ногам. Ему казалось, что она тащит его

в лес, а она вывезла его прямехонько на дорогу. Тогда он, как ни в чем не бывало, запел что-то и успокоился, изредка, для порядка похлестывая лошадь, а она только оглядывалась назад, когда очередной удар обжигал кожу.

Мерин Дьячок — флегматичный, маленький, сухой, тоже был очень смирным и легко давал себя обратывать. Ходил он почти на щетках, но не было мерина терпеливее. В жару июльских дней его не надо было мазать дегтем и креолином: он не выходил из себя даже тогда, когда кровожадные слепни и оводы впивались в кожу давно не нужного Дьячку места, и в ноздри, что было всего больнее. Дьячка выменяли у цыган. Лабутя помнил, как в первый год войны старик-цыган долго торговался с председателем, просил дать лошадь помоложе, предлагая впридачу к своему Дьячку два, видимо украденных хомута. Вопреки предположениям, цыган оказался честный, у мерина не обнаружилось ни бельма в глазу, ни гвоздя в копыте.

Дальше по возрасту шла широкая, как печь, гнедая Аниса. Она была племянницей жеребца, которого перед началом войны колхоз подарил Красной Армии. В конторе и до сих пор висит благодарственная грамота Буденного. Анису умели обуздывать только Лабутя и еще несколько человек в бригаде, притом только с корзиной. Конечно, корзину показывали ей пустую, но, приученная в детстве лакомиться из корзин, она всегда наивно тянулась к перевяслу, прижимала уши, и в это время ее хватали за гриву.

Еще шире в костях была громадная сонливая Верея. Казалось, что Верея спит все время; даже в оглоблях и во время случки она только дремала да щурилась, ослабляя поочереди могучие задние ноги.

Ее медно-рыжая шерсть всегда лоснилась, лошадь была чистоплотна. Она часто каталась на траве, а когда она каталась и переворачивалась, было жутко смотреть — так много было в ней добра. Комья мускулов бугрились на ее груди, если она дремала без дела, если же дремала на ходу, в оглоблях, то мускулы каменьями перекатывались под кожей. По силе и неповоротливой выносливости ее можно было сравнить с трактором, а по невозмутимо-

сти — с многовековым валуном, что лежит поперек Волосатихи, там, где схоронен коновал.

Во всех смыслах полной противоположностью Верее была чалая кобыла Зо́ря. Сухая, брюхатая, непоседливая, эта лошадь наплодила колхозу уйму наследников. Уже и у внучек Зори были свои внучки, а сама Зоря все еще жеребилась каждый год, причем потомство брало от матери только разве выносливость да непоседливый норов. Зорю знал весь колхоз от мала до велика. Не было ни одного человека, который бы не ездил на ней, не запрягал. Лет десять тому назад, когда была еще конная молотилка, Зоря поскользнулась на приводном кругу и упала, как раз на длинный приводной вал. Зорин хвост зацепило, намотало на вал и выдрало по самую репицу. Выглядела она с коротким хвостом довольно несолидно, но однажды, когда приезжий зоотехник заподтрунивал над Зорей, то конюх, знакомый Лабуте мужик, по самые края наложил зоотехнику в шляпу теплых конских колобов.

Кроме этих лошадей, не считая молодых, в Лабутином табуне паслись еще два мерина: Евнух и Фока. Евнух был очень высокий мерин, чуть вислозад, на нем вечно возили молоко на завод, беднягу почти не выпрягали. Правда, доставалось и Фоке — небольшому, но жилистому: свежие, сбитые хомутом пятачки не заживали на его мышастых плечах. Если Евнух приобрел знаменитость благодаря своему высокому росту, то Фока прославился совсем другим способом: он любил выпить. Уже при Лабуте двое колхозных мужиков ездили под извоз на станцию. Возили льносемя, а обратно везли по четыре ящика водки. Дело было осенью, шли затяжные дожди, и речки на волоках словно взбесились, бревенчатые мостики поднимало водой. Мужики расписались в получении товара и выехали домой, все шло хорошо, пока не подъехали к Волосатихе. Первый, ехавший на Зоре, проскочил благополучно. Поехал второй, но всплывшие бревна раздвинулись, и Фока всеми ногами провалился в воду. Пока рубили гужи и чересседельник, все трое, и мерин и мужики, изрядно накупались в холодной Волосатихе. Ящики с водкой, без телеги, кое-как вытащили на сухое место. Надо было выпить, согреться, а вся плата за езду была

дешевле одной бутылки. Тогда один из ездовых взял бутылку, вставил горлышко в зубы Фоке и со скрежетом повернул. Горлышко с сургучной печатью, отрезанное как алмазом, выпало изо рта мерина целехонько, и бутылка оказалась распечатанной. Мужики повторили это дело и для смеха вылили полбутылки в ведро с водой, поднесли мерину: пей, дескать, да не проговорись. Мерин отпил полведра, и дрожь у него тоже кончилась, мужики сдали в сельпо горлышки с печатями, водку списали, а Фока после этого пристрастился к вину. Он сам приходил к магазину, мужики, смеясь, подносили ему, а он после этого скреб копытом, заигрывал, мотая головой.

Все это были сравнительно немолодые кони, но в Лабутином стаде паслись еще жеребчик Зепрем и его сестра Замашка — оба от Зори. Десятой в табуне была вороная кобыла Гуска. Они ходили втроем, на особи от старших. Зепрем уже таскался за Гуской, чувствуя приближение своего праздника Гуска мало еще бывала в хомуте. На Зепреме изредка ездил председатель. Все трое, в том числе и Замашка, еще часто дурачились, повизгивали и грызли друг дружке холки, не зная пока ничего и не испытав того, что знали кони постарше.

* * *

Всходило солнышко, а вслед за ним обсыхала роса. Медленно посинело плесо реки. Рябой клин первого крохотного вихря раздвинул эту синеву и, запутавшись в осоке, утих.

Лабутя переобулся и загасил остатки костра. Можно было вздремнуть где-нибудь под кустом, но спать ему не хотелось; он взял корзину, узду и не торопясь пошел к лошадям. Когда он приблизился к Мальке, она сдержанно всхрапнула и мотнула хвостом. Обратывая, Лабутя никогда не взнуздывал ее. Он с изгороди взобрался на Малькин хребет и, держась за холку, попробовал ехать рысью. Но его так затрясло, что он заулыбался сам себе и поехал шагом. Кони щипали молодую траву нехотя, они поднимали добрые глазастые головы и смотрели на Лабутю, только Зепрем не замечал пастуха, крутился около Гуски и неумело поднимал голову с вытянутой верхней губой.

— Кыш ты, гуляка, я вот тебе! — крикнул на него Лабутя и начал выгонять коней на дорогу. Они сбились в кучу и побежали недружной ленивой рысью, только Верея грызла дерн у дороги и не торопилась. В это время из-за гумна вымахнул Серегин ГАЗ-69. Серега газанул прямо в гущу, кони стремительно расступились, и Лабутя чуть не слетел с Мальки. Серега хохотал и кричал что-то из машины.

— Лабутя! — Серега резко затормозил. — Скоро хана твоему царству, иди ко мне в заместители!

— Чево?

— Я говорю, переучивайся, пока не поздно, расформируют твою кавалерию! — И Серега, хохоча, включил скорость, уехал, только мелькнул брезент на машине. Лабутя не расслышал последних Серегиных слов и улыбался, думая про себя: «Хороший парень, от мазурик!» Ему снова вспомнилась миловидная учительница и то, как зимой он запряжет в санки вороную Гуску, подъедет вместе с молодыми к сельсовету и как будут звенеть на морозе медные колокольцы.

* * *

Пьянящим багульником цвел по лесному выгону Лабутин июль, шумел чистыми дождями, краснел сладкой малиной. Лабутя сколотил себе на лесной развилке дощатый шалаш, устлал его ветками, сухим белым мохом и все дни и ночи проводил в лесу, приходя домой только за харчами. Брезентовый плащ и кошель побелели от дождей, а сам Лабутя почернел до самых ключиц. Он был счастливым и добрым в своем лесу. Раза три в день он палил из ружья, и эхо от выстрелов долго перекатывалось над лесами. Кони уходили пастись далеко-далеко, но всегда он знал, где они: приложив ухо к земле, он слышал их за много километров и знал, что в лесу все спокойно.

В августе почернели влажные ночи. Иногда ночью он пригонял табун к деревне, и кони топотали по улице так, что сотрясались углы домов и качались под матицами висячие лампы. За лето кони нагуляли весу, даже у костлявой Зори округлился и раскололся надвое куцый зад, один только Зепрем стал тощее прежнего — под крестец хоть суй кулаки.

Однажды, после ночи, Лабутя дремал в шалаше. Ездовые еще не разобрали лошадей на дневные работы, и кони, забравшись в густой ольшаник, тоже дремали, не было только трех: на Евнухе возили молоко, на Мальке рано уехали в больницу, а на Замашке со вчерашнего дня ездил по бригадам агроном.

Лабутя не слышал, как с поля к шалашу вышел Серега. Парень решил подшутить над пастухом и подкрался к станку. Он отогнал дремавшую рядом Верею, потом взял бересту из-под крыши, зажег и снова подложил под крышу. Вскоре сухие доски загорелись, занялась вся крыша. Когда огонь охватил все Лабутино сооружение, пастух выскочил из дверей, на нем в двух местах тлели штаны, и он начал заплевывать их. Серега хохотал, катаясь на траве. Лабутя тоже смеялся, выбрасывал из станка кошель, ружье, дождевик и заготовки для граблей.

— А я думаю, что это меня запокусывало, — улыбаясь, говорил он. — Гляжу, горит! От мазурик Серега!..

— Ха-ха-ха... — катался на траве Серега.

Они вместе раскидали горящие доски и сели на траву. Верея удивленно глядела на людей. Дьячок, лежа, изогнув шею, щипал травинки, другие кони стояли в кустах.

— Думаю, что это меня запокусывало...

— Ха-ха-ха...

Доски все еще дымились, и дрожащий зной трепетал над ними. Лабуте все хотелось узнать, когда Серега женится на учительнице, но он стеснялся спросить, и они говорили о погоде. Все-таки пастух осмелился и спросил:

— Что, Серега, ходишь за Волосатиху-то?

— А чево я там забыл? — Серега далеко плюнул и бросил окурок.

— Как это чево? — У Лабути что-то беспокойно метнулось в глазах.

— Ну а чево? — засмеялся парень. — Походил и хватит. Довел дело до точки, и прикрыли лавочку.

— Это как прикрыли?

— Так.

— Как это так? А жениться... замуж то есть... девка...

— Фюйть! — присвистнул Серега. — Что я дурак, такого добра и так навалом.

— Нехорошо, парень, уж на что хуже, — заикнулся было Лабутя, но Серега оборвал его:

— Нехорошо, нехорошо! Что ты за сват нашелся! Да она вон после меня за лето уж троих перебрала. Ей тоже не велик интерес с одним путаться!

Лабутя весь как-то сразу съежился, торопливо начал вертеть цигарку, у него замигали глаза. Серега встал и попросил пальнуть из ружья. Двойным раскатом отозвался на выстрел хмуро и тихо шумевший лес...

— Лабутя! — крикнул Серега уходя. — Председатель велел завтра с утра гнать лошадей в деревню. Всех будут сдавать государству!

— Куда ты без лошади? — откликнулся пастух. — Без лошади, парень, и без дров насидишься, и за сеном на твоей механизме тоже не съездишь. Ты, Серега, не шути этим делом.

— А чего мне шутить? Сказано, в деревню гони! — И Серега, посвистывая, скрылся за кустами.

Лабутя, одумавшись, растерялся, огляделся вокруг. Круглые бездонные глаза Вереи ласково глядели на него, где-то в лесу кричал ястреб, тлели доски разломанного обгоревшего шалаша.

* * *

Через два дня лошадей приказано было гнать в город. Лабутя, как во сне, набил мешок сеном и перекинул его через Верею. Забрался наверх. Трое мальчишек сделали то же самое с Анисой, Евнухом и Зорей. Остальных обротали.

Когда выезжали из деревни, то около скотного двора собралось несколько баб. Бабы стояли и плакали, взглядом провожая лошадей до поворота дороги.

К вечеру приехали в город. Приемщик собирался уже уходить, но все-таки принял лошадей, а Лабутя, не видя белого света, пошел в магазин, купил четвертинку...

Сидя около базарной площади и ожидая Серегу, чтобы уехать обратно, он выпил четвертинку и без охоты

съел два огурца с хлебом. Серега все еще где-то ездил по городу, выполнял поручения председателя. Лабутя глядел, как, фырча, проезжали мимо самосвалы, слушал певучие голоса легковушек, и ему все чудился лесной выгон и далекое ржанье.

Вдруг он вскочил с магазинного рундука: через базарную площадь, гусем, гнали коней. Впереди всех шла Верея, к ее хвосту был привязан Дьячок, за ним шла Аниса, потом Фока, Зоря, Евнух, Гуска, за Гуской Зепрем, Замашка и позади всех, привязанная к хвосту Замашки, шла Малька, она, повернув голову, узнала Лабутю, тихо заржала, и все кони остановились и тоже повернули головы к пастуху...

* * *

Лабутя приехал домой вместе с мальчишками на Серегиной машине, переночевал, а утром исчез куда-то из колхоза. Все его богатство — колхозное ружье, дождевик, топор, кошель — осталось в избе, а он исчез и больше не появлялся.

То ли его вновь потянула бродяжья воля, может, сидевшая в нем с самого безотцовского детства, а может, его позвала родная деревня—безвестная далекая Устрика.

ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВ

МАЛИНА РЯСНАЯ

Мы на Чугуне жили в ту пору.

Я это слово не случайно с большой буквы написал: жили мы, понятное дело, не на том чугуне, что в печь ставят, а речка так называлась.

Не Чугун, а именно — Чугуна, с ударением на последнем слоге. Почему так, я не знаю. С нашими горноалтайскими да горношорскими реками и речками не разберешься: многие из них названы издревле то ли кетами, то ли селькупами, то ли еще кем до них. После эти племена дальше на север оттеснили, теперешние алтайцы да шорцы долины заселили, а имена многих рек остались. Да еще мы, русские, их на свой лад переиначивали, чтоб ловчей произносить: на такие переделки мы великие мастера!

Чугуна — река невелика, километров, может, тридцать от истоков до устья со всеми извилинами наберется. Но долина у нее — вольготная, веселая, светлая. Горы по правому берегу — пологие, с широкими разложинами, с бесконечными увалами у подножий и даже местами с луговинами. А слева — крутые до обрывистости, до голой скальности, где Чугуна близко прижимается и живую землю подмывает-уносит. Но больше все же заросших крутиков, таких издали мягко-кудрявых, вроде бараньего лба, что охота рукой погладить. На самом же деле они сплошь в таволге — свирепой крепости и невероятной густоты кустарника, даже и не пробуй пролезть! Над крутиками по отлогим склонам уже и другие всякие кустарники и ягодники есть.

Распадки тут крутые, узкие, мрачноватые. Ручьишки в них невелики живут, а яростные, в ступенях-водопадах

и неожиданно глубоких бочагах. Сверху такой колодец всего и глубины — ребенку перешагнуть, а окунись — не всюду дна достигнешь, так выбивает водой. В устьях, в разложинах возле долины, они образуют омутки помельче, а то и вовсе в сухолетье на нет сходят: одна галька, грубо окатанная, да камень-шихан. Журчит под ними вода глубоко, и слышно, да не напьешься...

Гари тут по Чугуне давние, справа до самой Чулты, километров на десять, а с левого крутогорья — как раз до хребтины: будто лез-лез огонь в такой крутик и выдохся, иссяк на перевале. Здесь темно и резко вздымается чернь-тайга и льется дальше по горам и долинам сплошь, без конца.

На горах повырастали трепетные осиновые рощи, на старых отвалах, «николаевских» еще, — ровные березняки, и, конечно, кипрея и разных других медоносов по этим местам — гибель. Оттого и пасеки по Чугуне — сверху донизу, на каждом пятом километре, — что медосборы завидные. Их бы и гуще насажали, пасеки, да ближе четырех километров нельзя: тогда пчелы-труженицы плюнут на работу по сбору нектара с цветов и станут друг у друга готовый мед красть.

...Сладили зимой плотники два больших барака на веселой луговине, на солнечном месте, и сразу их густо забили семьи вербованных степняков. Которые даже и из России были, а один так и вовсе вятский, шустрый такой мужичок: из своих-то лесов да в нашу тайгу с целой оравой ребятишек — и словно век тут жил.

Женщины поначалу дичились — страхов было нарассказывано — на тачках не вывезешь! Наши ведь сибиряки что сшутят или соврут — для проверки: не слишком ли глуп тот, кто слушает, — так с непривычки и не поймешь, до того всерьез говорится. Вот и бухнул некто развеселый старинную небыль-нелепицу о том, что медведь наш женщин красть любит. Мужиков-де заедает насмерть, а баб «искаться» заставляет — в густой шерстище у него полным-полно всякой злой кровососущей живности. И для того повселетно держит у себя пойманных, хоть и не обижает, но и не отпускает. Только, мол, зимой, когда заснет крепко в берлоге, и возможно

убежать от него. Здешних же не трогает потому, что они искаться ленивы, да и сами хитрей любого зверя.

Степнякам поначалу и невдомек было, что по летнему обычаю у медведя, как у варнака-бродяги, и квартиры-то постоянной нет: его каждый кустик ночевать пустит. Бывают, конечно, излюбленные лежки, но не обязательно.

Кроме легендарных, с удивительными привычками медведей, еще никем не виданных, пугали всех с начала лета вездесущие и вполне реальные змеи, которыми буквально кишели и долина Чугуны, и все ее склоны и притоки. Это уж такая непреложность неладная: в самой темной тайге, в глухой «черни» — ложись где хочешь, не опасайся ползучей гадины. А что ни светлей и открытей место, — луговина там или увал, не говоря уж про болота и согры, про каменистые места, — то знай поглядывай под ноги! Пока не обжили место, было их и под бараками и возле бараков... Тоже с непривычки-то не потянет радостно здороваться.

Но, говорю, местожительство по весне веселым оказалось, долина — вольготной, снеди всякой дикорастущей— не оберешь всем миром! Прямо с первых проталин и до больших снегов: кандык, колба-черемша, после — пучки русьянки, грибы всякие на соленья, шиповник, смородина черная и красная, черника, голубика, черемуха — на варенья и сушку, хмель на медовуху.

Даже и зимой собирали, верно. В предзимье — клюква на болотах и рябина на горах, обе, тронутые морозцем, хороши. А уж по большому снегу — калину, чуть не до весны, вперебой с дроздами: кто раньше успеет...

Обжадовели хозяйственные степнячки — сами себя загоняли по «заготовкам» разным, да постепенно и бояться позабыли. Помню старуху Голошечиху, которая далеко за пятьдесят годов так лихо лазать по кедрам за шишками научилась, что самые ловкие «лазаки» — подростки — дивились.

Из-за многоснежной в тот год зимы подзатянулась весна, хоть и была она буйной и могучей. Ну, понятное дело, и лето крепко припоздало.

В природе ведь как бывает?

Осень может затянуться, зима может затянуться, весна хоть и самое радостное время в году, а, бывает, до того

затянется, что всю душу вымотает. А лету затянуться невозможно. Запоздать — пожалуйста, сколько угодно, а свое взять у осени — шалишь! Пусть после самого короткого лета, пусть самая раззолотая да красивая, а все осень в свое время придет, не опоздает.

Потому и торопилось запоздалое лето взять свое и входило в силу столь стремительно и неудержимо, с такой победной яростной радостью гнало в рост все, что может расти, таким могучим бесконечным солнцем плавилось и густо заливало тайгу и горы, что они за короткие ночи и остывать не успевали. Да и ночи-то были вроде для блезиру, так, по привычке больше — нельзя же, мол, совсем без ночей, сроду такого не бывало.

В такое лето змеи злыми молниями бьют через тропу под самыми ногами; птицы шалеют от радости и перестают бояться — какая-нибудь копалуха уводит выводок от тебя чуть поспешней, чем домашняя курица, а птенцы-желторотики едва ли не прямо из яйца превращаются в подлетышей...

Осторожнейший марал вдруг выскочит прямо к жилью, вскинет голову с волшебным деревцом уже закостеневших рогов, не боясь, что снимут ее, гордую; зацепенеет на миг: весь — спружиненная, сжатая, отлитая в мгновенную неподвижность стремительность и красота! Любуйся, мол, и... только ахнешь от непонятного счастья, и сам себе не веришь — видел ли, почудилась ли дивная сказка?..

Сытый, переполненный прямо ненужной могучестью, медведь томится от нестерпимого ощущения роста своей силищи и неведомого доныне добродушия, шалеет незло и глупо. Тоже может и в деревню вскочить, всех перепугать и ничего не наделать. А встретясь с тобой на тропе, не взрявкнет для напуга, не бросится пушечным ядром, пробивая кусты, а встанет и даже будто головой замотает — сейчас заговорит, как в сказке: «И чего это, мол, скажи, человече, так томно мне от зверской доброты моей? И... уходи ты, знаешь, ради бога, с тропы, потому что не пойму я, чего мне хочется: то ли задрать тебя, то ли поднять по-щенячьи лапы, а ты бы почесал мне где-нибудь в недоступном месте...»

Рыба, даже осторожнейший хариус — сибирская форель, ловится в такое лето не то чтобы жадно, а с какой-то

веселой отчаянностью. Будто для того только и жила в стремительной и холодной воде, чтобы на миг удариться бесшабашно и безрассудно в тугой и горячий воздух, блеснуть ослепительно под ослепительным солнцем в могучем и отчаянном рывке в неведомое, а там — хоть вода не теки!..

Люди тоже шалеют от силы и веселья и работают так, будто в эту именно смену, в этот именно день надо закончить некую всеобщую работищу, после которой ахнет человечество изумленно-растерянно:

— А ведь это мы счастье сработали, гляньте-ка, люди!

А в одиночестве человек, бывает, встанет под широким небом на высокой горе пад глубокой долиной и вдруг поймет невнятный зов бессмертия и светлую смертность своего слияния с природой.

В такое лето — урожай на грибы, на ягоды, на кедровые орехи и на счастливые свадьбы — по осени. А сама осень приходит золотая, светлая и пронзительно красивая, потому что нельзя, невозможно ей сразу после такого лета быть обычной — плаксивой, промозглой и раскисшей.

...Невероятная уродилась тогда и к августу вызрела на старых гарях малина! По левобережному крутогорью, по распадкам, крутым и загадочным, по старым отвалам вдоль реки, по всему пригреву и даже по «сиверам» созревала таежная чудо-ягода.

Это вам не садовая изнеженная ягодка со слабым ароматцем и жидковатой слащавинкой! Таежная малина до того духовита, что пьянеешь от сильного и тонкого аромата, как от самого благородного вина — мягко, волнующе и неотвратимо. На солнцепеке она не крупна, ярка до черноты от загара и сладости. Но — слаба, недолго держится под солнцем: вчера еще была зеленовата, а ныне — темно-багряна и от дыхания осыпается. Другое дело в тени. Под одиноким ли кедром, под скалой ли, в вечно ли затененной щели распадка или, наконец, просто под густым черемушником да рябинником зреет медленно, глубоко, крупно — каждое в ягодке зернышко, как у ежевики, в особицу! Цветом нежна неизъяснимо и покрыта не загаром, а пушком тончайшим, как самый лучший из персиков. Запах же под стать всем остальным качествам — и нежен, и силен, и густ, и бесконечен...

Спеши ты по самому важному делу или по самому горькому — хоть бы на поминки, не к месту будь сказано, звать, — пеш или вершный, а попала тропа в малинники, и уже замедляешь движение, что-то забыв, а что-то неведомое вспоминая; и вот уже слез с коня, и вот шагнул под густую черемуху, которой еще не приспело время, или через вовсе пустопорожнюю бузину; и вот подставил ладонь под самую крупную, самую духовитую, самую спелую ягодину, а она только и ждала — капнет тепло и невесомо тебе в ладонь, оставив после себя белый конус на ветке; и ты не кинешь ее в рот, а сперва подивишься, как это жесткая твоя ладонь ощутила прикосновение ее нежности и как сразу отступили смущенно грубые запахи твоего и конского пота, черемуховой горечи и пихтовой смолы, а до мягкого головокружения непрерывно и тонко пахнет малина!..

Таежную малину не едят весело и жадно, как спелую смородину, ею даже не насыщаются, смакуя, как загадочную чернику, — ее вбирают целиком, всем вкусом и пониманием, наслаждением и мудростью, как вбирают подлинную красоту. Потом говорят, что в малинниках, как в хмельниках, голова начинает болеть и человек расслабляется. На самом же деле — какое там с хмелем сравнение, просто люди пьянеют от непривычного ощущения красоты.

Конечно, в ту пору все женщины, девчонки и парнишки, все старухи целыми днями пропадали в малинниках. Мужикам не до того было: работа на золоте ручная, тяжкая, ухлещешься за смену с кайлой да с лопатой, с тачкой или бревнами, так впору до стола да в постель. А все, глядишь, идя с работы, забредут в малину, кладут задумчиво ягоды в рот, да подолгу, потому что малиной никогда не наешься с куста. Потом кто-нибудь заметит удивленно, что вот, гляди-ко, и не сыт еще, а отдохнул!

...В тот развеселый день ушли мы гурьбой подальше от бараков по левому крутогорью — всегда кажется, что подальше ягода самая рясная! Поначалу звонко аукались женщины, взревывали дурными голосами парнишки, пугая девчонок медведем, и все потихоньку разбредались по склону.

И затихали, умолкали.

Тут ведь вот какое колдовство — малина шума не любит. Любит задумчивость, мягкость движений и понимание красоты вокруг тебя. Иная женщина набредет на богатую «пасеку», где чудо-ягоды висят — вздохнуть боязно, да и замолчит. И ягодой залюбуется, и сноровистой работой своей: малина чуткие руки любит и на сбор неподатлива, берешь-берешь, а гляди — все полведра... Другая, может, пожадничает, стихнет нарочно, чтобы кто-нибудь не подошел близко: все одна оберу! А там — тоже задумалась, затихла, про жадность свою забыла, только руки работают, сама себе нравится. А у иных, как у меня, — ведро переполнено и душа тоже. И так словно сливаться с незнойным солнцем, теплым и нежным ароматом ягод, с грустноватым непонятным счастьем позднего лета.

Словом, были люди и — нет. Недалеко и разбрелись, а как растаяли, никого не видать. Я Герку, братишку своего, глазами поискал. Белая его головенка серебром горела на скале-выступе неподалеку. Не зря все смеются: Гершу ни в кустах, ни в траве не потеряешь, глянь, где солнышко на земле светит, — вот и он.

Поставил я в тенек под колодину ведро с малиной, рубахой накрыл — пусть улежится, после еще маленько доберу, — полез к Седому, к Герке. Скала отсюда, с гребня, невысокая, лезть удобно, а в распадок обрывается стеной метров в двадцать да с двумя карнизами. Вершина, как стол. Лег я на спину, давай загорать. А Седой весь вытянулся — вниз, под скалу смотрит. Лежу, расплываюсь тихонько в легком от солнца и душноватом от камня зное. Хотел отругать Седого, зачем ягоды на солнце оставил — отмякнут ведь, да поленился. Так в дремоту и клонит...

И тут слышу непонятные звуки. Вроде ручей бормочет, да уж больно густо. То вдруг, похоже, свинья зачавкает, только помягче, помузыкальнее будто.

Седой меня под бок толкает, я повернулся на живот, гляжу со скалы вниз. Постой, да какой же это ручей? Он же в распадке, метров триста вниз, да полуживой в бездождье! Чугуна и вовсе далеко вправо в долине. Правда, вон бабка Голощечиха по-над устишком ручья мали-

ну берет, как раз где два омутка круглыми зеркальцами блестят. Хорошо видно старуху. Но не она же хрюкает, да и не услыхать бы ее... Опять меня Седой под бок локтем, сам совсем вниз свесился. Я подтянулся на голом пузе к нему и понял — не туда глядел. Прямо под нами, под скалой, площадочка до того густо малиной заросла, как в саду, да такая рясная и крупная ягода — отсюда видать.

И... медведь сидит в малине. Сидит как толстый мужик в рыжей дохе, лапы-ноги раскорячил, лапами-руками ветки малины к себе подтягивает и — ягоды в рот. Да ловко так, что ни одна ягода с куста не сорвется, не сронится!

— У-ум-м-чамм-мчамм-хыр-рра-шша! — кажется, выговаривает от удовольствия. Косолапый сластена обсосет все ягоды, так что белые пенечки только останутся, прямо на заднице юзом передвинется и — новую партию кустов подтягивает осторожно и новые ветки с ягодами в пасть. Честное слово, мне даже показалось, что он глаза от удовольствия прижмурил, а ворчит-хрюкает совсем не без приятности, музыкально.

...Ах, Седой, Седой! Лет тридцать, как не больше, прошло с той поры, теперь он и вправду седой, и две моих племянницы растут у него в Якутии — пожалуй, теперь постарше, чем он тогда был. А до сих пор не узнал я, нарочно или невзначай он тогда так сделал? Наверно, нарочно все-таки: лукавый рос, затаенно-веселый парнишка. Толкнул Седой ведро с ягодой, да так ловко, будто целился долго.

...Тоже и медведя надо понять: сидел себе, ягодой угощался-лакомился. Тепло, тихо, сладко — блаженство! Вдруг — сверху малина посыпалась, как дождь, и тут же: бряк!.. дзыннь!.. тр-рах!.. — какой-то страх-ужас сверху летит, грохочет и — по башке! Да со звоном, с дребезгом! Медведь взвился вначале со щенячьим растерянным визгом, потом рявкнул дурнинушкой! Мы вскочили на своей скале и в свирепом восторге камнями в него сверху! Да с воплями!

Косолапый рванулся вверх, обтек скалу слева — то-то бы добрался до нас! — но тут прямо перед ним три женщины выросли. Представляете, каково они взвизгнули-

взревелись, как со звоном полетели на камни ведра и одно — медведю под ноги! Медведь ударился об этот визг и грохот, как об стену с разбегу. Ухнул, рявкнул, взметнулся на дыбы, резко, как цирковой конь, повернулся па задних лапах да — вниз с крутосклона, как нырнул!

Женщины, девчонки, парнишки с визгами, стонами, звонами бросаемых ведер — до ягоды ли малины тут! — сыпанули вниз, к Чугуне, на тропу, а по тропе — к баракам. Как в кино — мгновенно исчезли, только чей-то белый платок затрепетал на ветке. А ведь и видели медведя только три женщины.

У медведя дела еще хуже: ноги-то у него задние длиннее передних, как у зайца, а тут крутизна да такая спешка! Тихонько слезать и то боязно. Он, бедняга, тормознет всеми четырьмя, аж плоские камни с грохотом катятся вниз, обгоняя его, а — не удержаться. Взрявкнет недуром, да через голову, захлебываясь ревом...

До чего же все это долго рассказывается! Но неохота ни одной детали пропустить, до того отчетливо помню!

Бабка Голощечиха слышит, а не поймет, откуда такое — рев, и визг, и грохот камней. Глянула вверх — нас ей видно на скале, а медведя — еще нет: ближние кусты скрывают. Погрозила палкой-клюкой нам — хорошо видать было. А мы уже за бабку перепугались: прямо на нее впереверт летит-рушится медведь, обомрет ведь бабка!

Мы заорали дружно:

— Баушка!.. Медведь!.. Баушка!.. Медведь!..

Все правильно: вон бабушка, вон медведь. На нее падает, совсем очумел. А что изменишь? Замолкли мы... И тут только старуха медведя увидала.

Тоже представьте себя на бабки Голощечихином месте. Брала малину тихо-мирно, вдруг — медведь на нее с горы падает. И камни. И, конечно, рев и грохот рушатся. И тогда бабка Голощечиха завизжала. Она визжала до того тонко и молодо, как девчонка, но до того громко и сильно, как десять девчонок не смогли бы! Застыла на месте со своей клюкой в руке и — визжит.

Медведь рявкал, ухал, падая, да тут успел человека перед собой заметить. И не остановишься, и не свернешь. Может, он подумал, что бабкина клюка — ружье и сей-

час выстрелит в него в упор? Только он тоже завизжал. Он визжал пронзительно и отчаянно, совсем как молодой пес, только так громко и сильно, как десять собак не смогли бы!

И с размаху, едва не сбив бабку, рядом с ней в омуток-бочажок бухнулся. А тут другой такой же омуток. И неизвестно зачем, только бабка сиганула в этот другой омуток. По примеру медведя. Она взметнула неровный круговой фонтан и — вся ушла в воду: мы диву дались, куда там нырять-то? Все-таки Голощечиха крупная старуха была.

А медведь — как бомба взорвалась! — чуть не всю воду из бочажка на другой бережок выхлестнул. Выскочил — мокрый, обеспамятовал совсем, захлебнулся, закашлялся и... Еще с минуту слышалось задыхающееся «ух-ух!» — так летел в пологий подъем на другой склон огромный, рыжей коровьей шерсти мяч.

И сгинул в тайге.

А бабка — в омутке сидит. И окунается. Голову зачем-то, как утка, сунет в воду, подержит и вынет на воздух. И опять. И все это сидя.

Поняли мы — неладно с бабкой. Спасать надо старуху, хотя, может, уже и поздно. Летели мы к ней по крутику сверху хлеще медведя, только успевай за таволожник хвататься!

— Баушка! Живая? — обрадованно заорали мы.

— Ик! — громко сказала бабка Голощечиха и опять вытянула шею, как утка, и голову окунула в воду. Потом голова вынырнула, глянула на нас белыми безумными глазами, сказала: — Ик! — и опять окунулась.

— Ты не ныряй, баушка! — жалобно попросил я. — Ты, может, ногу подвернула, помочь тебе вылезть?

— Ик! — очень звонко сказала бабка и опять унырнула головой.

— Баушка! — даже Седой перепугался, заорал: — Ты не ныряй, не надо! Давай мы с Володьшей тебя вытащим, просушим, ты опять хорошая станешь...

Но когда мы ее подхватили под мышки и поволокли из бочага, каменной бочки, она толканула нас в разные стороны и визгливо заругалась.

— Все, — спокойно сказал Седой, — наладилась. Уже ругается. Отойди, Володьша, а то огреет чем-нибудь: она, когда в себе, драться люта! Да куда ты левешь, обляпаешься!..

Я глянул — омуток рядом был еще мутный и неполный, бережок — мокрый, а кустики подальше сплошь жидкой вонью облиты с медвежьего перепугу. Не зря говорят — «медвежья болезнь»: так в гору и тянулся прерывистый вонький след.

Мы поднялись наверх, к скале. Нашли Геркино ведро помятое, успели в него снова малины набрать. Отборной, на «медвежьем» месте. Только тогда примчались мужики.

Вот степняки-степняки, а лихие оказались и неукротимые! Когда перепуганная орава ягодниц подхлынула к баракам, все свободные от работы мужики похватали ружья, пали на неоседланных, свободных от работы коней и диким махом кинулись к нам. Мы с Седым даже залюбовались вначале: по луговине они лавой летели, прямо партизаны гражданской войны издали. Такие все бесшабашные, грозные, кто босой, кто распояской, лица у всех распаленные, натужные, будто не они на конях, а кони на них скакали!

— Ребятёшки! — грозно закричал передний всадник, дядя Степша Чемров. — Вы тут медведя видали, куда он убег?

Подскакали остальные мужики, сбились на узкой тропинке, поводья натягивают, у всех ружья наизготовку. Сразу резко запахло конским горячим потом, мужицкой лихостью и ружейным пороховым дымом: кое-кто для отчаянности стрелял на скаку. Запаленные пузатые рабочие коняки затоптались под ними раскоряченно и обреченно.

Нам стало страшно не только за напуганного нами медведя, но и за всех непуганых в округе. Мы переглянулись: Седой на меня поглядел, я — на Седого, потом оба мы уставились на лихих всадников. Это у нас здорово вышло — полное недоумение. Детское такое. Ребячье. Особенно у Седого.

— Не-эк! — дружно замотали мы головами. — А какой медведь, дядь? А где медведь?

— Но дак у вас же и спрашивают! Где? — потише

маленько крикнул дядя Степша и безуспешно попытался вздыбить своего тяжелого Игреньку, который успел набить полный рот травы и не желал даже головы поднять.

— Бабы без ума прибежали, говорят, медведь имал их, не поймал, дак с сердцов Степанидиных ребятёшек заел да бабку унес, Голощечиху...

— Знал кого! — многозначительно сказал глупый мужик Ваньша-Каталь. — Уж искаться бабка была мастерица — што-ись, гниды единой в голове не оставит, даром что старая!

Потом он долго глядел на нас, разинув рот шире обычного, и спросил:

— Дык это вы, чё же, ребятёшки, живые, выходит?

Я не успел ответить — Герка опередил. Он старательно ощупал меня и серьезно сказал:

— Да я-то вроде живой, дядя Ваньша, а вот Володьша — не пойму никак: видать — вижу, а в руки ничё не ловится.

— Но? — удивился Ваньша-Каталь и стал протискивать своего коня к нам. — А то, быват, видимось, глаза, значит, отводит!..

Но тут из-за кустов вышла живая и невредимая бабка Голощечиха. Юбки на ней были отжаты, но еще влажны, а ведро — уму непостижимо! — опять доверху полно малины. Даже со стогом!

— Бабка! — обрадованно закричал дядя Степша. — Дак медведь не тронул тебя али отпустил? Но-ка, покажь, куда он побег, мы сейчас за им вдогонь поскачем!

Голощечиха глянула на нас и прямо затряслась от злости:

— Дак, поди, эти болтуны из-под худой наседки наболтали чего-то? А ты, Степша, мужик неглупой, а им веру дал, варнакам сопливым? Да никакой меня медведь не фатал, да я и сама ишо кого фатану, дак употет перевертываться!.. А что сырая я, дак в бочажок оступилась, а они, варнаки, рады над старым человеком поизгаляться! Чё вы тут наврали, сказывайте добром, а то худо будет! Как есть сироты — ни стыда, ни совести!..

Я еще ничего не понял, как Седой предал меня, скорбно вздохнув:

— А ты на меня-то пошто несешь зря, баушка? Я ни о чем и не сдогадался, как Володьша выдумал про тебя и про медведя: говорит, медведь пришел, расспрашиват, кто лучше всех искать вшей умеет...

Трах!

Хоть и был я, по уверению Седого, одной видимостью, черемуховая бабкина палка плотно влепилась в мою спину:

— Читака! Книги читашь, а чё выдумывашь, а?

Наконец вперед протискался на коне Ваньша-Каталь и очень серьезно — он всегда был мужик очень серьезный — сказал:

— Ты, бабка Овдокея, не пообидься, а только дай-ка я тебя пошшупаю, а то, быват, на вид и человек, а на факте глаза отводит. Хоть бы и тот же медведь...

Трах!..

И Ваньша-Каталь долго не мог теперь раскрыть рта: то ли от боли, то ли от изумления. Потом наконец, не сердясь, проговорил:

— Не, эт правда бабка! Кака тут видимость — шишка вон вспухат!

— Дядя Степша! — сказал Седой. — А может, все же медведь-то был? Ну, не сам, а видимость его медвежья? Я слышал — в кустах что-то шебаршало, то ли медведь, то ли ящерка. А потом тетки как побегут!..

— Да вы-то пошто не побежали? — с подозрением спросил дядя Степша.

— Да Володьша сказал: дурак я бегать! Это Пашка-продавшик в магазин спирт привез, так бабы побежали, чтобы мужики без них там боны не пропили.

Я понял, что значит помирать со смеху. Я чувствовал, что если сейчас, сию секунду не захохочу, то помру мгновенно от этой судороги в горле, в кишках, в разных там печенках-селезенках! Я весь задергался и стал тихо валиться под ноги дяди Степшиного коня.

— Это чего с им деется? — перепугалась бабка Голощечиха. — Ить я его любя поучила, тихонько, считай, что помазала.

Седой вздохнул:

— А он, баушка, порченый: в детстве из зыбки упал —

да головой! Вот и накатыват иногда. Особенно когда про медведя заговорят...

— А я давайте приду да с уголька его спрысну! — сказала бабка. — Я ить знахарю маленько, сведущая.

— А то, быват, от книжек это у его, — мудро сказал Ваньша-Каталь. — Ить он читака, а от книжек сроду добра не быват!

— Это ты правду сказал, дядя Ваньша, а только зря: теперь он хохотать станет, — сказал окаянный Седой. — Вы не пугайтесь, мужики, он...

И я захохотал.

До слез, до икоты, до тоненьких задавленных взвизгов и вскриков, до того, что отдохнувшие кони перестали щипать траву и подняли глупые добрые морды, а мужики запереглядывались, и лица у них тоже стали добрыми и глупыми.

Я хохотал, вспоминая, как летел впереверт через голову и рявкал медведь; как сыпанули разноцветным градом на тропу женщины; как бухнулась вслед за медведем в омуток бабка Голощечиха и как она ныряла, и как икала; и как они оба отчаянно заревели, вынырнув; и как летели партизанской атакой отчаянные вербованные степняки — человек пятнадцать с ружьями на одного, насмерть перепуганного медведя!

Я хохотал, глядя на возмутительно невозмутимого Седого и на дяди Степшину «переломку», которая давно переломилась на скаку и выронила патрон. Потом я вынужден был долго пить из родника зуболомную воду и мочить голову.

А потом...

Кто-то прямо с коня нерешительно потянулся к малине и... вскоре спешились все. Потому что невозможно долго быть в малиннике и думать про другие дела. Хотя бы это дело было столь серьезным, как отважная мужицкая готовность отомстить смертельно перепуганному медведю за до полусмерти перепуганных женщин.

— Эй, а куда Ваньша-Каталь поскакал? — вдруг опомнился кто-то. — Ваньша, ты ку-уда?!

Тот нелепо взмахнул руками, натягивая поводья, и, обернувшись, крикнул:

— А, мож, в самом деле Пашка шпирт привез?

Выламывались медведями из малинника мужики, грузно валились животами на грузных коней своих и тяжким скоком мчались вслед за самым глупым мужиком. Потому что если спирт, то тут над приискателем никакая и малина не властна!..

И тогда от всей души, звонко и счастливо засмеялся окаянный Седой. Потому что он всегда смеялся последним; потому что Павлик-продавец только сегодня уехал на базу и будет дней через пять, и все про это знали; потому что дяди Ваньшино ружье осталось висеть на сучке и была это старинная берданка без затвора; потому что бабка Голощечиха вновь вымазалась в медвежьей «видимости» и не замечала этого.

Она поглядела на нас, злая бабка Голощечиха, раздобрилась, тоже посмеялась над мужиками и похвалила нас:

— Вы хошь и сироты, а ничё, ребятёшки хорошие.

Я засомневался в этом, но Седой сказал:

— А то! Мы даже никому не расскажем, что ты из чужих ведер себе малины насыпала, баушка...

И мы вместе еще посмеялись, потому что...

Лето было такое, что никто не мог долго сердиться. Даже, наверное, медведь. Если он, конечно, не умер от расстройства желудка, как ему полагалось по поверью.

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

СЕРЫЙ ОЛЕНЬ

Знаете, как пахнет тихий и холодный воздух, когда только что перестал идти снег, перестали скользить пушистые снежинки, когда последняя легкая снежинка, отстав от тучи, легла на темно-зеленую лакированную еловую ветку и, не исчезнув, не умерев, прибавила своим крохотным кристалликом еще одну искру в зимнем лесу, встретившем луч солнца?

Вы знаете, конечно, вы помните этот чистый и морозный запах освобожденного от снежинок, прозрачного воздуха, — запах, который всегда живет с нами и который зовет нас в далекое детство, когда, не ведая забот, купались мы в снежных сугробах и, пылая лицами, возвращались домой словно в шкурах белых медведей, а «шкуры» эти потом бурели в тепле, набухали влагой и едва успевали просохнуть возле горячей печки к утру.

...Я жил в деревянном охотничьем доме, в «гостинице», как его тут называли, на лесном кордоне, в самую глухую предзимнюю пору: кончался ноябрь, и уже стояли морозы. Жена лесника каждый день топила белую печь с плитой, а я перед тем ходил за дровами, грохал к поддувалу промерзшие пахучие березовые поленья с налипшим снегом и просил не беспокоиться, благодаря ее за заботу. Я, признаться, чувствовал себя неловко, когда эта милая женщина, обстучав у порога валенки разбитым березовым веником, входила с доброй улыбкой в деревянное и светлое мое жилище с пятью кроватями, заправленными «конвертом», и певуче говорила, словно бы виноватясь передо мной за плохую погоду:

— Ох, метет! Всю ночь мело, утром метет... Да что же это такоича! Карай сегодня выл, спать небось вам мешал.

Он у нас на метель обязательно воет. Такой непутевый... Найда — та добрая, не воет.

— Может, он песни поет для Найды? А я и не слышал этого певца ночного...

— Какие там песни... Непутевый кобель: ну просто-таки душу вытягивает. Это хорошо, что вы крепко спите. Значит, нервы спокойные — это хорошо. А я, как переехала жить на кордон, такая нервная стала, даже в город к врачу ездила. Таблетки прописал, но я их не стала пить. День попила, а ночью совсем заснуть не смогла. Так они у меня и стоят в пузыречке, голубенькие такие... Ну их!

А я смотрел на эту полнеющую и добрую женщину, на розовое и приятное ее лицо, на котором не замечал и следов бессонницы или тяжелого сна, старался поймать убегающий и словно бы суетящийся взгляд жалостливых, блеклых глаз. Мне хотелось сказать всякий раз что-нибудь такое хорошее, чтобы она посмотрела на меня, как на своего и понятного ей человека, который не только охотой занимается, а тоже, как и она, как ее муж, работает и устает от работы, и забот у которого тоже немало, и, конечно, хватает всяких неприятностей.

Но ничего у меня не получалось из этого, и никак я не мог побороть в себе счастливой беззаботности и даже мальчишеской какой-то игривости: «Может, он песни поет? — пытался я шутить про ночные подвывания Карая, которые и до меня доносились сквозь ветряной гул и шуршание снега, бьющего в окно. — А я и не слышал», — обманывал я добрую хозяйку, стараясь сделать ей приятное, желая успокоить Катерину Ивановну и заверить, что гость ее вовсе даже и не слышит жалобных, пугающих собачьих стенаний, голодного волчьего тоскливого воя, холодящего душу.

А печка между тем разогревалась, дрова в топке, объятые пламенем, попискивали, потрескивали, шипели, и в озаренную розовую золу поддувала капали уже искры, а вскоре и снег на поленьях, лежащих возле печи, начинал поблескивать и стекать талой водицей. А к тому времени, как закипал чайник и вода, клокоча, выплескивалась на горячую, малиново-красную чугунную плиту, взрываясь с коротким и яростным шипом, — к тому вре-

мени приходил и сам хозяин, заспанный и небритый мужик, вечно хмурый и недовольный чем-то. Он садился к столу, расставив худые, длинные ноги в толстых подшитых серых валенках, изъеденных молью, и молча тянулся к пачке сигарет. Густо дымил, зевал, тер шершавые щеки, жмуря глаза и морщась как от боли, и опять зевал, скаля прокуренные зубы. А потом, сквозь зевоту, как бы невзначай, как бы с неохотой и с трудом, ронял:

— Чай бы заварила... Чего стоишь?

Катерина Ивановна менялась в лице и совсем другим, резким и грубоватым голосом, хотя и без злости, отвечала ему крикливо:

— Ишь, расселся! Чай ему подавай! А ты заработал сегодня на чай-то? Ты бы вон дров принес хотя бы... Человек отдыхать приехал, а не дрова таскать.

Я торопился успокоить:

— Да что вы, Катерина Ивановна? Тоже мне работа — дрова... Если хотите знать, я это с удовольствием делаю. Я ведь лет до двадцати пяти жил в доме, где печки были. Так что считайте, я в детство каждый раз бегаю, когда за дровами во двор хожу. Я бы и поколоть дровишек не отказался. Пилить не люблю, а колоть сколько угодно могу, и даже с удовольствием. Напрасно вы...

— Ничего не напрасно. Нам за это деньги платят, — возражала Катерина Ивановна. — Уж какие-никакие, а деньги. Это наша работа, а не ваша. Мы ведь вашу работу не будем делать, верно?

Я улыбался, не зная, как отвечать ей на это, а хозяин, — он при знакомстве назвался Николаем, когда же я про отчество спросил, махнул рукой и не ответил, — зевая и щурясь от дыма, вступился за меня, да и за себя тоже:

— А если человек удовольствие получает, так что ж?

— Сиди уж! Твое-то удовольствие я знаю. Хоть бы побрился, кабан колючий.

Все это она говорила не своим, а привычным бранливым, деланным каким-то голосочком, таким же, каким с собаками разговаривала, когда их кормила, с коровой, когда доила, с курами и с подсадными утками, которых было тут великое множество. Николай на второй же день сказал мне, позевывая: «Не застрелишь зайца, вынесу я

тебе пару селезней за пятерку, ты их и стрельнешь. Так что с добычей поедешь домой». По утрам утки крякали в загоне, кричали в осадку, а селезни как полоумные вздергивали зелеными своими головами и лезли в драку друг с другом.

По утрам долго не рассветало, но на лесном кордоне, который был поблизости от дороги и от деревень, горели электрические лампы, отражаясь в голых окнах. Печь, натопленная березовыми дровами, казалось, вот-вот взорвется или уж, во всяком случае, треснет от нестерпимого жара, и я сидел в рубашке в дальнем углу, где чуточку поддувало из окна и куда не доставало обжигающее, сухое и духовитое печное тепло.

Я хорошо понимал хозяев, которые приходили из старого дома в эту новую гостиницу посидеть возле горячей печки за чашкой чая; тем более был я на кордоне один, и вряд ли кто-нибудь еще решился бы приехать в такую непогоду.

— Простудитесь с горячего-то, — говорила мне Катерина Ивановна, когда я из жары выходил в холодные и просторные высокие сени, в которых сочно пахло промерзшим деревом, колодезной водой, явственнее слышен был свист и гул неутихающей метели, облепившей снежной бахромой синеющие перед рассветом окна. Густая вода в ведре казалась черной, как в проруби, и я пил ее маленькими глотками из железного ковша, впитывая и пресный вкус холодной влаги, и кислый запах жести, наслаждаясь каждым глотком этой колодезной воды, которая так холодна была, что казалось — вот-вот побегут по ее черной глади тонкие щупальца льда.

— Горло-то застудите, — говорила мне Катерина Ивановна, сидя возле самой печки, и улыбалась.

Она и то расстегнула верхние пуговицы бордовой кофточки, обнажив побуревшую за лето ложбинку на крутой груди. Чай она пила с наслаждением и, что редко случается с деревенскими людьми, заваривала его отменно. Впрочем, может быть, и полюбила-то она его совсем недавно, с тех пор, как стала обихаживать приезжих охотников, научивших ее заваривать чай по правилам и не жалеть заварки; может, только тогда и поняла она вкус этого душистого напитка.

А Николай к чаю не прикасался. «Не люблю я его, — сказал он в первый же день знакомства. — Мне что простой кипяток, что этот чай — один черт». И каждый раз, когда мы собирались вместе, он, поддразнивая Катерину Ивановну, скреб щеку ногтями, усмехался криво и говорил сквозь зевоту:

— По такой погоде...

Но жена не давала ему договорить:

— Сиди уж, помалкивай! Троекуров какой... Я те дам «по погоде»!

Мне смешно было слышать, как она его Троекуровым называла, но смысла я не мог понять и однажды за вечерним чаем спросил об этом.

Николай поглядел на жену и ответил с усмешкой:

— Она напридумает. Троекуров... Третью собаку в прошлом году завел, кобеля англо-русского. Только начал гонять: и голос хороший, и полаз хороший, вязкий кобель — лучше не надо. Кто-то с гона снял... Пропал, одним словом. Не знаю, что с им. Где он теперь, чего... Вот, когда три собаки-то у меня было, она и придумала — Троекуров. Да ну ее! То кабан вонючий, то Троекуров. А между прочим, — сказал он с назиданием в голосе, обращаясь при этом больше к жене, чем ко мне, — между прочим, — повторил он значительно, — самый чистый зверь — это дикий кабан. Он тебе так просто в снег или на землю не ляжет. Он ветки сначала нагрызет, натаскает, подстилку себе сделает, а потом уж заляжет. А когда они с поросятами ходют зимой, так особенно за поросятками ухаживают: снег разгребут, подстилку постелют, а поросяточки на эту подстилочку, вниз, в яму, чтоб не дуло... А чтоб они нагадили близко — никогда! Отойдут — и обратно спать возвращаются. А ты говоришь — вонючий. Это у него от мяса, у старого секача, когда жаришь, — вонь идет. А ты меня жареного небось не пробовала. И не попробуешь! Так-то! Но вот кого я перестрелял бы всех до единого, — обратился он ко мне, — так этих кабанов. Ненавижу я их.

Разговор этот возник у нас в тот вечерний долгий час, когда было уже по-ночному мрачно за окнами и непривычно тихо. Три дня, которые я здесь прожил, стали утомлять меня своим однообразием, и на четвертый день

я уж и надеяться перестал. И вдруг такое долгожданное, но все же совсем неожиданное затишье... Я вышел засветло из дому и увидел за широким полем лес, который до того скрывался метелью. Он был еще, правда, размыт, затушеван и казался синим, но это, наверное, оттого так было, что в притихшем воздухе толклись еще, летели, перемещались, оседая, невесомые снежные пылинки, осколочки тех снежинок, которые недавно, носимые ветром, разрушались и крошились, сталкиваясь друг с другом, и потому образовался над полем морозный туман, снежная эта пыль, которая искрилась бы и посверкивала в воздухе, если бы светило солнце. Но небо было хмурым. Оно было темнее убеленной снегом земли и лишь чуточку светлее синевшего за полем леса, который вдруг возник перед глазами.

Трехдневная метель, казалось, должна была намести такие сугробы, таким глубоким снегом покрыть землю, что без лыж не пройти. Но, как ни странно, я увидел в поле чернеющие тут и там стебельки мертвых трав и даже залысины голой земли на буграх, — передо мною было нагое поле, и только кое-где застыли острогрудые белые барханы наметенного снега. Было в снежных наметах столько грации, столько внутреннего движения, что казалось кощунством разрушать эти безукоризненно пластичные изваяния утихнувшей метели. И радостно мне было постигать, приглядываясь, неуловимые и плавные переходы от мягкого изгиба к резкой заостренной грани, от угла к приглаженному овалу — немую гармонию случайно застывших форм и объемов.

Стало так тихо и глухо вокруг, что даже сороки словно охрипли и потерялись в снеговой приглушенности. Они тихо застрекотали и косо, как на ветру, взлетели над кустами.

А я никак не мог освободиться от ощущения праздной радости, которая давно уже казалась мне потерянной навсегда, безвозвратно ушедшей с годами.

Я обостренно и ярко, как собака, чуял все те немногие запахи, которые вдруг стали распространяться в смеркающейся тишине зимнего дня, в том мягком и душистом морозном воздухе, который спускается на землю после метелей. Я слышал, как пахнет замерзший копаный прудик

с чернеющим и поблескивающим льдом среди белых снежных заносов, зализанных ветром; чуял, как горько пахнет притаившееся на зиму живое дерево, зажав в своих крохотных почках зеленую жизнь; как пахнет иссушенный зноем и морозами старый свинцово-серый частокол, погруженный в снежные наметы; как пахнет хлев и утиный загон, и скулящий от неизбывной тоски прикованный к будке русский гончак в чепрачнорыжем своем убранстве; как пахнет ржавая цепь, позванивающая в сумерках, и теплый сыромятный ошейник...

— Караюшка, — сказал я шепотом, остановившись около конуры. — Скучно тебе, да? Без работы-то? Скучно, да?

А он тоскливо и загадочно посмотрел на меня слезящимися старческими глазами и сощурился в жалкой улыбке.

...Этот тихий вечер вывел из сонливого оцепенения и Николая. Он повеселел и часто приговаривал к делу и без дела: «Убьем завтра зайца», «Убьем зайца, убьем». И подмигивал мне, как будто я был красной девицей.

Когда же он сказал вдруг о кабанах, что ненавидит их и перестрелял бы всех до единого, мне это показалось странным и нелогичным, тем более что, не зная ничего о диких кабанах, я проникся к ним со слов самого же Николая симпатией и сочувствием.

— Что так? — спросил я с недоверием.

— А то, что вреднее их не знаю зверя, — не в силах сдерживать ненависти к кабанам, ответил Николай и даже побледнел.

Катерина Ивановна потупила глаза, поплыла вся в легкой и скрытой усмешечке.

— Ну чего? Чего посмеиваешься? Смешно дураку, что нос на боку. Ну посмейся, посмейся, — накинулся вдруг на нее Николай. — Ох, как смешно! Прямо пузо болит от смеху-то. Ох-хо-хо! Смешно...

А Катерина Ивановна не стерпела и в самом деле рассмеялась.

— Будешь тут... — говорила она сквозь жиденький смешочек, — будешь тут ненавидеть. Гляжу, идет белее известки... А ногами-то, ногами, как контуженый какой,

загребает... Батюшки светы! Что такое? Меня так прямо и ударило в сердце...

— Ладно, хватит! Напридумаешь тоже... Хватит!

— Ишь, Троекуров какой, приказчик какой! Было, так и молчи уж теперь.

— Да что ты такое говоришь?! — взвился Николай. — Чего ты человеку свою хвантастику-то за правду выдаешь? Ты ее слушай! — сказал Николай, обращаясь ко мне. — Она тут, на кордоне-то, в безлюдье, натерпится, так ее потом сам черт не поймет — чего она такое плетет. Лишь бы язык болтался... Лишь бы понапридумать какой ни на есть небылицы.

Он разволновался не на шутку, но, блюдя мужское свое достоинство, махнул рукой и сказал мне, кивая на жену снисходительно и великодушно:

— Можно понять, конечно.

Но тут уж Катерина Ивановна вспылила, уязвленная его тоном.

— Нет уж! Ты, миленький мой...

— Можно понять, конечно, можно, — повторил Николай.

— Ты, Коленька, дорогой мой, на меня рукой не маши. Я правду говорю. Рази не было? Рази ты сам мне не рассказывал, как с секачом повстречался? Рази нет? Иду, говорит, а он из снега поднялся и глядит на меня...

— Ну что ты опять глупости всякие говоришь! Все ведь не так! А было вот как, — повернулся ко мне Николай, торопясь рассказать неприятную, видимо, для него историю. — В обходе я был, как раз тоже вот после метели. Снегу много было, и я на лыжах шел. А в ружье дробовые патроны — два всего патрона в стволах, и больше нет ничего. А после метели оттепель снег распарила, он и стал на лыжи налипать комками. Упарился тоже — не могу идти. Пить охота, язык как деревянный во рту, постукивает на зубах. Снегу черпанешь, а какой прок от снегу? Еще хуже пить охота. Лыжи снял, потому как ну совсем не могу продвигаться на них. Тащу их за бечевку, а снегу выше колена... Шапка мокрая, весь мокрый, а идтить надо. Пошел я не к дому, а к дороге. Лишь бы, думаю, на дорогу выползти, а там не пропаду. Иду сквозь ельничек. А кабан ведь что? Он зверь чуткий,

но, бывает, заснет да и спит так крепко, что на него напороться можно. А тут, после метели да в оттепель, он и подпустил меня шагов на десять. Взгорбатился горой черной, а я стою и думаю про себя: пойдет на меня — конец. Стою не шаволюсь, а он на меня уставился. Я их так близко живьем и не видал никогда. Чего уж говорить — страшновато... А он хрюкнул, повернулся да и пошел от меня. Тут силы-то мои совсем пропали. Сел в снег, и аж в глазах темно сделалось. Я их и не знал совсем, кабанов-то этих. У нас их только выпустили тогда, а этот, похоже, приперся откуда-то — здоровый был. А ненавижу я их не за то, что напугался тогда. Что ж, я дурак, что ль, совсем? Я их за вредительство ненавижу. Изроют весь лес, гады, — трава не растет, и вообще... на поля выходят... Не люблю я этого зверя! Как охоту на них объявят, так я первый... Иду на них, как на фашистов каких. И что обидно — не везет. Не везет, и все тут! Ни одного не убил за всю жизнь! Как заговоренные от меня уходят. Другие убивают, а я, пока загоняю, взмокну весь, а потом в кузове на грузовой-то машине да на ветру — того гляди околеешь. Как еще не заболел, не знаю... А насчет того, что́ она тут говорила, — это все хвантастика.

Но Катерина Ивановна потеряла интерес к разговору. Я уже замечал, как легко и неожиданно случались у этой женщины переходы от ласковости к брани, от брани к шутке, а то вдруг и к слезливому настроению, к задумчивости и тоске. Видимо, лесное одиночество и в самом деле плохо сказывалось на ней: и радость у нее была близка, но и слезы были тут же, а может, еще ближе. Николай это, конечно, знал и не сердился на нее всерьез, не обижался и, наверное, жалел: все ж таки женщина, жена — другая бы небось давно ушла жить в деревню. Он понимал, конечно, нелегкую ее жизнь, на которую обрекал ее не кто-нибудь, а он сам давней своей и привычной нуждой жить в лесу, или, как говорил он, «на опушке». Только и было радости у Катерины Ивановны — приезжие люди да редкие ночевки в деревне у сестры. Лес же был для нее непонятен, и она боялась сворачивать с проторенных дорог в лесную глушь. Он это знал.

А в небе к тому времени совершилось великое чудо. Я спустился по скрипучим, обмерзшим ступенькам на землю и даже не поверил, что вижу звезды. Крупные, маленькие и совсем пылевидные звездные миры сияли на черно-синем громадном куполе, и, глядя на это искрящееся безмолвное небо, я хорошо вдруг понял древних мудрецов, которые, созерцая звездное великолепие, рисовали в своем воображении плоскую землю и огромный купол, усыпанный звездами, легко вознесшийся над спящей землей. Я тоже видел эту грандиозную полусферу над собою, которая маленькими своими и колкими лучиками смутно осветила заснеженную землю и словно бы прихлопнула, угомонила все звуки жизни на плоской, охваченной оцепенением и морозом равнине.

Я давно уже не видел такого яркого и пронзительно чистого, головокружительного неба! Оно уже стерлось в моей памяти, стиснутое каменными громадами города, желтыми огнями поднебесных окон, оно давно уже позабылось в шуме и гуле большого города, но вдруг я опять увидел его над собою и стал на мгновение центром всего мироздания. Тогда я вспомнил все те давние зимние и осенние вечера, над которыми стояло вот это же самое единое и неизменное небо, — тридцать ли лет назад! Или, может быть, миллион? не все ли равно! — и какие-то странные мысли и чувства нахлынули на меня. Я думал о бессмертии, о бесконечности моего взгляда, устремленного, как и много лет назад, в то же вечное и неизменное небо, о радости думал, ощущая себя здоровым и сильным, и о вечной своей молодости. Еще бы! Тридцать лет назад вот так же, как сейчас, смотрел я на звезды, и они были такими же яркими и плыли, как и теперь, всем своим роем в темно-синей бездне — ничто не состарилось, не утратило сил и яркости, ничто не устало в этом огромном мире...

Какие только глупости не пришли мне в голову, чего я только не перечувствовал за те короткие минуты, пока стоял на задворках деревянного дома, отвернувшись от него и видя только смутно светлеющее сизое поле и кристально чистое, пронзительное в своей ясности ночное звездное небо.

Когда же я, озябший, вернулся в тепло, Катерина Ивановна уже мыла посуду, а Николай, навалившись

грудью на стол, напряженно читал разорванную и измятую старую газету.

— А в небе-то звезды! — сказал я, согревая холодные руки. — Погоняем завтра, а?

— Убьем зайца, — сказал Николай. — Завтра убьем обязательно.

Катерина Ивановна горько вздохнула и, бренча посудой в эмалированном тазу, склонившись над этим тазом с горячей водой, словно бы не видя и не слыша нас, сказала самой себе:

— И чего радуются, чего веселятся? Эка радость! Зайца убьют. А рази ему охота умирать? — Она задумчиво посмотрела на меня.

Я не нашелся что ответить: вопрос был так прост, и так он неожиданно прозвучал для меня, с таким упреком и с таким тихим, материнским призывом к совести, что я даже смутился, хотя не в первый раз, в общем-то, слышал подобные упреки от разных людей.

— Кому ж охота, — сказал я с глупейшей улыбкой.

А Николай оторвался от газеты и сказал:

— То-то и оно! Кому ж охота! А в жизни как бывает? В жизни — кому что: кому жить, а кому и помирать время.

— Это конечно, — согласилась Катерина Ивановна. — Разве Степану хотелось, брату моему старшему? Или хоть бы племяннику Володе? Совсем ведь молодой был. А возьми ты Кулагина, председателя нашего... Своя машина, а он в город на автобусе поехал. Автобус-то и столкнись с самосвалом. Все живы, а Кулагин как сидел у окна, так и остался. Видно, по виску ударило... И не думал о ней... Хотел не хотел, а пришлось. — Катерина Ивановна помолчала, потом, вспоминая, видимо, былые разговоры, сказала, обращаясь уже ко мне: — А ведь это жена уговорила его на автобусе ехать.

— Как жена?

— Жена. Чего ты, говорит, на своей-то машине поедешь по плохой дороге. Поезжай, мол, как все люди, на автобусе... Вот и поехал.

— Ну и что же она?

— Да что ж! Детей у них не было, она — молодая, проживет.

— Ты про Степу расскажи, — попросил Николай.

— Тоже нескладно. Он в село к себе приехал, мать у него там, жива еще была. Брат-то он мне не родной, двоюродный... А там у них подстанция электрическая перегорела. Света не было в селе. То ли ветром чего порвало, то ли другая какая авария. Только просят его — слазай, посмотри там, чего это с подстанцией, ты, мол, в городе теперь живешь, должен понимать. Он и полез. В своем-то деле понимал, а в этом неспециалист был. Ему бы отказаться, да ведь просят люди — неудобно. Его и убило током.

— Ну и дурак, — сказал Николай в сердцах, и видно было, что не в первый раз осуждает дальнего своего родственника.

— Я и то говорю, — согласилась с ним Катерина Ивановна. — Не понимаешь — так не лезь. А Володя, тот совсем молодой был, и тоже током убило. Он на комбайне косил да за провод-то и задел комбайном. Комбайн загорелся, они с напарником с него пососкакивали на землю. А потом Володя видит — комбайн горит, напугался: комбайн-то сорок тысяч стоит. Вскочил опять на комбайн да провод-то рукой сбросил... Так и приклеился к нему, прижегся... На комбайне-то этом до сих пор косят, а Володи не стало. Красивый был парень.

— Тоже дурак, — зло сказал Николай.

— Да что ж теперь! Не умен, конечно. Сейчас-то люди умней стали. А раньше... Вот гора у нас в деревне, что к озеру-то спускается... Раньше, когда мужиков много было и на лошадях ездили, с этой горы прямо лошадь с санями и пускали. Другая лошадь удержит сани, а какая и не сможет, побежит вниз, а сани сзади подпирают. Вот так Василий у нас погиб. Лошадь-то понесла, а он в санях, да запутался в чем-то там, не успел выскочить, на всем ходу и врезался в дерево... Дружили они со Степаном.

— Нескладные все смерти вспоминаешь, — сказал Николай. — И чего это мы уши развесили?!

— Нескладные были ребята, нескладные, — согласилась Катерина Ивановна. — А про Володю в газете писали. Он ведь комбайн хотел спасти. А с горы той редко кто ездит теперь. Если кто и спускается, то кол с собой

берут и не дают саням ходу. Лошадь-то тянет под гору, а они кол в снег упрут и удерживают лошадь и сани...

Николай вдруг сладко зевнул, потянулся и сказал насмешливо:

— Хоть ты и стараешься разжалобить нас с товарищем, а мы все одно завтра зайца убьем, так что надо спать ложиться. А то о покойниках на ночь-то ни к чему. Сама первая спать не будешь.

А у меня в сознании все эти рассказы о смертях как-то и не связались с покойниками. Задумался я о русских тех людях, которые, в общем-то, не так уж и нескладно погибли: одного вон попросили, а он постеснялся людям отказать, другой машину бросился спасать, а третий удаль свою не мог унять — тоже погиб. Мало ли удальцов гибло и гибнет на свете! Как тут язык повернется дураками их обозвать... Видно, характер у русского человека таков: на миру не бояться смерти и не думать о ней.

— Хорошие люди были, — сказал я после долго молчания.

— Хорошие, — согласилась Катерина Ивановна.

— Хорошие, — подтвердил Николай. — Только у нас знаешь как? Хороший — дурак значит.

— Зачем вы? — сказал я. — Не надо так...

Катерина Ивановна поддержала меня и набросилась опять на мужа:

— Ты-то небось уберегся бы! Ты вон кабана до смерти испугался.

— Ладно тебе! Не ори... Сама ж говоришь, люди умнее стали. Я б чего-нибудь придумал. Не такой уж я... — ответил Николай без тени обиды, — не такой уж... — повторил он и осекся, поймав мой взгляд.

На том мы и расстались. Они ушли к себе в избу, а я опять заночевал в большом медово-желтом новом доме, в котором пахло теплыми досками и горячей печкой.

Было так тихо, что я слышал, как в сенях изредка капала вода из рукомойника в таз. Я вышел, не затворяя дверь, чтобы в комнату впустить холодного воздуха: жара от печки была нестерпимая. Когда мела метель, дом все-таки продувало, а теперь печной жар душил меня. И только в сенях дышалось легко, и я не раз еще

выходил в эту прохладу, словно бы нырял с раскаленного песка в речную глубину.

А когда я возвращался и, погасив свет, укладывался на пружинную скрипучую кровать, горячая тьма душной комнаты снова наваливалась на меня всей своей тяжестью, и я, ворочаясь в мокрой, отпотевшей постели, страдал от этой парной жары и, не в силах уснуть, прислушивался к безумной тишине, от которой давно отвык и которая теперь тревожила меня.

Дом был так разогрет, что мне вдруг стало казаться, будто с крыши, вспотевшей от нутряной жары дома, начали капать робкие капли растаявшего снега, тихонько цокая под окнами.

Впрочем, может быть, это оттепель нагрянула в северный наш морозный край; может быть, с далекой и туманной Атлантики хлынуло к нам опять по вселенским таинственным дорогам гнилое зимнее тепло, будь оно трижды... Может быть, небо уже опять затянули дымные облака, и завтра я не увижу солнца и не услышу снежного скрипа под ногами.

Но было тихо. А сырость обычно приходит с размашистым и упругим шумным ветром. Видно, и в самом деле с крыши капал подогретый растаявший снег. И странно мне было представить обмороженные, затянутые снегом равнины, среди которых стояло крохотное человеческое жилище, осилившее слабым своим теплом холод зимней ночи, родившее вдруг в этой оцепенелой пустыне весеннюю капель.

В эту тихую ночь я не мог уснуть и, вспоминая прежние свои охоты, видел то и дело мысленным взором двух зайцев-беляков, убитых в морозное солнечное утро, когда я был совсем еще молод. Порожки крыльца и половицы светлых, чистых сеней трещали, повизгивали, скрипели подо мной, а я, подвесив зайцев к дощатой стене на гвоздь, притрагивался украдкой к жестким и толстым усам и поглаживал пушистый холодный мех, любовался ими, словно бы застывшими в последнем, распластанном прыжке, не видя, или, вернее, не желая видеть черных капелек крови на струганом полу и малиновых потеков на снежно-белом заячьем пуху... Все в подробностях видел теперь, в эту бесконечную ночь, и даже слышал запах тех про-

мороженных сеней, где висели зайцы на заиндевелой стене, и пушистые их, потертые, грязноватые лапы вспоминал с умилением и грустью: матерые зайцы были так чисты и белы, что даже эта пожухшая шерстка на тыльных сторонах лап казалась грязной и потертой, а карие их глаза казались мне иногда живыми и довольными, словно бы зайцам было приятно мое прикосновение и поглаживание.

Как хорошо скрипели тогда пороги, как весело повизгивали промороженные доски, какой холод стоял, и какое светило тогда яркое солнце!

Но по каким-то странным и непонятным путям уводило вдруг воображение в летний зной, на зеленый мир, под провисшие от жары провода... Я слышал вдруг тихое их потрескивание, пугающую напряженность бега стремительной энергии, гул великой той силы, которая переполняла толстые провода и неслась по ветру в какой-то дикой и в то же время понятной нацеленности... Мимо, мимо, и все надо мной, над моей головой, над беспомощным существом несся этот непонятный поток, заключенный в тяжелые провода, которые, казалось, с трудом удерживали в себе напор энергии и словно бы горели на ветру, разгорались невидимым и яростным огнем...

И, стараясь уйти от этого воспоминания в зимние холода, я глушил в себе клейкие тихие звуки бравурной музыкой промерзших ступеней, грохотом заснеженных валенок в светлых сенях того далекого солнечного дня, когда я подвесил на гвоздь двух мордастых, усатых беляков с малиновыми смерзшимися потеками на белом пуху.

Мне надо было уснуть в этой грохочущей тишине, но я еще долго ворочался, уходя от мыслей в зимние и осенние свои удачи, выплывая на разливы весенних рек, гася в себе желание думать и размышлять... И мне это почти удавалось. Вот только бы еще заснуть...

А на рассвете, в сизых и неуютных сумерках наступающего утра, в морозной тишине слышно было, как, хрустя снегом, носился кругами засидевшийся в будке гончак, как повизгивала Найда, жиденькая рыжая сучонка с заискивающими черными глазками. Она тянулась ко мне, принюхивалась и словно бы торопила меня в лес, струилась вся в своей собачьей радости, в предчувствии крова-

вой охоты, тыкалась мордой в руки Николая, мешалась, вертясь на поводке. А Николай на нее покрикивал, и в голосе его тоже слышался азарт. Жизнь горячим клубком свернулась, скрутилась пружиной среди безмолвных и холодных сумерек и покатилась с повизгиванием, с поскуливанием, с покрикиванием, с кашлем и сиплым дыханием прокуренных грудей через поле, к темневшему мрачному лесу... И я был частью этого клубка.

Николай с собаками ушел в чащобу и там хриплым утренним басом наманивал, накликал, покрикивал, улюлюкал, стонущими воплями будоражил собак, умолкал ненадолго и опять взрывался вдруг аханьем и истошным порывистым, хохочущим и плачущим криком. А в лесу уже рассвело, и было пего после метели: брусника зеленела под елками, чернели старые сучья и пни среди снежных седых покровов... Николай, удаляясь, жуткими жалостливыми всхлипами все будоражил, все наманивал на зверя, азартил своих собак, пока вдруг не раздался сиплый голос Карая, срывающийся на стоне. К нему, взвизгливо взлаивая, подвалила Найда, звонкий голосок ее окреп, усилился, сплелся воедино с басом Карая, и я, услышав гон, побежал вдоль просеки, а тяжелое ружье мое показалось мне вдруг бамбуковой палкой: ну кого такой остановишь, кого убьешь?! Где пройдет-то? Куда бежать? Затаиться! Быстрей... Вот тут... Стоп. Все. Замереть...

И я замер. Гон еще был далеко, но я понимал, что гонят на меня, или, вернее, предчувствовал это, надеясь, что таинственный некто выкатит обязательно на меня, обретет вдруг физические формы, воплотясь в белого, прыгающего, легкого зверька... И стал я таким одиноким, таким отрешенным в своей страсти, так обостренно ощутил какую-то потусторонность свою, что все мои понятия и представления о добре и зле, о жалости и сочувствии — все это даже тенями не прикасалось ко мне. Я слышал только пульсирующую кровь, мягкие толчки ее в висках, мешающие слушать, и испытывал яростное желание умерить, остановить на время это шумное движение крови и скорее увидеть того, кого я ждал в страстном помешательстве. Увидеть и выстрелить в него и тоже остановить навсегда.

Собаки вдруг надвинулись с гомоном, и до меня донесся какой-то странный глухой топот. Я не успел ничего понять, я только успел услышать донесшийся до меня грузный и тяжкий топот, когда на просеку рядом со мной вынеслось что-то огромное и чугунно-серое... И я вдруг закричал в испуге и восторге:

— Олень!

Я прокричал это, когда темно-серый европейский олень, рванув копытами мерзлую землю, со всего маху тяжело перелетел с каким-то утробным вскряхтыванием через просеку и, запрокинув тонкую, художественно-костистую голову, пропал опять в лесу. Грузный его топот тут же заглох и растворился в тишине. А следом за ним, не видя меня и не слыша, выпрыгнули из леса две маленькие, как мне показалось, медлительные, нерасторопные рыжие наши собачки, беззвучно гавкая, кубарем перекатились через просеку и сунулись в кусты, исчезнув там с беззвучным лаем.

— Олень! — кричал я Николаю. — Олень! — И не мог никак унять своего возбуждения и радости. — Вот тут он, здесь вот прошел... Вот его след!

Но Николай, вытирая пот со лба мокрой шапкой, неожиданно резко одернул меня:

— Чего орать-то?! То-то и плохо, что олень. «Олень», «олень»! — передразнил он. — Собак надо было держать, а ты им жару поддал, теперь пропала охота, вот что. Карай не бросит, и эта тоже навряд ли.

Мне обидным показался его тон, остудивший мою радость, я не нашелся сразу, что сказать на это, как ответить, но потом спросил все-таки, тоже с упреком:

— А сам-то ты чего ж на оленя пускаешь?

— Заяц там был, а олень пошел, так они и бросили след, — ответил Николай в раздражении. — Пропала, одним словом, охота. Зайца́ теперь не подымешь. На него теперь только если наступишь, тогда подымется...

Я и сам уже успел подумать об этом, зная, что после метели и первого снега заяц не встанет, не выйдет жировать, и день, так хорошо начавшийся, показался мне теперь бесконечным и скучным.

Лес обступил меня темными елями. В елях попискивали чуть слышно крохотные синички, и звуки их голо-

сочков были похожи скорее на писк каких-то маленьких насекомых, чем на птичьи посвисты: «Си! — раздавалось в глухой тишине. — Си!» И там, откуда слышалось это таинственное «синьканье», еле заметно сыпалась снежная пыль, которой припорошены были зимние темные ели.

— «Олень», «олень»! Вот те и олень! — опять проворчал Николай, когда уже совсем не слышно стало собачьих голосов. — Чего теперь делать-то?

— А я откуда знаю? Интересно ты рассуждаешь! Хорошая гончая сошла бы с гона, да и не погнала бы оленя, если не приучена... А у тебя, видно, и по лосю, и по оленю мастера, а зайца только так, от нечего делать гоняют. Домой надо идти, что делать. Прогулялись, и хватит. Мне сегодня целый день в дороге.

Николай хмуро шел сзади и все время обозленно ворчал.

— Ну что ты ворчишь? — спросил я его, когда мы уже выходили из леса. — За меня переживаешь? Напрасно. Я и так удовольствие получил — оленя гонного увидел. А нельзя стрелять, так это правильно. Такого красавца нельзя убивать.

— А зайца́ можно, да? — зло спросил Николай.

— Их много.

— Ага, много... Чего их жалеть. Копыт у них нету, рогов тоже... чего жалеть. Бей, да и все тут. А оленя нельзя. Вот ты вчера меня упрекнул, да? Не понимаю, дескать, ничего... А может, я больше тебя понимаю в этом деле. Когда надо, а когда нет... Кабана тоже нельзя, да? А почему? Удовольствие, да? Я пошел, замерзнул, а тебе удовольствие, да? А я ничего не понимаю... Бей зайца́, да и все тут. А оленя не тронь, не имеешь права. Чего ж ты в оленя не бил? То-то и оно — нельзя. А почему? Кабан сейчас выйдет па тебя — нельзя, а зайца́ можно — их много.

Я оглянулся, не понимая, о чем он говорит, на что злится, и поймал вдруг подбровный, угрюмый взгляд, наполненный враждой.

— Да ты что? — спросил я. — Обиделся на меня?

Но он тут же скрутил как будто бы этот свой взгляд и ничего не ответил, отмахнувшись.

— Обиделся, да? За что? — опять спросил я в растерянности. — Ну прости тогда. Я не хотел... Да и не пойму, чем я мог тебя обидеть.

— А кто понимает-то? Зайцá можно. Их не жалко, их много... А он как ребеночек плачет, когда раненый... Ему ведь больно. Да ведь ты и без меня все понимаешь... а я дурак...

Я совсем растерялся и не знал, что сказать ему на это.

— А вот убил бы ты оленя, — гудел своим простуженным баском Николай, — я бы на тебя первым протокол... и в суд... И вот пойми тогда, кто прав, а кто нет. Кабана убей — я тебе тоже не прощу.

— Что ты говоришь-то? Чепуха какая-то! Ничего не пойму.

— Я и сам не пойму. Вот иду и говорю. Я ведь дурак.

— Да кто тебя дураком-то считает!

— Никто пока! Попробуй, посчитай, я зубы-то посчитаю...

Наш разговор, случайно возникший, принимал довольно странный оборот. Я пытался понять, что же хочет сказать мне Николай, какие мысли будоражат его, какие собаки гонят из его души недавнее добро и улыбку, — но все было глухо для меня и до обиды непонятно. Его неожиданная враждебность, вылившаяся в какие-то загадочные образы зайцев, оленей и кабанов, тяготила меня, и я не мог понять, каким образом все это он связывал с возможной вчерашней обидой. Да и сам он, пожалуй, тоже не мог понять, не сумел бы объяснить свою злость.

Он торопливо обогнал меня в поле и, косолапя в своих серых толстых валенках, попыхивая паром, покашливая, не оглядывался до самого дома и ничего больше не говорил, словно рассержен был на весь белый свет, да и на себя самого тоже, за то, что не сумел ничего толком сказать мне.

Вот такая нескладная и труднообъяснимая штука приключилась со мной под конец. И было очень обидно и тягостно на душе.

А день распахнулся хороший! Так светилась вокруг заснеженная земля, осиянная солнцем, так прозрачны были тени на снежных барханах и так вкусно

пахло в голубом воздухе человечьим жильем, коровой, утками!

Когда я подошел к дому, из открытой двери хлева, из теплой его тьмы, вылетели стайкой синицы и расселись на голой яблоньке, на серых палках частокола, дожидаясь в вертлявом своем непоседстве, когда я уйду.

Николай так и не вышел проводить меня, и только Катерина Ивановна ласково улыбнулась на прощание и сказала, кивая на окна своего дома:

— Не спал всю ночь-то, вот и... Заболел, что ли? Вы уж не обижайтесь.

А синицы снова вылетели из хлева. Я люблю этих больших зелено-желтых синиц, с черной головкой и голубыми крылышками. Они непоседливы и любопытны, как дети.

ВЛАДИМИР САПОЖНИКОВ

ПЛАЧУТ ГЛУХАРИ

1

До заповедника в первый день не доехали. Когда стемнело и майские жуки, целясь в свет фар, стали ударяться в ветровое стекло, Анатолий Ульянович скомандовал:

— Стоп, Костя! Ночевать будем.

Проселок петлял в березняке, машина распугивала вертлявые лесные тени. На не накатанном еще проселке — свежая елочка следа «Беларуси». Он убегал вперед, пропадал в лужах и снова печатался на твердом.

— Есть ночевать! — с облегчением отозвался Костя.— Вон стожок соломы.

Антонова тоже умотало: выехали рано утром, позади триста километров развеселой весенней дороженьки.

— Тут недалеко, но береженого бог бережет, — сказал Анатолий Ульянович. — Заплутаться, сбиться на боковушку ночью проще простого.

Свернули в чистый березнячок и, поужинав на прошлогодней соломе, пахнущей полынью и мышами, забрались в мешки. И сразу нахлынула такая тишина, что Антонову захотелось замереть и слушать это пугающе таинственное безмолвие. Над головой опрокинулся огромный ковш Большой Медведицы, сугробами белели далекие небесные туманности, и вдруг показалось: именно из этих звездных скоплений раздался крик не крик — какой-то горный звук, торжественно всколыхнувший тишину.

— Что это? — спросил Антонов.

— Гуси летят, — ответил Анатолий Ульянович.

Антонов слышал шелестение множества крыл, но

ничего не видел, хотя, как ему показалось, шелест прошел прямо над вершинами сонных березок. И снова — тишина.

«Хорошо, — подумал Антонов. — Какая прелесть эта ночевка под звездами, поездка бог знает куда. Ночь. Лес. Первобытное небо над головой».

Когда Антонов сказал в институте, что едет на охоту, шуткам не было конца: он за всю жизнь не убил и воробья, хотя баловался на стенде по тарелочкам из старинного отцовского «зауэра». Стендовая стрельба давала разрядку: пальба, запах пороха, дух соревнования — это было его хобби, но охоты со стрельбой по зверушкам и птахам он не понимал — Антонов был горожанином до мозга костей.

Соблазнил его на эту поездку Анатолий Ульянович, партнер по шахматам и сосед, — они жили на одной лестничной площадке — соблазнил рассказами о костерчике в тайге, о глухариной песне, про которую говорил: «Вот еще разок послушаю — и помирать можно». Это, по его словам, нечто волшебно-прекрасное, истинное чудо. Куда там Карузо! Что соловей!

Глухариное токование Анатолий Ульянович изображал очень искусно деревянными ложками и голосом, однако уверял, что это всего лишь жалкое подражание, но получалось все равно таинственно, по-таежному загадочно. Рассказывая свои лесные одиссеи, он цитировал Есенина: «На бору со звонами плачут глухари». Есениным он и доконал Антонова.

«А что, поеду, — решил Антонов. — Проживу эти четыре дня, как трава. Буду дышать. Сливаться с природой. Кстати, отдохну все-таки оригинально. Это тебе не альпинистский лагерь, где мелькают все те же лица, слышатся все те же остроты, что в коридорах института».

Неделю назад Антонов защитил кандидатскую — он был физиком-теоретиком, «думальщиком» в области элементарных частиц.

Своему шефу Николаю Спиридоновичу он сказал, что исчезает на четыре дня, чтобы проветриться после диссертационной маеты...

— Вы там не скучаете? — спросил из своего мешка Анатолий Ульянович.

Наверное, ему хотелось поговорить, но он стеснялся помешать, думая, что и здесь Антонов размышляет о неведомых проблемах неведомой для него науки. Эта почтительность видавшего виды Анатолия Ульяновича всегда вызывала у Антонова улыбку. Газеты успели убедить читателей, что ученый, тем более физик-теоретик, — это почти небожитель, который только прикидывается рядовым смертным.

— Нет, не скучаю, — ответил Антонов. — Я гляжу в небо и слушаю, как звезда с звездою говорит.

— Вот и хорошо. Заедем завтра в Ерестную к егерю, захватим его — и на ток. Переночуем в бору, а утром будем слушать глухариные серенады.

— Только уговор остается в силе: я иду лишь за песней. Хочу послушать вашего Карузо и полюбить. Моя охота — только песня, только стон и звон. Мне довольно вот этих звезд, неба, ночных шорохов. А выстрелы?.. Ах, дорогой Анатолий Ульянович! Ну к чему они?

Антонов говорил с той серьезно-иронической интонацией, которая была в обиходе в его кругу.

— Лучше я буду спать, а то вы и меня распропагандируете, — отозвался Анатолий Ульянович, и Антонов догадался, что он улыбается. — Утро вечера мудренее. Глядите, планета какая-то вышла.

Над верхушками берез мигали звезды, среди них золотой монетой загорелась яркая планетка, вероятно, Юпитер. В соломе шуршало, возилось, в березняке позванивало.

Костя уже не шевелился, уснув богатырским сном шофера, просидевшего за баранкой триста километров.

2

Егерь Леонид Иванович спал в горнице на полу, раскинувшись на громадном овчинном тулупе. Ни от стука двери, ни от топота сапог он не проснулся. На приход чужих людей не обратила внимания и девушка лет восемнадцати, читавшая книгу. У нее были крашенные в оранжевое волосы, завязанные в круглую, как апельсин, шишку. Из тарелки с горкой моченых ранеток она брала

яблочко, не глядя подносила к алому рту и, обсосав, кидала семечки в бумажный кулек.

На ней была короткая юбка, синие чулки, Антонов успел разглядеть маникюр. Все — и выражение лица, безразличное, отрешенное, — было нездешнее, городское.

— Папа спит, — мельком окинув взглядом Анатолия Ульяновича и Антонова и, видимо, ничуть ими не заинтересовавшись, сказала она и снова углубилась в толстую потрепанную книгу.

— Леонид Иванович здоров? — спросил Анатолий Ульянович.

— Папа? Не знаю. Спит он, — повторила девушка, поставив палец на строчку, где остановилась. — Садитесь.

Антонов и Анатолий Ульянович сели, потеснив на лавке чугуны и ведра. Почти половину передней занимала русская печь; Антонов, никогда не видевший это поэтическое национальное сооружение, сразу узнал ее. С бесовской темнотой в углах лежанки она была величава, монументальна. Петухи с гребешками, орнамент на боках и челе, деревянные перильца по краю лежанки... Петухи, писанные синим, были ростом со страуса-эму.

Вдоль стен передней — крашеные лавки, по подоконникам — герани в побеленных известкой консервных банках. В углу на деревянном гвозде — плетеная снизка лука, на перегородке — тикающие ходики с колхозницей, обнявшей сноп.

— Вас как зовут, красавица? — спросил Анатолий Ульянович.

— Варя, — не поднимая головы, ответила девушка.

— Варенька, будьте добры, разбудите Леонида Ивановича. Мы к нему по делу.

Девушка встала, сделала два коротких шажка в открытую дверь горницы, где спал егерь. Каждый шажок — легенда. Каблучки, юбочка, какая-то цепочка на обнаженной шее, оранжевого цвета копешка — откуда этот набор самоновейшей моды в таком захолустье? — дивился Антонов. Скучающий взор, ручки у горла уже примелькались в городе, но здесь все это казалось неожиданным.

— Папа, к тебе пришли. — Она тронула ногу отца туфелькой и, повернувшись, сделала два шажка обратно. К пухлой книге и ранеткам.

Антонов первый раз был в настоящей деревенской избе, и она ему нравилась. Точеная, с шишечками, этажерка, лавки, самодельные табуретки, самодельный комод, все самодельное, даже старый приемник, с толстенными деталями корпуса, тоже выглядел самодельным. Вот в таких избах со ставнями и сенками Русь прожила века, рожала в них Ломоносовых и Есениных, белотелых красавиц с тяжелыми косами. И не затерялась среди народов...

Леонид Иванович оказался высоким человеком, в усах, с очень голубыми глазами, слегка прищуренными, умными.

— Здравствуй, Ульяныч, — подавая руку и застегивая пуговицы на линялой гимнастерке, поздоровался он. — А я все гадал: приедешь ли? Сызнова не вытерпело ретивое?

— Не вытерпело. Весь апрель собирался.

— Весна, Ульяныч! А что здоровьишко?

— А ну его! Сиди берегись, с тоски зачахнешь.

— Как же, как же без воли? А товарищ ваш...

— Прошу, познакомься. Зовут Василий Андреевич. Ученый, кандидат наук. Тоже захотел отдохнуть, глухаря послушать.

— Очень рады, — сказал Леонид Иванович, подавая Антонову руку. — А вы, извиняюсь, по каким наукам?

— Он физик, — ответил Анатолий Ульянович. — Теоретик.

— Читали. Ученые люди — нужные. Летом приезжают ко мне старичок один и женщина. Тоже ученые. Только они по травам. А вы, значит, по молекулам?

— По молекулам, — улыбнулся Антонов.

Девушка оторвалась от книги и, прищурившись, взглянула на Антонова. Похоже, она все-таки слушала разговор. Горожанка, штукатур-маляр, на праздники приехала и отчаянно скучает, решил он. А родилась, наверное, на этой печке, которую теперь от души презирает.

Варя отодвинула тарелку. Раза два Антонов поймал на себе ее хмурый взгляд. Потом она вышла на крыльцо, шикнула на петуха — дверь избы была отворена — и

что-то сказала подошедшему Косте. Потом застучала каблуками в сенях.

Леонид Иванович умылся из гремучего рукомойника, вынес из другой комнаты тулуп, ружье и сообщил, что можно ехать.

— Папа, возьми меня в бор, — вдруг сказала Варя.

— В бор? Охотничать? — улыбнулся Леонид Иванович. — Мы же с ночевкой.

— Ну и что? Я возьму мамину шубу. Хочу в бор.

— А мать? Она же меня съест! Потащил, скажет, девку по саграм шататься. Что тебя за муха укусила?

— А что мне дома делать?

— С матерью посиди. Она поглядеть на тебя не успела. В кино сходи.

— Очень нужно! Не возьмешь в лес — сегодня же уеду в город.

— Свезу, свезу, будет случай, — улыбаясь, пообещал егерь.

Леонид Иванович, видимо, гордился дочерью.

3

Пугливая лесная дорожка шуршала прошлогодним листом. Обогнув болотину с лохматым кочкарником, она перебралась по трухлявому мостку через ручей, сверкавший в густой дреме прошлогодней крапивы. И мостик, и колеи дороги усыпаны были острыми коготками расклюнувшихся осиновых почек. Вдруг донесло медом: в низинке нежились под солнцем желтые шары цветущего тальника. Машина петляла по лесу, из яркого солнца вдруг ныряла в прохладную сосновую тень, будто опускалась в зеленую бездну.

В колеях вода, всюду на дороге лужи, и даже издали видно, что они чистые, немученые. Какая-то птичка летела впереди машины, будто показывая дорогу: подождет возле лужицы, глядя на приближающийся «газик», потом вспорхнет и полетит, мелькая среди деревьев. Вдруг вынырнет из полусумрака леса пень, похожий на присевшего зверя, и, как в детстве, обдаст первобытной жутью.

Леонид Иванович сказал, что везет их на дальний ток, непуганый: нынче на этом току не взято еще ни одного

глухаря. На днях он заезжал туда. Птица есть: старички поют, молодые петушки-скрипуны играют на поздней заре.

— Так что удовольствие получите, — обратился он к Антонову. — Стрéлите.

— Ну, не знаю, — сказал Антонов, улыбаясь. — Какой я стрелок?

— Василий Андреевич — человек городской, столичный, — пояснил Анатолий Ульянович. — Говорит, стрелять беззащитную птицу нехорошо.

— Ну-ну, — согласился Леонид Иванович. — Тоже ко мне приезжали не стрелять, а снимать на карточку. Для какой-то, говорят, книги. Я стрельну, а они снимут. И так можно.

Сосны мохнато сомкнулись, и машина пробиралась в сумраке, дробя колесами солнечные блики. Сквозь негромкое пофыркивание мотора слышно было, какая кругом плотная, устоявшаяся тишина.

«Один я здесь просто затерялся бы», — думал Антонов.

Леонид Иванович рассказывал, что из степи в бор пришли волки, у них нынче есть даже выводки, но выбить, выловить их трудно: пищи в лесу изобилие, чего хотят, то и кушают и к отравленной приваде не прикасаются. Зайца, молодую птицу, всякую лесную живность давят, а прошлой осенью чуть не на глазах у егерей зарезали лосиху. Егерь показал даже полянку, где произошла трагедия.

По команде Леонида Ивановича Костя свернул на косогорчик с обгорелыми рогульками таганчика над старым кострищем, с кустиками подснежников, белевших там и сям по желтому ковру хвои. Дорога уходила дальше, опускаясь к речушке, позванивающей в логу и терявшейся в тальнике.

— Шабаш, — сказал егерь. — Приехали. Ток на том пригорке.

Он вылез из машины, снял с головы обшарпанный старенький танковый шлем, который надел еще дома.

Никакого тока Антонов не увидел. На той стороне плотно стояли сосны. На покатой лбинке пригорка тоже

белели подснежники, в небе кружились какие-то легкие черные птички. Где же ток?

Костя выключил мотор. Тишина подступила ближе, глухая, завораживающая. О чем-то спрашивал Анатолий Ульянович, что-то отвечал Леонид Иванович, но их голоса тонули, как камень в воде.

Антонов выпрыгнул из машины и прошелся по полянке. Всюду готовыми букетами — подснежники: здесь синий, там белый.

Пестрая бабочка, покружившись, полетела в глубину леса, Антонов долго следил за ней, пока она не истаяла в фиолетовом мраке. «Рай, — подумал Антонов. — Ничего больше не хочу, ничего не желаю».

— Леонид Иванович, тут всегда так... нарядно? — спросил он.

— Денек славный, — ответил егерь. — Славный денек. И комара еще нету.

Разложили костер, вскипятили чай с брусникой, и пошла беседа. Леонид Иванович стал вдруг рассказывать о соседе своем по имени Лутоня, у которого во времена еще давние баба нарожала двенадцать детей, и всё девок. Девки — как спелые дыни, как пятнадцать лет, так и замуж. И посейчас живут в Ерестной — двенадцать домов. А теперешние все гадают да ворожат — то ли родить, то ли погодить, пока квартиру дадут.

Не мудрствуя лукаво, подумал Антонов, Леонид Иванович сформулировал закон этого царства, залитого солнцем и тишиной. И той части человечества, которая не изнурена изысками интеллекта...

Леонид Иванович выпил, хрустнул луковицей и заработал прекрасными юношескими зубами.

— А птичку послушаем, — пообещал он опять Антонову. — Поют у меня старички. А красивы! Жаром горят, варнаки. Третьеводни приезжал на подслух, видел двоих. Ходят по поляне, красуются. Генералы! Теперь поуспокоились, а то все танцы у них да страженія. По первым полянкам и нагляделся, затаюсь и гляжу. Картина!

И они опять заговорили с Анатолием Ульяновичем о глухаре, птице, которая становится уже редкостью.

Оказывается, весенние турниры глухарей — настоящее действо, со своим ритуалом, грозным и праздничным одновременно. Вызывая противника на бой, глухарь кружит по полянке, бьет крыльями, стараясь продемонстрировать свою мощь и заранее запугать неприятеля. Бойца-артиста не смущает, если на него никто не смотрит, он танцует для себя, как бы входит в роль, хмелея от собственной отваги. «И боком, боком пойдет, и вприсядку, — рассказывал Леонид Иванович, — и вальсу покружит». Но вот появляется соперник, и начинается «сражение». Сходясь, глухари ударяются со всего маху зобами, взлетают, обмениваются в воздухе ударами крыльев, потом гонятся друг за другом, и снова стычка в воздухе. Шум дуэли слышен далеко, бойцы теряют всякую осторожность, бой длится долго, до полной победы, пока слабейший не покидает поля брани.

Но гладиаторский турнир — не главный на любовном ристалище глухарей. Глухарь — прежде всего менестрель, и сердца своих возлюбленных он покоряет не грубой силой, а песней, артистическим талантом.

В темноте, только начинает зореваться, глухарь взлетает на излюбленную сосну и начинает петь: «Цок! Цок! Цок! Тр-рр-ру-труль! Чиш-шик-турлл-лля!..» Так изображал Леонид Иванович глухариную трель. Потом — пауза, глухарь, видимо, прислушивается, не отзовется ли глухарка, и снова: «Цок! Цок! Цок!..» Во время «шиканья» или «свистанья» он глохнет — то ли в экстазе, то ли в это время косточки среднего уха нажимают на барабанные перепонки, — этим и пользуется человек. «Шиканье» — самая красивая трель глухариной песни, длится секунду-полторы, и человек с ружьем, уже приготовленным к выстрелу, подскакивает к певцу, успевая сделать два-три прыжка. Это и называется «скрадывать под песню», потому что песней на охотничьем языке называется заключительная трель, когда глухарь глохнет. Под песню можно шуметь, наступить на сук и с треском сломать его, под песню можно выстрелить в птицу, промахнуться, глухарь ничего не услышит и не улетит. Он в полном экстазе, весь отдался своему искусству, поглощен им без остатка. Но если ты запоздал до конца песни поставить ногу, замри на одной, иначе все пропало. Глухарь

прекрасно слышит во время «цоканья» и сразу улетит, чуть услышит малейший шорох.

Если глухарей на току много, они поют яро, почти не делая пауз, почти не слушая бор. Копалуха-глухарка ходит по земле, слушает певцов и дарит свою любовь лучшему солисту. Она сама приходит на свидание и о своем выборе сообщает менестрелю, поразившему ее воображение, нежным «ко-ко-ко». Глухарь слетает к ждущей его подруге, наступают недолгие мгновения страсти, после чего концерт продолжается.

Рассказывал Леонид Иванович превосходно: это было настоящее сказание о глухаре.

«Благородно! Красиво! — думал Антонов. — Вероятно, глухарь больше мудрец и философ, чем царь природы, погрязший в суете, зависти, в тягомотине душевных переживаний».

Удивительно легко рождались праздные мысли в этом березово-сосновом глухарином царстве. Праздные мысли — это тоже удовольствие.

Поужинав, Костя куда-то незаметно исчез, Антонов сбросил куртку, свитер, скинул тяжелые сапоги, которыми его снарядил Анатолий Ульянович, и побежал к ручью.

На берегу, ставя попеременно ногу на пенек, надраивал сапоги Костя. Они уже сверкали, как стеклянные, но Костя кружил и кружил бархоткой по голенищам, словно хотел, чтобы они вспыхнули от трения. На траве лежала постиранная его гимнастерка с заштопанными на груди дырочками от солдатских значков.

— Что за парад? — удивился Антонов. — Куда ты собрался?

— В деревню.

— В гости? К кому?

— Военная тайна.

— Стоп! Тебя пригласила егерева дочка.

— Нет. Я сам напросился. Я ее спросил: «Можно, я к вам в гости приду?» — «Приходи, говорит. Мне что за дело? Меня все равно дома не будет».

— И ты пойдешь? — удивился Антонов.

Костя защелкнул на узкой талии ремень, тронул расческой густую шевелюру и стал похож на чеченца. Он

недавно отслужил в армии, работал и учился в вечернем техникуме, но в нем сохранилась еще легкость, солдатская подтянутость.

— Пойду.

— Понравилась?

— Очень, Василий Андреевич. Красивая.

Ах ты история! Славный, славный денек! Трогательно, что Костя сделал это признание столь искренне.

— А стоит ли, Костенька, — попробовал искушать его Антонов, — за семь верст киселя хлебать? Таких птичек и в городе сколько угодно.

Шофер промолчал, а Антонов рассмеялся.

— Ладно, не слушай меня. Я тебе завидую. Пообедай и исчезай. Пятерку на расходы выдать?

— Спасибо. Не надо.

«Славный денек! — опять подумал словами Леонида Андреевича Антонов. — Вот и любовь с первого взгляда». Раздевшись, он забрел по колени в ручей и по альпинистской привычке обмылся холодной водой. Припекало. На синеньком небе — чисто, вершинки берез парят застывшими фонтанами. Покойно, благолепно, как в храме. В цветущем тальнике нежно чиликала невидимая пичуга, гудели шмели. «Ну что ж, кандидат, дыши, смотри».

Проводив Костю, Антонов вернулся к костру. Посидели еще, разговаривая о том, о сем, пока не стало смеркаться.

— Ну, спать пора, — скомандовал Леонид Иванович. — Сверчок затыркал.

Договорились: Антонов пойдет завтра с Леонидом Ивановичем вверх по ручью, а Анатолий Ульянович спустится к просеке за болотом, там тоже хорошее место.

В лесу тоненько позванивало, но невозможно было определить, откуда шел этот звон. Силуэты деревьев загустели, большая береза на той стороне ручья расчертила небо тонкими иероглифами.

4

Антонов проснулся от смутных звуков. Он высунул голову из мешка — было темно — и долго не мог понять, откуда идет этот завораживающий шум. Но вот в темноте сосны

блеснула, качнувшись, звездочка, и он догадался: это шумит лес от верхового ветра. Анатолий Ульянович и егерь поднялись и, шепотом разговаривая, курили, пряча в рукава сигареты. Антонов едва различил их, сидящих под деревом.

Присоединившись к ним, он тоже налил себе вчерашнего чаю с брусникой. «Если я тут что-нибудь увижу, — подумал он, — это будет чудо. Мне страшно, мама».

— Скачите только под шиканье, — шепотом инструктировал его Леонид Иванович. — Прыжок — и замрите. Песня его — чиш-шик-туррлл-ля... Не забыли? Под нее и прыгайте. А там уж сами глядите.

Напившись чаю, они поднялись и пошли — Леонид Иванович впереди, Антонов со своим «зауэром», спотыкаясь, — сзади. Молча перебрели ручей, стараясь не шуметь водой, начали подниматься на пригорок. Шагов Леонида Ивановича он не слышал, только видел его двигающийся силуэт в телогрейке, в танковом шлеме. Казалось, егерь не шел, а беззвучно плыл над землей. Антонов со страхом подумал: уйди от него Леонид Иванович, он не сделал бы и шага, потерявшись в темноте. «Разведчик из меня вышел бы из рук вон плохой», — усмехнулся Антонов, держась как можно плотнее к Леониду Ивановичу.

Егерь остановился и начал прислушиваться. У Антонова замерло в груди: сейчас откуда-нибудь справа или слева раздастся и понесется по лесу... Почему-то он думал, что это будет не «цок-цок-цок», а «дон-дон-дон» — что-то похожее на перезвон колоколов. Вверху шуршало, шумело, где-то зловеще, с паузами скрипела сухая ветка.

Егерь шагал беззвучной своей походкой, поворачивая голову то вправо, то влево, вдруг останавливался и слушал. В верхушках сосен мерцали звезды, а впереди, в той стороне, куда они продвигались, уже серело, будто за лесом включили запыленную люминесцентную лампу. «Увидь меня сейчас кто-нибудь из наших, то-то было бы смеху, — думал Антонов. — Дрожащий куренок с ружьем, барахтающийся в темноте. Вылети глухарь, я со страху брошу ружье и убегу».

Антонов шел за Леонидом Ивановичем, выглядывая из-за его спины, и в кромешной темени ничего не видел. Шагал старательно, ступая след в след. Вдруг, ткнувшись в спину егеря, Антонов остановился. Леонид Иванович уже не вертел головой, а смотрел в одну точку, чутко прислушиваясь.

— Слышите? — шепотом спросил он.

Кроме резинового скрипения своих сапог, Антонов ничего не слышал. Он усиленно таращил глаза, затаив дыхание, напрягал слух. У него даже в ушах зазвенело. И вдруг — цок! цок! — дважды стеклянно стукнуло ложечкой о блюдце, и еще — цок! цок! Потом ложечкой завертели чаще, забулькало, зазвенело, бульканье перешло в тихое скребление, как будто быстро-быстро начали скрести вилкой о дно сковородки. И опять — ложечкой о блюдце: цок! цок! цок! — а если точнее, карандашом по донцу деревянной ложки, как это изображал Анатолий Ульянович...

— Слышу, — не очень уверенно ответил Антонов.

«А где же стон, а где же звон?! — чуть не крикнул Антонов. — Этого не может быть! Это не глухарь. Какая-то птичка-невеличка, не больше воробья».

— Уловили песню? — прошептал Леонид Иванович. — Теперь скачите. Вот так.

Дождавшись скребления вилкой, он дважды широко шагнул, как будто мерил расстояние от сосны до сосны, и замер. Антонов повторил его маневр и тоже замер.

— Ну, с богом, — строго сказал Леонид Иванович.

Стоя на ватных от волнения ногах, Антонов умоляюще посмотрел на егеря. «Леонид Иванович, благодетель, — хотелось ему взмолиться. — Подумайте, куда вы меня посылаете?»

Но мужская гордость превозмогла, и он лишь попросил:

— Леонид Иванович, не теряйте меня, пожалуйста, из виду. А то я куда-нибудь ушагаю в темноте, вы меня неделю потом не сыщете.

Дождавшись песни, он неуверенно шагнул и замер, и ему показалось, что он шагнул в омут. «Может

быть, я его уже спугнул?» — с надеждой подумал Антонов.

Он не спугнул глухаря. Под следующую песню сделал уже два прыжка и явственно услышал конец песни — высокую трель с тихим обрывающимся свистом, и после короткой паузы опять — цок! цок! цок! И когда цоканье переходило в бульканье, невидимая сила толкала его в спину. Антонов прыгал и останавливался, сдерживая инерцию тела, успевая расслышать конец песни. Она делалась слышнее, выразительнее, явственно доносился нежный и чистый свист в конце песни, но невозможно было понять, далеко ли еще до глухаря или совсем близко.

Он нащупал ногами дорогу и понял — это провидение: по дороге скакать удобнее. На каком-то прыжке обернулся, но Леонида Ивановича не было сзади: его поглотила темнота. «Не беспокойся, дружок, я тебя все равно не увижу, — мысленно обратился он к глухарю. — Я тебя немножко послушаю, не возражаешь? Ты великолепный артист», — зачем-то, видимо, со страха, льстил Антонов.

И вдруг он почувствовал, что глухарь рядом. Он пропустил одну песню, осмотрел все ближние сосны, но ничего не разглядел. Люминесцентная лампа за бором светилась чуть поярче, но в лесу темнота как будто даже загустела. Антонов прыгнул еще несколько раз и в растерянности остановился: пение слышалось теперь где-то сзади, совсем близко.

Да, было оно прекрасно: и стеклянно-звонкое цоканье, и нежное чуфыканье, и этот полный страстного призыва загадочный переливистый свист в конце песни. «Где же ты? — спрашивал Антонов. — Я хочу тебя увидеть».

Он уже потерял надежду, когда, повернувшись, увидел его на сосне, под которой только что прошел. Глухарь не сидел, а стоял на суку, коромыслом изгибавшемся над дорогой, и, высоко подняв голову, глядел в небо. Антонов не мог понять, велик ли он, показалось, это небольшая птица, с голубя или чуть побольше. С минуту глухарь молчал, будто колеблясь, запеть или нет. Потом прошелся по суку взад и вперед, как бы пробуя его прочность, на ходу опустил крылья, щелкнул, вытянув шею, распустил веером хвост, и Антонов услышал песню, как бы

пропетую специально для него. «Видит он меня? — думал Антонов. — Конечно, видит. Он же совсем рядом. Он меня не боится». Пауза, и снова: цок! цок! цок! — редко, потом все чаще, разбрызгивая хрустальный перезвон. Неловко поднимая ружье, Антонов видел, как глухарь раскидывает крылья, вытягивает шею, будто хочет клюнуть звезду. «Зачем это я? — спросил себя Антонов. — Но я мимо, не в тебя. Ты успеешь улететь. Договорились?»

«Цок-цок-цок! Чиш-чш...» Выстрел, казалось, грохотал целую минуту, и, когда смолк, Антонов услышал звуки падения. «Боже, какая громадина!» — успел подумать Антонов, слушая пугающие громоздкие звуки рушившегося тела: сначала о нижние сучья, потом глухо и тяжко о землю — хрясь!

...Распластавшись, глухарь лежал на дороге. Он был еще жив и, когда Антонов подошел, поднял голову, но сразу уронил ее.

Он был огромен. Его мощные крылья легли через всю ширину дороги. Хвост сложился и был теперь похож не на веер, а на лопату. Стеклянно сверкнул глаз, обведенный широкой бровью.

«Боже, как все просто: умереть, убить. Итак, одним нехорошим человеком стало больше. Свинья ты, Антонов. Варвар! Слышишь, как стало мертво в лесу, злодей! Но и ты хорош, старина: можно ли так увлекаться?»

Антонов поднял мертвую птицу: глухарь был ему по пояс. Громадина и красавец. Бывший солист и любовник. «Я свинья и нехристь, — подумал Антонов. — И честно признаюсь в этом. Но будем объективны, друг мой! Не кажется ли тебе, что в своей смерти в известной степени ты сам виноват?»

— С полем вас, — сказал подошедший Леонид Иванович. — Хорошо пел, яро.

— Концерт что надо, — говорил Антонов. — Настоящий артист. Карузо.

— Матерый певун. Идемте за другим. Кажись, в согре за болотом играет.

Край солнца показался над лесом, когда они добрались до согры — болотистой низины с редкими старыми соснами. Совсем рассветало, и они увидели глухаря, токовавшего на рогатой сосне с раздвоенной макушкой.

Глухарь, облитый солнцем, приседал в плавном ритме, раскидывал угольно-черные крылья, выгибал бородатую шею, распуская хвост.

— Погодьте малость, — шепнул Антонову Леонид Иванович, когда они крадучись подошли на выстрел.

Они долго любовались танцем матерого красавца, блеском его иссиня-черного плаща, накинутого на плечи. Должно быть, глухарь думал, что на него смотрит целый свет. Наконец егерь кивнул, давая разрешение стрелять.

— Спугните его, Леонид Иванович, — попросил Антонов.

Егерь хлопнул в ладоши, глухарь скользнул с сучка и, делая широкий круг, начал забирать вверх. В полете он был поразительно легок и стремителен. Упредив на три фигуры, Антонов выстрелил, когда птица повернулась к нему боком. Глухарь перевернулся в воздухе и упал в сухой кочкарник.

— Не хотелось танцующего стрелять, — пояснил Антонов, когда Леонид Иванович возвратился с глухарем. — Очень уж был красив.

— Ему все одно, — сказал егерь. — Хоть в лоб ему, хоть по лбу.

Он швырнул глухаря к первому, который грудой черных перьев валялся под сосной, и, отерев пот с лица, сел передохнуть на валежину. Минут пять молчал, раскуривая мятую, наполовину высыпавшуюся папироску «Север», потом холодно, как-то официально сказал:

— Заедете, распишетесь в лицензии. Такой порядок. Для отчетности.

Покурив, бросил связанных за ноги птиц за спину и, не оглядываясь, зашагал к лагерю.

Анатолию Ульяновичу не повезло: он слышал лишь одного матерого петуха, который, однако, не дал в себя выстрелить, улетел. Анатолий Ульянович не очень огорчился. Хвастал, что такую песню он слышал первый раз в жизни. Хороша была песня, на душе оттаяло.

Сели завтракать, и новому охотнику по традиции запачкали глухариной кровью лоб. Новый охотник сам дивился легкости, с которой вписался в зеленый мир лес-

ного царства. И тут он оказался не последним, а успех в любом деле — вещь, как говорят в Одессе, неплохая. Завтра, пожалуй, ему не понадобился бы провожатый. Почувствовать себя один на один с темнотой, неизвестностью, самому разыскать глухариную песню — приключение захватывающее. Как никогда, он чувствовал упругую легкость, силу и ловкость своего тела.

5

Костя вернулся утром, и, поливая ему у ручья, Антонов спросил:

— Как успехи?

— Познакомились. Поговорили. Ее маму зовут Анна Степановна.

Негусто. Костя пошучивал, похохатывал, рассказывая о своем визите в Ерестную. Анна Степановна усадила его ужинать, потчевала моченой брусникой и картошкой на сале, а у Вари отняла книгу (она второй день запоем читает «Сатурн почти не виден»), пристыдила ее: «Не стыдно тебе? В доме гость, а ты слова не молвишь». — «Ты же знаешь, что я не выношу, когда солидолом пахнет», — отмахнулась от нее Варя.

— На запахи у нее вкус: работает продавщицей в универмаге. Духами торгует, — закончил Костя.

Намеки про солидол он пропустил мимо ушей: обидеть его было не так-то просто, и весь вечер они проговорили с Анной Степановной о международном положении. От приглашения остаться он отказался и ночевал в копне на пару с пегим теленком.

До калитки Варя все-таки его проводила, и он пригласил ее ехать в город с ними.

— Ну, времени ты, юнош, даром не терял: действуешь по классической формуле — смелость города берет. Слушай совет старшего: терпение, настойчивость — и, даст бог, мне доведется поздравить тебя с успехом, может быть, с законным браком.

— До этого далеко. Она про вас спрашивала. Сказала, что вы умеете держаться с достоинством. Это, говорит, очень важно для мужчины.

Антонов расхохотался.

— Твоя Варя — умный человек. Учись держаться с мужским достоинством, бери с меня пример.

Дурачась, он встал в позу, выгнув грудь и насупившись. Ему было весело, хотелось шалить и казаковать. В лесу, залитом солнцем, было хорошо, на редкость хорошо. На пригорке, за речкой, красиво струилась в небо большая береза.

«На бору со звонами плачут глухари», — вспомнилось ему. — Шесть обычных слов, но какую красоту соткал из них гений!»

Уезжали с тока часов в двенадцать. День стоял тихий, солнце светило по-летнему, но не палило, а ласково грело, нежило землю. И опять — узкая, присыпанная палым прошлогодним листом лесная дорога. От смоляного густого воздуха кружилась голова.

Леонид Иванович с Анатолием Ульяновичем разговорились.

— Жалованья шестьдесят целковых, — не без гордости рассказывал про себя Леонид Иванович. — На зиму лося вырешают, сено косить есть где, лес большой. Ставлю девяносто копен: лошадь, корова, подтелка в зиму оставляем. Жить можно: покупное только хлеб да сахар.

Особенно гордился Леонид Иванович тем, что детей всех пристроил: трое сыновей живут в городе, квартиры получили. Серега в армии, тоже на стройку хочет податься. Ребята сошли с рук, а теперь вот и Варька в город ускакала.

— Видали прынцессу? Год в городе пожила, приезжает, едва узнал: откуда, думаю, едакая нарисована картина? Дома день пожить скучает: отвыкла.

— Так при себе никого и не удержал? — спросил Анатолий Ульянович.

— Все разбежались за другой жизнью. Молодым в деревне теперь вроде и делать нечего. Тут со скотиной надо заниматься, а у них к скотине интереса нету: грязно. Варька рядом с коровой с голоду помрет, а не подоит. Брезгует. Вы, про нас говорит, люди прошедшие, все ваши интересы отсталые. А она умная. Мать приехала

к ней, спрашивает: «Поись-то у тебя есть ли чего?» — «Вот, говорит, бутенброд в тумбочке». Степановна аж в слезы от этого бутенброда. «А деньги твои где? Зарплату куда девала?» — «Свитру, говорит, купила за пятьдесят рублей». — «Да зачем тебе такая свитра, будь она неладна, если голодная сидишь?» — «Что я, отвечает, голодная, никто не видит, а хуже всех одеваться для молодой девушки — позор». На нее со Степановной теперь и тянемся. Мать обмирает: девка без надзора, а в чердаке ветер.

— Балуешь ты ее, — сказал Анатолий Ульянович.

— А кому побаловать девку, как не родителям? Еще хватит заботы, замуж выскочит. Да ты не подвезешь ли ее, Ульяныч, до города? Ей завтра на работу.

— Довезем. Костя доставит в общежитие.

Антонов заметил, как у Кости вспыхнули уши, и заговорщицки толкнул его в бок.

6

Варя в машине пыталась читать, положив книгу на спину Костиного сиденья. Сильно трясло, она морщилась и поднимала на шофера сердитые, хмельные от чтения глаза.

Костя, видимо, раздражал ее и сегодня, хотя он больше всех хлопотал, укладывая в багажнике туесочки, корзинки и банки с топленым маслом, которые натащила из погреба Анна Степановна. В ответ на его шутки она презрительно поджимала губы, а Антонова спросила:

— Я вас не стесню? А то я поеду на пароходе.

— Ничуть, Варя, — ответил он. — Места много.

Прощаясь, Анна Степановна что-то долго шептала ей, поправляя на хмуром лобике оранжевую прядь, а в самый последний момент, когда с книгой под мышкой Варя направилась к машине, заплакала...

Разнеженное доброе чувство все не покидало Антонова, его приятно забавляло, что Варя сидит рядом, касаясь его ноги своим обтянутым синим капроном круглым коленом.

В свитере, коротенькой юбочке фигура у нее была легкая, гибкая, как у настоящей горожанки.

— Бросьте, Варенька, читать, — сказал Антонов. — Глаза испортите.

Она закрыла книгу, как будто ждала этого, и спросила:

— Правда, автор этой книги — гениальный писатель?

— Шекспир, — сказал Костя.

— Вы, Костя, ничего не понимаете и помолчите, — сердито оборвала она его.

Костя усмехнулся. Он приладил зеркальце над ветровым стеклом так, чтобы видеть лицо Вари, и там полыхала ее оранжевая куделя, голубели незабудками сердитые, притененные тушью глаза. Они были круглые, наивные, хотя она по-прежнему пыталась придать им рассеянное, скучающее выражение. «Аленушка в мини-юбке», — подумал Антонов.

Ему захотелось дурачиться и нравилось, что Варя сидит рядом: длинная дорога все-таки чем-то скрасится, — и с шутовской серьезностью он сказал:

— Главное, Варя, поверить, не важно во что. Один великий человек утверждал, что степень гениальности писателя равна его убежденности.

«Какую чушь я сморозил!» — удивился сам себе Антонов, заметив, что Варя выслушала сказанное очень внимательно, наморщив лоб. Но он и глазом не моргнул: ничего нет забавнее серьезного разговора с девочкой из универмага.

— Интересное замечание — вмешался, вступая в игру, Анатолий Ульянович. — А Чехова, Варя, вы читали? Антона Павловича?

Варя победоносно улыбнулась:

— Всегда задают этот вопрос. Пожилые люди постоянно спрашивают: а ты читала Чехова? Или Пушкина. Читала. Они пишут о прошлом, а нам, современным людям, это скучно. Мы хотим знать больше про себя.

— Что знать?

— Все. Какие у современного молодого человека должны быть мысли, идеалы. Как надо формировать свой характер и служить окружающему обществу. Скажите, что вы думаете о дадаизме?

Она почему-то все время обращалась к Антонову.

— О дадаизме? Ничего не думаю. Ваш знакомый, Варя, студент?

— Да, то есть был. Но вы напрасно подумали. Я сама много читаю художественной литературы. Во Дворце культуры нашего торга очень талантливый директор. Он регулярно организовывает читательские конференции, вытаскивает даже настоящих писателей. К нам приезжала одна ленинградская поэтесса, очень лирическая, выступала потрясающе. Между прочим, она тоже работала продавщицей и сказала, что любой человек может писать стихи. Я начала составлять воспоминания о прочитанных книгах. Исписала целую тетрадь.

— Вы их будете издавать? — спросил Костя.

Молодец парень: правильную избрал тактику!

— Ваше дело, Костя, баранка. Вы бы поменьше встревали в чужие разговоры, а побольше смотрели на дорогу, а то в березу врежетесь.

Все засмеялись. И Костя тоже. Видимо, он был не такто прост.

Анатолий Ульянович оживился, поглядывая в зеркальце, где пламенела оранжевая Варина копешка.

А разговор «за жизнь» становился все серьезнее.

— Понимаете, меня мучает масса вопросов, — сказала Варя. — Правильно ли я живу, не прозябаю ли за своим прилавком? Мама говорит: выйдешь замуж — все будет ясно. А зачем мне ясность? Зачем благополучный покой? По-моему, кто рано женится и выходит замуж — трусливые люди.

— Конечно, трусливые, — согласился Антонов. — Один мой знакомый женился, потому что боялся темноты.

— Вы шутите, — обиделась Варя, — а разве это не так? Женщина в условиях семейной жизни не развивается как личность, утрачивает самостоятельность и вообще опускается духовно.

— Вы что же, Варя, решили не выходить замуж? — спросил Анатолий Ульянович.

— Ничего я не решила, — вздохнула Варя. — Просто одни проклятые вопросы.

«Наивный лягушонок ищет смысла жизни. Очень трогательно», — думал Антонов.

Лес и лес вдоль дороги. Только теперь сплошь белели березы и лишь изредка зеленели сосны. У перекрестка дорог курилка — грубая скамейка с навесом. Заложив

за спину палочку, стоит старик пастух, по лесу бродят красные и черные коровы.

Костя притормозил, и пока пастух объяснял Анатолию Ульяновичу, как ехать дальше, — «таперича верст двенадцать пробегите, будет Красноярский кордон, от него стрела покажет на Тузлукский кордон. На Тузлук не езжайте, а правьте к броду через Каракан-речку, а там шаша́ будет», — Антонов вышел из машины, разминая ноги. Под сапогами шуршало, и здесь тоже кругом цвели подснежники. Варя бродила невдалеке и, приседая, собирала цветы.

Костя гуднул: видимо, переговоры с пастухом окончились. Антонов услышал за спиной шаги Вари и остановился, ожидая. Взял из букета цветок и воткнул в тугую Варину копешку.

— Мне идет с цветком, но это сентиментально, — сказала она. — Наши девчонки говорят, что внешне я похожа на Маргариту из оперы «Фауст».

— Очень, Варя, похожи. Когда я был кудрявее, — Антонов покрутил пальцем вокруг своего затылка, — мне тоже говорили, что я похож на доктора Фауста.

— Вы, наверное, опять шутите, — вздохнула Варя. — Я люблю, когда шутят. Даже если смеются надо мной.

Она бросила на Антонова косой взгляд и побежала к машине. «Чем я обидел ее, один бог ведает», — недоумевал Антонов, следя, как Варины стройные ножки бьются в узкой юбочке.

Лес редел. Все чаще дорога выбегала на полянки с бурыми кустиками прошлогодней полыни, вдруг открылась кулижка зеленеющей уже озими, по которой ходили клювастые вороны. От березок шло сине-зеленое сияние — кажется, они тронулись за эти два теплых дня, и под ними уже копилась зыбкая тень. Проехали заброшенный дом без окон, с обомшелой крышей, сорокой, сидящей на трубе, — вероятно, Красноярский кордон, про который говорил пастух. У речки, мутной, по-весеннему шумливой, Костя тормознул. Вода прыгала по камням, сверкала, окатывая большие булыжины. Антонов и Анатолий Ульянович перебрели речку и крикнули Косте:

— Давай с разгончика! Перескочишь.

Костя хлопнул дверцей «газика», но Варя уже на ходу выскочила из машины.

— Ты куда?

— Я перейду сама. Поезжай! — крикнула она.

— Что вы делаете, глупая девчонка?! — закричал Анатолий Ульянович. — Простудитесь. Что за фокусы?

Но уговоры не помогли. Разозлившись, Костя махнул рукой, дал газ и, поднимая каскады брызг, лихо перелетел речку.

Разувшись, но не снимая чулок, Варя ступила в воду, ойкнула, когда дошло до колен, но шагнула дальше, придерживая юбку. Переправа прошла благополучно. Она отжала чулки, проведя ладонями по ногам, и как ни в чем не бывало направилась к машине.

— Ты думаешь, я струсила ехать на твоем драндулете? — обратилась она к Косте.

— Конечно, струсила.

— Нисколько. Я закаляю волю. Знаете что: давайте обедать. Я хочу есть.

Анатолий Ульянович покачал головой: ну, сорвиголова девчонка — и засуетился, расстилая газеты.

Он налил ей «старки», она, не морщась, выпила и, пожевав апельсин, попросила у Антонова сигарету.

— Вы курите, Варя?

— Иногда. Балуемся с девчонками. Пообедаем — и давай смолить. Накуримся до обалдения и хохочем. Скажите, а Софи Лорен курит?

— Она курит махорку, — вмешался опять Костя.

Но Варя, холодно оглянувшись, пропустила мимо ушей его реплику.

— Если бы я была талантливая, я бы сделала что-нибудь потрясающее. Талантливым людям хорошо. Они что хотят, то и делают. У них совсем другая жизнь. Я люблю мечтать, как если бы я тоже была талантливая. Я бы со всеми познакомилась: «Здравствуйте, я Варвара Овчинникова». Я, конечно, тоже ничего живу, весело, много читаю, работаю над собой, но все же личная моя жизнь однообразная. Целый день крутишься за прилавком, подайте то, подайте другое. Подойдет какое-нибудь мурло, куражится, шарахнула бы флаконом. Только в

мечтах и живешь настоящей жизнью. Почему в мечтах всегда жизнь интереснее, чем в действительности?

— Это не всегда так, — серьезно ответил Антонов.

— Для вас — да. Вы ученый. У вас реальная жизнь — потрясающая. Вы делаете открытия, вы все знаете. Просто ужасно, что я родилась обыкновенным человеком. Почему одни рождаются ничтожными, серыми, а другие — выдающимися?

— Вы, Варенька, не серая, а оранжевая, — улыбнулся Антонов.

— Это стоит три рубля, — тряхнула она головой. Приукрашивание жалкой действительности. Могу достать вашей жене. Ваша жена блондинка или брюнетка?

— Жена Василия Андреевича — Анна Каренина, — опять сострил Костя.

— А вы, Варенька, сами-то что хотите от жизни? — спросил Анатолий Ульянович.

Варина тирада его, кажется, расстроила, он жалостливо хмурился, даже не выпил порцию «старки».

— Ничего я не знаю, — вздохнула она. — Я сама себе не нравлюсь, потому что ничего не понимаю. Иногда проснусь, как говорится, у своего корыта и даже реву от злости на себя. Смешно, правда? Впрочем, я кажется, наговорила лишнего. Я как выпью немного, становлюсь неприлично болтливой и ужасно глупой. Вы не обращайте на меня внимания.

— Вы, Варя, из нас самая счастливая, — сказал Антонов. — Я вам завидую. Вы даже не знаете, что вас ждет завтра.

— А вы знаете?

— Знаю. Завтра меня ждет работа, и вовсе не потрясающая, как вам кажется. Самое потрясающее — вон те облака, что плывут по небу. Так сказал мой учитель, пожилой человек.

Варя промолчала, видимо, опять не поверив ни одному слову Антонова.

Она посмотрела на небо, и все, улыбаясь, проследили за ее взглядом. Антонов отметил про себя, что шея у Вари нежная, девически невинная.

Варю завезли в общежитие. Шел двенадцатый час ночи, но вахтерша, добрая усатая женщина, разрешила

Антонову и Косте занести Варины корзинки и туесочки на четвертый этаж.

В узком коридоре было темновато, в дальнем углу стояла пара и шепталась. Варя открыла дверь своей комнаты, тесно уставленной кроватями, тумбочками и табуретками, и со стыдливым страхом сказала Антонову:

— К нам нельзя.

В коридорах было темно, пахло пудрой и селедкой.

7

Опустошенный после одной бесплодной дискуссии, Антонов бездумно шел по Морскому проспекту. Бывает такое состояние, когда ничего не хочется, даже думать, и мир божий, как выразился Гамлет, представляется скоплением паров. Кафе, магазины, чистенькие сосенки вдоль тротуаров, мужчины, женщины — все скопление паров. И сам ты скопление пара, облако в штанах, несомое неведомой силой неведомо куда.

У квасной цистерны очередь. Антонов стал в хвост, минуты две простоял, но махнул рукой и пошел дальше. Большая рекламная доска возле Дома ученых приглашала посетить выставку художника Фалька. Об этой выставке говорили в институте уже месяц, особенно трещали лаборантки — одни ругали, другие, ахая и закатывая глаза, восторгались. Лаборантки — ужасные экстремистки, инакомыслящих распнут на кресте и не охнут.

Когда он сознавался, что не видел еще выставку, на него таращили глаза, как на бушмена.

«А что, если я устрою маленький бунт и не посещу выставку? — подумал Антонов. — Не пойду, и баста».

Куда же теперь? То ли к морю, то ли повернуть на Золотодолинскую, где расцвел лимонник. Лаборантки трещали о лимоннике, о пляже, о новых стихах знаменитого поэта, о том, что приезжает итальянский бас, который будет петь Мефистофеля. Черт знает сколько информации обрабатывается таким примитивным органом, как человеческий язык!

«И лимонник не пойду смотреть, — решил Антонов, — Бог с ним. Пойду куда глаза глядят, куда ноги несут.

Все выключено, погашено в моем «я», все приборы стоят на нуле. Облако в штанах устало, ничего не хочет».

Стеклянная коробка у тротуара, в ней полная женщина, обложенная газетами и брошюрами. Антонов купил газету, развернул ее на четвертой странице, автоматически прочитал спортивную информацию, так же автоматически сравнил ее со вчерашними цифрами, мысленно прикинул футбольную таблицу на сегодняшний день и только после того как порадовался, что любимая команда стоит высоко, усмехнулся нестерпимости пошлых привычек. Пошлость вошла в подсознание, подумал он. Что будет, если в подкорку будут откладываться таблицы футбольных матчей?!

Подсознание его отметило, что сзади стучат дамские каблучки, с тем же автоматизмом отметило, что принадлежат они молоденькой девушке, легкие, музыкальные. Потом та же дотошная подкорка констатировала, что он уже давно слышит за своей спиной этот музыкальный перестук. Он обернулся. Девушка в белом свитере, в красной юбке. На стройных ножках шпильки-босоножки. Все обычно, но боже! — где он видел девушку? Волосы косым крылом закрывают пол-лица, из затушеванных ресниц смотрят наивные голубые глаза. Нет, это юное создание, исполненное недорогой, стандартной прелести, ему незнакомо. Она смотрела своими незабудочными глазами смущенно и в то же время решительно.

— Здравствуйте, Василий Андреевич.

— Варенька! — вспомнил он. — Я вас едва узнал.

Эх, память! Прошло три недели, и в суете текущих буден стала забываться его поездка на охоту, и уже смутно вспоминались и первая ночь под звездами, и утро на току, и глухариная песня, и разговоры с Леонидом Ивановичем, и длинная дорога домой. Он вспоминал, что всю дорогу они проболтали, он даже доказывал, что работа ученого — изнуряющая каторга, что бывают минуты, когда он завидует каменщикам, которые возводят новый корпус рядом с их институтом, и девушке-крановщице, которая в своей кабине напевает «Рушничок». Словом, всячески развлекал свою собеседницу и, помнится, даже увлекся, как студент. Они сидели позади Кости в тесной колыхающейся коробке машины, катящейся

куда-то в темноту, ему нравилось говорить и слушать, как она, развеселившись, смеется. Теперь это представлялось коротким эпизодом, забавным и приятным.

В компаниях он часто рассказывал про свою охоту, коллеги его даже просили: «Пожалуйста, Вася, балладу про глухаря» — и слушали его с улыбочками, принимая все за отрепетированный охотничий треп. И, может быть, потому что он никому не рассказывал про Варю, он ее почти забыл.

— Как вы попали в наши края?

— Приехала... У меня выходной.

Похоже, она смущалась.

— Ну, как поживаете, Варя? Какие проклятые загадки жизни вас теперь мучают? Зачем вы сменили прическу?

Задавая эти трафаретные вопросы, Антонов одновременно думал, как бы закончить этот разговор, потому что в уличной толпе всюду знакомые, и завтра лаборантки будут трещать в коридорах, что мистера Антонова видели с крашеной цыпкой в белых босоножках.

— Можно, Варя, я вас провожу? Вам куда? На автобус?

— Да. Пожалуйста, не беспокойтесь.

В городе она была не та — робела, и с новой своей прической казалась милее, чем тогда, в Ерестной.

— Вы помните Костю? — спросил Антонов. — Он к вам не заходит?

— Заходил... А я вчера тоже была здесь. Вы прошли мимо и не узнали меня.

— Что же вы не окликнули? Как вам не стыдно, Варенька?

— Вы шли не одни.

— С кем же? — рассеянно спросил он, все еще соображая, как бы ее спровадить. — Простите, Варя, а как у вас с Костей? По-моему, он хороший парень.

— Хороший, — бесцветно откликнулась она.

«Зачем я говорю с ней так? — негодовал на себя Антонов. — Черт знает, о чем с ней говорить! Она смущается, и я смущаюсь. Я, кажется, боюсь, что меня увидят с ней!»

И в этот же момент Антонов увидел Лизу Беркутову. С супругом и рыжим догом на поводке. Она смерила его

с головы до ног и, улыбаясь, проплыла дальше. Он засечен, запеленгован...

«Ну и что?! К черту! Какое мне дело?! Неужели я боюсь коридорной болтовни? Да не трус ли я, господи? Конечно, трус. Возьму сейчас Варю под руку и буду с ней гулять. Нарочно попаду на глаза Беркутовой. Ей, ее супругу и догу. И буду болтать с Варей о Софи Лорен, о стихах, о смысле жизни и других милых наиважнейших вещах».

— Вы о Косте больше не спрашивайте, — сказала Варя.

— Вы поссорились? Хорошо, не буду, — согласился он. — Хотите, просто погуляем. Я буду ухаживать за вами. В благодарность за то, что ваш папа, Леонид Иванович, показал мне Караканский лес. Я тот день хорошо помню. Славный денек! Зачем вы приезжали вчера?

— Просто так. Вечер некуда было девать.

— Послушайте, Варя, давайте кутнем! Я тоже шатаюсь по проспекту, бью баклуши. Пойдемте куда-нибудь. Нет, не отказывайтесь, и слушать не хочу.

— Нет, я никуда не пойду, — испуганно ответила она.

Но он взял ее под руку и решительно повел в знакомое недорогое, но очень уютное кафе.

— Сегодня, Варенька, — усадив девушку за столик и налив рюмки, заговорил он, — такой же ясный, чистый день, как тот, когда мы познакомились. Помните? Ваш папа, Леонид Иванович, сказал: славный денек. Славно, что вы приехали, Варя. Вы не забыли дорогу из Ерестной? Бор, подснежники, пастух с палочкой, переправа через Караканку... Мне показалось, Варя, что вы переменились, похудели. Вы здоровы?

— Я сказала вчера Косте, — вдруг перебила его Варя. — Сказала, что люблю вас.

Антонов поперхнулся. Это прозвучало неожиданно, нелепо, неуместно.

— Зачем сказали? Это же неправда, Варя. Чтобы любить, надо знать человека.

Она кому-то подражает. Девчонка проигрывает какой-то киношный сюжет. Любовь с первого взгляда!.. Занесло же тебя, Антонов!

Он прямо взглянул в синие-синие глаза Вари, и ему стало не по себе: столько в них было сейчас робости, страха, ожидания... «Неужели правда?» — удивился он.

— Вы только не подумайте... я не навязываюсь. Я уйду, — Варя поднялась. — Я хотела, чтобы вы мне сказали «здравствуйте», и больше ничего.

У нее блеснули слезы.

— Садитесь, Варя, — сказал Антонов. — Никуда вы не пойдете. Я вас не отпущу.

«Боже, что делать? Отправить девчонку в общежитие? Посадить в автобус, до свиданья, мол. И ... она очень похорошела. И в голосе у нее есть что-то такое...»

— Никуда вы не пойдете, Варя, — сказал он. — Мы проведем вечер вместе. Будем разговаривать. Может быть, мне удастся доказать вам, что вы ошиблись. Это же бывает, Варя. Пойдем в кино. Что вам понравится, то и будем делать. Вы — моя гостья. Вот что: для начала сходим в Дом ученых на выставку. Говорят, отличная выставка, а я еще не был. Согласны, Варенька? Скажите «да» и улыбнитесь.

Она взглянула на него сквозь еще не просохшие слезинки и улыбнулась. Братское, теплое чувство колыхнулось в груди Антонова, умилив его. «Я ее старший брат. И знакомым можно сказать: это моя двоюродная сестренка. Из деревни».

В первом же зале к ним подошел Саша Трегуб с женой, потом красавец Отия Гогоберидзе, и они шли уже компанией, останавливаясь у картин, спорили, шумели. Варю, легко вписавшуюся в эту толпу, все наперебой втягивали в разговор, и она что-то отвечала, сначала робея и спотыкаясь, а потом освоившись, смеялась вместе со всеми. В ней был природный такт, и Антонов с благодарностью подумал о своих друзьях. Никто ничего не спросил, никаких объяснений не потребовалось. Гогоберидзе не отходил от Вари, и Антонова даже укололо, когда он отвел ее к какой-то картине и что-то долго говорил, прищуривая свои тигриные глаза. Да, Варя была хороша со своей новой прической, с тонкой талией, ей шел легкий свитер, подчеркивающий юную свежесть ее фигуры.

Потом гуляли по проспекту, расходиться не хотелось, завернули в молодежный клуб потанцевать. Сидели за

сдвинутыми столиками и под шумный джаз отплясывали твист — Варя была нарасхват, — и Гогоберидзе серьезно спросил Антонова:

— Где ты разыскал этого ребенка? Чудесная девушка! Подари, будь добрый. Мне пора жениться.

— Нет, Отия, не шути. Я подарю ее одному знакомому шоферу. Он влюбился с первого взгляда. Буду покровителем их счастья.

— Она, кажется, влюблена в тебя, Вася. Как это ты добился?

— Ничего я не добивался. Ей семнадцать лет.

— Хорошие люди — ваши друзья, — сказала Варя, когда они с Антоновым стояли на автобусной остановке. — Вежливые, веселые. Никто не подал вида, что я слова не умею сказать, что я чужая. Мне так было хорошо!

— Я, Варенька, привязался к тебе, — сказал Антонов, — как к младшей сестре. Захочешь приехать — всегда буду рад. Приезжай. — Он взял ее руку. Вон идет твой автобус.

— До свиданья, — погасшим голосом сказала она.

Варя подошла к двери, но вдруг повернулась к Антонову и с ужасом сказала:

— Я не поеду домой.

Он проводил ее утром, шестичасовым автобусом. Вернувшись домой, лег спать, спал долго и крепко. Проснувшись в двенадцатом часу и в одно мгновенье вспомнив все, сказал вслух:

— Было это? Или не было?

Было. Он тщательно проанализировал свое вчерашнее поведение, и вроде бы упрекнуть себя было не в чем. Он не терял самоконтроля, думая, что Варя сама остановится, но она лишь бессвязно лепетала, что любит, любит безумно... Потом она плакала, уткнувшись в подушку, а утром неожиданно засобиралась и ушла и, когда садилась в автобус, оглянулась на него потерянно, с каким-то испуганным удивлением.

Антонов слышал, что все женщины после этого чувствуют себя униженными, разочарованными, потому что слишком многого ожидают. Но она не сказала ему ни единого слова упрека. Умница девочка, понятливая. Он не ожидал от нее такой душевной тонкости. Ушла — и все.

«Ну, вставать!» — скомандовал себе Антонов, чувствуя, что выспался хорошо, ощущая в теле легкость, спортивную подобранность. Голова была свежая, на душе — покой, умиротворенность — штука, которую Антонов любил в начале дня.

Он распахнул окно — в комнату ворвался запах молодого березового листа: окошко его глядело на березовую рощицу. Деревья томились в тепле летнего солнышка, с листьев стекал зеленый, тихий свет. Он вздохнул полной грудью, подмигнул небу, ближней березке, которая тянула в окно шелестящую ветку.

Размявшись потягиванием и наклонами, он взял пятикилограммовые гантели и, чувствуя железную упругость в мышцах, сделал ровно сто упражнений, — весь комплекс для мужчины его веса и возраста. Потом долго стоял под холодным душем, после чего растерся мохнатым полотенцем до густой матовой красноты.

Зазвонил телефон, он протянул руку, но тотчас отдернул ее. Наверное, это Варя, он дал ей телефон. Нет! Зачем же? Его нет дома. Сегодня было бы только повторение. Со стыдом он вспомнил, что утром она показалась ему не такой уж привлекательной, он разглядел на ее лице тривиальные веснушки, его коробили все эти книжные слова, киношные жесты и вздохи. «Нехорошо! — обругал он себя. — Большая ты, Антонов, свинья».

Ругал он себя за то, что, сделав верой раскрепощенность своего «я», в этой ситуации поступил нелогично.

Весь день он просидел дома, переводя с английского давно отложенную статью. Дело ладилось, он был доволен.

Прошел день, и еще день. Миновала неделя. Варя не приходила и не звонила. Антонов много работал: днем в институте, вечером дома. Устал, маялся бессонницей, но в одно прекрасное утро решил наконец задачу, к которой приступал много раз. Тетрадку с решением показал

шефу, и у Николая Спиридоновича высоко поднялась седая благородная бровь. Это было высшей похвалой. Решение задачи в известной степени двигало вперед проблему, которой была занята лаборатория.

И снова пришла суббота, день, в который неженатый кандидат наук должен куда-то себя девать. Антонов долго шатался по проспекту, потом сходил на пляж, искупался. Не хватало какого-то штриха для субботнего вечера, какого-то сюжетного поворота. Навстречу ему попалась Лиза Беркутова с рыжим догом на поводке, она одарила Антонова роскошной улыбкой, и вдруг он решил съездить к Варе. Ему вдруг захотелось ее увидеть.

Он купил в универмаге недорогую, накладного золота, браслетку, большую коробку конфет и, выйдя на шоссе, проголосовал такси. Покачиваясь на сиденье, Антонов чуточку волновался.

ЧЕРНОУХ В ДЕРЕВНЕ [1]

Деревня, куда привезли Бима, прямо-таки удивила его. Здесь тоже жили люди, но все было не так, как там, где он родился и вырос. Домики маленькие — прямо на земле, без никаких лестничных площадок, без многочисленных порогов, двери не щелкают замками. Ночью, правда, двери запирают на засов изнутри. Все домики покрыты ребристыми серовато-белыми листами. Утром, в одно и то же время, из каждого домика идет вверх дым, но, однако же, они не едут и не улетают никуда, а стоят себе ровненько рядами и дымят тихо и мирно, без скрежета.

Но самым поразительным для Бима (теперь Черноуха) оказалось то, что вместе с людьми здесь живут разные животные и птицы: коровы, куры, гуси, овцы, свиньи, знакомство с которыми состоялось не сразу. У животных, позади каждого людского домика, свои домики, покрытые иной раз соломой, а иной раз камышом и огороженные невысокой просвечивающей стеной из перекрученных палок и хворостин. И никто никого не трогает — ни люди животных и птиц, ни животные людей, и никто ни в кого не стреляет из ружья.

В первый день Биму постелили сена в углу сеней. Человек привязал его за веревку, хорошо накормил и куда-то ушел, надев плащ. Остаток дня Бим провел в одиночестве, при полной тишине и безмолвии. Перед вечером он услышал, как зашуршали копытцами по земле овцы, как они вошли во двор, как промычала корова внутри сарая (чего-то просила). А вскоре пришел и человек тот, но теперь с мальчиком в плаще, в сапогах, на

---

[1] Из повести «Белый Бим Черное ухо».

голове шапка, в руках длинная палка. Лицо у него было такое же коричневое, как у доброго человека, а пахло от мальчика овцами.

— Ну, Алеша, смотри нового товарища, — сказал взрослый мальчику.

Они подошли к Биму вплотную.

— Папаня, а не укусит?

— Нет, Алеша, такие не кусаются... Ух ты, Черноух... Черноух — хорошая собака. — И легонько похлопывал его по боку.

Бим лежал и настороженно рассматривал мальчика. Тот тоже погладил:

— Черноух... Черноу-ух... — И обратился к взрослому: — Папаня, а если отвязать — не убежит?

— Подождем пока. — Он ушел в дверь, внутрь дома.

Бим встал, присел, подал мальчику лапу, чем и сказал: «Здравствуй. Ты — хороший».

— Папаня! — крикнул мальчик. — Папаня, иди-ка!

Тот вернулся.

— Здравствуй, Черноух! — протянул ладонь мальчик.

Бим еще раз поздоровался. Оба человека явно одобряли его вежливость. Эти первые минуты знакомства были важными для Бима: он узнал, что того, кто привел его сюда, зовут Папаня, а мальчика — Алеша. Даже обыкновенные, ничем не примечательные дворняги скоро узнают имена людей, а Бим... Да что там говорить! Мы уже знаем, что это за собака.

Потом, уже в сумерках, пришла и женщина. Эта была одета странно: голова укутана двумя платками, ватник на ней натянут барабаном, штаны такие же, как у той доброй женщины на железной дороге, что забивала костыли. Но от этой пахло землей и свеклой (сладкий такой корень, каким и Бим, бывало, не брезговал). Она вошла в дом, о чем-то там говорила с мужчинами, сразу же протопала через сени во двор с ведром в руках. Теперь Бим установил, не сходя с места: одна дверь из сеней — на улицу, другая — к животным, третья — в дом. Но до них не дотянуться — не пускает веревка. Вот пока и все, что узнал Бим.

Он снова лег.

Пахнет овцами, сильно пахнет, со двора. Что такое овцы — Бим знал давно. Они живут, как думалось раньше, стадом и ходят по полю и ничего не делают, только едят и кричат. А около них, бывало, всегда человек в брезентовом плаще, с длинной палкой с крючком на конце; один такой как-то подходил к Биму и Ивану Иванычу, когда они отдыхали у стога сена, жал руку хозяину; и еще с ним был большой лохматый пес. Бима он встретил воинственно. Сначала бежал на него с разлету и лаял жутко, но Бим тогда лег на спину, подняв лапы вверх, и сказал: «В чем дело? Разве я в чем-то виноват?»

Корректность, конечно, победила грубость, а Лохматый, обнюхав Бима, полизал живот, отошел немного и расписался на камне. Бим сделал то же самое. В общем, это означало: миру — мир. А пока хозяин Бима разговаривал с хозяином Лохматого, они поиграли в догонялки и пятнашки, при этом Бим оказался и быстрее, и увертливее настолько, что заслужил нескрываемое уважение нового знакомого. Когда они расставались (надо же было идти за хозяевами!), то понюхали камень и переглянулись так:

«Ты приходи когда-нибудь сюда», — сказал Бим и попрыгал дальше.

«Эх, работа...» — сказал Лохматый и поплелся к стаду, опустив голову.

Так было. Вот и теперь пахнет овцами. Бим не мог не вспомнить Ивана Иваныча при этом тревожащем память запахе: в чужих сенях, в чужом доме, в полутемноте сумерек, без людей, ему стало тоскливо-тоскливо.

Потом он услышал, как о железо ритмично жужжали какие-то струйки: жжих-жжих! жжих-жжих! Бим не знал, что это такое, — жжих-жжих! жжих-жжих! Незнакомые звуки замолкли, и тотчас со двора, с тем же ведром, вошла женщина. А из ведра пахло молоком. Знаменито пахло! В городе такого запаха от молока Бим не чуял ни разу, а это — другое, но все же молоко — это точно. В городе молоко не пахнет человеческими руками, разными приятными травами и совсем не пахнет коровой — вот что удивительно. А здесь все это вместе смешалось в восхитительный аромат, поражающий своей какой-то розовой пахучестью. Не будем спорить: уж если человек

иногда отличает молоко от «молока», то как же не заметить того нашему Биму, обладающему сверхдальним чутьем, как не поразиться запаху, в котором человеческие руки перемешаны с цветами и травами. Потому-то он и вскочил быстро, да и повилял хвостом женщине. Но вряд ли она могла понять восторг Бима.

За долгие четыре года своей жизни он, к сожалению, так ни разу и не видел, как доят коров. А молоко пахнет все-таки коровой. Какая-то неясность так и оставалась у Бима: он кое-чего не знал. Впрочем, мало ли чего не знает любая собака? В этом ничего зазорного нет. А если какой пес и скажет, допустим, что он *все* знает, и уверен в том, что может поучать, как и что делать и куда бежать, то даже курица ему не поверит; мало ли что он сильнее курицы — не поверит. А такие собаки бывают, скажу я вам. Например, скоч-терьер, возьмите вы его: он делает вид, что его голова-кирпич набита разными идеями (борода! длинные усы и брови! философ!), а на деле — бестолковый, командует, ругается на хозяина день при дне, как нервнобольной, финтит беспрестанно. А толку? Да никакого! Одна внешность. А внутри пух либо вовсе пустота.

Нет, Бим — другое дело: он искренен и прям сердцем. Если чего не знает, то такой и вид подаст: чего не знаю, того не знаю. Если кого не любит, так и скажет: «Ты — нехороший человек. Иди отсюда! Гав!» И взлает иной раз так, что — дай бог!

Женщину же, которая добывает где-то такое божественное молоко, он не мог не уважать. Потому-то он все смотрел и смотрел на ту дверь, в какую она ушла с ведром.

Но кто-то подошел с улицы и решительно распахнул дверь.

«Кто? — однозначно спросил Бим. — Гав!»

Вошедший шарахнулся из сеней обратно. Из дома выскочил Папаня, включил в сенях свет и спросил:

— Кто тут?

— Я, бригадир, — ответил незнакомец.

Затем он вошел в сени, они пожали друг другу руки (значит, друзья — лаять не положено) и подошли к Биму.

Папаня присел на корточки, гладил Бима и говорил:

— А ты молодец, Черноух. Молодец — службу знаешь. Хороший пес. — Отвязал его и впустил в комнату.

Самое важное: в комнате была и хромая курица. Бим прицелился на нее, сделал стойку, приподняв переднюю лапу, но как-то неуверенно, а это означало, что он говорит присутствующим: «Что за птица? Что-то не приходилось...»

— Смотри, бригадир! — воскликнул Папаня. — Да он же золотой пес, Черноух, — на все руки!

Но поскольку курица — ноль внимания на Бима, то он сел, все же искоса посматривая на нее, что на собачьем языке означало короткие и много вмещающие слова: «Надо же... Туда же!.. Ты еще мне!» И обратился взором к присутствующим.

— И кур не тронет! — восторгался Алеша.

Бим внимательно наблюдал за ним, глядя в лицо.

— А глаза! Маманя, а глаза! Как человечьи, — радовался Алеша. — Черноух, иди *ко мне... ко мне!*

Разве Бим не отзывался на искреннюю радость? Он подошел к Алеше и сел около него.

За столом пошла беседа. Папаня распечатал бутылку, Маманя подала еду. Бригадир выпил из стакана все. Папаня — тоже. Маманя — тоже. Алеша почему-то не выпил, а ел ветчину и хлеб. Он бросил кусочек хлеба на середину пола, но Бим не сдвинулся с места (надо же было сказать «возьми!»).

— Интеллигент, должно быть, — заметил раскрасневшийся бригадир, — хлеб не кушает.

Курица прихромала и утащила тот кусочек, предназначенный Биму. Все смеялись, а Бим внимательно-внимательно смотрел на Алешу: не до смеха, если нет взаимопонимания даже и в атмосфере дружбы.

— Подожди-ка, Алеша, — сказал Папаня. Он положил кусочек хлебца на пол, отогнал курицу и обратился непосредственно к Биму: — Возьми, Черноух. Возьми!

Бим с удовольствием проглотил вкусный кусочек хлеба, хотя и был сыт.

Бригадир тоже положил так же кусочек ветчины.

— Нельзя! — предупредил он.

Бим сидел. Курица бочком-бочком подхрамывала к ветчине, но только-только хотела схватить, Бим фыркнул

на нее, чуть не толкнув носом. Та закостыляла под кровать. Одним словом, комедия, да и только.

— Черноух, *возьми!* — разрешил бригадир.

Бим вежливо скушал и этот кусочек.

— Все! — кричал Папаня. Он говорил громко, а покраснев, стал еще добрее. — Черноух — чудо преестественное! — И даже обнял его.

«Хорошие люди», — подумал Бим. Еще ему понравились усы у Папани, мягкие, шерстяные, что он ощутил, когда тот обнимал.

А дальше пошел такой разговор, из которого Бим понял только одно слово — «овцы», но зато точнехонько определил, что двое мужчин вначале стали спорить.

— Ну, Хрисан Андреевич, давай о деле. — Бригадир положил руку на плечо Папани. — Овцы хотят есть иль не хотят?

— Хотят, — ответил Папаня. — Только мой срок кончился, мне — до покрова, а покров прошел.

— Овцы частные, личные, а не колхозные, и они тоже желают кормиться. Мне уж колхозники уши прозудели: снега нету, корм под ногами есть, овца должна до снегу на подножном. И правильно говорят.

— «Овца — до снегу»... А я железный? А Алешка тебе — железный?

— До снегу, Хрисан Андреевич, —твердил бригадир.— Плату положим двойную. Понял?

— Не буду, — твердил Папаня. — Баба моя на свекле закисла — надо помогать, а ты — «до снегу».

Но все-таки они похлопали по рукам друг друга вполне согласно и кончили твердить «овцы до снегу». Затем бригадира проводили на крыльцо все втроем, забыв про Бима.

Что ж, он тоже вышел на крыльцо, обежал вокруг двора, постоял за плетнем, постоял, втянул запахи овец, с какими связано одно из воспоминаний о любимом и единственном человеке, и присел в нерешительности.

Ночь. Осенняя темная ночь в деревне, тихая, притаившаяся от зимы, хотя и готовая ее встретить. Все в этой ночи неизвестно Биму. Собаки вообще не любят путешествовать ночами (разве что бродячие, избегающие людей, потерявшие веру в человека), а Бим... Что и говорить!

Бим сомневался пока. Да и Алеша — такой хороший маленький человек.

Сомнения прервал голос Алеши. Он тревожно, во весь голос закричал:

— Черноу-ух!

Бим подбежал и вошел за ним в сени. Алеша уложил его на место, подоткнул сено с боков, поласкал и ушел спать.

Все затихло. Не слышно ни трамвая, ни троллейбуса, ни гудков — ничего привычного.

Новая жизнь началась.

Сегодня Бим узнал, что Папаня — еще и Хрисан Андреевич, еще он же — Отец, а Маманя — еще и Петровна, Алеша же — так Алеша и есть. Кроме того, курицу он не презирал, но и не уважал: птица, по собачьему разумению, должна обязательно летать, а эта только ходит, потому и не достойна уважения, как бескрылая и дефективная к тому же. Но вот овцы: они напоминают об Иване Иваныче; от Алеши пахнет овцами тоже... От Петровны — землей и свеклой... А такие запахи земли всегда волновали Бима. Может быть, и Иван Иваныч сюда придет...

Бим уснул, пригревшись в духовитом сене. В таком сене, дух которого вызывает невольную улыбку, даже человек засыпает немедленно, и от запаха свежего сена у него возникает в очах голубой цвет перед сном. Бим же был далеко чутьистее человека, поэтому каждый тончайший оттенок этого аромата успокаивал, ублажал его тоску.

Разбудил Бима крик петуха. Когда-то он его слышал не раз, но не так близко, а этот — прямо за стеной, громко, протяжно, гордо: «Ку-ка-ре-ку-у-у!» Ему откликнулись все петухи на селе. (Несколько позже Бим узнает, что этот петух — запевала и что такие петухи бывают сердитые.) Бим сидел и слушал удивительную музыку: дальше она перекатывалась волнами по селу — то ближе, то дальше, в зависимости от того, кому подходила очередь, что ли, а последним, в одиночку, прокричал какой-то немощный кукарешник, сипло, коротко и неподобно петуху, заслуживающему уважения. Потом, со временем, Бим разберется, что именно такие петухи — трусы, убе-

гают даже от чужого петуха, врывающегося во дворовые владения, хотя по всем правилам куриного общежития этот трус обязан защищать покой подведомственных ему кур. А он убегает, идол. Зато именно такой петух безжалостен к чужим цыплятам — клюет, падаль такая, между тем как любой петух, если он не лишен чувства собственного достоинства, никогда не клюнет цыпленка, забредшего невесть откуда. Такой вот и пропел последним, и только тогда, когда убедился, видимо, что не ошибся во времени. Люди назвали бы такого петушишку конъюнктурщиком, но Биму было просто-напросто смешно. Кстати, Бим вовсе не представлял, ввиду отсутствия опыта, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время.

Бим прилег и задремал. Вдруг снова прокатилось по селу из конца в конец песнопение. И Бим снова сел и снова слушал с большим удовольствием. Потом — в третий раз, еще сильнее, голосистее и, право же, возвышеннее. Ах, здорово поют! Вот уж здорово! А что они вытворяли где-то вдали, представить невозможно! Бим пока не знал, что это раздеклешивали хором на колхозной птицеферме, по неписаным нотам, белые как кипень, самоуверенные петухи-красавцы, а в тот раз, — не будь он запертым в сенях, — он обязательно сбегал бы посмотреть и послушать поближе такое чудо. Но сени были его клеткой.

В щель двери мало-помалу расслабленно вползал серенький осенний рассвет. Бим встал, обследовал сени: стоит кадушка с зерном, в одном углу — закромок с початками кукурузы, в другом — кочаны капусты. Вот и все.

Вышла с ведром Петровна. Бим ее приветствовал. Она во двор, и Бим — во двор, следом. Она села под корову, Бим — неподалеку. Струйки зазвенели о ведро, а Бим засеменил передними лапами от удивления: молоко! Корова стояла смирно и жевала про себя, без ничего — будто шептала и булькала симпатичная живая цистерна с открытыми краниками.

Петровна окончила дойку, позвала Бима («Черноух»), налила ему в миску молока, сказала: «Нельзя», чуть постояла, сказала: «Возьми», засмеялась добрым смехом и заторопилась в дом.

Ах, боже мой, какое же это было молоко! Тепленькое, духовитое, тут тебе и травами отдает, и цветами, полем — всем вместе, а еще (теперь уж точно!), еще — руками самой Петровны, а не просто человеческими руками вообще, как показалось Биму вчера на расстоянии. Бим вылакал все, вылизал, сделал утренний туалет и быстренько обследовал двор. Корова приняла его с полным доверием, даже лизнула в голову, за что Бим притронулся языком к ее шершавому, молочно-пахучему носу; овцы из-за перегородки потопали на него копытцами, вроде бы угрожая, но тут же и успокоились, поскольку уточнили, что Бим не имеет никаких агрессивных намерений; свинья и два поросенка в первый раз не удостоили Бима вниманием, а просто перехрюкнулись между собой иронически и даже не пошевелились, хотя и лежали головами к Биму, у решетки. Так приняли его четвероногие. Но вот куры — это да-а! Собственно, не сами куры, а красный петух. Он, как только слетел с насеста, захлопал крыльями и зло заворчал: «Ко-ко-ко-ко-ко!» Да и бросился на Бима коршуном. Красный петух с красным гребнем ударил грудью и когтями собаку. (Вот какие петухи бывают!) Бим рыкнул на него в ответ и ударил лапой наотмашь. И тут, в ту же секунду, петух, повесив крылья и пригнувшись, побежал в угол двора к курам, собравшимся беспокойной стайкой участливых зрителей; бежал он от Бима в совершеннейшем унижении, а подскочил к ним уже героем. Да еще и закричал: «Вот как я его! Вот как, вот как!» Куры в один голос явно хвалили петуха изо всей куриной силы. И что же вы думаете? Бим пристально посмотрел на петуха, даже с уважением. Как ни говори, а Бим еще не видел, чтобы птица напала так смело на собаку. А это все-таки что-то значит.

— Что тут за переполох? — спросил Хрисан Андреевич, выходя из сеней во двор. И курам: — Цытьте, вы! Собаки испугались, оглашенные. — Взял Бима за ошейник, подвел к курам, постоял так с ним и отпустил.

Бим отошел и отвернулся: а ну их! С тех пор петух и куры не подходили к собаке, но и бояться особо не боялись, а так — прококочет иная и — в сторону с пути Бима. А ему что? Ходят куры, не летают, не плавают; опять же, никто в них не стреляет, — значит, не птица, а

так себе — смехоподобное существо. Петух — это, конечно, да: и на крышу взлетит, и предупредит о приближении чужого чуть ли не раньше Бима, да и руководит достойно — сам червяка не съест, а скличет подчиненных и, бывает, поделит даже. Так что петух вполне заслуживает своего звания.

Ввиду того что Бима пока не выпускали со двора еще с неделю, он как-то само собой стал тут за главного: ляжет посреди двора и следит глазами. Кур он уже знал в лицо всех на четвертый день, а когда залетела через плетень чужая курица, он ее так разогнал, так разогнал, что она долго еще тараторила, то убегая куда-то, то возвращаясь и топчась на одном месте, оглядываясь в страхе и любопытстве. Смех, да и только!

Поросенок, например, тот сам предложил знакомство на короткую ногу: подошел к Биму, хрюкнул, чуть-чуть толкнул его влажным пятачком в шею и смотрел глупенькими белобрысыми глазенками. Бим лизнул его в пятак. Тому неимоверно понравилось: он подпрыгнул от удовольствия и стал копаться около Бима, подковыривая под ним землю. Бим снисходительно перешел на другое место, а хрюшка опять к нему: поворчала что-то непонятное (свиньи и собаки не понимают друг друга так же, как иностранцы), да и улеглась, прижавшись к теплой шерстистой спине Бима. Поэтому когда в один из холодных дней Биму стало не по себе (дверь в сени закрыта на день), то никто во дворе не удивился тому, что Бим спал между поросятами на мягкой подстилке, подогреваемый с двух сторон. Против такой дружбы и мама поросят не возражала, даже наоборот, каждый раз, как Бим входил в их жилище, она энергично стонала от прилива дружелюбия, но вовсе не от боли. Кстати, такую особенность свиного языка Бим отметил без труда, хотя дальше этого он в языкознании не продвинулся и потом. Пожалуй, это и не столь важно — знать язык. Собака и свинья — разные по всем статьям, но это не мешает им жить в мире и согласии.

Кормили Бима очень хорошо, а кроме того, и поросята — уже росленькие, в полроста от Бима — не возражали, если он у них иногда снимал пробу из корытца. Каждое утро он получал около литра молока, что здесь

не считалось ни во что. Казалось бы, что еще нужно собаке? Но двор есть двор, клетка-лагерь, огороженный плетнем и всегда закрытыми воротами и калиткой. Не для охотничьей собаки это дело — лежать, караулить кур, воспитывать поросят, — нет и нет, да еще с таким выдающимся чутьем, каким, как мы уже давно знаем, обладал наш Бим.

Он уже привык ко двору, к его населению, не удивлялся сытой жизни. Но когда с луга тянул ветер, Бим беспокойно ходил, ходил от плетня к плетню или становился на задние лапы перед плетнем же, будто хотел хоть немного приблизиться к высоте, и смотрел вверх, в небо, где летали голуби — легкие, вольные. Что-то внутри сосало, а он смутно догадывался, что при такой сытости и хорошем обращении не было чего-то самого главного.

...Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе!

Бим почувствовал еще и то, что доверия к нему нет, раз не выпускают. Каждое утро Хрисан Андреевич с Алешей выгоняли своих овец со двора и уходили с ними на весь день, в плащах, с палками. А Бима, как он ни просился, оставляли во дворе.

И вот однажды Бим лежал, уткнувшись носом в плетень, а ветер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. Свобода рядом! Увидел в щелку — пробежала собака. Тогда-то ему и стало невмоготу. Он копнул лапой землю под плетнем раз, другой, копнул еще и пошел трудиться изо всех сил: передними копал и совал землю под себя, а задними выбрасывал дальше; даже разлапистой можно работать, хоть и не в полную мочь.

Неизвестно, что произошло бы потом, но когда Бим почти уже закончил подкоп, вошли во двор овцы. Они увидели, как земля брызжет из-под плетня, и шарахнулись обратно в калитку, где стоял Алеша, пригнавший их с пастбища. Овцы сбили Алешу с ног и вдарились вдоль улицы, как помешанные. Алеша побежал за ними, а Бим не обращал внимания ни на что: копал и копал.

Но подошел Хрисан Андреевич, взял его за хвост. Бим замер в своей норе, будто неживой.

— Затосковал, Черноух? — спросил Хрисан Адреевич легонько подергивая за хвост, тем и приглашая Бима обратно.

Бим вылез. Что поделаешь, если тебя тянут за хвост!

— Что с тобой, Черноух?! — удивился Хрисан Андреевич и отстранился, оторопев. — Уж не сбесился ли ты?

Глаза у Бима налились кровью, он нервно подергивался, водя носом из стороны в сторону, часто-часто дышал, будто только-только кончил напряженную охоту. Он беспокойно забегал по двору и наконец стал царапаться в калитку, оглядываясь на Хрисана Андреевича.

Тот, стоя посредине двора, глубоко задумался. Бим подошел к нему, сел и говорил глазами совершенно отчетливо: «Мне надо туда, на простор. Пусти меня, пусти!» Он просяще вытянулся на животе и заскулил так тихо и жалобно, что Хрисан Андреевич нагнулся и стал его ласкать:

— Эх, Черноух, Черноух... И собака хочет воли. Куда-а там! — Затем зазвал Бима в сени, уложил на сено, привязал на веревку и принес миску с мясом.

Вот и все. Грустно. Сытая жизнь без свободы опротивела Биму.

К мясу он не притронулся.

Утром, как и ежедневно, в доме Хрисана Андреевича все повторилось по заведенному порядку: пружина трудового дня начала распускаться с последних, третьих петухов, потом промычала корова, Петровна подоила ее и затопила печь; Алеша вышел поласкать своего, теперь уж любимого Черноуха, Папаня задал корм корове и свиньям, посыпал зерноотходы курам, после чего все сели за стол и позавтракали. Бим в то утро не прикоснулся даже к ароматному молоку, хотя Алеша и просил его, и уговаривал. Потом, пока родители хлопотали по дому, Алеша принес воды и вычистил котух коровы и еще раз просил Бима поесть, совал его нос в миску, но, увы, Черноух неожиданно стал почти совсем чужим. Под конец сборов на работу Хрисан Андреевич наточил огромный нож и засунул его над дверью.

С солнцем Петровна укуталась в свои толстые одежды и платки, взяла сумку и тот огромный нож, что точил Па-

паня, и ушла. За нею, надев плащи, вышли во двор Алеша с отцом и, слышно, выгнали овец на улицу.

Неужели оставили Бима одного, да еще на привязи в полутемных сенях? Бим не выдержал — взвыл горько и безнадежно.

И вот открылась дверь с улицы, вошел Хрисан Андреевич, отвязал Бима и вывел на крыльцо, потом запер дверь снаружи, направился к стайке овец, около которых стоял Алеша, передал ему из рук в руки Бима на веревке, сам зашел впереди овец и крикнул:

— Пошли, пошли-и!

Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Впереди все так же шел Хрисан Андреевич, позади Алеша с собакой.

День выдался морозный, сухой, земля под ногами твердая, почти такая же, как асфальт в городе, но более корявая; даже запорхали густо снежинки, заслонив на короткое время и без того холодное солнце, но тут же и перестали. Это была уже не осень, но еще и не зима, а просто настороженное межвременье, когда вот-вот заявится белая зима, ожидаемая, но всегда приходящая неожиданно.

Овцы бодро постукивали копытцами и блеяли, переговариваясь на своем овечьем протяжном языке, понять который, ну, право же, совершенно невозможно. Присматриваясь, Бим заметил: впереди отары, пятка в пятку за Хрисаном Андреевичем, шел баран с кручеными рогами, а позади всех, прямо перед Алешей, — хроменькая маленькая овечка. Алеша изредка легонько подталкивал ее крючком палки, чтобы не отставала, и тогда кричал:

— Папаня, осади малость! Хромушка не тянет!

Тот замедлял шаг не оборачиваясь, а вместе с ним сбавляло ход и все стадо.

Бим шел на веревке. Он видел, как важно выступал Папаня перед овцами, как они подчинялись малейшему его движению, как Алеша по-деловому, сосредоточенно следил за овцами, сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Алеша побежал с Бимом и крикнул:

— Куда пошла-а?! — и бросил перед нею свою палку.

Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность и побрели себе к зеленоватому пятну, но Алеша так же побежал и так же поставил их на свое место. Бим очень быстро сообразил, что ни одна овца не должна отлучаться от сообщества, а в очередной пробежке с Алешей он уже гавкнул на ту овцу, что нарушала порядок и дисциплину. «Гав-гав-гав!» — так же беззлобно, как и Алеша, предупредил он нарушительницу, то есть: «Куда пошла-а?!»

— Папаня! Слышишь? — крикнул Алеша.

Хрисан Андреевич обернулся и прокричал одобрительно:

— Молодец, Черноух!

На склоне яра он поднял над головой палку и еще прокричал так же громко:

— Распуска-ай! — И, замедлив шаг, двигался теперь поперек хода отары.

Алеша стал делать то же самое, как и отец, но здесь, позади, он шагал торопливо, иногда перебежкой, прижимая овец к Хрисану Андреевичу. И тогда отара мало-помалу расходилась все шире и шире и наконец, не переставая щипать травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Теперь Хрисан Андреевич остановился лицом к овцам, окинул взором строй, а рядом с ним пристроился и баран-вожак. Пастух достал из сумки буханку хлеба, отрезал корку и отдал ее почему-то тому барану. Бим не мог знать, что баран-вожак обязательно должен не только не бояться, а любить пастуха, поэтому, по своему неведению, он просто видел подтверждение того, что Папаня — человек добрый, и только. А Папаня, если по совести, был еще и человек хитрый — баран ходил за ним иногда собакой и всегда отзывался на голос. Не Биму, конечно, постичь всю премудрость пастуха. А Хрисан Андреевич знал отлично, что глупый, отбившийся баран небольшой отары, да еще если без собаки, уведет стадо невесть куда — только проморгай, засни от усталости и от размора солнцепеком. Нет, тут баран-вожак был особый, дрессированный баран, потому и Бима он принял с дорогой душой.

Хрисан Андреевич закурил трубочку и сказал Алеше:

— Ты не нажимай, не нажимай — тут кормок хороший.

...А что ты думаешь, дорогой мой читатель? Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудро-хитрое: не умеючи если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму — затопчут его, и вся недолга; а с толком если, то и на посредственном выпасе овца будет сытая и жирная. Ухитряется же Хрисан Андреевич накормить стадо по пустырям да по окрайкам, да перед носом у тракторов, когда они пашут зябь, а для этого требуется определенный талант и призвание и любовь к животным. Огромный труд — пасти овец, а в общем-то, и красивый труд, потому что человек-пастух, иногда даже и не задумываясь над тем, чувствует себя неотъемлемой частицей природы и ее хозяином и добродеем. Вот в чем соль. Читатель простит, что я на время забыл о нашем Биме и заговорил о человеке на просторе поздней осенью.

Итак, овцы с дружным перетреском щипали короткую травку и хрумтели так согласно, что все это сливалось в один сплошной звук, спокойный, ровный, умиротворяющий. Теперь Папаня и Алеша были близко друг от друга и говорили уже тихо, не крича, как раньше из дали.

Алеша спросил:

— Папаня, спустить Черноуха?

— Давай пробовать. Не должон бы убечь сейчас: от воли не бегут. Спущай. Но сперва отстань, поиграй с ним — не колготи овцу.

Алеша подождал, пока отара отошла подальше, отвязал веревку и весело крикнул:

— Черноух! Побежали! — Тут он кинулся с горы в яр, топоча сапогами и подпрыгивая.

Бим обрадовался неимоверно. Он тоже подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть Алешу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой; потом схватил какую-то палку, помчался к Алеше, сел перед ним. Алеша взял ту палку, бросил в сторону и сказал:

— Подай, Черноух!

Бим принес ее и отдал. Алеша еще раз бросил, но теперь не взял изо рта Бима, а пошел вверх из яра к отаре, приказав:

— Черноух, держи. Неси!

Бим пошел за ним с поноской. Когда поднялись вверх, вместо палки Алеша вложил в рот Бима свою шапку. Бим понес и ее с удовольствием. Алеша же бежал вприпрыжку и повторял:

— Неси, Черноух. Неси, мой молодец. Вот хорошо. Вот хорошо.

Но к отаре они подошли тихо («Не колготи овцу»). Алеша скомандовал:

— Отдай Папане.

Хрисан Андреевич протянул руку. Бим отдал. Новое его качество открылось для пастухов неожиданно. Все трое были в восторге.

А не больше как через неделю Бим сам, своим умом дошел, что у него появилась обязанность: поворачивать самовольных овец к стаду, следить за ними, когда они распущены в линию, но не возражать, когда, войдя перед вечером в село, они разбредались стайками по домам.

Бим познакомился с двумя собаками, охраняющими огромную колхозную отару, где было три пастуха, и все взрослые, и все тоже в плащах. Хотя отары колхоза и колхозников никогда не сближались и не смешивались, но при коротких осенних остановках на тырлище Алеша бегал к колхозным пастухам, а Бим, вместе с ним, к колхозным собакам. Хорошие собаки: палевые, шерстистые, большие, но смирные, спокойные; они даже и играли с Бимом спокойно и снисходительно, а вокруг стада ходили тихо, пешком, а не так, как Бим — вприпрыг или стелющимся галопом: с чувством собственного достоинства собаки. Нравились они Биму. И овцы тоже хорошие.

Началась вольная трудовая жизнь и для Бима. Хотя они, все втроем, возвращались усталые и оттого притихшие, но это была воля и доверие друг к другу. От такой жизни не бегают и собаки.

Но однажды, как-то вдруг, посыпал снег, закрутил ветер, закружил, заметелил. Хрисан Андреевич, Алеша и Бим сбили овец в круг, постояли немного да и повели стадо в село среди дня. На овцах был белый снег, на пле-

чах людей снег, на земле снег. Белый снег всюду, только один снег в поле — больше ничего. Заявилась зима, свалилась с неба.

То ли Хрисан Андреевич решил, что такой собаке, как Бим, не положено спать с подсвинками или сидеть на веревке, то ли по чему-либо другому, но Бим перешел теперь ночевать в теплейшую будку, сколоченную в углу тех же сеней и набитую мягким сеном. А вечерами он входил в дом как член семьи и оставался там, пока не поужинают.

— Не может того быть, чтобы — зима. Рано, — сказал как-то Хрисан Андреевич Петровне.

Слово «зима» повторяли они в разговоре часто, о чем-то беспокоились; впрочем, Бим знал: зима — это белый холодный снег.

В тот вечер Петровна пришла вся запорошенная снежком, мокрая, с обветренным и опухшим лицом. Бим видел, как она, раздевшись, трясла руками и стонала. Руки у нее были в красноватых трещинах и землистых пятнах, как бы в подушечках, похожих на подушечки пальцев Бима. Потом она опускала руки в теплую воду, отмывала их, долго-долго втирала мазь и охала. А Хрисан Андреевич смотрел на Петровну и о чем-то вроде бы горевал (чего Бим не мог не заметить по его лицу).

А следующим утром он наточил ножи, и все вчетвером вышли из дому: Петровна, Хрисан Андреевич, Алеша и Бим. Сначала шли ровным белым полем, покрытым мелким снежком — в пол-лапы, не больше, так что идти было легко. Вокруг тихо, но холодно. Потом они оказались на поле, где рядами разбросаны кучи — буртики свеклы, сложенной листами наружу и прикрытой сверху листами же. У каждой кучки сидели женщины, одетые так же, как и Петровна, и что-то делали, молча и сосредоточенно.

Все четверо подошли к одному такому буртику, сели вокруг него, и Бим стал внимательно смотреть, что же тут происходит. Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернула ее корнем к себе и — чик! — ножом: листья отлетели. Еще чик-чик — по головке свеклы: головка чистая. И бросила в сторону, рядом с собой. Хрисан Андреевич повторил за нею все в точности. Алеша — тоже, даже ловчее, чем Папаня. И пошло!

Чик-чик! — долой ботва. Чик-чик! — чистая головка. Трах! — свекла в стороне, уже в новой, очищенной, кучке.

Невдалеке, у такого же буртика свеклы, сидела женщина, одна, и делала то же самое. У следующего — тоже, но уже два-три человека вместе. И так на всем поле: свекла шалашиками, укутанные женщины с потрескавшимися ладонями и припухшими от холода лицами. Все работали или в легких брезентовых рукавицах, или голыми руками. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — человек бросает нож и дует ртом на ладони, трет их друг о друга, и снова: чик-чик! — чистая головка. Как часы!

И холодно. Следя за ножами, Бим начал зябнуть, а потому встряхнулся и стал обследовать местность поблизости, не отбиваясь далеко. Согрелся и вернулся обратно к своим, хотя по пути его приглашали и другие женщины (все на селе уже знали, что такое Черноух).

Потом к ним подошла та женщина, что сидела и работала одна-одинешенька, — молодая, но тощая. Она на что-то жаловалась, сморкалась на землю, затем села рядом с Петровной и показывала ей руки. Петровна тоже протянула ей свои ладони. Женщина пригорюнилась, закашлялась, прижимая брезентовой рукавицей грудь, и затихла. А звали ее Наталья.

Петровна — чик-чик! Хрисан Андреевич — чик-чик! Алеша — чик-чик! И дуют на руки, и трут щеки. Петровна — чик-чик!.. И вдруг — блюк!.. У той женщины-горемыки из глаз упала на лист капля. Она закрылась рукавом и ушла к себе, к своей свекле.

— Избави боже, еще и ты не застудись, — сказала Петровна Алеше, подошла, поправила ему теплый платок под шапкой, подоткнула на шее, сняла с себя холщовый кушак и опоясала Алешин меховой кожушок.

Бим тоже тыкался носом в Алешин кожух, помогал Петровне. Но Алеша, как установил Бим, вовсе не так уж и озяб, как казалось; наоборот, он был гораздо теплее Папани и Петровны (Бим-то уж чувствовал это лучше людей).

— Слышь, Алеша, — сказал Хрисан Андреевич, работая ножом за двоих. (Бим навострил уши.) — Поди-ка, побегай с Черноухом, погрейтесь маненько.

И вот Бим уже бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Прошли они поле поперек, Алеше стало жарко, и он снял шапку, развязал платок, сунул его за пазуху, шапку надел, приподняв у нее уши. Рядом с лесной полосой, в густой желтой траве, Бим приостановился, потянул воздух, забегал челноком и неожиданно для Алеши замер в стойке.

Алеша подбежал к нему:

— Что тут, Черноух?

Бим стоял неподвижно и ждал приказа. Алеша сообразил-таки, в чем дело:

— Пужай! Пужай!

Бим ждал магического слова «вперед». Но Алеша крикнул еще громче:

— Пужай!

Бим пошел на подводку и поднял на крыло стайку куропаток.

Не долго думая, Алеша побежал обратно вместе с Бимом. Бим понял, что снова у них нет взаимопонимания,— Алеша не знает слов Ивана Иваныча, но все же бежал рядом. А тот, запыхавшись и раскрасневшись, рассказал родителям, как Черноух нашел куропаток и «спужнул» их.

— *Охотницкая* собака Черноух, ученая, — одобрил Хрисан Андреевич. — *Ружье* бы нам, Алешка! И на *охоту*. А?

Ружье? Охота? Какие знакомые и дорогие слова для Бима! Он знает, что это значит.

Бим завилял хвостом, заласкался к Алеше, к Хрисану Андреевичу, к Петровне, он говорил им на своем языке отчетливо и ясно. Но его никто здесь не понял: никто не пошел за ружьем и никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху, и задумался, — по крайней мере, такой у него был вид.

Уже в сумерках они вернулись домой, усталые и прозябшие. А через несколько дней и вовсе перестали ходить на свеклу — кончили свою делянку.

Теперь Петровна никуда не уходила и была явно тому рада. Она все дни что-нибудь делала: чистила корову, стирала белье, мыла полы, рубила капусту, сбивала масло, топила печь, варила, шила на машинке, чинила одежду,

выносила корове лохань — всего не перечислишь. Бим следил за ее работой.

За Алешей приходила чистая женщина с книжками, журила Петровну (но не сердито, как отметил Бим), обе они повторяли слова: «Алеша», «овцы», «свекла». На следующий день, утром, Алеша ушел с книжками и так пропадал теперь ежедневно. Хрисан Андреевич отправлялся к сроку куда-то с вилами, а по возвращении от него пахло навозом.

В один из обычных вечеров, когда собрались все и ужинали, вошел человек: высокий, широкий, костистый, крупнолицый, но с маленькими лисьими глазками и в лисьей шапке. Бим приметил, что Хрисан Андреевич глянул на вошедшего без улыбки, а из-за стола не поднялся навстречу, как всегда, и руки не подал.

— Здорово были, — равнодушно сказал гость, не снимая шапки.

— Здравствуй, Клим, — ответил Хрисан Андреевич.— Садись.

Тот сел на лавку, свернул громадную цигарку, рассматривая Бима, и спросил:

— Так это и есть *Черноух?* — (Бим навострился.) — Пропадет собака без *охоты.* Иль убегет. Продай: дам двадцать пять.

— Непродажная, — сказал Хрисан Андреевич и теперь вышел из-за стола, закончив ужин.

Бим на расстоянии в три шага легко понял: от гостя пахнет зайцем. Он подошел, обнюхал, вильнул хвостом и глянул в лицо лисьей шапки, что и означало на языке Бима: «Понимаю — охотник».

— Видишь? — спросил Клим. — Чует Черноух, с кем дело имеет. Продай, говорю.

— Не продам, Клим, не продам. Дело прошлое, — даже Алеша не знал сперва, — послал я три рубля в редакцию в областную и дал объявление: «Пристала собака охотницкая, белая, с черным ухом». Получил ответ: «Не объявляйте, пожалуйста. Пусть живет до срока». В чем дело — не знаю, но чую — собака эта важнецкая, беречь надо.

— А ты загубишь. Продай, — настаивал Клим, начиная сердиться.

— Дела не будет, — отрезал Хрисан Андреевич. — Так — бери на охоту, а приводи в тот же день. Пущай Черноух породу соблюдает, как ему по уставу положено.

— Так что непродажная, — вмешался и Алеша.

— Ну, так и так, — недовольно заключил Клим, потрепал Бима по холке и ушел.

После ужина, под фонарь, Хрисан Андреевич заколол валушка и, подвесив на задние ноги на распялке, снял с него шубу, выпотрошил, обмыл тушку и оставил ее в сарае до утра.

Петровна весь вечер то укладывала яйца в корзину, то набивала банки сливочным маслом или заливала топленым. Она потом аккуратно устанавливала их в базарные, из белых хворостинок корзины.

Вот теперь-то Бим уловил, что от всего этого (барашек без шубы, яйца, масло, корзины) пахнет городским базаром. Ему ли не знать! Весь город от края и до края он изучил в поисках Ивана Иваныча. И Бим заволновался: базар, город, корзины, своя собственная квартира — все связалось в одно: Иван Иваныч там. Ночь он не сомкнул глаз.

Утром, рано-рано, Хрисан Андреевич завернул уже твердую тушку в чистую мешковину, обмотал шпагатом и вскинул на плечо. Петровна надела на коромысло две корзины, подняла и положила его на оба плеча. Как Бим просился с ними! Он же ясно говорил, втолковывал им настойчиво: «Мне надо с вами. Я — туда. Возьмите».

Никто не понял его переживаний. Больше того, Хрисан Андреевич сказал, поправляя и прилаживая к плечам тушку:

— Придержи-ка, Алеша, Черноуха — как бы не убег за нами.

Алеша взял его за ошейник и придержал на крыльце. А Папаня и Маманя, каждый с тяжелой ношей, медленно пошли к шоссе, к автобусной остановке. Бим провожал их взглядом, не обращая внимания на ласку и уговоры Алеши, провожал, пока они не скрылись из виду.

Вскоре пришел Клим с ружьем и рюкзаком. Охотничьей сумки и патронташа на нем нет (недостаток экипировки Бим отметил немедленно). Но все-таки — ружье! — вот в чем смысл. Бим доверчиво потянулся к охотнику и

тут же установил, что патроны насыпаны в карман. Тоже непорядок большой. Главное же — ружье. За человеком с ружьем он пойдет куда угодно. Надолго или нет, а пойдет. Такая уж натура у легавых собак, и Бим не был исключением: у него на какой-то срок затихла тоска, возникшая в последний день, — даже так. В отношении к ружью Бим был обыкновенной охотничьей собакой. Не надо его обвинять в отсутствии логики, истину он постигал только практикой, хотя и был умнейшей из собак. Ему еще много предстоит пережить только от одного того, что он — собака. Не будем обвинять.

— Пошли-ка, Черноух, на охоту, — сказал Клим.

Бим запрыгал перед ним: «На охоту, на охоту!»

Клим же взял его на ременной поводок, а Алеша предупредил:

— Дядя Клим, когда Черноух станет, вытянется, замрет, то тут и куропатки. Ему надо крикнуть так: «Пужай!» А то с места не сойдет.

— Аль правда?

— Ну дык! Знаю же, — степенно ответил Алеша. — Мне вот уроки учить, а то бы показал сам.

— Мы тоже кой-чего понимаем. Не впервой, — заверил Клим.

Итак, после большого перерыва и многих переживаний Бим пошел на охоту. Сначала им ничего и не попадалось, кроме норы вонючего хоря.

— Рой, — сказал Клим.

Бим такого не понимал, отошел в сторону и сел в недоумении.

К середине дня сильно потеплело. Солнечно, тонкий слой снега раскис, под лапами уже хлюпала грязь, очесы на ногах Бима обмокли и вымазались, он стал поджарым и невзрачным, как и всякая мокрая легавая. Но Бим искал по всем правилам — челноком впереди Клима, поперек и с поверочным заходом. На опушке кустарникового колка Бим стал по куропаткам.

Клим крикнул:

— Пужай!

Бим даже вздрогнул от басового рыка и поднял куропаток рывком, без поводки (ай, какая ошибка!), но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовы-

вал патрон в одностволку, а — никак. Потом стал его вынимать, тоже — никак. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток, и, не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. А Клим стал ругаться так, как ругаются вечером на тротуаре пьяные: качаются и ругаются друг на друга или просто в черную ночь. Этот же и не качался, а ругался.

Хотя Клим в конце концов вынул патрон, вставил другой и закрыл ружье, но был злой и чем-то напоминал Серого.

— Ну, ищи! — приказал он Биму. — Черноух, ищи!

Отвернувшись и выходя против ветра на челнок, Бим сделал вид: «Ну что ж, буду искать».

Но что-то такое апатичное появилось в прихрамывающей побежке, не та уже прыть, что до подъема куропаток. Клим принял это как физическую слабость собаки, не понимая того, что у Бима это самое означает начало сомнений в человеке: вот так, искоса, оглядываться на него, не останавливаясь и не приближаясь, держась на почтительном расстоянии. Он как бы и не искал, а только следил за охотником, но это только казалось. Страсть необоримая, страсть вечная, пока существуют охотничьи собаки, взяла свое. В сущности, Бим шел за ружьем, а вовсе не за Климом.

Неожиданно он поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иваныч не охотился с Бимом, хотя раза два-три Бим и делал по ним стойку. Они ведь, эти зайцы, не держат стойку ничуть: только приостановись, а он — теку. Гонять за ним нельзя — хозяин не разрешал. Летом, правда, они кое-как еще лежат и под стойкой, но Иван Иваныч всегда отзывал Бима; а одного зайчонка величиной с ладонь даже отнял из-под лапы и пустил на волю. Так что заяц — не птица. Однако Бим настроил нос на струю, идущую от зайца, пошел точно и стал на стойку — мокрый, чуть кособокий на испорченную лапу. Нет, уже не та стойка у калеки. Не та художественная стать.

— Пужа-ай! — заорал Клим.

Заметим, в мягкую погоду, а тем более в раскисшей грязи, заяц лежит крепко, а Бим пока все еще не стронулся с места, будто хотел сказать: неправильно кричишь-то.

— Пужа-ай, черт хромой! — рыкнул Клим.

Поднял зайца Бим и прилег, как и полагается перед выстрелом.

Клим бабахнул, как пушка. Заяц бежал, но все медленнее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз.

Клим кричал дико.

— Ату, ату его! Ала-ала-ла-ла! Ату! — и бежал по направлению, где спрятался заяц.

Бим, хотя и запрыгал рядом с Климом, знал точно, что все это происходит не по правилам: охотник не должен бежать собакой, Бим и сам найдет, если надо, — даже зайца, если приказал бы Иван Иваныч.

Клим остановился, запыхавшись, и неистово орал:

— Ищи, балда! Калека чертова!

Пошел Бим как-то обиженно. И без того запах зайца не так-то уж его интересовал и раньше, а тут — позади топает ногами Балда. Но все же следом, следом Бим дотянул, стал в стойке, дождался противного «пужай» и размахнулся на подъем зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял как больной. Клим выстрелил, а заяц бежал. Еще выстрелил, а заяц тихо-тихо ковылял с приостановками. Бим лежал, как и полагается, несмотря на грязь, ждал приказа.

А Клим рычал:

— Ату, гад! Ату его, балда! — И указывал на зайца.

Бим вновь нашел затаившегося подранка и опять сделал стойку. Третью! И опять Балда промазал. И снова заяц побежал.

Так Клим и не смог понять в своем озлоблении, что Черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это ниже достоинства интеллигентного сеттера, что сеттер не терпит таких охотников, как он. Когда в последний раз заяц скрылся из виду (он пошел несколько бодрее —видимо, рана была открытой), Клим снова рассвирепел; он подошел вплотную к Биму и часто повторял слово «мать», зло, с ненавистью: явно проклинал Бима.

Бим отвернулся сидя, собираясь уходить от ружья. И тут Клим с размаху ударил его изо всей силы носком громадного сапога в грудь снизу...

Бим охнул. Как человек охнул.

«О-о-х! — вскрикнул протяжно Бим и упал. — Ой, ой... — говорил теперь Бим человеческим языком. — Ой... За что?!» И смотрел мучительным страдающим взглядом на человека, не понимая и ужасаясь.

Потом он с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь, шевеля лапами.

— Что ж я наделал! — схватился за голову Клим. — Теперь придется четвертную отдавать. Пропали деньги! — И затрусил скоро-скоро, будто убегая от взгляда Бима.

В тот день Клим не появился в селе, а где-то прошлялся до ночи. В полночь, крадучись огородами, заполз в свою хату, что на самом краю села.

Что же Бим? Где он?

Он остался один на сырой холодной земле, один-одинешенек на всем белом свете. Внутри что-то оборвалось от удара, и это «что-то» стало теплым, оно захватило дыхание, сперло грудь, оттого он и потерял сознание. Но вот он кашлянул, его стошнило, вздохнул — дышать больно. Еще раз схватил воздух открытым ртом и откашлялся. С усилием приподнял голову: поле качалось так, будто Бим плыл по волнам в половодье. Он натужился, сел: поле качалось, солнце качалось, как подвешенное на веревке.

Сегодня с Бима спросили больше того, что он может; от него потребовали: ты *должен*, *обязан* сделать то, чего *не можешь* сделать против своей собачьей чести и совести. За неисполнение жестоко и свирепо избили. А он, Бим, не позволит душить подранка.

«За что-о-о... За что-о-о... — скулил тихонько Бим.— Где ты, мой добрый друг... Где-е? Где?..» — все тише и тише жаловался Бим, а наконец и замолк.

Со стороны показалось бы, что лежит в открытом слякотном поле мертвая собака. Но это было не так.

Вот он приподнял зад, укрепился на ногах — не упал. Переступил раз — не упал. Постоял. Переступил второй раз. И заскоблил по пашне, волоча лапы, перечеркивая свой собственный след.

...О великое мужество и долготерпение собачье! Какие силы создали вас такими могучими и неистребимыми, что даже в предсмертный час вы движете тело вперед?

Хоть помаленьку, но вперед. Вперед, туда, где, может быть, окажется доверие и доброта к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем.

И Бим шел. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступила кровь, а он шел. Кашлял кровью, а шел. Спотыкался, припадая на колени, и шел. Ложился от бессилия на холодную землю, вставал и вновь продвигался вперед.

У ручья жадно напился воды — стало чуть легче. Что-то подсказывало: от воды уходить не надо. Он действительно добрался до ближайшей скирды, через силу просунулся под нависшую до земли солому и затих. Так собаки отлеживаются от недуга, скрываясь от взора людей и зверья; этому паучила их сама природа. Слава ее законному порядку и разумной целесообразности!

Сколько Бим пролежал в забытьи, он не знал, но, очнувшись, почувствовал острую боль в груди; голова закружилась, и он, ощутив нутром, что сейчас что-то произойдет с ним, выполз из соломы. Полежал на открытом воздухе. Ощутил, что шерсть стала сухой. Сел. Осенняя трава теперь не качалась, скирда не качалась, солнце — тоже, и оно теплое, немножко греет. Бим доплелся до ручья и вновь пил, пил, пил. Отдыхал немного и опять пил уже маленькими глотками. Он заметил недалеко от ручья степную осоку, мелкую и еще зеленую, похожую на пырей (морозы не скоро ее берут). Бим стал есть осоку. Что ему подсказывало об этой невзрачной травке, люди никогда так и не узнают, но он-то знал: обязательно надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже присохшая запоздалая ромашка, а на ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку. Еще вернулся к ручью, напился и пошел к деревне. Шел вперед и вперед.

Так-таки и добрел, когда уже смеркалось. Нет, Бим не пошел в деревню. Как же! Туда побежал Клим... Нет, за ним он не пойдет. Клим может взять снова за ошейник, и тогда... Нет, такого не будет.

Бим устроился в остатках копны, отлежался немного. Почуял рядом стебель лопуха, попробовал его — сухой, отгрыз его вровень с землей и стал щипать корень, вгрызаясь в глубину. Это он тоже знал, что уж лопух-то надо есть обязательно.

Велики и многогранны лечебные познания собаки. Отпустите собаку в начале бешенства в лес: через две-три недели она придет истощенная до полного бессилия, но здоровая. Заболела собака желудком — ведите в лес или в степь и поживите с ней пару-тройку дней: она вылечит себя травами. Именно у собаки и надо учиться, как ее лечить. Природа закрепила настолько богатые «знания» у собаки, что чуду этому люди никогда не перестанут удивляться.

...Ночь прошла. Большая, осенняя, ноющая внутри ночь.

Прокричали первые петухи. Бим не стал дожидать вторых и третьих, последних, рассветных. Он поднялся, но никак не мог сдвинуться с места от боли в груди. Но все же с усилием размялся, дважды ложась и вставая вновь, да и побрел тихонько.

Он притащился к Хрисану Андреевичу, взобрался через два порожка на крыльцо и прилег. В доме было безмолвно.

Кто знает, может быть, он не ушел бы отсюда сегодня, но рядом, совсем рядом, прошел Клим, тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до последнего издыхания. В Биме проснулась гордость обреченного, когда тому больше нечего терять. Но Клим перегнулся через балясину и сказал полушепотом:

— Пришел, Черноух. — И торопливо, трусливо потопал обратно, будто повеселел.

У Бима не было сил, чтобы догнать и мстить за коварный жестокий удар сапогом, лаять он не мог, потому что кроме хрипа из этой попытки ничего не получилось в искалеченной груди. Но Бим не желал и того, чтобы Клим вдруг пришел и пытался взять его. И вот он встал, тихо обошел двор, принюхался к подсвинкам, к корове, овцам, чуть посидел и пошел из села вон. А как хотелось прилечь у друзей-поросят!

...Пропели третьи петухи. Светало.

По направлению к шоссе шла собака. Голова опущена, хвост висел безжизненным, как у бешеной. Со стороны она и могла бы показаться бешеной, в последней стадии болезни: вот-вот рухнет, наткнувшись на первый попавшийся предмет, и умрет тут же. Это был наш Бим, наш

добрый и верный Бим. Он шел искать своего хозяина, Ивана Иваныча. Шел точно старым путем, по которому его вели сюда.

От деревни до остановки автобуса было километров пять-шесть, но где-то на полпути Бима снова оставили силы, он едва дотянул до стога сена. Кто-то, воруя ночами, продергал в стоге дыру — туда Бим и забрался. Лежал там долго, почти весь день, а перед заходом солнца вышел из своего ухорона. Хотелось пить, но воды не было. Боль сверлила грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, когда он тронулся в путь. Теперь ему попалась кулижка бессмертника, он съел и эти цветочки — желтенькие, сухие, не изменяющие цвета от начала цветения до созревания и дальше, на всю зиму, до весны. Общипал и кустик ромашки, но у этой головки оказались созревшими, во рту рассыпались и першили в горле, отчего еще сильнее захотелось пить. Когда он переходил одну из полевых дорог, попалась лужица от растаявшего снега в колее. Так дорога сберегла для Бима водички. Он напился и пошел помаленьку дальше.

Затемно он прибыл наконец на шоссе. Посидел малость, проводил глазами несколько автомобилей с ослепительным светом и уже знал: надо идти туда. Но — не ночью же! А вдруг — Клим? Или — Серый дядька? Или — волк?

Бим решил не отходить от автомобильной дороги и спрятаться на ночь неподалеку, где-нибудь рядом. Он дотащился до автобусной остановки, где был маленький домик без одной стены, но с широкими лавками внутри; там забился в угол, под лавку, и стал ждать.

За ночь он не сомкнул глаз, несмотря на неимоверную слабость. То один, то другой проскакивали мимо автомобили — дорога жила и ночью. Автобус замедлял ход перед остановкой, где лежал Бим, но из-за отсутствия пассажиров уезжал дальше.

Ночь была хотя и настороженная, и больная, но теплая, слава богу, — осень еще раз прогнала зиму.

Что же произошло в деревне за эти сутки в отсутствие Бима?

Хрисан Андреевич с Петровной вернулись с базара уже в сумерки. Алеши не было — дом на замке. Они

вошли, пересчитали деньги, вырученные в городе, спрятали их пока в сундучок, чтобы завтра отнести в сберкассу. Тут и заявился Алеша.

— Куда ты запропал? — спросил отец.

— Ходил до Клима.

— Аль он не привел Черноуха?

— Еще не пришел с охоты.

— Придет. Приведет — никуда не денется, — успокоила Петровна, примеряя Алеше новенький свитерок.

— Так-то оно так, — неуверенно сказал Хрисан Андреевич, — да только Клим-то, вишь, ворюга... Хоть бы брал-то одно колхозное — оно там ничье, а то ведь у колхозников тащит. О, с этим свяжись — рад не будешь. Любой-каждый его боится. Пущай уж берет Черноуха на охоту, леший с ним, с Климом.

— Как так — «ничье»? — спросил Алеша. — Наше же?

— Оно, конечно, так... Оговорка... Это ты правильно — наше... Но, как бы тебе потолковее сказать? Там — наше, а тут — свое. Ну, скажем так: школа, к примеру, наша, и дети все наши, а ты — мой. Или так: поля — наши, а усадьба — своя... Стало быть, и скотина: есть — наша, а есть — своя. Понял?

— Ну дык! Как не понять... А ты — «ничье».

— Это ты правильно: совсем ничье — не может того быть.

Отец всегда разговаривал с Алешей как со взрослым. Алеша отвечал тем же:

— Стало быть, и Клим: брал бы из нашего, а не из моего.

— Фактически так, — заключил отец. — Мы же с тобой берем... сенца там иль свеколки для коровы? Берем. Потаенно от председателя, а берем чуть. Да и он, председатель, знает, и бригадир знает, все знают. И от этого никуда не денешься: из нашего берем. И берем по совести, из прошлогодних стогов, иль добираем остатки свеклы. А как же? Скотину кормить-поить надо.

— Фактически так, — подтвердил тринадцатилетний мужичок, который уже может и пасти стадо, и ухаживать за «своей» скотиной, и пахтать масло, помогая матери,

если свободен, конечно, и чистить по морозу «нашу» свеклу, и копать «свою» картошку.

А Хрисан Андреевич разъяснял дальше:

— Как положено по уставу, так и действуем все: там — наше, а тут — мое. Я вот отнес барашка в город. А как же? Кормить-поить народ надо — мы к тому приставлены. И мать отнесла яйца. И масло. Все по уставу, все планово. Жизня, Алешка, наладилась хорошо, обуты, одеты не хуже учителя аль председателя, телевизор есть и все такое, деньжонки есть по потребности. А что работаем много, так, окромя крепости, от этого ничего не бывает. Только вот водку не надо пить, — наставлял Хрисан Андреевич.

— А сам пьешь, — резонно заметил Алеша. — Раз не надо — и не надо. Проку-то!

— Это ты правильно, — согласился отец. — Разве что бригадира уважить, так это ж не нами заведено... А Клим — что? Клим — ворюга. Как это так: пойти к соседу и украсть курицу? Это же надо потерять всякую совесть. Куда-а там! Пропал человек.

В ожидании Черноуха Алеша и Хрисан Андреевич проговорили так до одиннадцати вечера. Потом ходили вокруг двора, заглядывали к поросятам, под крыльцо (может быть, убежал от Клима да и спрятался). Наконец Хрисан Андреевич пошел сам.

Наталья, жена Клима, тихая и забитая мужем, та самая, что уронила слезу на свекольный лист, сказала горестно:

— Не пришел еще, бродяга. Заночевал где-нибудь, идолище. Либо запил, окаянный. Ох, горе мое! Считай, теперь завтра придет, шатун. А собаку он никуда не денет, знаю его. Приведет.

Хрисан Андреевич вернулся домой, рассказал, что слышал, и они с Алешей улеглись на покой, разговаривая шепотом, чтобы не будить мать. Они не слышали, как приходил Черноух на крыльцо, как подкрадывался и убежал Клим, как ушел их добрый новый друг от злого человека.

Утром отец разбудил Алешу:

— Вставай. На крыльце свежие следы: пришел Черноух.

Вдвоем они стали искать, звать, свистеть, но Черноух уже не мог их услышать. Хрисан Андреевич почти бегом затрусил до Клима, разбудил его.

— Привел же, привел, — басил тот хрипло и недовольно. — За полночь привел, не хотел тебя будить... Хочешь, следы свои покажу. А ты вот меня разбудил, растревожил. Как думаешь: по-человечески ты поступаешь или как? Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне — не буду его брать никогда.

Хрисан Андреевич не спорил: с этим только свяжись.

Они обошли с Алешей все село, огороды, были на колхозном дворе (не у собак ли Черноух в гостях). Нет, никто нигде не видел Черноуха. Пропал Черноух.

— Стало быть, Клим его побил, — догадался Хрисан Андреевич. — Убег Черноух.

А у Алеши щемило сердце от жалости и горя. Он стал рассматривать пол на крыльце: следы уже высохли, но место, где лежал Черноух, осталось заметным. Алеша наклонился и неожиданно кинулся в дом с криком:

— Папаня! Кровь!

Тот выбежал, присмотрелся: там, где лежала голова Черноуха, остались высохшие пятнышки от слюны, перемешанной с кровью.

— Зверь! — сказал Хрисан Андреевич. Подумал и предупредил Алешу: — Смотри, не связывайся с этим человеком — беды наживешь. Вот что: пойдем-ка по путю Черноуха — кроме ему некуда.

Они добрались до автобусной остановки, по дороге зовя и выискивая Черноуха, долго там поджидали да и ушли домой. Думалось, если шел сюда, то теперь он уже далеко-далеко. В этот день они проходили неподалеку от того стога, где отлеживался Бим, их Черноух.

Вечером Алеша несколько раз выходил на крыльцо, ждал, звал. А потом вернулся в сени, сел у собачьей будки, набитой сеном, и заплакал, откровенно, по-детски, всхлипывая и размазывая рукавом непослушные слезы.

Хрисан Андреевич услышал. Вышел в сени, включил свет.

— Э, да ты, никак, — того? — удивился он.

— Того, — ответил Алеша, вздрагивая.

Отец провел шершавой, деревянной ладонью по волосам сына и проговорил:

— Это хорошо, Алеша... Душа в тебе есть, мальчик...

Вышла и Петровна.

— Жалко Черноуха? — спросила она.

— Жалко, маманя!.. Жалко..

— Горе-то какое, отец, — всхлипнула она. — Что же теперь поделаешь, Алешенька... Так тому быть... Жалко...

...А в это самое время Бим уже лежал под лавкой павильончика автобусной остановки.

Лежал и ждал. Ждал он только одного — рассвета.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

СИНИЕ СУМЕРКИ

Где-то я слышал, будто в час синих сумерек рождаются ангелы и умирают грешники. Умирают, стиснув зубы, без стона, чтоб не потревожить печальную тишину.

Стихает утомленная земля, останавливается ветер, перестают раскачиваться и мерзло скрипеть осинники. Верующие молятся в кончину дня, шелестя обветшалыми молитвами, а люди, отрешенные от веры, — думают, вспоминают, если есть у них вспомнить что-нибудь хорошее. В синих сумерках хочется думать только о хорошем, и еще умереть хочется или очиститься.

В такое вот синее предвечерье сидел я, привалившись плечом к косяку, на пороге охотничьей избушки, заблудившейся в еловой парме, глядел на тайгу, расслабленно впитывал в себя тишину.

Мокрую спину парило от печи, гудящей и ухающей сухими еловыми поленьями, а лицо корежило каленой стынью, какая накатывает в конце дня, когда синие сумерки с колдовской бесшумностью наплывают из таежных падей и забурьяненных логов.

Лес, поляны, луга, буераки затопляют они, наряжая синевой пустоши и провалы в тайге, глухие ямы шурфов, битых здесь еще при царе, словом наряжают все горелое, хламное, уродливое, что могло бы угнетать глаз человеческий. Но синева, так же как и солнце, не застит таежной красы. Снега как были белы, так белыми и остались. Они чуть поголубели только. Березняк, утомленно свесивший перевитые космы, не тронут был синим даже в кронах, лишь слегка потемнел он в глубине, и оттого резче отразились в стеклянистом воздухе шеренги пестрых стволов. Липы сделались совсем черны, а голотелые

осинники нервно рябили, и все вокруг казалось погруженным в онемелое море, в глубине которого остановились земные стихии.

Григорий Ефимович, хозяин охотничьего пристанища, отбросил дверцу печки, видно, обжег пальцы, ругнулся и спугнул благость с моей души.

Треща суставами, я поднялся и пошел к шурфу, что был за бугром. Из нутра его, из-под рыжего снега, ботиночным шнурком вытягивался ключик. Через три-четыре шага жизнь ручейка на свету кончилась, он падал по липовому лбу, подставленному Григорием Ефимовичем, в шурф.

Шурф этот зарос худой остробокой осокою и кустами, у которых корней больше, чем ветвей. Корни схватили и удерживали корку земли. А внизу шурф пустой. Охотник сказывал, с десяток лет назад, загнанный по насту сохатый с коротким воплем провалился в яму. Следом за ним туда сползали ворохи кустов и однажды стащило огромную ель. Она целое лето кореньями хваталась за землю, но не удержалась и огрузла в земную утробу.

Долго катилась ломь и земля в ямину, пока не получилось маленькое озерцо. Видно, ель сделала собою опору дна его. Озеро было покрыто ржавой пленкой, никто в нем не жил, кроме лягух, водяной блохи и сонливых водомеров.

Я смотрю на холодный зрак озерца, затянутый оловянным прожилистым льдом. Пучки осоки, еще не задавленные снегом, будто выболевшие ресницы, торчат вокруг него. Смотрю и в общем-то понимаю жителей ближней деревни — Становые засеки, которые утверждают, что водяные облюбовали это место для себя.

И Григория Ефимовича я тоже понимаю. В наши дни, когда захожие в лес людишки почему-то считают своим долгом разорить охотничью избушку или напакостить в ней, — лучшего места для нее нельзя было найти.

Пока наполнялся чайник водой, падающей из лохматого, ржавого луба с шевелящимися в нем ленточками мочала, пока свивалась струйка клубком в посудине, — синева за избушкой, на которой бойко струилась трава

щучка вперемежку с лесной жалицей, загустела, и из глубины леса забусило темной пылью. Трава на избушке, только что видная до каждой былинки, до каждого семечка, стушевалась, и ветви лип, будто прочерченные в небе, — разом спутались. На покосе возле озерца, в невырубленных кустах, ровно бы заклубило сизый дым, а липы размыло синевой.

Все в тайге совсем унялось, и шевельнуться либо кашлянуть сделалось боязно, потому что мир казался призрачно хрупким.

Наступили последние минуты дня, последний его грустный и светлый вздох, — и после торжественной этой минуты, после грустного вздоха об уходящем навечно дне сразу же потекла из лесу темнота, словно бы она терпеливо ждала своего часа, таясь под густыми липами пихтача. Но в том месте, где закатилось солнце и уже успело остыть небо, срез тайги все еще отчетлив, и каждая елка там напоминает тихую часовенку с крестиком на макушке.

В открытой двери избушки стал виден огонек, дым из трубы не столбился более, а смешался с темнотою. Весь лес перепутался. Однако и темнота тоже была кратковременной. Вот раз-другой на поляне, за озерцом, проблеснули искры снега, и пока еще не видная за лесом луна наполнила мир покойным светом, и в успокоенном небе снова проступила слабенькая синь.

Я пошел от ключка в обход бугра и спугнул из-под низкой, раскидистой пихты, сросшейся с кустом можжевельника, собаку Григория Ефимовича. Она отскочила в сторону и напряженно ждала, когда я пройду, вопросительно пошевеливая хвостом.

— Ночка! — позвал я собаку. Она отступила еще глубже в снег, вместо того чтобы приблизиться ко мне, и, ровно бы извиняясь, поболтала хвостом по снегу. — Ночка! Ты чего? — В ответ собака еще раз шевельнула хвостом, но с места не сдвинулась.

— Отстань от нее! — крикнул из избы Григорий Ефимович. — Не подойдет она к тебе. Чайник неси.

Собака эта, Ночка, весь день хлопотала в лесу, шустро носилась по горам, и сиплый, зовущий лай ее раздавался то на еловой гриве, то в густо заросших падях.

Мы спешили на этот лай, и как только сближались с собакой — она переставала гавкать и только попискивала.

Мы подходили к ели и задирали головы, а Ночка отскакивала в снег, ждала, поглядывая в мою сторону. И стоило мне встретиться с нею взглядом, она чуть шевелила хвостом, будто провинилась передо мною. Если уж долго мы не могли высмотреть белку, Ночка начинала постанывать и царапать лапами дерево, ровно бы хотела сама достать унырливую белку, подать ее нам, чтобы незачем было нам нервничать и порох жечь.

Я стучал палкой по стволу дерева. Собака, должно быть, видела схватившуюся за сук белку и от переживаний вдруг взрыдывала, но тут же смолкала и с немой вопросительностью глядела на Григория Ефимовича, который шепотом поругивался, напрягал зрение свое и сноровку.

— Вот она, тута! — наконец удовлетворенно сообщал охотник и, прищурив глаз, по-стариковски обстоятельно целился. И я, и Ночка замирали в ожидании выстрела. Нам казалось, что Григорий Ефимович целится бесконечно долго и что лес тоже ждет, задержав дыхание.

Но вот наконец таежную тишину разваливало грохотом выстрела, и, судорожно цепляясь лапками за сучья, от ветки к ветке, все быстрее и отвеснее падала белка. Ночка ловила ее, и виден был только прыгающий пушистый хвостик белки. Поначалу мне думалось — выплюнет собака изо рта раздавленную, никуда не пригодную белку. Но когда раз и другой Ночка положила к ногам Григория Ефимовича, перезаряжавшего ружье, даже слюной не вымоченную белку, а сама, облизнувшись, озабоченно убегала в ельники, зорко отыскивала след и обнюхивала коряги, я понял: Ночка эта из тех собак, о которых можно слышать или читать в книжках, а видеть такую животину редкому человеку доводится.

Меня Ночка избегала, увертывалась от ласки и не обращала никакого внимания на мои городские восторги. Она работала и чем-то все время напоминала многосемейную хозяйку дома, которая сама хоть костьми гремит, зато дети у нее краснощекие, муж ублажен и в доме порядок и достаток.

Была она пепельной масти с темной припорошенностью на спине и белым фартучком на груди. За масть, видимо, и имя получила собака. Глаза у нее встревоженно-быстрые, захлестнутые брусничной краснотою. Нос узенький, с мокрым черным пятачком. Рот ее строго, как у окуня, сжат и, как у окуня же, чуть западает в углах. Звериная беспощадность угадывалась в этом завале рта. Но в общем-то мордочка у нее с перышками бровей, с треугольными некрупными ушами довольно симпатичная. Хвост у нее богат, как у лисы. Ночка не понимает красоты своего хвоста, не форсит им, как форсят многие лайки, укладывая хвост кренделем с особым шиком. Сдается мне, окажись у Ночки хвост поменьше и незаметней — она бы и рада тому была. Впрочем, не в красоте ценность охотничьей собаки, а в работе.

А Ночка — работница! Она берет белку с земли, с лесной гряды, на нюх и на слух. Куницу тоже берет поверху и понизу. Птицу за дичь не признает, давит в лунках рябков и косачей, если отыщет. Медвежьего следа пугается, за сохатым не идет, диких коз не облаивает, считает их, должно быть, своими, деревенскими.

В полдень мы кипятили чай на старой, сухим кипреем и борцом заросшей вырубке, и получился у нас часовой отдых. Небольшой огонек горел бойко и деловито. Тонкий еще снег растопился кружком, и стало видно желтую, осеннюю траву, не убитую морозами. Береза одиноко и широко стояла посреди вырубки, и тетерева на ней висели, вытянув шеи. Они глядели в нашу сторону. У меня побаливал крестец и ломило шею, оттого что пялился на дерева, высматривал белок. Я крутил головой из стороны в сторону.

— Дома попроси жену, чтоб дала по шее горячим утюгом — помогает! — усмехнулся Григорий Ефимович.

Когда полуденным солнцем обожгло заиндевелый лес и повсюду засверкало, один косач прошелся по сучку березы и побулькал было, но песни его никто не поддержал, и он тоже успокоился, обвис на гибкой ветке. Собака с подведенными боками лежала в стороне от огня, ловко накрыв хвостом почти всю себя, и на птиц не обращала никакого внимания.

— Ночка! Ночка! — окликнул я собаку.

Ночка сбросила с себя хвост, вскочила и отпрянула ближе к кустам. Косачи обеспокоенно шевельнулись на березе и еще длиннее вытянули шеи.

— Ночка! Ночка! Что ты, глупая?! Чего ты испугалась?

— Не глупая она! Ума в ней, может, больше, чем у другого человека, — заметил Григорий Ефимович, с сухим хрустом ломая прутики душицы на заварку. — Не зови. Не подойдет. Не мешай отдышаться. Запалилась собака.

— Почему не подойдет, Григорий Ефимович?

— Потому что потому — оканчивается на «у», — ответил школьным каламбуром охотник и сунул горсть душицы в котелок. Отмахнувшись от дыма, он сморщился и нехотя добавил: — История у ней. — Разрешая мое полное недоумение, еще добавил, но уже с досадливостью: Собачья история. — Видно, разговор о Ночке был ему неприятен, и он переметнулся на другое: — На косачей не заглядывайся. Это такая скотина — на виду, а возьми, попробуй! Малопульку бы. Да где она у нас с тобой, малопулька-то? — говорил Григорий Ефимович уже буднично, неторопливо, словно рассуждал сам с собою, и пил чай, с треском, вкусно руша сахар.

Он у костра сидел обжито и уютно даже как-то. Кружку он ставил на пенек, хлеб и сахар клал на платочек, развернутый на коленях, ничего у него ни в снег, ни в костер не падало. И одежда на нем была легкая, но теплая, в которой спина не преет и не стынет, — телогрейка, под нею меховая безрукавка, на ногах коты с плотно обмотанными и в перекрест повязанными онучами. Одежда вся была подлатана и уголями не прожжена.

Осилив две кружки чаю, охотник расстегнул телогрейку, сдвинул молодецки шапку, налил еще кружку с краями и отпыхивался, крякал при каждом глотке чая. На лице его — обветренном, морозом каленом — блаженство. Видно, как наслаждается человек кипяточком, сахаром и кратким отдыхом.

Я знаю Григория Ефимовича не так давно, однако особенности его характера, скорее всего некоторые из

них, заметить успел. Григорий Ефимович не тот зверопо-добный, мохом заросший охотник-промысловик, о котором сложилось вековечное наше представление. Человек он грамотный, острословый и вроде бы легкодоступный. Но иногда любит прикинуться этаким простачком-мужичком, а потом, когда ты веруешь в его простоватость, подсадит тебя едучей «умственностью».

Знакомство наше получилось на газетной почве. Григорий Ефимович прислал в нашу редакцию письмо с просьбой приехать в Становые засеки и укоротить «местного царька», как он выразился в письме.

Царьком оказался директор небольшого лесозавода, Иван Иванович Ширинкин. Он вместе с Григорием Ефимовичем когда-то учился в сельской школе. Смолоду работали они на лесовывозках, но потом пути их невозвратно разошлись.

Когда Ширинкин, почти двадцать лет спустя, возвратился в Засеки, поношенный и вежливый, — селяне, удивленные явлением человека, которого в живых уже не числили, — щадили человека. Пытаясь удивить всепрощением, слезливо, пьяно жалились засекинцы земляку на жизнь. Он сочувственно слушал селян, а после и сам поведал о тех краях, где бывать ему доводилось, и о тех должностях, какие занимал он на своем пути. Лесные люди дивились обширности земли, жизни Ивана Ивановича и значительности свершенных им дел. Даже на фронте он командовал дезокамерой. Не все засекинцы знали, что дезокамера — это не что иное, как вошебойка, думали — секретное оружие какое, вроде «катюши».

И когда достроена была лесопилка, уломали засекинцы Ивана Ивановича занять должность директора. Он уважил односельчан, хотя и намекал, что пора подходит ему хлопотать персональную пенсию, как личности особой, наделенной руководящими качествами. Вслед за главной сами собой посыпались на Ширинкина должности помельче: член родительского комитета в школе; член почти всех комиссий поселкового Совета; член народной дружины; член комитета ДОСААФ.

Как это нередко случается в наших деревнях, спотычка на руководящем пути Ивана Ивановича произошла от сущего пустяка — споткнулся он как раз на собрании, где его должны были ввести в этот самый комитет ДОСААФ.

Собрание шло быстро, дружно. «За?», «Воздержавшиеся?», «Против?», «Едино...».

— Есть против!

Гул по клубу прокатился. Сколько собраний проходило в Засеках — и всегда единогласно. Кто же это осмелился поперек мира? Оказался инженер с лесозавода. Он-то, как молодой специалист, и ведал этим самым ДОСААФ, о назначении которого многие засекинцы ничего и не знали. Молоденький такой инженеришка, соплей перешибить впору, и году нет как в Засеки приехал, а вот против уж!

— Такой личности, как наш директор, не только оборонное дело, но и обувь нельзя доверить чистить в порядочном населенном пункте! — горячо заявил инженер и с трибуны сошел.

Ивана Ивановича все равно выбрали куда надо, а инженера молоденького стали окладывать, как медведя. Об этом и написал в газету Григорий Ефимович, потому что инженер тот, Веня, квартировал у него.

Я выступил в газете со статьей: «В защиту молодого специалиста». Ответили: «Меры приняты, и объявлен выговор кому надо». А вскоре после этого на Веню-инженера балка сверху упала. Он отлежал с поломанной ключицей три месяца в больнице, возвратился в Засеку, но потом почему-то бросил все и уехал, а я до сих пор вот чувствую себя виноватым. Чтобы Григорий Ефимович не подумал, что я забыл обо всем и чтоб его или себя утешить, спросил:

— Веня пишет?

— Нет. Ничего мне мил не пишет и вестей не подает... — Григорий Ефимович выплеснул остатки чая и тут же, бросив песнопение, мрачно буркнул: — Помогли мы с тобой молодому специалисту.

— Помогли...

Я швыркал чай, глядя в затухающий огонь.

— Ну, а как он?

— Директор-то наш? В светлое будущее нас ведет. Такая его цель. — Григорий Ефимович сунул в мешок кружку, ждал с развязанным мешком, когда я допью чай и отдам ему свою посудину. — Фрукт этот ни мороз, ни жара не берет. А в нашем умеренном климате, да еще при нашей бесхарактерности, такому самое плодородное место.

Столько было горечи в голосе охотника, что я не решился дальше разговаривать на эту тему, и мы молча ушли от костерка, дымящего на вырубке средь выворотней и редких, тонкомерных елушек, оставленных на обсеменение и давно уже высохших.

В лесу, да еще на охоте, нет пустого времени, там всегда бываешь занят, весь в работе, хотя со стороны поглядеть, шатается человек без дела и надобности. И еще в лесу, да на охоте, чем меньше разговариваешь, тем лучше.

Другое дело — вечер! Избушка. Полутемь. Теплынь. Окно совсем уже было затянуто. Стекло в раме составное. В стыках стекольев вроде бы паучок затаился и плетет паутину. Потом мох-ягель вырос на стекле. Я подбросил в печку дров, и мох-ягель завял, а паук подобрал лапки и утянул в составыши паутину. И опять посинело окошко, но уже грустно посинело, будто дремой сгустило синь.

Григорий Ефимович покуривал крепкую сигаретку «Памир», точил ножик. Нежно, чуть слышно касался он бархатистого бруска, и лицо его от синевы — будто у мертвеца, а глаза сверкали злодейски при каждой затяжке.

— Леший ножик точит, неслухов резать хочет, — вспомнил я в детстве слышанную, устаревшую приговорку.

Григорий Ефимович шевельнул бровями:

— Неслухов сейчас лешим не застращаешь! Дружинником разве! — сказал он и быстро дотянул сигаретку. Мундштук пусто засипел. Охотник хлопнул ладонью по мундштуку так, что огненный катышек от сигаретки улетел к порогу. Потом засветил две свечки, надел на грудь брезент, излаженный вроде фартука, и закатал рукава.

— Снимал бы белок, — кивнул он мне на кожаную сумку, набитую зверушками. — А я б руководил...

Я сказал, что и рад бы, да не умею, попорчу шкурки, и только.

— Жа-а-аль, — поправляя на пяльце шкурку куницы, снятую еще в тайге, протянул охотник. — В жизни вот никем не руководил, кроме жены. Дай, думаю... Н-да-а... Вот оттого, верно, и завидую Ваньке-то? У самого таланту нет.

— Какому Ваньке?

— Да Ширинкину.

— А-а.

— Видишь, вот как оно! И ты уж привык Иван Иванычем его навеличивать. И все привыкли. И его приучили. А он, однако, давно смекнул, как можно пустопорожность всякую громкими словами прикрывать! Вот ты сам говорил, что совнархозы разорганизовать собираются. Оказались они, говорил, не нужны в нашем хозяйственном деле. А поди ты — сов-нар-хоз! — Григорий Ефимович поднял вверх ножик, сделанный из пилы, гибкий и бритвенно острый. Нож сверкнул впотьмах. — Коснись нас, простых людей, от одного названия опешишь.

Слова о простых людях, замечаю я, у Григория Ефимовича наилюбимейшие, хотя сам он не прост. Под топчаном у охотника лежат пачки старых журналов. Младшая дочь Григория Ефимовича работает в библиотеке и списанные журналы отдает отцу. Он вместе с охотничьим имуществом с осени завозит на лошади в тайгу литературу и читает журналы, как он сам говорит, от доски до доски. В журналах заметил я подчерки ногтем. И ноготь охотника весьма и весьма остер и точен, под него попадают оплошности авторов, особенно касающиеся тайги, но больше всего чертит охотник там, где автор вольно или невольно криводушничает.

Мне все больше и больше нравится хозяин этой потаенной избушки. Нравится, как он рассказывает, преображаясь лицом и голосом. А руки у него заняты делом, и все-то идет ладом и чередом.

— Вы про Ночку хотели рассказать. Что у нее за история? — напоминаю я.

— Говорю — история собачья! — отмахнулся охотник. — Может, не рассказывать? Испорчу настроение?

— Ничего.

Григорий Ефимович вдруг предупреждающе поднял руку с ножом.

Гудела печка. От стыни потрескивали бревна избушки, а больше ничего слышно не было. Я вопросительно уставился на Григория Ефимовича, хотел уже спросить, чего это он, но в это время до меня донесся легкий шорох под окном избушки и деликатный, почти мышиный писк.

— Заговорились! — по-женски хлопнул себя в бока Григорий Ефимович. — Сейчас, Ночка! Сейчас, кормилица моя!

Ночка еще раз пискнула и смолкла.

Григорий Ефимович вытер руки о тряпицу, размял в берестяном корытце сухари с водою, подмешал в них ложки две сгущенного молока. Хлебную затируху готовил он старательно, потом накинул телогрейку и предупредил меня: пока Ночка ест — не показывался чтобы.

Он долго кормил собаку и все разговаривал с нею, будто с малым дитем. А мне еще с детства ведомо — как строго, даже сурово промысловики относятся к своим верным помощникам и уверяют, что иначе нельзя, иначе, мол, собака разбалуется.

— Ешь, ешь, — слышал я, — не давись, ешь спокойно. Ах ты, хлопотунья! Ешь, ешь, не бойся! Никто тут тебя не обидит.

Он вернулся с пустым корытцем, потер застывшие руки и подбросил в печку дров. Вешая телогрейку на деревянный штырь, сказал:

— В чем душа держится у собаки? На болтушке тянет. Повредилось у нее горло...

Григорий Ефимович замолк, прислушался как-то почудному, ровно бы одним ухом, и удовлетворенно заключил:

— Ушла в убежище свое. Иной раз в лес убегает, хоть привязывай. То зайца приволокет, то рябка. У дверей положит. В благодарность... Э-эх, язык бы этой собаке! — Охотник еще послушал и уставился в окно, по которому ровно бы хлестнул кто-то двумя ветками, обмакнутыми в известку. В верхней половине окна. у

самого выпиленного бревна, сорочьим пером отливала мерзлая ленточка. Нижнее звенышко составного стекла уже совсем померкло, ровно не стекло было, а старая колотая кость, видная до каждой хрупкой прожилочки.

Охотник снова забрался за печку, пошаркал ножик о брусок и продолжал работу. Врезав белку в промежье, он умело заголял ее одним движением, как рубашонку с малого дитяти, снимал со зверушки пышнохвостую шкурку. Сырые шкурки он тут же надевал на шомпол за дырочки глаз, а тушки бросал в берестяной противень, к дровам.

— Ты Сухонина, соседа моего, знаешь? Нет. И слава богу. У него мы с Венькой отбили, можно сказать, собаку. Вот слушай, как дело было. В колонии срок отбывал Сухонин-то. Отбыл и осел в городе. В собачники наладился. Ловил собак и бил по десятке с головы, это еще при старых деньгах. Да еще жирные туши туберкулезникам загонял. Да-а. Я потом промышлял в тайге сезон с Сухониным-то. Набрался он тама ума! Обучился многим политикам. Он собак-то давил только зачуханных каких, а страшну́ю, с харей обезьяньей, либо бесхвостую, либо лопоухую — держал взаперти. День-два подержит, глядишь, явится дамочка либо артист, и выкуп дают, не считаясь со средствами. Нарвался-таки Сухонин. На што уж хлюст, а нарвался, сплошал! На Корнакова нарвался, на старика. У Корнакова кобель из вогульских лаек. Во всей округе известный. Что по медведю, что по сохатому. На привязи такую собаку держать нельзя, тухнет в ней чутье. Корнаковского-то кобеля и заловил Сухонин. Корнаков сыскал кобеля и вместо выкупа сынов кликнул. А сынов у него трое — горновыми работают. Они и поломали Сухонину ребра — по ребру на брата.

Сухонин — жох, он и в больнице зря время не терял, заарканил жену себе, нашу, засекинскую. Няней она при палатах состояла.

Деньжонок успел скопить Сухонин-то. Наваристая работа была. И жену подобрал, как у нас говорят, по скачку, которая выше его не прыгнет. Явились они в Засеку, дом отгрохали. К зиме Сухонин договор с заготпуш-

ниной заключил и ко мне в напарники подрядился. Тогда я ему и дал щенка от сучки своей, Косматки.

Григорий Ефимович приостановил работу, снял нагар со свечи сырыми, красными от сукровицы пальцами. В язычке огня легонько треснуло, зашипело, и до меня донесся запах паленой шерсти и парной крови. Тошнота занудила нутро, и я опустил голову.

Охотник пододвинул свечу ближе к себе, бормотнул что-то насчет зрения, которое якобы слабнет, и вообще, мол, скоро его, такого липового охотника, из лесу гнать и на мыло переделывать надо. После такого высказывания о себе он снова принялся за работу и повел разговор дальше.

— Промысел таежный не поглянулся Сухонину. Дело ведь это не такое уж фартовое, как о нем молва идет. Озолотеть тут не озолотеешь, а вот ревматизм, грыжу либо еще чего в таком роде добудешь. Да что тебе рассказывать? Сам испытал. Вон шея не крутится, и глаза ввалились. Это за один день. И день-то почти выходной. Куницу одну квелую гоняли. А то ведь пойдет как молонья, да грядой, все грядой... Дух вон — умотаешься. К стану вернуться сил нету. В лесу у няги ночуешь, а что она, няга-то? Один бок греет, другой стынет. Так всю ночь и скоблишься. А ночь-то — двенадцать часиков! Месяцами без бани, без хлеба, без бабы, а заработок стал — хуже некуда. Леса порушены, дичина повыводилась, расценки ж прежние. Если на промысловый месяц по кругу сто рублей сойдется — считай, пофартило. А эти сто рублей и на лесопилке можно заработать. Так ведь это дома, в тепле!

О тепле Григорий Ефимович сказал с особой значимостью и упором особым. Я представил себе одинокую ночевку в зимней тайге в такую морозную ночь — и оценил эту вот дыроватую, прокопченную избушку, в которой и ходить-то надо согнувшись и печку жарить беспрестанно.

Я ровно бы впервые оглядел таежное прибежище. И не знаю уж почему, но в его первобытности, в этих шершавых бревнах с почерневшим в пазах мхом, в дымящей всеми щелями печке, в полуслепом окошке, в притоптанной земле, неровной от узлов и корней, простеживших

пол в избушке вдоль и поперек, в нарах, сооруженных из жердей, в деревянных штырях, заменяющих гвозди и вешалки, во всей этой бесхитростной избушке, пахнущей дымом и смолою, где каждая вещь была необходима, — мне открылся свой смысл, своя жизнь, не забарахленная мелочами, праздными словами и зачастую никому не нужной суетой.

Мною овладело чувство зависти. Очень странной, самого меня удивившей зависти к тем, кто жил вдали от великих тревог нашего века, от дум, постоянно угнетающих людей, прежде времени их старящих, от душевной смуты, от изнурения повседневного, еще в утробе передающегося будущим людям, нашим детям.

Я уже было дальше повел размышления в таком же роде, но голос охотника вывел меня из забывчивости, и я заставил себя слушать его обстоятельный рассказ, рассказ человека, которому некуда и незачем спешить.

— Дотянул Сухонин кое-как сезон до конца, поступил работать пилоправом на лесопилку. Ружье, однако, не продал. По воскресеньям уходил с Ночкой в лес, крушил там правого и виноватого. Побитую дичину и шкурки сдавал в заготпушнину и приработок охотничий либо вкладывал в хозяйство, либо пропивал без остатка.

Раз ходил Сухонин в заготпушнинский магазин, а он на шахте, верстах в десяти от нас. Напился там и уснул при дороге. Мороз был градусов за двадцать, и хватило бы Сухонина на час с небольшим. Да Ночка спать ему не давала, таскала за полушубок, бросалась на него. Отбился он от нее все-таки, уснул. Ночка загребла его снегом, заползла на хозяина, облапила, ровно мать ребенка, да как завоет. В шахтерском поселке услыхали. Доложили куда надо. Участковый милиционер откопал Сухонина. В больницу доставил. Свалил его там, как пень корчеванный. Три пальца на левой да два на правой руке отболели у Сухонина. Милиционер Петрухин, врач и сестра говорили Сухонину после выписки из больницы, легко, дескать, отделался. Собачке спасибо скажи. Сухонин килограмм медовых пряников скормил Ночке и стал спускать ее с привязи. Воле она радовалась шибко. Охотница ж! К простору привыкла. И пользовалась она волею

с толком. Принесла восемь щенков. Фенька-дура потопила всех щенят в противопожарном пруду возле водокачки, а Сухонин избил Феньку, когда узнал, что за щенков деньги могли дать. Фенька со зла вовсе перестала спускать с цепи Ночку. Я долбил соседям: испортится собака. А они страсть куражливые оба: наша собака, хозяин — барин. Охотники торговали у Сухониных Ночку — не продают. «Не хотим корыститься от собаки. Мы и без того в достатке проживаем». Я как-то магарыч выставил. А он, Сухонин, и надо мною давай куражиться: «Знаешь, какая это собака?!» — говорит. «Знаю», — говорю. «Она мне жисть спасла! Друг она мне! Лучше бабы моей, может, друг! Сколько ты можешь за нее дать? Сотню? Две? А за нее и три сотни мало!» — «Сотен, говорю, у меня нету. А цену настоящую положу — пятьдесят рублей». — «Пятьдесят?! Э-эй, Ефимович, ума у тебя, извини меня за выражение, плешь помазать не хватит. Друг она мне, понимаешь?! Друг! А ты — пятьдесят!» Короче говоря, выдворил я его из избы. А он вскорости и повесил друга-то...

— Как повесил? — Я аж со скамейки приподнялся.

— Натурально. На веревке. — Григорий Ефимович смешно, как курица, вытянул шею. Я вставил сигарету в мундштук и сунул его в зубы охотника. Не дотрагиваясь руками до мундштука, он прикурил от свечи и продолжал:

— Вот тут-то опять и вступает в роль Венька. Ишь какое колесо я обогнул и к нему опять возвернулся. Выболело об нем сердце. Он ведь, толкую тебе, возвернулся из больницы, и думаешь что? Примолк? Пуще прежнего войну против Ваньки повел. На собраниях его, бывало, честит, на производстве срамит, этим — как его? — профаном обзывает. Работяги скалятся. Веселье на лесопилке. Комиссии ездят, уговаривают, оборудование новое на лесопилку дали. Кино стали чаще показывать. В доме заезжих кипяченая вода появилась, кружку с цепи сняли, и никто не ворует кружку-то. Ванька примолк. Сдвиги, одним словом. Венька мой руки потирает. Я ему толкую, Веньке-то, чтобы он уши навостре держал, мол, против ветра мочишься, гляди, парень, прилетит. А он хотя и ерш, а доверчивый. Пойдет это рассуждать, пойдет рассуждать, ну чисто по-писаному, а сам костистый после

больницы, шея тонкая, брюхо подвело, очки во все лицо... Э-эх! — Охотник быстро-быстро зачмокал губами, высосал дым из сигареты. — «Конец, говорит, подходит свистунам и очковтирателям, ветер дует в нашу сторону, старик». Ну, и дунул, мать бы его растак!

Григорий Ефимович хукнул в мундштук, выдул остаток сигареты, растер его ногой по полу, плюнул с сердцем.

— Тут и я, старый олух, уши развесил, на сдвиги задивился. Не уберег парня от змеев подколодных... Гулянка была у соседа моего, нешумная такая и нелюдная гулянка. День воскресный. Я чего-то во дворе делал, не помню. Смотрю, Фенька шасть мимо меня в нашу избу. Долго ли, коротко ли погостила — выходит с Венькой. Он галстук привязал, в штиблетах, дурачится. «Видишь, старик, Иван Иванович лично зовет меня выпить с ним мировую. Наша берет!» — «Берет, говорю, и рыло в крови. Дело, говорю, твое, но не пивать бы тебе пива-браги в такой дружной компании». Тут Фенька как застрочит пулеметом: и не по-соседски это, и не по-людски. Сами Иван Иваныч покоряются, а ты влияешь, ладу перечишь, сам вечно поперек миру, и молодого человека туда же... «Ладно, ступайте». Ушли они, а я места себе не нахожу, дело всякое из рук валится. И сердце так болит, так болит. Оно болит, а не скажет ведь. Долго ли, коротко ли, хлоп! — ворота настежь — Фенька бежит, причитает: «Такую собаку! Господи! Такого человека! Господи!» Я был да не был во дворе. Запрыгиваю к соседу во двор, а там картина: Ванька за щеку держится, кровина из него валит, по двору Венька с кайлой за Сухониным гоняется, а на балке в петле собака дергается. Нож всегда при мне. Перехватил веревку одним махом, и к Веньке. Как я и поспел только?! Он уже Сухонина в стайку загнал и тюкает, тюкает, в темноте угодить не может, очкастик. Выдернул я у него кайлу, а он и меня за грудь: «Старый мир! — кричит. — До основания!» — кричит. И матом нас, матом. В Засеке выучился, до этого «наплевать» от него не слыхал. Ну, я тут схитрил маленько. Трясу его тоже и ору: «Жива собака, жива! Что ты, как белены объелся?!» Он оттолкнул меня и из стайки вон. Я за ним. Гляжу, и на самом деле собачонка эта живучая под крыль-

но ползет, хрипит, зевает, лапами землю царапает и ползет. Сгреб ее Венька в беремя и зарыдал. Дома я их обоих молоком отпаивал. И с тем, и с другим еле отводился.

Григорий Ефимович еще раз потянулся ко мне, и я быстро, уж без мундштука, всунул сигарету ему в зубы и заметил, что руки охотника мелко-мелко дрожат.

— Погоди, парень, — устало молвил Григорий Ефимович и посидел с минуту молча, уронив руки на колени, а потом вздохнул и, ровно бы решив, куда, дескать, тебя денешь, продолжал, но уж разжалобившись от всего, что он мне сообщил, и даже, почудилось мне, задрожал голосом. — Три года ко мне на брюхе собака ползала. Подползет и обмочится. До сей поры хвост промеж ног таскает и голос при людях не подает. В отдалении если, еще взлает, а вблизи — ни-ни-и. Хлебца либо косточку скушать не может по сию пору, и глаза досе кровью у нее захлестнуты...

Все двенадцать шкурок были сняты и вздеты на шомпол. Григорий Ефимович встряхнул шомпол, и серая мягкая волна колыхнулась по избушке, поколебав огоньки свечей. Он повесил шомпол со шкурками на два деревянных штыря, вбитых в стену, и рукой дотронулся до куньей шкурки. И как будто уже не мне, и не жалостным, а обыкновенным голосом добавил:

— Потеряла она доверие к человеку. Память же ее, собачья, прочнее нашей. У нас гибче все, оттого мы и забываемся быстро, а она, видишь, не чета нам.

— Да что у них там получилось-то?

— Что получилось? Подлость. Зверство. Чего там еще могло получиться?

Я терпеливо ждал.

— Ванька Ширинкин моего соседа заспинником держал при себе. Самому-то несподручно балками бросаться. Руководитель!.. Ну вот, заманили они Веньку-рукосуя, много ли, мало ли выпили и во двор гулять вышли. А там Ночка случись. «Эта собачка и спасла вам жизнь?», — спросил Венька. «Она, она милая», — за Сухонина ответил Ширинкин и от чувства полез к Ночке целоваться. А спиртной дух, скажу я тебе, лайке, что шило в ноздрю. Она и цапнула Ваньку. А Сухопин — в петлю ее! Это

при дурачке-инженеришке-то! Начитавшемся всяких художественных произведений!.. Вот тебе и вся собачья история, — разом оборвал рассказ охотник и сердито завозился за печкой, вытер нож, засунул его в деревянные ножны, добавил патронов в патронташ вместо сожженных днем на охоте, харчей в мешок, посображал еще — чего не забыл ли на завтра сделать, и вышел на улицу.

В ключике охотник вымыл руки, попутно принес бремя дров, устроился на топчане, нащупал в головах журнал и зашелестел страницами. Читал он недолго. Усталость сморила его. Отложил журнал, снова одним ухом прислушался и спросил:

— Чего притих-то?

— Думаю.

— Видишь вот, не хотел я тебе рассказывать, а ты прилип.

— Не приходил он к вам?

— За собакой-то? Как не приходил? Приходил. Судом на Веньку грозился за покушение на жизнь. Отдал я ему полусотенную и тоже припугнул: суд, мол, на суд, статья, мол, есть за насильство над животными. Он только статей и боится, а больше ничего. А я и не знаю — есть она или нет, такая статья-то?

— Говорят, есть, да применяют ее редко.

— Н-да-а-а, настроение я тебе все же испортил. А ты небось нервы успокаивать ехал?

— Успокою еще.

— Горе учит доброте. Жива собака. При деле. Венька тоже не пропадет. Конечно, сильно его у нас заломали. Но молодой еще, срастется. С рубцами крепче будет. — Охотник нарочито длинно, со стоном зевнул. — Если спаться не будет, дров не жалей — не покупные, а вот свечку, коли не надо, задуй.

Я прихватил огонек свечи, он бабочкой шевельнулся в пальцах и затих. Ладанным запахом забило на время угарный дух, которым была пропитана избушка.

Григорий Ефимович еще немножко покряхтел, поворочался и густо, размеренно зашумел носом.

Я подшевеливал печку, тянул чай.

В глухой утробе растревоженной печки кудряво загибались, пузырились смолою березовые поленья. Капли черной бисерью вспухали на бересте, тяжело скатывались и взрывались на беловатых от жары углях. Под берестой зеленоватая заболонь исходила сыростью и сдерживала разбушевавшийся огонь. Сырые поленья однотонно шипели, и под шипение это ползли думы.

Виделся отец с кожаными верхонками-рукавицами за поясом. В руках у него остроязыкий топор с желтым, как древняя кость, топорищем. Отец рубит мелкий березник, чапыжником у нас его называют и для устойчивого, основательного тепла подкладывают в русскую печь вместе с сушняком.

Дядья видятся. Все они черны от сажи, угорелые и потные. Они делают из бересты поплавки для сетей, или, как у нас, в Сибири, говорят, — наплавки. Наплавки эти в ряд, с чувством дистанции садят на верхнюю тетиву сети, а на нижней — гладкие, из конских и коровьих костей пиленные грузила — кибасья. Дядья готовятся плыть на Север — рыбачить. За фартовыми деньгами едут. Жены приученно собирают их в дальнюю дорогу, не решаясь вслух высказать своих сомнений насчет такого уклада жизни.

Бродяги они были, мои дядья, все искали по свету удачу. Явившись домой, гуляли широко, разудало, драли друг на дружке рубахи, распугивали жен и ребятишек, а сейчас вот вспоминаются людьми незлобивыми, насмешливыми. Должно быть, та же вековечная мягкость души, что и у засекинцев, живет во мне, а может, зимняя ночь, медленный огонь в печке и ощущение синих сумерек, как бы пропитавших меня, виноваты в том, что обо всех хочется думать хорошо и ждать от жизни только добра.

Я прислушиваюсь к шумному дыханию спящего охотника, прислушиваюсь к ночи. Не заскулит ли от холода Ночка под порогом.

Все тихо. Ночка не скулит, не просится в тепло.

Почему меня мучает чувство вины? Не перед людьми, нет. Люди сами творят все худое и хорошее, поэтому их легче виноватить и оправдывать легче. Мучает меня совесть за Ночку — собаку, за тех убитых и брошенных

по фронту раненых лошадей, которых я никогда не смогу забыть. И еще не смогу забыть мослатых коров и бычков, прошедших путь из Казахстана до уральской бойни без корма и догляда; и ту лосиху, которая, спасаясь с затопленного острова, плыла по уральской реке, а ее с улюлюканьем и удалым воем били баграми сплавщики; зайчишек, которых травят злодеи, натаскивая туполобых гончаков еще в сенокосную пору; согнанных с болот и перебитых журавлей; опустевших гнездовищ птиц, оттесненных в холодные леса Севера, не подходящие для песен и жительства; и все тех же горемычных собак, истребляемых петлей и зарядами средь бела дня во многих наших заштатных и даже больших городах, где пространно, часто с зажмуренными глазами учим мы друг друга гуманности.

Горе учит доброте!

Но отчего же тогда мы, так много горевавшие, чем дальше живем, тем больше бед приносим тем, кто одевает нас, кормит? Почему? Почему из-за необузданности людской страдают преданные хозяину животные, по разумению которых он, хозяин, так мудр, что освободил их от забот о себе. Они даже и не подозревают, что если хозяева передерутся меж собой, то прежде всего сгорят от адского огня они, бессловесные, доверчивые. Погибнут, не ведая своей вины, как в прошлую войну погибали под бомбежками и в блокадах дети...

От крепкого чая или от дум мне спать совсем расхотелось, и когда котелок опустел, я снова отправился к ключику за водой по узенькой тропинке, тенисто обозначенной в свежем снегу.

С ночью пришел на землю сухой мороз, устойчивый, покойный. От избушки к покосику уходило два ряда ровного березника, и аллея сверкала вся искрами и как бы текла прямо к месяцу серебряным потоком. Я спросил у Григория Ефимовича еще в первый день — почему березник растет в шеренгу и на ровном расстоянии друг от друга. «Когда-то весной, — ответил он, — по рыхлому снегу проходили два лося, и во вдарыши следов насорило семена. Они взяли и проросли: шаг — береза, шаг — береза».

Так все просто!

Месяц был ярок и бел. До того ярок и бел, что от него, словно в полнолуние, всюду лежали тени вперехлест. Лишь на березовой аллейке тени в ровном строю.

Мохнатый, заснеженный был лес. Все остановилось на земле и боялось ворохнуться, чтобы не спугнуть этот бескрайний сон тайги. Лишь изредка в глубине ее с мягким шорохом сползал снег да настойчиво стекал по обмерзшему лбу ручеек. От него исходил редкий парок и белой, игольчатой бахромой остывал на спутанных кустах бузины.

Тень от избушки вытянулась до самого покоса. Беличьим хвостом шевелилось отражение дыма. На покосе тоже лежали тени дерев, сросшихся у комлей. Вершинами они кинжально втыкались со всех сторон в стог сена, сметанный посреди лесной кулижки. Жердь торчала в стоге вроде антенны и тоже давала тень, отчетливую, тонкую, и звезды в небе отчетливы были, и месяц отчетлив до того, что в пазухе его проступало ледяное донышко всей луны. Небо возле месяца и звезд покрылось оловянной пленкой, темной в отдалении и мертвенно-белой вблизи.

Тишину потревожило высоким гулом. Самолет прошел. Звук от него был так неуместен в этом ночном безмолвии, что тайга торопливо приглушила его собою, захоронила в гуще своей без эха и отголоска. Снова мерцающее звездами небо, скопище теней на снегу и безбрежная, все утишающая тайга, объятая белым сном.

С угрюмой отчужденностью глядел на меня лес, а бесконечные просверки искр, мгновенное и беззвучное их умирание похоже было на волшебное действо, свершавшееся под покровом ночи, тайно от людского глаза.

Струйка совсем истончилась, и вода текла беззвучно, будто ключик не хотел обеспокоить собою ночную тишь. Тупая сахарная голова поднималась от земли, и струйка разбивалась об нее, разлетаясь в разные стороны с едва уловимым потрескиванием. Мерзло потрескивало и в лубе, а под ногами моими крошились звонкие льдинки.

— Ночка! Ночка! — шепотом позвал я, перебирая руками дужку котелка. Под пихтой шевельнулась и тут же сторожко замерла собака. С пихты сыпанулась щепотка-другая перекаленного снега, и он по-мышиному прошелестел в сухопаром малиннике... — Ночка! Ночка! Иди ко мне, иди, не бойся!

Зашуршало снова под пихтой, и с лапок ее облачком сбился снег — Ночка помахала хвостом.

Котелок полон. Я приподнял тяжелую пихтовую лапу, и собака с подведенными боками пружинисто отскочила в сторону. Морда ее узенькая, хвост, которым она пошевеливала, густо покрылись изморозью. Собака переступила с лапы на лапу, облизнулась и тонко проскулила.

— Пойдем, пойдем, — доверительно манил я Ночку в избушку. Но она не приблизилась ко мне, а стояла, смотрела и ждала, когда я уйду, чтобы забраться под пихту, укрыться хвостом и снова греть себя дыханием своим. — Ну, пойдем же. Будь ты человеком!

Ночка не двинулась за мной. Как только я отошел к избушке, она сложила хвост кренделько на боку, сунула нос в свежий беличий след, но тут же обернулась в сторону избушки, хвост ее разжался, она вдавила его меж ног и залезла под пихту.

Я постоял подле двери избушки. Глядел на небо, на лес.

Кусочек вечерней синевы, почти уже растворенной предчувствием утра, еще чуть держался в угольчатой выемке на горизонте. А земля все цепенела от стужи, небо до звонкости вылудилось уже во всю ширь, звезды мерзло светились. Синенький клок — слабое напоминание вчерашних сумерек, вчерашнего дня — вот-вот остудит, затянет бело-серебристой пленкой, и тогда уж все в этом мире возьмется искрами. Мигать они будут, пересыпаться из конца в конец по обширной и тихой земле, да ключик будет чуть слышно шевелиться в лубе. Время от времени собака Ночка сбросит с себя хвост, прислушается, ухом распознает ночные шорохи и, ничего не заподозрив худого, станет спать по-собачьи чутко до утра.

С рассветом она начнет работать, выполнять свое извечное собачье дело, помогать человеку добывать пищу и одежду.

Тут все как надо: небо с молодым месяцем, сколки звезд, леса, объятые зимним сном, охотник, отдыхающий в избушке по-хозяйски основательно, собака, сторожащая его, и покой этой тайги.

Только я здесь ни к чему. Вот так-то!

В тайге сделалось градусов под тридцать. Еще раз или два звал я Ночку в избушку, но она не шла. В какую-то минуту вдруг разом уснул я и сколько проспал — не знаю.

Проснулся тоже разом, как от тычка. В избушке подвально тихо и холодно. Угол над изголовьем Григория Ефимовича расчертило белым, и я не вдруг догадался, что стены так быстро промерзли в пазах. Щели в двери и у косяков тоже успели обрасти куржаком.

Я раскопал в золе неостывшие угли, быстро расшевелил печку. Расслабленный теплом, охотник разжался весь, раскинулся, доглядывая последний сон. Спал он не по возрасту долго и крепко. Изнурительная работа и таежный воздух, должно быть, способствовали тому.

Утром я покинул тайгу, хотя собирался побыть у Григория Ефимовича неделю, а может, и больше. Григорий Ефимович удерживал меня не очень настойчиво. Делал он это, чувствовал я, только по доброте души своей.

БОРИС ЗУБАВИН

ПОЧТАЛЬОН И КОРОЛЬ

1

Обычно с конца августа, когда в Москву укатят грузовики и фургоны с багажом пионерских лагерей, дачников и детских садов, обычно с этого времени по самое начало другого лета, по суетливо-радостный разгул школьных каникул, в поселке остается чуть ли не вдвое меньше народу и пустуют целые кварталы дач. Они принадлежат не только частным владельцам, но и Дачтресту, который сдает их москвичам на два-три летних месяца.

Есть такие дачи и в квартале, который вот уже двадцать с лишним лет подряд каждый день обходит почтальон Мигунов Андрей Захарович. Его черная кирзовая сумка из-за этих пустующих домов долгое время в году бывает не так-то уж и полна. Однако когда наезжают дачники, сумка чуть не лопается от газет, журналов и прочих корреспонденций, бог весть с какими усилиями засунутых в нее.

Вообще с приездом дачников жизнь в поселке приободряется и, словно подхлестнутая допинком, становится безалаберно шумной, суетливой, праздно-веселой. Теперь уж всюду хозяйничают приезжие. Бойкие, требовательные, они направо-налево командуют и распоряжаются робеющими перед ними аборигенами.

Андрею Захаровичу все это не нравится.

2

В поселке живут такие же, как дачники, рабочие и служащие, и жизнь здесь начинается даже раньше, чем в Москве. Водители автобусов и троллейбусов, повара, фабричные девчонки, да мало ли еще кто, поднимаются и

бегут на станцию ни свет ни заря, к первым электричкам, чтобы вовремя попасть на работу.

Андрей Захарович, особенно в последнее время, все старается думать по-государственному, и когда идет с сумкой на плече — зимой или поздней осенью — по тропочкам мимо заколоченных казенных дач, то всегда с жалостью смотрит на них, убежденный, что они зря пусты, не обжиты, студены и печально одиноки без человека, печного тепла, света ламп в вечерних окошках и веселого дыма столбом из труб.

И не лучше ли отдать эти пустующие чуть не по десять месяцев в году казенные дачи под постоянное жилье? В поселке таких четыреста дач, некоторые из них на две-три квартиры. Как было бы хорошо, чтоб в стужу над всеми этими дачами стояли султаны дыма, в заиндевелых окнах по вечерам горели огни, а от калиток до крылец были протоптаны и расчищены лопатами в снегу дорожки и Андрей Захарович приносил бы людям всякие корреспонденции.

В Москве, как ее ни строят, не хватает жилой площади, и многие, как ему кажется, с восторгом, только сделай им такое предложение, не успеешь глазом моргнуть, переселятся в эти пустующие дачи. И сколько народа зажило бы тогда как следует. В одном поселке чуть не восемьсот, а может, даже больше семей.

Плотники, маляры и сантехники со стройдвора да и возчик дачной конторы Сашка Королев, по прозвищу Король, рассказывали Андрею Захаровичу, будто такие государственные дачные колонии есть вокруг всей Москвы, может, еще в двадцати — тридцати поселках. Стало быть, не восемьсот, а даже все десять тысяч семей можно расселить в тех квартирах. И сколько было бы сэкономлено государственных средств! Сотни тысяч рублей. Огромные, по мнению почтальона, деньги.

Но в Моссовете по этому поводу, как видно, думают иначе и освобождают для дачников даже те казенные дома, в которых постоянно живет обслуживающий персонал: плотники, дворники, жестянщики, десятники, кладовщики, и переселяют их в Люберцы, в новые многоэтажные здания. Одним это нравится, и они весело покидают поселок, но другие чуть не ревут. Вот грозятся вы-

селить Сашку Короля со всеми его детьми, белобрысого, расторопного, старательного голубоглазого мужика. Жить ему в люберецких домах будет труднее, поскольку ни поросенка, ни коровы, ни кур держать там негде. Да и яблок, картошки, огурцов, помидоров не соберешь. Король бегает, суетится и, растерянный, встрепанный, просит всех, кого надо, кого не надо, вступиться и оставить его в поселке.

Прибежал он наконец и к Андрею Захаровичу.

— Куда мне теперь? — беспокойно уставясь на почтальона ошалелыми и еще больше поголубевшими от горя глазами, спросил он. — Ну, ты скажи, Андрей Захарыч, куда все хозяйство девать? Я ведь здесь восемнадцать лет прожил, сад вырастил на голом месте, все своими руками. И теперь за здорово живешь отдать дачникам, которым, может, наплевать, что яблоня, что тополь. Им тополь еще лучше: не требует никакого уходу, а сучьями обрастает на полтора метра в сезон.

— Не знаю, друг, как тебе быть, — огорченный вместе с возчиком, признался Андрей Захарович. — Но, может, тебе там хорошо будет? Подумай: ни о чем не надо заботиться, ни о дровах, ни о воде, даже в баню не надо ходить. Напустил воды в ванну — мойся сколько влезет.

— Эх! — отчаянно сморщась и шлепнув ладонями себя по ляжкам, вскрикнул Король. — У меня же четверо ребят. Их кормить-обувать надо. Сейчас молоко свое, картошка, огурцы, всякий овощ — каждый год до весны навалом, а ты про ванну толкуешь. — И он огорченно и осуждающе поглядел на Андрея Захаровича. — А разве против нашей бани она устоит, эта самая ванна? — вдруг вкрадчиво спросил он после некоторого молчания. Склонив голову набок и состроив на лице хитрую мину, он уставился на Андрея Захаровича. Почтальон сразу же ощутил всю силу коварства Короля и тоже склонил голову набок, только к другому плечу, прищуря при этом другой, левый глаз.

И как только они все это проделали, пред их блаженными взорами сейчас же предстала, ухнув и обдав их щеки, носы и лбы горячим сухим паром, поселковая баня. Это всем баням баня. Даже с Сандуновскими свободно поспорит: каменная, чистая, жаркая, она стоит

под мачтовыми соснами на самом краю поселка, на берегу речки, а за речкой начинается грибной да брусничный лес. Выйди, распаренный, на улицу, и враз остолбенеешь, когда опахнет ветром твое раскрасневшееся лицо, а в том ветре бог знает что намешано: и хвоя, и смола, и талый снег, и горечь осины — и все это сдобрено теньканьем синички или гулким стуком дятла по сосновой коре.

— Мда-а, — в одно мгновение пережив все это, протянул Андрей Захарович и искренне пожалел, что Королю скоро уж никогда не придется испытать такого чуда — войти в горячую парную этой знатной бани, до одури нахлестаться веником, потом нырнуть под холодный душ, потом опять в парную, а после всего, выпив кружку пива, в блаженстве постоять под соснами, на берегу речки... И будет теперь Король, неловко скрючась, купаться в своей ванне.

— Вот то-то и оно! — победно проговорил возчик, правильно поняв восклицание почтальона. — А они мне и это, и то, и жилплощади всякой будет больше, а на хрена она мне, эта площадь! Я ведь корову на нее не поставлю. Верно я говорю?

— Что же ты от меня хочешь? — спросил Андрей Захарович.

— Бумагу пиши, заступайся.

— Не одного тебя переселяют.

Андрей Захарович стал перечислять, загибая пальцы, кого уже успели переселить в те благоустроенные дома и кому еще предстоит перебраться туда: трем плотникам, кладовщику, малярам. Не оставили в покое даже самого прораба, начальника стройдвора.

— А ты им писал? — спросил Король.

Андрей Захарович отрицательно мотнул головой:

— Они ко мне не обращались.

— А мне пиши. Я обращаюсь. Мы же с тобой фронтовики, у меня плечо раздроблено.

— Ну что же, — согласился Андрей Захарович, — давай напишем.

Они долго сидели за столом друг против друга и сочиняли «бумагу».

«Бумага» получилась длинная, очень строгая и в то же время жалостливая. Кто прочтет ее в Москве, тут же

расстроится и ни за что не станет переселять королевскую семью из поселка в новый дом.

Когда почтальон принялся начисто переписывать свое сочинение, возчик, уважительно глядя, как ловко он выводит на бумаге строчку за строчкой, держа самописку в левой руке, задумчиво рассуждал вслух:

— И зачем, кому нужно? Восемнадцать лет жили тихо-мирно, а теперь — здорово живешь — освобождай помещение. Почему такое?

Почтальон, не поднимая глаз, прислушиваясь, не однажды одобрительно крякал: Король высказывал как раз те самые мысли, которые и почтальону давно не давали покоя — все зудели и зудели в голове.

«Бумага» в тот же день ушла куда следует. Стали ждать ответа. А уж начиналась летняя дачная пора.

3

Раньше, каких-нибудь лет пять назад, почту в поселок доставляли на электричке, и Андрей Захарович каждое утро ходил вместе с заведующей на станцию встречать поезд с почтовым вагоном. Электричка, бывало, только успеет остановиться, а к ногам встречающих уже летят из вагона на платформу бумажные кули с письмами, бандеролями, журналами и газетами. Электричка мчалась дальше, Андрей Захарович собирал мешки. Зимой на салазках, летом на самодельной тележке с колесами из шарикоподшипников он отвозил их на почту. Там начиналась разборка-сортировка корреспонденции. Почтальоны каждый день расходились по своим улицам только после обеда.

Теперь стало много лучше. Почту привозят рано утром в автофургонах, и доставка газет и журналов на квартиры подписчиков производится почти в то же самое время, как в Москве. Вообще за последнее время в поселке очень многое изменилось в лучшую сторону: почтовое отделение переселили в новый дом, просторнее, светлее и теплее прежнего, увеличился штат почтальонов, некоторые из старослужащих выросли — переведены начальниками в другие отделения, на всех улицах заасфальти-

ровали тротуары, замостили щебенкой дороги, так что и весной и осенью, даже в самую слякоть ходить почтальонам стало легко и очень удобно.

Однако в жизни самого Мигунова изменений никаких не было, и все оставалось, как много лет назад: поступил работать рядовым почтальоном и остался им; поселился в рубленом двухкомнатном домике, принадлежащем поселковому Совету, и до сих пор живет в нем; пошел двадцать три года назад со своей толстой кирзовой сумкой по Садовой и Коминтерновской улицам, так и сейчас ходит по ним. Разве вот дочери совсем как-то незаметно выросли за это время, и только младшая еще учится в школе, а обе старшие давно приобрели специальность. И все было бы ладно, хорошо, но пятерым Мигуновым давно уже стали тесны две маленькие комнатки. Особенно зимой, когда по вечерам все собираются дома. Летом младшая дочь уходит спать на застекленную веранду, а сам Андрей Захарович перебирается в сарай. Там ему спится особенно сладко и покойно, он часто видит во сне боевые эпизоды, и все это потому, как убежден Андрей Захарович, что за стенкой, в соседнем сарае, стоит мерин дачной конторы, иногда стучит подковами по настилу, вздыхает, мерно хрустит кормом. Из конюшни сквозь щели пахнет свежей травой, навозом, лошадью, и для почтальона ничего отраднее не придумаешь, поскольку он был кавалеристом, отчаянным рубакой, лошадником, чуть не всю войну проскакал в составе кавбригады, пока ему не оторвало осколком правую руку.

Выписавшись из госпиталя, он приехал в поселок и определился почтальоном, так как делать ничего другого не мог, даже расписываться в зарплатной ведомости. А до войны был краснодеревщиком, работал на деревообделочном комбинате, ладил дорогую мебель из бука и других благородных дерев.

И вот, чуть не четверть века спустя, Мигуновы вдруг почувствовали, что им тесно в домике, и, прикинув так и этак, решили расширять его за счет веранды. Если обшить веранду тесом и утеплить шлаком с опилками, дом увеличится на целую комнату и станет для семьи в самый раз. Новую веранду можно будет пристроить сбоку, даже не подводя под общую крышу.

Купили тесу, скоб, лафетин, за шлак знакомые шоферы недорого взяли, а опилки и вовсе достались на стройдворе даром, и привез их Король на том самом мерине, который вздыхает и возится ночами в своем деннике по соседству со старым кавалеристом. С плотниками тоже срядились недорого: мужики были знакомые, со стройдвора.

Теперь, как пишут в газетных статьях, создав необходимую материальную базу, обеспечив строительство рабочей силой, Андрей Захарович с легкой душой обратился в поселковый Совет за разрешением.

В поселковом Совете никто и не заикнулся, надо или не надо Мигуновым утеплять веранду, но потребовалась виза районного архитектора. Там не сказали ни да, ни нет и переслали заявление Андрея Захаровича на решение в райисполком, куда он и был вызван три недели спустя к девяти часам утра.

4

Он приехал в районный городок загодя, чтобы попасть на прием, как ему назначили, ровно в девять часов, тут же вернуться в поселок и разнести почту.

Но в длинном коридоре, возле кабинета, в котором должен был принимать посетителей заместитель председателя исполкома, сидело на деревянных вокзальных скамейках уже порядочное число всяких людей. Все они, к еще большему изумлению Андрея Захаровича, тоже были вызваны к девяти часам утра.

— Я третий раз отгул за свой счет беру — почему-то с радостью объяснял в толпе возле двери веселый рыжий малый. — А всего-то сарай дровяной построить. Копеечное дело, а гляди ты! Каждый раз являюсь, как на призывной пункт, к девяти ноль-ноль и даже раньше. Видал, как пишут: явка обязательна. — Он потряс повесткой перед носами слушателей. — Являюсь. В первый день часа полтора все было честь по чести, а потом закрылись на совещание, и заколодило. Во второй день всю очередь не успели пропустить, рабочее время кончилось. Вот теперь, интересно, чего со мной случится.

Андрей Захарович прислушался к разговору. У всех оказались такие же, как у рыжего малого, копеечные дела: кому забор отодвинуть, кому сарай сколотить, кому поделить с соседом земельный участок.

Но вот по коридору засновали взад-вперед озабоченные служащие исполкома. Начался рабочий день. Однако прошло еще не меньше часа, пока не распахнулась обитая черной клеенкой дверь и не кликнули первого посетителя. Им оказался рыжий малый. Пробыл он за той клеенчатой дверью всего несколько минут и вылетел в коридор с сияющей физиономией.

В очереди, узнав, что рыжему малому «разрешили безо всякого», с облегчением вздохнули, заулыбались и оживленно, громко заговорили кто о чем.

Но ненадолго. Скоро за клеенчатой дверью начало твориться что-то неладное. Вот уже третий посетитель подряд выбирался из-за нее в растроенных чувствах и с опечаленным лицом. В очереди возникло беспокойство. А дальше пошло словно назло почтальону.

Сперва в кабинет, как будто к себе домой, прошла очень серьезная, властно потеснившая толпившихся возле двери посетителей женщина. За ней по пятам проследовали два многозначительно нахмуренных молодца. Андрею Захаровичу сказали, что это директорша текстильного комбината. Один из сопровождавших ее молодцов оказался юрисконсультом, второй — не то начальником жэка, не то прорабом.

Тут же было объявлено, что прием посетителей временно прекращается, а вместо этого будет совещание.

После совещания за клеенчатой дверью успел побывать лишь один посетитель. Начался обеденный перерыв. Андрей Захарович, томясь от безделья, передумал за это время очень о многом. И о том, что сегодня ему, наверное, не удастся разнести корреспонденцию, что, знай он, какие порядки в исполкоме, сперва справил бы всю свою работу, а потом не спеша подался бы в район. И почему это так делается, что всех вызывают на одно и то же время, заставляют ждать часами или даже приходить по нескольку раз, как того рыжего малого? О многом еще думал он: сразу ли начинать перестройку веранды или повременить до сентября, когда плотники будут посвобод-

нее и артельно за неделю все перевернут вверх ногами?

Но вот наконец прием посетителей возобновился.

Когда вызвали Андрея Захаровича, шел уже третий час.

В кабинете сидело много людей, и все, как показалось оробевшему почтальону, с любопытством уставились на него, будто он сейчас выкинет какой-нибудь смешной фортель. К примеру, вытащит из кармана штанов конверт величиной с письменный стол.

Хозяином кабинета был еще довольно молодой человек, хотя чуть уже и полысевший. В исполкоме он работал первый год, очень гордился своей должностью, старался быть строгим, справедливым, беспристрастным и, прежде чем решить какой-нибудь вопрос, прислушивался к мнению аппарата. Иные товарищи из этого аппарата сидели на своих стульях по два десятка лет и, как говорят, успели собаку съесть. Больше всего молодой районный руководитель боялся подвоха со стороны просителей или, как называли их в аппарате, избирателей. Ему все мерещилось, будто они идут со своими просьбами именно к нему оттого, что знают, как он еще неопытен в своем деле и его, стало быть, можно без труда обвести вокруг пальца.

Андрей Захарович робко присел на краешек стула возле двери и стал ждать вопросов. Он полагал, что ему сейчас устроят что-нибудь вроде экзаменов, при каких обстоятельствах он лишился руки и даже, быть может, посоветуют вместо утепления веранды сделать к дому капитальную пристройку.

Но заместитель председателя исполкома, вертя в руке карандаш, вдруг строго спросил:

— Кто докладывает по заявлению товарища Мигунова?

Андрей Захарович, не ожидавший такого вопроса, еще пуще разволновался и уж никак не мог понять, что говорят по поводу его заявления. А говорили, что архитектурный надзор утепление веранды считает нецелесообразным, так как это-де портит фасад дома и прилегающих к нему иных строений...

— Вам ясно? — спросил зампред.

— Не совсем, — смущенно проговорил Андрей Захарович. — Нам тесно в двух комнатах, вот в чем дело.

Но заключение работников аппарата казалось зампреду очень убедительным, а робкое поведение избирателя вселило в него недоверие к почтальону, и он строже прежнего сказал:

— А у нас, между прочим, есть случаи, когда подобные пристройки и перестройки делаются в корыстных целях обогащения, для того, чтобы сдавать эту лишнюю дополнительную жилплощадь в наем.

— Да как же можно! — вдруг в гневе вскричал Андрей Захарович, поняв наконец, что ему отказывают и к тому же еще обвиняют в жульничестве.

— Вот так. Все. — Зампред положил на стол карандаш. — Исполком решил отказать.

Андрей Захарович поднялся и, ничего не сказав, понурясь, вышел.

5

Корреспонденцию пришлось разносить вечером, когда многие адресаты уже вернулись с работы.

Он шел от дома к дому, от калитки к калитке и все пытался успокоиться и толком объяснить себе, что же все-таки произошло с ним в исполкоме. И уже не сам отказ беспокоил, злил и обескураживал его. Какое он имел право, этот лысый сопляк, не поверить ему, той его единственной правде, которую Мигунов выразил в своем немудрящем заявлении? Какое он имел право заподозрить его во лжи, в корысти?

Он пробовал успокоить себя всякими степенными рассуждениями. «Погоди, — говорил он себе. — А что ты за персона, кто ты таков, чтобы верить тебе на слово? Почему столько народу и этот строгий начальник обязаны верить каждому, кто бы к ним ни пришел? Что же ты хочешь?» Но, спрашивая так, он с еще большим гневом отвергал эти успокоительные рассуждения, восклицая: «Обязаны верить! Человеку надо верить. Иначе, без веры в честное человеческое слово, не может быть никакой жизни. Правда и честность и вера в них — вот всему основа основ!» И когда он начинал так возражать самому

себе, то главным во всем этом происшествии с ним опять же было не то, что отказали ему в строительстве, а то, что ему не поверили и его честность, его правду взяли под сомнение. Это вызывало в нем такое страшное чувство обиды, что он от беспомощности лишь постанывал.

Если бы ему *просто* отказали: нельзя, никаких разговоров быть не может — он бы совсем иначе вел себя, и ему не так было бы обидно. Но ему не поверили! Вот в чем дело! Не поверили там, где обязаны верить.

На Коминтерновской улице каждое лето жила сама председательша Марья Васильевна Локтева с матерью и двумя дочерьми. Зимняя квартира у них была в Москве, в многоэтажном доме.

Чуть не каждый день старуха Локтева, завидя Андрея Захаровича, кричала с террасы:

— Иди-ка зайди, отдохни, посиди!

Это была бойкая старуха, невеликая ростом, но веселая и легкая на ногу. Почтальон не отказывался от приглашения, заходил, и, когда он закуривал, старуха говорила:

— Вот как хорошо. Сразу мужиком в доме запахло. А то живут три дуры, и хоть бы одна по-человечески замужем была. Все бы по-другому: мужик в доме. Он и крякнет, и стопку хватит, и слово какое скажет, от которого сердце может зайтись, а у нас одними духами пахнет. Подыми-ка посильней.

Сейчас он мог бы зайти к Локтевым и попросить председательшу пересмотреть решение исполкома.

Но он не сделал этого, подумав по простоте душевной, что так, стало быть, решила и сама председательша, что и она взяла под сомнение его честность. И уж не она ли первая сказала, мелькнуло у него в голове: «А не думает ли этот товарищ торговать жилплощадью, а?» Откуда ему было знать, что Марья Васильевна Локтева и слыхом не слыхивала о его просьбе и что расскажи он сейчас ей о том, как поступили с ним, делу был бы дан совершенно иной ход.

Но он был, если надо, человеком железной воли, и теперь, стиснув зубы, собрав все это железное в себе в один ком, с гордо поднятой головой прошел мимо локтевской дачи.

6

Строительные работы в доме поселкового почтальона Андрея Захаровича Мигунова, едва начавшись, были приостановлены.

С тех пор минул ровно год. За это время в жизни Андрея Захаровича опять почти ничего не изменилось. Разве что старшая дочь вышла замуж, и тес, купленный для утепления веранды, пришлось продать ради свадьбы. Вот и все. Хотя, впрочем, это только сам Андрей Захарович думал, будто в его жизни ничего особенного не произошло. На самом деле все обстояло не так. Его избрали депутатом районного Совета, и, когда к нему приходил со своей мольбой голубоглазый возчик дачной конторы Сашка Король, почтальон уже был облечен властью.

В июле, что в праздники, что в будни, на улицах, в лавках сельпо бывает много праздного народа. Особенно, конечно, в воскресные дни.

А сегодня как раз воскресенье. День длинный, ясный, тихий, и особенно длинным он кажется потому, что Андрей Захарович поднялся рано, чуть попозже солнышка, когда на земле только что появились темные тени и всюду хрустально засияли капли росы.

Андрей Захарович, превосходно выспавшийся, улыбаясь невесть чему, чуть не четверть часа простоял в дверях своего сарайчика, оглядывая доброжелательным своим взглядом буйные июльские заросли окрестных садов. В соседнем сарае глухо простучал копытами по настилу, переступая с ноги на ногу, мерин Короля. И, вспомнив о возчике, Андрей Захарович засиял еще благостнее. Вчера он получил ответ на ту самую «бумагу», которую они сочиняли вместе с Сашкой. В ответе было сказано, что по ходатайству Андрея Захаровича переселение королевского семейства в благоустроенную квартиру откладывается. Предстояло сообщить эту радостную весть Королю, увидеть его распахнутые, благодарно засиявшие глаза и испытать трогательную неловкость от содеянного тобою добра человеку. Ему всегда становилось неловко, когда его благодарили за помощь.

А день все разгорался, и пока Андрей Захарович, ловко махая тяпкой, рыхлил землю в огороде, с десяток

раз ходил с ведрами на колодец через улицу и потом, припотевший, скинув рубашку, плескался возле рукомойника во дворе, набирая в левую ладонь, сложенную ковшиком, студеную воду, пришло время отправляться на службу.

Скоро, повесив через плечо битком набитую газетами, журналами и письмами кирзовую сумку, он уже шагал по своим улицам, так исхоженным его ногами, что, кажется, завяжи ему глаза, он все равно не пропустит ни одну почтовую щелку в калитке.

Вот с метлой в руках стоит возле ворот метростроевец дядя Федя. Он только что размел перед своим домом улицу. Это он проделывает каждое воскресное утро.

— Здорово, Кострома, — кричит он, завидя Андрея Захаровича и ласково щуря чуть раскосые глаза.

— Здорово, Князь, — так же весело орет почтальон.

Пожалуй, даже и не вспомнить, с каких пор они так приветствуют друг друга. Андрей Захарович в самом деле родом из Костромы, а дядя Федя — татарин. Два его сына-близнеца, спокойные, серьезные, здоровые ребята, выросшие на глазах Андрея Захаровича, служат в армии, и иногда почтальон-Кострома приносит своему приятелю-Князю письмо от них.

— Письма-та нет? — спрашивает дядя Федя, принимая газету.

— Нет пока.

— Что, Кострома, нарошна не носишь письма-та? — с притворным негодованием восклицает дядя Федя. — Татарин-та щеснай, каждый воскресенье тебя на дороге-та ждет, дорогу тебе метлом метет, а ты что делаешь-та?

Они еще перебрасываются несколькими грубоватыми, обычными и безобидными для них фразами, и Андрей Захарович трогается дальше.

Вот дача, в которой живет профессор, преподаватель общественных наук, высокий, седой и совсем еще не старый, веселый человек. Он любит цветы и, кроме флоксов, георгин, люпинуса, ромашек, гладиолусов, гвоздик, у него в саду ничего не произрастает. Самое высшее удовольствие для него — дарить цветы встречному и поперечному. Профессор стоит в дверях террасы, стройный, изящный, в спортивном костюме и, завидя почтальона, с до-

стоинством кланяясь, не спеша, с удовольствием говорит:

— Здравствуйте, дорогой Андрей Захарович. Как ваше здоровье?

— Здравствуйте, Алексей Петрович, — тоже с некоторой торжественностью и слегка нараспев отвечает почтальон. — Спасибо, все пока идет хорошо. А как вы поживаете?

— У меня тоже полнейшее благополучие. Прекрасный день. Сегодня, представьте себе, наконец-то расцвел черный гладиолус.

— Это очень здорово, — вежливо говорит почтальон.

— Я непременно подарю вам его луковицу.

— Спасибо, — улыбается Андрей Захарович, хотя к цветам он совершенно равнодушен и ему все равно, что одуванчик, что знаменитый черный гладиолус.

Так он идет зигзагами от калитки к калитке.

— Захарыч! Стой, Захарыч! Подожди, мил человек! — вдруг слышит он.

Запыхавшийся, потный от усердия возчик Король догоняет его.

— А! — ликуя, кричит он. — Гляди, чего прислали! — Он сует к глазам почтальона копию ответа на их совместную «бумагу». — А? Это же сила! — Король вытирает рукавом рубашки потный лоб и, уже успокоясь, умоляюще, благостно глядя на Андрея Захаровича, шепотом, заговорщицки произносит: — Такое дело надо обязательно обмыть. Как полагается по закону. У меня уж все готово, а?

— Ладно, — с серьезным видом отвечает Андрей Захарович. — Раз такое дело, я приду. Жди.

Куда он придет, Королю и почтальону известно.

Они расстаются.

А почтальон вскоре появляется возле дачи Марьи Васильевны Локтевой, и все случается так, как заведено издавна. Не успевает он вытащить из сумки корреспонденцию, а его уже зовут:

— Иди-ка зайди, отдохни, покури!

И он не отказывается, распахивает калитку, идет по тропочке к веранде и, усевшись на ступеньку крыльца, вытянув уставшие ноги, закуривает.

Сегодня локтевские женщины дома, и Марья Васильевна, и дочери-учительницы, все очень похожие на старуху, ладные, бойкие, пьют чай, предлагают разделить с ними компанию и Андрею Захаровичу, но тот вежливо отказывается.

— Послушайте, — говорит Марья Васильевна, — вчера председатель вашего поссовета сказал мне, что в прошлом году вам было отказано в утеплении веранды. Это верно?

— Верно, — подтверждает Андрей Захарович.

— Почему же вы до сих пор не обратились ко мне?

Пожав плечами, он отвечает:

— Теперь об этом говорить уж не время.

— Почему?

— Так.

— А по-моему, как раз время, и вам, депутату райсовета...

— Вот поэтому и не время.

— Я не понимаю вас. — Марья Васильевна с любопытством смотрит на почтальона.

— А тут проще простого, — отвечает Андрей Захарович. — В поселке знают, что мне было отказано. Многие знают. А теперь я — Советская власть. Что же люди про меня скажут? Как попал, скажут, Мигунов в депутаты, так сразу все и объегорил. А как я буду после этого людям в глаза смотреть?

Она прекрасно знает, каким уважением пользуется он у жителей поселка, и никто, из них, конечно, не скажет, даже не подумает так об Андрее Захаровиче.

— Прошлогодний отказ надо считать ошибкой, — говорит она.

— Когда дело касается человека, ошибаться нельзя. Человеку верить надо, его честному слову верить, тогда и ошибок будет меньше. Ну, да про меня какой разговор, Марья Васильевна. Вот я хожу, думаю: у нас в поселке три барака. Все они погнили, прохудились, их латают, штопают, а толку нет. А ведь в тех решетах живет по восемь-девять семей.

— Но их скоро переселят в Люберцы.

— Э, нет. Переселят, кто дачи занимает. А они — в бараках. Разница. Стало быть, нужно им помочь.

Марья Васильевна смотрит на него со все разгорающимся любопытством.

— А как вы думаете им помочь? — спрашивает она, делая ударение на слове «вы».

— Пока только думаю, не придумал, — простосердечно вздыхает почтальон. — Но можно бы несколько дач отвоевать для них. Все равно чуть не по году пустуют. А бараки сломать к чертям.

— Ладно, — помолчав, говорит Марья Васильевна, — приезжайте ко мне в исполком во вторник. Сможете часам к трем?

— Смогу.

— И о своей веранде подумайте.

— И думать не стану, — почтальон поднимается. — Не могу я Советскую власть дискредитировать таким действием и себя в глазах людей унижать.

Теперь, накурившись и заручившись поддержкой районной председательницы, Андрей Захарович отправляется разносить остатки корреспонденции, и не проходит получаса, как сумка его совершенно пустеет.

А еще через некоторое время они с Королем стоят в конюшне, и рядом с ними, оттопыря нижнюю губу, дремлет мерин. Конюшню наполняют чудные, любезные сердцу старого кавалериста запахи конского навоза и свежего сена. На овсяном ларе расстелена газета, а на ней лежат толстые куски ржаного хлеба и копченой селедки. Король разливает по стаканам водку. Андрей Захарович озабоченно спрашивает:

— Александровская или с быком?

— С быком,—торжественно провозглашает Король.— Московская.

Они церемонно чокаются, и Король говорит:

— Будь здоров, спасибо тебе.

— Будь здоров, ваше величество, — отвечает ему почтальон.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

ЧТО ЖЕ БУДЕТ? [1]

Новый год Мансуровы встречали у Канунниковых — четыре просторные комнаты, нет маленьких детей, покладистые соседи.

Ночь была истинно новогодняя — темная, со снежком, с загадочным серпом яркого полумесяца и счастливо приходилась с пятницы на субботу, так что впереди было два полных выходных — Новый год как таковой и очередное воскресенье.

В ту пору суббота еще не была нерабочим днем, об этом только-только начинали довольно пессимистически говорить, не очень-то доверяя слухам.

В минувшем году, начиная чуть ли не с лета, у Канунниковых, а у Мансуровых особенно, дал себя знать период всяческих напастей: у Ирины Викторовны был грипп с тяжелым осложнением, Аркашка после переэкзаменовок остался на второй год, у Мансурова-главы были серьезные осложнения на службе. Он, этот глава, службу принимал близко к сердцу, а таким частенько выпадают всякого рода неприятности.

У Канунниковых все в том же самом роде: глава только что ездил в Сибирь на похороны брата; Ася Дмитриевна в октябре лечилась на курорте, но неудачно; у дочери Леночки, хотя об этом и не говорилось прямо, но очевидно было, что только недавно миновал кризис в душевных делах.

Но как раз ко второй половине декабря и там, и здесь, в обеих семьях, все так или иначе, а утряслось.

---

[1] Отрывок из романа «Южноамериканский вариант».

Еще тридцатого декабря на работе, в обеденный перерыв, Ирине Викторовне пришел в голову тост: «Выпьем за семейный ренессанс!»

«Очень хороший, очень женский тост! — обрадовалась она. — Особенно если в тот момент, когда его будешь произносить — нет, провозглашать! — посмотреть в глаза Леночке!»

Ирина Викторовна очень жалела Леночку, прямо как себя... Такая хорошая девочка, такая хорошая девочка, а мальчишка ей встретился — бирюк. Все понимает и все уходит в сторону. Коли так — ушел бы совсем. Совсем — не уходит!

И не уйдет: неизвестно, на каком основании, но что-то заранее подсказало Ирине Викторовне, что под Новый год у Канунниковых произойдет нечто вроде помолвки.

Тоже по традиции, собрались около десяти. Опыт показывал, что так лучше — двенадцать часов должно пробить не в начале застолья, а на подступах к самой кульминации, когда гости уже присмотрелись друг к другу, когда, не поминая лихом, из дома успели проводить старый год и когда становится очевидным, кому и что следует пожелать в Новом году, таком молодом и тепленьком, словно цыпленок, но всемогущем, словно бог.

Итак, в начале одиннадцатого, что называется с места в карьер, все веселились вовсю, танцевали под любопытную, в меру модерновую музыку, которую тактично обеспечила молодежь из Леночкиного окружения, и то, как сразу же всем стало хорошо в этот вечер, Ирина Викторовна безошибочно ощутила на себе: на ней было фиолетовое платье, сама она была приятной, она понравилась всем, уже успела, больше всех — самой себе, а это был для нее верный признак того, что хорошо не только ей, но и всем вокруг.

Леночки Канунниковой бирюк — в самом деле очень привлекательный, лобастый, думающий, с четкой мужской фигурой — играл блиц на двух шахматных досках не глядя, и пока его партнеры да еще трое или четверо активных болельщиков принимали решения, этот, стоя в своем углу, спиной ко всем присутствующим, облокотившись на пианино, успевал-таки поглядеть на танцующих в соседней комнате, в том числе — на Ирину Викто-

ровну. Наверное, представлял себе, какая она была в молодости... До чего, в самом деле, способный человек — не глядя играет на двух досках и еще поглядывает в соседнюю комнату! Напрасно, мальчик! Что было, то прошло... Какой Ирина Викторовна была, такой уже никогда-никогда не будет!

Хорошо было ей в эти хорошие минуты, а она ждала еще лучших, ждала боя часов, тостов и того момента, когда без всяких обиняков обратится прямо к Леночке: «За семейный ренессанс!»

И вот наконец-то: Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь!

Как раз против нее, очень удачно, за столом сидела трепещущая под легким кремовым платьицем, вся поразительно видимая насквозь Леночка со своим бирюком...

Рядом слева — Ася Дмитриевна, с двумя недавно народившимися морщинками по небольшому выпуклому лбу, с широко раскрытыми и слишком уж чуткими ко всяким невзгодам и тревогам глазами... Хотя что там и говорить: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети... Кроме того, Асенька на четыре года и пять месяцев старше Ирины Викторовны.

Рядом справа был муж, которого она почему-то всегда называла Мансуровым, а иногда, то ли в насмешку, то ли в память давно минувших лет их островной жизни, — Мансуровым-Курильским. Было такое дело: они жили на Курилах. Еще до того, как у них появился сын Аркашка.

Девять! Десять! Одиннадцать! Двенад...

— Ур-ра-а-а! — неожиданно громко завопил Мансуров-Курильский, обняв Ирину Викторовну левой рукой, поднимая бокал правой и глядя в одну какую-то точку на лице Леночки Канунниковой.

И Леночка, звонко и тревожно перекрывая «ура», закричала тоже:

— Все! Все-все! Загадывайте, загадывайте что-нибудь невероятное! Скорее — невероятное!

Был большой шум, и в этом шуме и звоне Ирина Викторовна прошептала про себя:

— Господи! Пошли мне Большую Любовь! Огромную!

И еще раз: мне... Огромную... пошли... Большую... И так до тех пор, пока окончательно не заглохли все до одного тосты...

Потом до утра она пела и танцевала, еще отчаянее, чем в только что ушедшем году, всем показывая свое платье и себя, еще и еще проверяя себя по взглядам всех — и молодых, и старых, и чувствуя, что в один какой-то миг в ней произошло что-то такое, чего не происходило за многие-многие годы, никогда не происходило, даже в молодости, в Леночкином возрасте.

Она попробовала было упрекнуть себя в банальности: надо же — новогодняя ночь и, соответственно, персональная новогодняя сказка, Дед Мороз принес, что ли, но уже тогда, с самого начала, любые упреки самой себе были ей как об стенку горох.

«Ренессанс? Да??? — спрашивала у себя Ирина Викторовна, танцуя, и отвечала себе же: — Ренессанс! Да!!!»

В задуманном тексте потерялось слово «семейный», и, должно быть, поэтому, чтобы восполнить жутковатую потерю, Ирина Викторовна несколько раз бросалась обнимать Аркашку, а тот, думая, что так и нужно, тоже лез обнимать всех подряд: мать, отца, Леночку Канунникову, вообще всех, кто попадался под руку.

— Курильский! — возбужденно говорила Ирина Викторовна всякий раз, как танцевала в паре с мужем. — Не будем стареть, а? Ты понял меня, Курильский?

Курильский довольно охотно двигался в паре с собственной женой, особенно когда танец был новым, и он не очень-то уверенно, для первого раза, чувствовал себя.

— Ну вот еще! — отвечал он, смахивая пот с лица. — Вот еще! Зачем это нам с тобой нужно — стареть? Старость — это прежде всего знаешь что? Это, лапонька, прежде всего предрассудок! Даю честное слово! — В то же самое время Мансуров-Курильский поглядывал и по сторонам, на гостей, — кто из них так необычно взволновал его жену? Не угадывая в этом смысле никого и ничего, потому что угадывать действительно было нечего, он возвращался к прежней теме, которая ему так понравилась: «Пред-рас-су-док!»

«Мне... Большую... пошли...» — до самого конца новогодней вечеринки, до рассвета, явственно звучало в ушах Ирины Викторовны...

Уже дома, укладываясь около семи часов утра в постель, Курильский повторил несколько раз:

— Ни к чему! Ни за что! Чего ради?! Пред-рас-су-док!

А Ирина Викторовна не спала.

Она и прежде-то, как бы ни уставала, с трудом могла соснуть в течение дня полчасика, тем более не шел к ней сон нынче.

Лежала и думала: жить нужно. Обязательно и безоговорочно!

Зимою, не обращая внимания на тесноту и давку, в восемь пятнадцать утра нужно втискиваться в троллейбус, с удивлением угадывая, что в изделия из искусственных волокон, в натуральные сукна, драпы и недорогие меха, которые плотно окружают тебя со всех сторон, завернуты приблизительно такие же воодушевленные предметы, как и ты сама, что они обладают дыханием, голосами и такой же, как у тебя, теплой кровью, может быть, даже кровью той же самой группы.

Но так как в это время и в этой спешке, при почти неизбежном опаздывании на работу, все сосредоточено только в тебе самой и так еще много ты скрываешь под собственной шубой и шапкой домашних запахов, забот, не высказанных до конца напутствий и указаний Аркашке — каким образом он должен вести себя и что делать в течение каждого часа с половины девятого утра до шести с четвертью вечера, — то и в самой невероятной толкотне все равно чувствуешь только себя. Себя, и никого больше. В троллейбусе тебя давят, так это даже не кто-то, а что-то давит.

Летом же неисчислимые плечи, спины, животы и груди навязывают тебе свое существование, в летние месяцы, в июне — июле — августе, у тебя вырабатывается своеобразный инстинкт самоизоляции, благодаря которому ты поддерживаешь постоянный люфт между собою и всем остальным человечеством.

Зато зимой и летом, всегда, — хочется самой прижимать к себе Аркашку, утром, по пути на работу, ухит-

риться и проводить его в школу, а вечером, если бы это было можно, она пошла бы с ним к его товарищу. Это глупо, тем более что отчетливо понимаешь: материнство — это ведь умение отчуждаться от своего ребенка.

Аркашка все еще домашний и несамостоятельный мальчик, это мешает ему во многом, но не в том, чтобы иметь свою собственную биографию, и не раз, и не два им написаны школьные сочинения о том, как провел очередное в своей жизни лето, а если бы учительница рискнула и дала Аркашке другую тему, например: «Периоды подъема и спада в моей жизни», — он и тут мог бы кое-что написать. Безусловно, кое-что интересное и поучительное для окружающих.

Аркашка рассказал бы о субъективном и объективном в жизни человека, о том, как жестоко он болел прошлой весной, как, справляясь с болезнью, мечтал о возвращении к жизни — новой, разумной и прекрасной, но как тогда же, еще в постели, поддался незапланированной страсти собирания марок, как по этой именно причине остался на второй год. Как, при всем этом, он существовал и был человеком. Легкомысленный, добрый и нежный человек, пока еще с петушиным голоском, с неисчерпаемым интересом к жизни, но уже вот-вот — мужчина. Почти что странно, но все—таки — вот-вот.

Муж...

Муж был очень близок к Ирине Викторовне, всегда слишком доступен, покряхтывая в глубоком сне, у него всегда был очень хороший, здоровый сон, тем более теперь, после бессонной ночи, когда он, может быть, все еще повторял в подсознании: «Пред-рас-су-док!» Он был во всем очевиден и более чем реален, должно быть, поэтому и размышления Ирины Викторовны не шли дальше мысли о чрезмерной близости его к ней, о его слишком очевидной реальности. Слишком!

Ей ведь всегда была необходима некоторая дистанция между собою и тем предметом, о котором она думала, тем более, о котором хотелось помечтать. Вот это пусть небольшое, но свободное расстояние она и любила заполнять своей мыслью.

Присутствие же людей поблизости, рядом, мешало ей об этих людях думать, бывало даже, что она уходила

в соседнюю комнату, чтобы таким образом отстраниться от какого-нибудь человека и решить, какой он — плохой или хороший, правду он говорит или неправду; а давным-давно не испытывая достаточного расстояния между собой и Мансуровым-Курильским, она с годами совсем разучилась представлять его в своем воображении. Тем более сейчас не хотела о нем думать: боялась до чего-нибудь додуматься.

Работа...

Вот этот предмет был для нее исключением, о работе она могла думать и на работе, и дома, и где угодно.

У Ирины Викторовны была незаурядная память, которая ничуть не потеряла своего значения с появлением в институте информационно-запоминающих машин. С некоторых пор Ирина Викторовна вообще не боялась никаких на свете машин, не испытывала страха от того, что роботы могут вытеснить человека из жизни или стихийно взбунтоваться, как об этом написано у многих довольно умных, но теперь уже не оригинальных авторов...

Пустяки! Каждому свое, машине — машинное, человеку — человеческое. Человек не погиб, покуда таскал на себе камни, глину, зерно, бревна и все прочие тяжести, бесконечно гонял костяшки счетов, от руки переписывал огромные фолианты, — почему бы ему погибать теперь от того, что он переложил всю эту адскую работу на плечи машины? Оружие — это другое дело, но в мирной машине всегда заложен элемент гуманности, им и надо пользоваться.

Ну, конечно, у Ирины Викторовны не было трогательной мужской привязанности к машинам, более того — она не понимала тех девиц, которые по своей воле или вслед за своим возлюбленным избирают механические факультеты, — не женское это дело. По ее наблюдениям, даже женщины-моряки, женщины-пилоты и те достигают большего, чем женщины-механики и машиностроители. Однако в принципе машину она ценить умела, то есть умела понимать, чего от машины требовать можно, а чего — нельзя. Когда лет шесть или семь назад отдел информации был оснащен сразу несколькими новейшими по тем временам счетно-запоминающими устройствами, она поняла их способности так быстро, что даже видавшие

виды специалисты и те удивились... Как и почему машины умеют — она этого не знала и никогда не хотела разузнать; ей казалось, что это их собственное дело, а она не любила вмешиваться в чужие дела, но вот что они умеют, а чего нет — об этом она догадывалась сразу. Впрочем, точно так же было, когда она купила первый в своей жизни пылесос с многочисленной арматурой и когда на кухонный комбайн взглянула впервые через витрину магазина — тоже сразу же все о его способностях узнала... По форме деталей, по внешнему виду и компоновке узнала безо всяких инструкций и объяснений со стороны, какие и куда в этот комбайн следует закладывать продукты, откуда и какой субпродукт должен появиться — молотый, мятый, мытый, очищенный... Вообще с любой машиной, касалось ли это пылесоса или счетно-запоминающего устройства, она предпочитала сначала знакомиться лично и непосредственно, а уж потом — с инструкцией по ее использованию.

У счетных машин, на взгляд Ирины Викторовны, внешнего вида не только не было, но, кажется, и не могло быть — ящики и футляры, футляры и ящики — больше ничего, и это поначалу ввергло ее в ужас, несколько дней она носила в сумочке заявление об уходе с работы «по семейным обстоятельствам», но потом внимательно стала слушать обо всем, что они, эти машины, умеют; и когда однажды машине задали непосильную задачу — она сразу сказала, что у нее ничего не получится. И действительно, несмотря на утверждение монтажников, — не получилось, и тогда-то она и удивила спецов, которым казалось, что получиться не только может, но и должно. Над спецами всегда тяготеет это самое «должно».

А ей вообще легко давался и смысл и бессмыслица какого-либо существования, и, должно быть, поэтому она раз и навсегда была шокирована существованием атомной бомбы, — она не могла ни вообразить ее, ни думать о ней. Ее удивляло, что атомной бомбой способны заниматься обыкновенные люди, может быть, женщины; может быть, женщины, чем-то похожие на Ирину Викторовну Мансурову.

Впрочем, на свете были какие-то удивительно нелепые вещи, о которых она тоже совсем не могла думать, кото-

рыми точно так же бывала шокирована. Были, например, дома и другие сооружения, которые она никак не могла понять — что за предмет, зачем такой? С такой нелепой башней, с такими ненужными и потому заколоченными дверями?

А однажды она была свидетельницей того, как официантка в столовой, подавая какому-то старичку второе, спросила у него:

— А ложка где? Украли?

И существование девочки-официантки, сказавшей это, тоже стало для нее не только нелепостью, но и мрачной загадкой: «Как же она живет-то после этого?»

Так вот, на работе Ирину Викторовну ценили, а она ценила работу — там никто не мог заподозрить ее в краже ложки, никто не навязывался с разговорами об атомной бомбе, так как все знали, что она этого не переносит. В этом и было все дело: ее там знали. Зная, ей там коечто прощали, довольно частые опоздания, например, а это не так уж мало, когда молча и тактично вам что-нибудь прощают, хотя бы и самую мелочь.

Это даже необходимо, а отсюда необходимо быть там, где тебя знают и ценят, где с тобой считаются...

Одно время по начальству прошел разговор, что Мансуровой следует дать отпуск на полгода, даже — на год, чтобы она защитила диссертацию. Когда разговор коснулся ее непосредственно, она заявила, что против отпуска не возражает, особенно — против годичного, но что защищаться никогда в жизни не будет. Разговор прекратился.

На работе она больше всего любила работать, ощущая, как ей удается создать некоторую дистанцию, которая обязательно должна быть между ней самой и ее собственной, частной жизнью. Она ведь совершенно необходима, такая дистанция, такое ощущение, что вот — твоя жизнь, вот оно — твое имя, твои родственники, твои заботы, твое рождение и твоя смерть наконец, а ты взяла и ото всего этого отошла, отошла туда, где все это не имеет никакого значения, где ты — это твоя сегодняшняя задача по обработке технической информации относительно такого-то универсального станка и такой-то системы автоматизации, а больше ничего. Чуть-чуть даже сомнамбу-

лическое состояние, из которого через час-другой приятно выходить прямо в свою собственную жизнь, выходить, к примеру, таким образом:

— А что, бабоньки, нету ведь у нас в институте мужчин, хоть шаром покати! Одни только и.о.?

Первая подхватит эту мысль Анна Михайловна Бессонова, она же — Нюрок:

— Черт с ними, с мужиками, но ведь и женщины из-за этого лишены своего самого сильного оружия — любовных чар! Кого очаровывать-то: исполняющих обязанности, да?

Отрываешь глаза от работы, смотришь на Нюрка... Действительно, что же делать такой женщине, такому воплощению женщины, как Нюрок, если вокруг одни только и.о. мужчин?

Дальше можно было выяснять, кто из сотрудниц отдела допустил бы, а кто не допустил дуэли между своими поклонниками, кто из них оправдывает, а кто считает врагом человечества Наталью Гончарову. Кто считает, что Жаклин была хорошей женой для Джона Кеннеди, а кто весьма и весьма в этом сомневается.

И что особенно существенно, единственный в отделе мужчина, техник Мишель, по названию Дамский Мастер,— тот действительно по любому поводу и даже без был способен пустить слезу, а вот среди женщин в отделе информации и библиографии таких не было. Не было плакс и нытиков.

И если уж слезы — значит, ни много ни мало как ЧП.

И хроник семейных событий, которых сколько угодно можно было наслушаться у Мишеля в его закуточке-мастерской, у женщин тоже не было, а между тем дружба — была, откровенность — была... Разобраться, так тут все было, что истинно должно быть между людьми, в частности — между женщинами. Только обо всем этом никогда не говорилось словами, а все понималось с полуслова:

— Денег нет, да?

— Что ты — шикую!

Или:

— Читала в газете?

— Во вчерашней? Ужасно интересно!

Или:

— Влюбиться бы в кого-нибудь, а?

Молчание...

И дело было не в каком-то там жаргоне — жаргон всегда лежит на самой поверхности любого стиля, но это еще не он сам, дело — в интонации или в выражении лица и в некотором неуловимом, ничем не обозначенном, а все-таки существующем порядке, который был раз и навсегда установлен в отношениях между сотрудниками отдела.

Ведь лаборатории, отделы, мастерские, главки, канцелярии, цехи, секции, КБ, кабинеты, приемные, прилавки, забегаловки — все это производит не только тематики, отчеты, статьи, резолюции, протоколы, проекты, решения, прибыли, убытки, плановую и сверхплановую продукцию, все это, даже помимо местковов, обязательно производит еще и свой стиль.

Можно производить, например: «А вы ложку — не украли?»

Но можно — другое. Должно производить что-то другое, если даже неизвестно, что именно. Что-то другое, и обязательно противоположное первому. Стиль — это человек, известно, а вот в обратном порядке это известно гораздо меньше: если ты человек, у тебя должен быть стиль! Какой? Трудная задача, но обязательная. Хотя бы стиль твоего дела, потому что, если не будет и этого, — откуда узнать, откуда почувствовать существование человеческого стиля? А ведь он есть, существует, если существует человечество...

«А вы ложку — не украли?» — от этого стиля до другого должна быть дистанция, потому что без такой дистанции жить уже нельзя. Еще и еще раз понятно, что тот, другой, человеческий стиль — величина искомая и у этой величины нет и не может быть в такой же мере четкой и определенной формулы... Тем более он нужен и необходим.

Тем более в отделе информации и библиографии необходимо было повседневное присутствие Ирины Викторовны: она хоть и не невесть какая, а все-таки была созидательница и даже — смешно сказать! — блюсти-

тельница того, другого, стиля... И все женские души отдела, а Нюрок особенно, тоже понимали это...

Вот она как думала, Ирина Викторовна, обо всем по порядку — об Аркашке, о муже, о работе, думала после бессонной ночи, лежа полураздетая в кровати, положив на грудь какой-то затрепанный переводной романчик и глядя через окно в серое, типично зимнее небо нового, 19... года.

Можно было и еще в том же порядке подумать, например, о свекрови, Евгении Семеновне, женщине, пожалуй, слишком уж справедливой и слишком рьяной заступнице Ирины Викторовны не только от всякого рода напастей, но и вообще от всего на свете.

Можно было...

Но в этом порядке размышлений чего-то не хватало... «Ах, да, — с удивлением догадалась Ирина Викторовна, — меня-то и не хватает! Вот чего — меня самой!» И в самом деле, она так много думала о работе, потому что работа то и дело заменяла ей ее самое. И в общем это была приемлемая замена, хотя все-таки замена. Еще работа была для нее постоянной, не прекращающейся ни на один день тренировкой ее интеллекта, постоянным средством поддержания тонуса и подготовкой... подготовкой — к чему?

Сорок пять — вот возраст, до которого, ей казалось, женщина еще не все теряет, еще может распорядиться своей судьбой, еще может сделать какой-то выбор.

По существу, она не собиралась ничего менять и сейчас, но без ощущения этой возможности и собственной способности к этому, без надежды на случай, который окажется не чем иным, как такой возможностью, временами становилось так грустно, как будто ты не живешь, а только доживаешь кем-то назначенную для тебя жизнь. Может быть, только чей-то завалящий остаток жизни...

Не всегда, но временами бывало и так — вот такое ощущение, и когда оно приходило, Ирина Викторовна, с точностью чуть ли не до одного дня, начинала подсчитывать, сколько же ей еще осталось до сорока пяти, до того рубикона, который она сама себе назначила.

Сорок пять минус ее годы — на эту разность, так стремительно приближавшуюся к нулю, Ирина Викторовна

возлагала тем большие надежды, чем разность становилась меньше.

А тут еще за новогодним столом, как раз напротив, анфас, — немного даже подурневшее и потемневшее откуда-то изнутри, от внутреннего ощущения счастья, — лицо Леночки Канупниковой... Не надо было садиться как раз напротив Леночки — опасен был этот анфас. Не надо было заранее загадывать тост.

Не надо было выпускать себя из своих рук...

А ведь Ирина Викторовна очень боялась, очень не хотела бы встретиться с таким человеком. Ну, вот с таким! Легко и просто было бы избежать с ним встреч, если бы его не было. Легко и просто дотянуться до рубежа в сорок пять, который она сама себе назначила и за которым, казалось ей, никаких встреч уже не может быть.

Дотянуть до сорока пяти при Мансурове-Курильском, ну, если уж требуется разнообразие, — при Курильском-Мансурове, и все, значит, так и надо, значит, такая судьба. Просто, ясно и ничего от тебя не зависит...

Но в том-то и дело, что она подозревала о существовании такого человека...

Имя-то: Василий Никандрович! Что-то серьезное, что-то от народа, от натуры и от природы, не выдуманное, а настоящее. Василий Никандров — вот вам, получите!

Василий Никандрович заведовал самым большим отделом в институте, пятым отделом, можно сказать — ведущим; и заведование, и высокое положение, и авторитет, и проч., и проч. как раз и могли бы оттолкнуть Ирину Викторовну, насторожить, раз и навсегда определить к нему отношение, как отношение весьма уважительное, добрососедское и даже дружественное и в то же время вполне, вполне официальное.

Но официальное отсутствовало, правда, отсутствовало, не будучи, кажется, заменено чем-нибудь иным: особым расположением, интересом или чувством отчужденности и чем-то еще. Значит, существовал вакуум. Какая-то неопределенность и неточность.

Впрочем, это опять не совсем точно, а точно: ни она, ни, пожалуй, ни одна другая женщина в институте не

могла бы определить к Никандрову своего отношения. Для всех ясно было одно: сколько-нибудь серьезно влюбиться в Василия Никандровича — это ужасно банально, ужасно глупо! Кроме того, это почти что самоубийство.

Поэтому запросто можно было сказать: «Ах, Василий Никандрович, да ведь я вот уж десять лет, как влюблена в вас! Неужели не замечали?» А он тоже запросто мог ответить: «Как же, как же! Девять лет тому назад — замечал!» После этого надо бы на него обидеться, и всерьез. А за что?

Он был лапа — вот кто.

Он был очень умным и поэтому поглощен своими научными проблемами, но такими умниками — пруд пруди, а он — особый умник. Например, откуда-нибудь из-за границы, с очередного симпозиума, не забывал поздравить с днем рождения эмэнэса (младшего научного сотрудника) или лаборантку своего отдела.

И не только его собственный отдел, а, кажется, институт в целом ощущал постоянное доброжелательство этого человека, его готовность если уж не каждому помочь, так, по крайней мере, каждого заметить и понять.

И кому-то нужно с таким человеком связываться? Да пропади он в этом смысле пропадом, чур меня! Чур меня от человека, на которого без конца найдется кому пялить глаза, который к этому привык уже давным-давно, который у всех на виду, так что и в киношку-то с ним незаметно не сбегаешь, по поводу которого видавшие виды дамы просто обязаны предупреждать молодежь женского пола: «И не вздумайте! Кроме головной боли, ничего не маячит!» И наконец все это, весь этот человек, не из ничего берется, а из чего-нибудь, уж это обязательно; закон сохранения вещества — строгий закон, играть и шутить с ним никогда не следует. Безупречность — сомнительное качество и может проистекать только из какой-то своей противоположности: из незримого педантизма, из занудности, из эгоизма... Ведь не может же человек быть виден весь: что-то в нем видно, а что-то — нет. Что в Никандрове не видно?

Говорили, что у Василия Никандровича есть своя компания, тоже из числа серьезных научных работни-

ков, но только не своего института, а из гуманитариев. С нею он и проводит время: летом — путешествуя по горным районам, главным образом по Киргизии, зимой — слушая музыку; он, кажется, порядочный меломан.

Нет, что-то тут было не то.

Все тут было не то, честное слово!

Ведь когда Ирина Викторовна в новогоднюю ночь влюбилась неизвестно в кого, она отчетливо чувствовала, что должна этого кого-то открыть. Где-то совсем рядом или рядом, но не совсем, живет человек, работает, почитывает книги...

А она к нему приближается, глядит на него и почти что вот так — раз! два! три! — по наитию, по какой-то своей озаренности, угадывает, распознает, что человек-то совсем особенный, вовсе не такой, как все, только никто этого не знает, даже — он сам... Он бы так и умер, ничего о себе не узнав, если бы не она. Если бы не ее открытие.

А Василий Никандрович? Совершенно не нуждается ни в чьем открытии... Наоборот, его бы закрыть подальше от женских глаз...

Не то, не то!

Она всегда представляла себе, что когда поведает о каком-нибудь необычайном открытии верному другу — Нюрку, Нюрок страшно удивится: «Да ты что, Иришка! Ведь нет же ничего! Ведь ничего же такого нет! Поверь мне!»

А потом, когда присмотрится, изменит мнение: «У тебя глаз да глаз, Иришка! Надо же — открыла!»

А что скажет Нюрок, если и в самом деле назвать Василия Никандровича?

«Хочешь, Иришка, упаду на колени? Хочешь отрубить мне правую руку? Руби, только послушай меня...»

С другой стороны, совершенно с другой: чем дальше, тем все больше и больше росла необходимость в том, чтобы кто-то открыл ее. Ее самое — Мансурову Ирину Викторовну.

Для чего-то она ведь взрослела и умнела, для чего-то была матерью, была женой, — наверное, не только для того, чтобы быть только матерью и только женой, а еще и того ради, чтобы быть женщиной. Какой?

Все, что она пережила, все, с чем она соприкасалась во время своей жизни — воздух, люди, книги, железные дороги, — все это создавало ее... Какую?

Сама она этого почти не знала. Но кто-то был обязан узнать, обязан открыть! Перед нею обязан, перед собою обязан, перед всем тем миром, который ее изо дня в день столько лет создавал, — тоже обязан!

Ирина Викторовна, атеистка, все-таки знала, что в христианском учении существует троица: бог-отец, бог-сын и бог-дух святой. Она приравнивала, она любила приравнивать всякого рода притчи к самой себе, и у нее получалось: бог-жена, бог-мать, а где же дух святой? Кто откроет его в ней?

Уже, наверное, прошло несколько лет с тех пор, как Ирина Викторовна перестала знать себя. Она ведь тоже не сидела сложа руки, в ожидании — а что из нее получится? Упорно и с надеждой она создавала себя из своих платьев, зимних и летних, из прически, из голоса, из выражения и цвета своих глаз, из своих форм, из своего замужества, из своего материнства, из своего стиля, из своей работы, из своего общения с людьми и со всем окружающим ее миром, а что же все-таки в результате получилось? Где итог? Или все это был сизифов труд?

Не Мансуров же Курильский способен все это открыть и объяснить, ему и в голову никогда не придет, будто он что-то в ней не знает. Он любил ее, он был чуть ли не идеальным мужем, но только для той, которой она когда-то была... А та, которая есть, — как же?

И когда вот так подумаешь, тогда — что же?

Тогда — Василий Никандрович, то самое и единственное, что должно быть....

И еще было что-то удивительное в том, как Ирина Викторовна отнеслась к новогоднему пожеланию самой себе: «Господи! Пошли мне Большую Любовь! Огромную!»

Она отнеслась к этому восклицанию и к этой мысли вовсе не так, как люди обычно относятся к восклицанию, к мысли или к желанию, нет, — это было для нее фактом, событием. Оно — совершилось, и не было никакого смысла к нему возвращаться, его оценивать: хорошее это событие или плохое, легкое или трудное, к чему оно приведет, как выглядит она в этом событии...

Оно совершилось, суди его, не суди.

Вот так же, вспомнилось ей, она когда-то решила, что у нее должен быть ребенок... По состоянию ее тогдашнего здоровья это был очень серьезный вопрос. Она серьезно и задумалась и решила: «Будет!» И это решение уже было поступком, фактом, событием и одной-единственной, первой и последней причиной того, другого факта, что спустя определенное время на свет действительно появился маленький Аркашка, других причин как будто бы и не существовало — только ее мысленное решение.

Нынче — опять то же самое, опять безоговорочное решение.

Ирина Викторовна была смущена, испытывала неловкость и смятение, но не потому, что к ней это решение пришло, и не потому, что она его приняла, вовсе нет, неловкость была из-за того, что все произошло — она так и говорила про себя: «Все произошло» — слишком банально: в новогоднюю ночь, ни раньше, ни позже, а в момент новогоднего тоста, притом — в присутствии Мансурова, в общем-то неплохого человека, и Аркашки — удивительного несмышленыша, который чересчур доверчиво всю ту ночь напролет ластился к матери. Совсем как маленький.

Хотя бы Мансуров-Курильский, что ли, изменил ей?! Как же, от него дождешься!

Хотя бы на том самом вечере у Канунниковых кто-нибудь взял бы да и «положил» на нее глаз — она ведь такая была красивая, так готова была принять даже не свою, а какую-то чужую, только бы еще неведомую судьбу! Как же — от кого-то там дождешься! Там таких и не было!

Пускай бы все зависело не от нее: как снег на голову — любовь! И ничего тут не сделаешь — судьба! Как же — от судьбы дождешься! Судьба требует, чтобы любовь и та была создана твоими руками, собственными руками Ирины Викторовны, сама же она — будто бы в стороне, будто вовсе ни при чем! Никакого ей, судьбе, дела до этой самой Мансуровой Ирины Викторовны в определенном смысле нет, не было и не будет.

И отвечать за последствия судьба тоже не будет...

— Нюрок? — спросила Ирина Викторовна на работе.

— Ась?

Но больше Ирина Викторовна ничего не спросила, она глядела в окно, на старый тополь, который стоял во дворе НИИ-9.

Помолчали, Ирина Викторовна стала догадываться: о чем сейчас может догадываться Нюрок?

«Да ни о чем! — ответила она самой себе. — Ничего же не произошло? Совершенно ничего, о чем кто-то может догадаться?»

«...все произошло...» — тут же сказала она самой себе.

Конечно, Нюрок ждала хотя бы краткой, в общих чертах, информации о том, как прошел новогодний вечер у Канунниковых: кто в чем был, как выглядела Леночка, вообще кто как выглядел, какие там были сказаны интересные слова...

И вскоре Ирина Викторовна почувствовала себя разоблаченной под тем взглядом, который Нюрок и раз, и другой бросила как бы мимо нее...

«Да-да, случилось, — подтвердила она тревожную догадку приятельницы, — только... подожди. Не сейчас. Потом». Она хотела и еще продолжить эту безмолвную фразу: «...потом, когда-нибудь!», но не успела, потому что Нюрок уже опустила глаза, и «когда-нибудь» повисло в воздухе, неувиденное и непонятое, а «потом» приобрело силу твердой договоренности между ними, силу обещания и необходимости...

Ирина Викторовна стала противиться этому, стала доказывать себе, что «потом» — это вовсе не сейчас, не сегодня, и даже не завтра, что оно как раз и есть «когда-нибудь», и в это время в комнату вошел Василий Никандрович.

— Девочки! — сказал он и запустил руку в свои седеющие волосы, сосредоточиваясь на том деле, ради которого он пришел в информацию. Он постоял так, в этой мальчишеской позе, высокий и стройный, хотя и несколько тяжеловатый, особенно в плечах, — плечи были у него мужицкие, костистые и торчали из костюмов любого покроя.

Когда-то давно, точно Ирина Викторовна и не помнит когда, она поняла, что Никандров к ней благоволит. Очень. Может быть, это было то, что называется «положить глаз».

И хотя она это знала точно, это ничуть не проясняло положения дела: мало ли что «положил глаз», а для чего? И на нее ли одну? Серьезно или просто так? Положенные на себя глаза Ирина Викторовна могла бы перечислять довольно долго, ну и что? Что из этого? Ничего из этого!..

— Здравствуйте, Василий Никандрович! С наступившим вас! — ответили ему в несколько голосов сразу, и он решил, что, наверное, не совсем удобно вот так, сразу же, обращаться по делу к приветливым женщинам, а спросил сначала:

— Чем будем заниматься? Может, огуречным рассолом?

— Ну вот еще! Как это можно? Если уж вы не занимаетесь рассолом, так мы и подавно! Мы женщины скромные, нам и в голову не приходит никакой рассол!

— Да? — спросил Никандров. — Старый год проводили, новый — встретили, последствий никаких? Очень странно! Как вы-то думаете, Ирочка? И тут он взял стул, придвинул его к столу Ирины Викторовны и сел почти вплотную к ней.

— Тогда вот что, скромницы, тогда мне нужно... — и стал объяснять Ирине Викторовне, что ему нужно: самые-самые! — полные сведения о последних конструктивных разработках универсального станка такого-то типа.

Она знала, что, как всегда, он ставит перед ней задачу четко и толково, что спустя день, а то и час — не прибежит снова как ошалелый, с выпученными глазами: «А вот еще что забыл сказать: мне, кроме всего, нужны еще сведения о...», тем более не сделает удивленного лица: «Да разве я вам об этом не говорил? Да разве в моем задании это сказано недостаточно ясно?» С Никандровым так не бывало и никогда не будет, она знала, что все без исключения слова, с которыми он к ней обращается устно и письменно, изложив суть дела на стандартном бланке-заявке, все его слова — толковые, продуманные и отчетливые, в общем, такие же, как и он сам, но теперь она ничуть не понимала его... Она была поражена тем, что этот человек — вот этот! — имеет какое-то отношение к тому, что произошло с ней в новогодний вечер у Канун-

никовых, к тому роковому мгновению, в которое «произошло все», и теперь она ненавидела его за это, за грубое, беззастенчивое вмешательство в ее жизнь, во все то, что была она — Мансурова Ирина Викторовна! Она согласно кивала ему головой, почти отвернувшись от него в сторону, почти закрыв глаза, чтобы не видеть его, и думая о том, что самое правильное сейчас — это встать, сказаться больной и уйти. Она, кажется, действительно болела... Между тем Никандров говорил с ней долго и подробно, делая на стандартном бланке-заявке еще и еще какие-то пометки красным фламастером, объясняя, что больше всего ему интересна теоретическая часть вопроса, еще что-то такое подчеркивая фламастерами, интонацией своего голоса — чуть прерывистого и напряженного, выражением лица, от которого она хотела отвернуться совсем и все-таки видела немолодую розоватость этого лица и это выражение упорства и напряженности. Его обычные шутливость и непосредственность потому, должно быть, и производили впечатление на окружающих, потому и нравились, что они исходили от человека не шутливого, не от болтуна и не от рубахи-парня, а от работника, непрерывно думающего над чем-то своим, над каким-то подтекстом, над какой-то одному ему известной задачей... Нынче его напряжение действовало на Ирину Викторовну особенно, наверное, потому, что она и сама-то тоже до крайности была напряжена. Она отметила, что не замечает в себе того чувства, которое можно было бы назвать чувством любви или хотя бы чувством увлечения, которое память могла бы подсказать ей из ее далекого девичьего прошлого, из романов, которые она во множестве прочла в свое время, — ничего, ничего, только напряжение, почти механическое, как бы материальное, которое испытывают, скорее всего, машины, перед тем как что-то — какие-то детали и узлы — разрушатся в них от чрезмерной нагрузки, от неправильной, безграмотной эксплуатации и отсутствия нормального режима работы и ухода...

«Двадцатый век, что ли?» — подумала она, как будто до сих пор жила в веке девятнадцатом, и даже еще раньше, и только сию секунду уяснила, что век — в самом деле двадцатый, что день — первый рабочий день

после Нового года и что все, что с ней происходит, происходит именно с ней, а не с героиней чьего-нибудь устного рассказа или широко известного печатного романа.

Никандров попрощался и ушел, и кто-то в отделе сказал ему вслед, едва закрылась дверь: «Надо же — какая голуба!», а когда Ирина Викторовна поглядела на Нюрка, Нюрок — на Ирину Викторовну, то результат оказался вот каким: Нюрок была теперь уверена, что в новогодние праздники Ирина Викторовна и Василий Никандрович где-то встречались, и встречались не просто так.

Разуверить Нюрка будет невозможно ни сегодня, ни завтра, у Ирины Викторовны не хватит для этого самообладания; разуверять Нюрка, может быть, не придется совсем, потому что и в самом деле — а не был ли Василий Никандрович на вечере у Канунниковых? Не присутствовал ли он там? Зримо — незримо, не все ли равно! Какое это имеет значение?

Часа через полтора Ирина Викторовна более или менее пришла в себя, стала давать указания своим сотрудницам, избегая, правда, Нюрка; стала вдумываться в смысл заявки, бланк которой Никандров там и здесь исчеркал цветными фламастерами, и не поняла этот исчерканный бланк...

Впервые она не поняла Никандрова — ей казалось, будто он что-то напутал, в чем-то ошибся — выписал не те шифры из картотеки и неправильно наметил программу, которую следует задать машине... «А ведь придется к нему идти!» — подумала она с содроганием. Идти к нему?! Оказывается, в эти мгновения он уже стал для нее «им», он уже был «он», а не кто-то там имярек, не какой-то отвлеченный доктор физико-математических наук Никандров Василий Никандрович, заведующий пятым отделом НИИ-9.

Ей снова еще больше и еще дальше стало не по себе, стало болезненно; необходимость пойти к нему или по телефону попросить еще раз прийти его сюда, чтобы выяснить все, что она не поняла в бланке-заявке, это было уже событием, да еще какой важности: с ним надо было что-то выяснять!

Она углубилась в бланк-заявку и стала искать — что же, какая же все-таки неточность была Никандровым допущена? Неточность была, но какая — она сообразить не могла и стала на бумажке формулировать те вопросы, которые должна была задать ему, чтобы выяснить его ошибку. Она исписала листок снизу доверху — это все были варианты ее вопросов к нему, но все они при внимательном вчитывании были глупыми.

В конце концов она записала так:

«В. Н-ч! Из-те, пож-а, что я п-ла к В., но мне к-ся, что в В-й з-ке, вот тут (ук-ть!), к-я-то ош-ка. Или я что-то не п-ю?» Что значило: «Василий Никандрович! Извините, пожалуйста, что я пришла к Вам, но мне кажется, что в Вашей заявке, вот тут (указать!), какая-то ошибка. Или я что-то не понимаю?»

Она выучила эту свою запись наизусть и только встала из-за стола, чтобы пойти к Никандрову, как дверь распахнулась, и в комнате № 475 быстро, может быть, даже бегом, появился Василий Никандрович.

— Ирина Викторовна! — сказал он. — Извините, пожалуйста, что я снова пришел к вам, но мне кажется, что в своей заявке, вот тут, — он указал пальцем почти на середину бланка, который лежал на столе, — вот тут у меня какая-то ошибка!

Они молча глядели друг на друга...

«Когда мы будем близкими людьми, — подумала Ирина Викторовна, — я спрошу у него, как все это могло случиться?.. Как могло случиться такое совпадение — текстуальное?» И, стараясь сделать это незаметно, сложила вчетверо листочек, на котором только что, сию минуту, записывала для себя эти же самые слова: «В. Н-ч! Из-те, пож-а, что я п-ла к В., но...»

«Когда мы будем близкими людьми, я покажу ему эту бумажку, это вещественное доказательство... Иначе ведь трудно поверить, что все, что происходит сейчас, действительно происходило, а не выдумано мною...»

А пока Ирина Викторовна думала вот так, совсем невероятно, Никандров еще поразил ее, весь отдел поразил, выговорив фразу, которую кто угодно, но только не он мог выговорить:

— Я вот еще что забыл — мне, кроме того, что я написал в заявке, мне нужно еще...

И он стал торопливо и как-то не очень четко объяснять, что ему нужно, кроме того, что он уже написал, а Ирина Викторовна слушала его и думала: «Судьба! А чем это еще может быть?»

Теперь уже не только Нюрок, а все остальные сотрудницы отдела в комнате № 475 в этот миг это, кажется, поняли...

«Судьба!» — повторила Ирина Викторовна еще раз и спросила себя: «А что вообще-то я могу сказать о своей судьбе, что я о ней знаю, помню? Ничего...» А потом поправила себя: «Ну, как же это — ничего?! Неправда: кое-что помню!»

Шел поезд, и в поезде, в четырехместном плацкартном купе, непринужденно пересекая пространство сперва Европы, а потом и Азии, ехала Ирочка.

Ехала, как жила: в непрерывном и во сне, и наяву ожидании той жизни, которая притаилась то ли в соседнем вагоне, то ли за следующим поворотом поезда на блестящей рельсовой кривой, то ли в завтрашнем дне или в следующем часе.

Каждую минуту эта жизнь могла, незаметно подкравшись сзади, закрыть Ирочке глаза ладошками: «Угадай! Кто? Что?»

Ирочка, не задумываясь, угадала бы ее. Потому что ждала. Не то чтобы совсем безрассудная, совсем глупая молодость, уже понимала: и «кто», и «что» могут оказаться не приведи бог какими — какими трудными, даже непосильными, а все равно было вот так и никак иначе: ожидание, уверенность в близости и неизбежности какого-то случая своей собственной жизни, какого-то ее поворота. И в поезде-то ехать было так легко, интересно и свободно, потому что, ни у кого не спрашиваясь, можно было выйти на любом полустанке, пересесть на встречный и уехать обратно, домой, к маме, а можно на том же полустанке остаться жить, посмотреть, что из этого получится?

И ведь все было уже после того, как Ирочка долго принимала и наконец приняла решение — ехать! И поехала. Но ничего особенного: если она решилась на это, значит, могла решиться и на другое, на что угодно; если

ее собственное решение было для нее неожиданностью, значит, неожиданностей вообще очень много вокруг, и каждая из них действительно ждет своего случая, чтобы объявиться. И надо, хотя бы поначалу, встретить неожиданность с радостью, а там — видно будет.

Поезда в ту пору, вскоре после войны, не слишком придерживались расписания. Отправляясь из Москвы, как и теперь, с Ярославского вокзала в один и тот же час и даже почти в одни и те же минуты, они доставляли своих пассажиров во Владивосток на девятые, десятые, а иногда и на двенадцатые сутки, — никого это не удивляло.

Удивлялись тогда другому: только-только прошла война, а поезда, как и до войны, идут по блестящим рельсам навстречу друг другу; в плацкартных вагонах, пусть не во всех, а все-таки выдается постельное белье, повсюду, по всей длине поезда, кипятится в титанах кипяток, а на остановках не только меняют на иголки и спички, но и продают на обыкновенные деньги топленое молоко и соленые огурцы.

Поезда шли тогда в разреженном воздухе, в котором уже довольно давно и нигде не было бомбежек и пронзительных сиренных воплей; не было сводок с театров военных действий, и самих театров тоже не было. Не было в нем и множества жизней, которые театры унесли с собой, чтобы никогда и никому не вернуть их. И все-таки шли навстречу друг другу поезда сквозь разреженность Европы и Азии, шли, минуя военных комендантов и распоряжения начальников по передвижению войск.

Впервые Ирочка покинула родной дом и сразу — в такую даль!

Странное чувство переживала тогдашняя Ирочка, участвуя в движении поезда, и радуясь, и ощущая боль этой трагической разреженности воздуха и всего окружающего пространства, ощущая смятение от непрерывности, с которой где-то за нею или рядом с нею следовал случай... Необыкновенный случай ее судьбы.

И, должно быть, по причине всего этого на восьмые сутки пути, сразу за Хабаровском, пассажир из соседнего купе объяснился Ирочке в любви.

Только она легла на свою полку — верхнюю и справа, если считать по ходу поезда, только распустила волосы и поправила тощую вагонную, может быть, еще довоенную подушечку над головой и повернулась лицом к стене, как этот самый пассажир постучал в дверь и срочно вызвал ее.

Ирочка почти поняла, для чего он это сделал: они ведь только-только расстались, отстояв в коридоре у окна полный рабочий день военного времени — двенадцать часов, причем это был уже не первый день, и ноги у нее гудели и стонали так, словно это на них, а не на вагонных колесных парах она двигалась из Москвы во Владивосток; во рту у нее пересохло от множества слов, которые она произнесла за эти часы громко и тихо, весело и грустно, торопливо и медленно; в ушах звенело от слов, которые произнес для нее этот самый пассажир, неугомонный и двужильный; в глазах ее, словно в кино, мелькали пейзажи — с лесами, горами, с восходами и закатами солнца, с ярко-звездным небом.

Ему-то было что — этому самому пассажиру, — он уже проехал, проплыл, пролетел полсвета, повоевал, поумирал и снова взялся за свое привычное путешествие, а каково было ей — непривычной и слабой?! Она-то давно уже держалась не столько на ногах, сколько на нервах, больше ей не на чем было держаться!

И вот, убиваясь и рыдая про себя, а отчасти и вслух, боясь разбудить пассажиров своего купе, не находя петель на ситцевом халатике, который она исхитрилась получить на промтоварную карточку за день до отъезда из дому, неизвестно как причесавшись в темноте, она снова выскочила в коридор, слава богу, тоже полутемный, только с двумя тусклыми лампочками — при входе и при выходе. Это позволяло надеяться, что ни ее всклокоченные волосы, ни мятый халатик, который по вине все того же неуемного пассажира она за всю дорогу не успела привести хотя бы в относительный порядок, не будут им замечены.

Конечно, не надо было выходить на его зов и стук, пускай бы он звал и стучал, и будил все купе, а все купе его за это ругало бы и поносило, — но было поздно, она подумала об этом оптимальном варианте уже в коридоре.

— Значит, так, — спросил он, — все-все понятно, да?

И снова переложил этим вопросом всю тяжесть на ее плечи, на худенькие и вздрагивающие плечики.

Но на этот раз она сказала все без обиняков:

— Вы что, в самом деле изверг, что ли? Так и есть — изверг! — сказала она.

Он понял:

— Страшно! Страшно, поверите ли?!

— А другим — не страшно?! Нашли, тоже мне, бесстрашную героиню!

Тогда он взял ее голову в свои руки, склонил к своему плечу — он был высокий, как раз на голову выше, чем она, — и все сказал. На ухо. Шепотом.

— Ну, вот — слава богу! — ответила она, все выслушав. — Наконец-то! Наконец-то можно пойти и уснуть. Спокойной ночи!

— Вы с ума сошли?! Как это можно?

— Просто! Повернуться — вот так! — Она взяла его за плечи и повернула. — Открыть дверь своего купе — вот так! И вот так туда войти! Спокойной ночи!

Но в дверь он не вошел, а резко шагнул назад.

— Нам не о чем больше говорить?

— Ведь сказано все! Все слова! Слов не осталось, и надо подумать молча. Молча и наедине!

Но прежде чем уйти, она все-таки оглянулась:

— Это правда, что существует Южная Америка?

— Клянусь — существует! Мы остановимся во Владивостоке, оформим все документы, и через месяц, еще раньше, вы убедитесь в этом сами!

Взбираясь на свою полку, Ирочка уронила бутылку, — бутылка упала со столика, разбилась, а все три остальных пассажира, все три чужих, неизвестных и неизвестно зачем и куда едущих и почему-то спящих в ее купе, — эти три пассажира разом проснулись и разом заворчали. Все они были тем странным, неизвестно по какому праву существующим человечеством, которое и в этот час совсем ничего не знало о том, что случилось с нею — с неумелой Ирочкой. И, ничего не зная об этом, это человечество ничем не хотело ей помочь — ни одной мыслью, ни одним соображением, ни одним ни да, ни нет.

Ведь ехала-то Ирочка на Курильские острова, и ехала она туда не просто так, а к будущему мужу, и будущим ее мужем был добрый человек — старший техник-лейтенант Мансуров.

Все было как у людей, как у нормальных, добрых и даже счастливых людей, — они познакомились в госпитале. Лейтенант Мансуров лежал там после ранения, а она, ученица десятого класса, приходила шефствовать над ранеными.

Потом она окончила школу, а он выписался из госпиталя.

Она стала работать чертежницей в заводском КБ, он — техником на том же заводе.

Она поступила в институт, он был признан ограниченно годным к военной службе; она перешла на третий курс, он получил назначение на Дальний Восток.

Он поехал на Курилы, и писал ей, и без конца звал ее, звал так, что она взяла в институте отпуск и поехала к нему на этот зов. И вот встретила такого пассажира, который ехал еще дальше, за океан, в Южную Америку. Вообще-то она никогда ведь по-настоящему не верила, будто такая часть света тоже существует на свете. Северная — да, в этом она была уверена, относительно Южной закрадывались сомнения. Понятие — другое дело, об этом и спорить нечего, и сомневаться не в чем; все, что было положено знать по школьной программе о Южной Америке, она всегда знала, имела по географии пять. Но то, что Южная Америка была действительно Южной, действительно Америкой, что туда кто-то может поехать, пожить там и вернуться обратно, не верилось, нет!

Она ведь была в этом путешествии готова ко всему, к любой неожиданности, — к тому, что поезд сойдет с рельсов и ринется в Байкал; к тому, что она сойдет с этого поезда на каком-нибудь полустанке и надолго останется там жить; что какая-нибудь женщина попросит взять у нее своего ребенка, и она возьмет, приедет с ним к старшему лейтенанту на Курилы и спросит: «Любишь —не любишь?»; что она поедет к нему одна, они посидят час-другой в его избушке на берегу моря, а потом она скажет: «Вот и повидались... Теперь мне пора возвращаться домой — спокойной ночи...» Все могло быть.

А могло ли быть то, что было?

Три пассажира не сразу, но уснули снова, двое — похрапывая легко и невинно, третий — по-разбойничьи сотрясая воздух и стенки купе свистом и грохотом.

Ирочка уткнулась в подушку и начала плакать на всю ночь: до утра.

До самого утра, потому что к ней подступила страшная обида на себя. Она ведь все время, всю дорогу, ждала какого-нибудь загадочного и невероятного случая своей судьбы, а когда этот случай пришел — оказалась бессильной перед ним.

То, что для этого вот мужчины — такого взрослого, такого умного, такого сильного, такого южноамериканского, с такими глазами не нашлось на белом свете ничего более необходимого, чем она, почти что девочка, девочка Ирочка, — потрясло ее сознание, но тут же выяснилось, что это сознание совершенно не подготовлено к такому потрясению, не соответствует ему и потому не может с ним справиться и хоть как-то на него ответить, а единственно что может — это дрожать, кажется, счастливой дрожью, сотрясая весь организм до последней косточки.

Тем более не могла девочка Ирочка осознать разницу между Курилами, которые до сих пор были для нее самым крайним краем света, и только что возникшей в какой-то уже совсем невероятной дали Южной Америкой — немыслимой судьбой и страной.

И, должно быть, однажды совершившись, ни одна история не остается затем постоянной в умах людей — время от времени люди обязательно пересматривают свое прошлое. А история или исчезает из их сознания как будто навсегда, или вдруг является словно в первый раз во всем своем могуществе, чтобы снова существовать даже более, чем наяву.

Но чтобы спустя столько лет Южная Америка предстала перед ней, как ее собственная и нынешняя судьба, — такая неожиданность казалась Ирине Викторовне совершенно невероятной.

А ведь она — предстала.

То есть снова, как и тогда, явилась вдруг возможность выбора: могу быть вот таким человеком, вот такой женщиной, но могу быть и совсем другой, чуть ли не прямой

противоположностью той, которая существует в настоящее время!

Не совсем известно — какой именно, но совсем-совсем другой, это уже точно!

Снова, как и тогда, много-много лет тому назад, гудели и стонали у Ирины Викторовны ноги...

Ни с того ни с сего, ни к кому не обращаясь, она спросила:

— А что, в Южной Америке существует или нет танец живота?

Нюрок ответила, что не знает, но ей кажется, что существует; потом спросила — не собирается ли Ирина Викторовна разучить этот самый танец, а если собирается — для чего?

Когда-то и что-то такое Ирина Викторовна рассказывала Нюрку о дальневосточном экспрессе, о Южной Америке, о том, как гудели у нее тогда ноги. Нюрок не только все поняла, но и все запомнила, и теперь, спросив, зачем ей понадобился танец живота, она поняла еще больше — поняла связь времен и затревожилась теперь уже всерьез.

А это очень тревожно, когда Нюрок тревожится за тебя.

Отдел технической информации и библиографии — он же «информашка», он же ТИБ, или «Тибошка», — это четвертый этаж, левое крыло, «Вход посторонним запрещен», комната № 475.

В комнате — четыре сотрудницы: летом в открытых платьях, зимой, осенью и ранней весной — в сине-голубых халатах со стоячими воротничками.

Стоячие воротнички — это, можно сказать, марка фирмы и предмет дискуссии, особенно в тех немногих отделах девятого НИИ, в которых большинство и даже меньшинство, но — заметное, составляют лица женского пола.

Воротничок — это, с одной стороны, удобно, поскольку позволяет приходить на работу в помятой кофточке и даже вовсе без нее, со стороны же другой — почти недо-

пустимое в наше время пуританство и школьничество. Поверх такого халата еще фартучек, и вот вам — ни дать ни взять — школьная форма.

Но дискуссии отшумели давно, года два тому назад, кое-кто за свой собственных страх, риск и бюджет уже сшил себе халаты с отложными воротниками, другие ходят вовсе без них, все обошлось само по себе, помимо месткома, завхоза и коменданта; в отделе же информации и библиографии вопрос вот так и решался: зимой, да еще покуда халаты новые, — ими грех пренебрегать, и все носят эти самые халаты, атласные, вполне прилично сшитые, не очень-то их оберегая; летом, в жару, они без движения висят в институтском гардеробе, а все сотрудницы носят открытые платья или легкие кофточки. Иногда, наверное в порядке компенсации за ту монашески-школьную униформу, которая была зимой, — очень открытые и очень легкие.

Это было приятно и как будто даже необходимо — в один поистине прекрасный и светлый летний день, не сговариваясь, по крайней мере, почти не сговариваясь, вдруг прийти на работу всем четверым вот так, по-новому — в открытых платьях и в открытом настроении...

На другие отделы это производило впечатление, мужики — эмэнэсы и старшие — два-три дня подряд проявляли усиленный интерес к информации, посещаемость отдела с их стороны резко возрастала, и один раз был даже налажен учет этой посещаемости: тайно галочками отмечалось, кто сколько раз посетил отдел в эти дни открытых дверей. Рекорд — увы! — побил седенький инженерик из того коридора на пятом этаже, в который надо было оформлять особый пропуск с красной чертой по диагонали и который поэтому назывался «диагоналкой». Даже удивительно, как этот седенький, да еще, кажется, и слегка хроменький, в диагоналке прижился — там народ все был солидный, хорошо знающий себе цену, очень редко снисходивший до личного посещения отдела информации и библиографии. Впрочем, этот учет, эти самые галочки практиковались только однажды, — каждая выдумка хороша, пока она свеженькая, пока о ней не подозревает никто, кроме тех, кто ее выдумал.

Ну, воротнички — это все пустяки, не так серьезно, как может показаться с первого взгляда, а на самом деле?

На самом деле «Тибошка» был не таким уж несерьезным и не таким уж маленьким отделом — туда входили технический архив, библиотека, машинное отделение и, наконец, работники технической информации, как таковой, то есть комната № 475.

Но это только формально числилось — по отделу кадров и по структуре НИИ-9, сама же Ирина Викторовна по-своему судила о своем отделе. Она знала, что если она заболеет и не выйдет на работу, положим, в понедельник, так только в пятницу об этом узнают в архиве, в четверг или в среду — в библиотеке, во вторник или даже в тот же самый понедельник узнают в «машинке», но узнают как бы только между прочим, а вот в комнате № 475 ее опоздание в пределах четвертьчаса уже становится настоящим ЧП.

Иногда в разгар рабочего дня Ирина Викторовна вдруг охватывала взглядом трех своих сотрудниц и себя, четвертую, каким-то образом тоже видела среди них.

«Четверо... — подводила она итог, а потом пересчитывала: — раз, два, три, четыре...», чувствуя в это время не себя одну, и даже не себя вместе с Нюрком, а действительно сразу всех четверых...

Она удивлялась этому чувству, почти что физическому ощущению не только своей собственной кожи, но и кожи всех четверых, она знала, кому прохладно сейчас от форточки, а кому в то же самое время мешает духота, знала, кто и в каком настроении пришел сегодня на работу, и угадывала тот момент, когда работа окончательно оттесняет первичное, то есть домашнее настроение. Это значит, по сути дела, и было ее руководством коллективом, если оно действительно было и если его можно было так нескладно назвать.

«Раз, два, три, четыре...» А почему же все-таки четверо — это было что-то одно?

А потому, что казалось, будто когда-то, поначалу, все эти четверо были чем-то одним, и только потом, много позже, это одно прошло через четыре судьбы, если еще точнее, — через четыре такие жизни, которые называются любовью.

Самую скромную и малозначительную роль в жизни-любви, несмотря на то, что она была старше всех, Ирина Викторовна до сих пор отводила самой себе. Ну, и еще, пожалуй, Валерии Владимировне Поспитович. Самой же выразительной и значительной фигурой, несомненно, была в этом смысле Нюрок — Анна Михайловна Бессонова.

Она пережила несколько историй, и каких! Замужем она была два раза, в третий раз тоже была, но не замужем, и все это — по любви, по любви истинной... У Нюрка росла прелестная дочурка— невеста Аркашке!— посмеивались между собой приятельницы, но Ирина Викторовна отчетливо понимала, что Аркашка никогда не будет достоин этого чудного создания; единственно, что он может, — искалечить судьбу удивительной будущей женщины, у которой даже взрослым женщинам неизменно хотелось чему-то научиться, что-то перенять...

И Нюрок это понимала тоже, и чем дальше, тем подруги все реже шутили на эту тему, зато чем дальше, тем все в больших подробностях Нюрок посвящала Ирину Викторовну в свои душевные дела — в настоящие и, главным образом, в прошлые. Посвящала и просвещала: Ирина Викторовна понимала, что ей просвещение требуется, что без Нюрка — она темная женщина.

О Нюрке она твердо знала, что та в любви себя не жалела никогда, что если любовь с ней случалась, так это было для нее все равно что пожар, все равно что крест, который, раз поднявши, нужно нести и нести — все равно в какую сторону, даже если ни в одной стороне не видно никакого выхода и ничего не маячит. Такой была Нюрок — ничуть не бережливой по отношению к самой себе, но других женщин, Ирину Викторовну особенно, она считала необходимым оберегать. «Поверь мне...» — начинала она рассказ о какой-нибудь из своих собственных историй, и уже эти первые слова произносила так и смотрела тебе в глаза так, и так дышала, что не поверить ей было уже невозможно.

Будь Ирина Викторовна мужчиной — молодым или старым, женатым или одиноким — в любом случае она носила бы Нюрка на руках, она влюблялась бы в нее не только с первого взгляда, а с первого взгляда каждый день.

Нельзя сказать, чтобы мужчины этого совсем не понимали — понимали, но от этого Нюрку еще никогда не было легко, зато тяжело было всегда.

Нюрок была красивой под мальчишку, с челочкой, с девичьей легкой и даже легкомысленной фигуркой, так что все еще невозможно было представить, что ей — около сорока, что у нее такое женское прошлое, которое другую испепелило бы до конца, ничего не оставило бы ни от души, ни от тела, ни от зеленовато-серых доброжелательных и даже наивных глаз, но у нее все это осталось, больше того — все это еще развивалось и шло вперед, к чему-то и куда-то...

Ирина Викторовна думала, что тут, пожалуй, и была причина великих трагедий этой женщины: никто не мог хотя бы приблизительно угадать настоящего Нюрка, ее всегда принимали не за ту; когда же наконец ее угадывали, узнавали — было уже поздно, уже слишком многое до этого совершилось не так, было не тем...

Ладно, Нюрок — особое явление, редкость, другие сотрудницы отдела — раз, два, три! — редкостями не были: одно-другое увлечение, замужество, ребенок, общее для женских лиц сходство в том выражении, которое приносит еще непревычное, еще не освоенное материнство, а потом — оно же, но уже как привычка, как добровольная, но необходимость, а все равно — боже мой! — сколько же в них, почти одинаковых, своей собственной, а не общей судьбы, как чрезмерно они переполнены этой судьбой вот сейчас, сегодня и сиюминутно! Судьбой вчерашней и вечерней, длившейся те несколько часов, в которые необходимо успеть сделать все по дому, которые, собственно, и составляют семейную жизнь, и даже — семейное счастье, если ты в него все еще веришь; судьбой уже сегодняшней, утренней и поэтому мгновенной, оформившейся в одну секунду, в ту, например, когда, торопясь на работу, с одним ботинком в руке, а с другим на ноге, ты, на прощание, чмокаешь мужа в одеколоновую, только что побритую щеку; судьбой текущего рабочего дня, когда случился какой-то долгожданный, а то и совсем неожиданный и поэтому ошеломляющий телефонный звонок...

И, в общем, так: стены, вся атмосфера комнаты № 475 словно материальными частицами были пронизаны и про-

питаны вовсе не проблемами технической информации, а проблемой любви в самых разных ее проявлениях: сиюминутной и вековой, действительной и воображаемой, не поддающейся никакой машинной обработке.

Это вовсе не значило, будто в комнате № 475 то и дело произносилось это слово — любовь, скорее наоборот; если кто-то из сотрудниц — какая-то одна из этих «раз, два, три, четыре» — пытался информировать всех остальных о положении своих дел в этой области, ее тут же отвлекали, уводили в сторону.

Так нужно было, а еще так было потому, что шеф отдела строго придерживалась этого порядка. И в результате ей были благодарны: искренность часто бывает хороша сегодня, назавтра она может стать излишеством и неудобством. Ей были благодарны за себя и за нее тоже, за то, что она твердо держит определенный стиль и, общительная, даже милая, умеющая увлекаться, все равно неизменно держится так, словно к пей эта проблема имеет лишь теоретическое отношение.

Нюрок ее за это просто обожала, завидовала и говорила, что будь у нее хотя бы одна десятая такого умения «всем» переводить в теоретический план и наблюдать за «всем» как бы со стороны, — она считала бы себя самой счастливой женщиной на свете, а главное, научила бы этому умению своего Светлячка.

В ответ Ирина Викторовна думала, что вот сейчас, в образе какого-нибудь шалопая из шестого или седьмого «Б» класса, где-то растет деспот и противный человек, который в свое время загубит судьбу чудной женщины, Светланы Бессоновой, — совершенству никогда ведь не бывает уютно на этом свете; а еще — где-то в глубине души, на зависть и на похвалы Нюрка, она отвечала ей глубочайшим признанием и удивлением; опа ведь чувствовала себя перед Нюрком, словно перед Монбланом — нужно было круто-круто запрокидывать лицо, чтобы распознать, что же там, наверху, так ослепительно и недоступно сияет? И — ослепляет?

Но когда нынче Василий Никандрович пришел в отдел, чтобы вручить ей свой бланк-заявку, потом ушел, потом пришел снова и сказал: «А вот еще что забыл сказать», а потом, уходя еще раз признался: «Может, опять

чего-то недосмотрел?», когда это все-таки случилось, причем сразу же после того, как с Ириной Викторовной «произошло все», — все изменилось в отделе информации и библиографии.

Ирина Викторовна почти что слышала грохот: рушился стиль, который она сама годами создавала в отделе. Незримые, но безусловно материальные частицы, частицы любви, до нынешнего дня располагавшиеся в атмосфере комнаты № 475 в определенном порядке и в определенной системе, вдруг пришли в турбулентное движение, пронизывая все одушевленные и неодушевленные предметы. Все в один миг зашло так далеко, что уже ничего нельзя было объяснить никому, даже Нюрку, нельзя было рассеять свои страхи, боязнь и опасения. Уже не было и следа теории этой проблемы, за которую Нюрок так уважала своего шефа, — только одна практика, хаотическая и сумасбродная.

Ирина Викторовна забилась в библиотеку, да так, что даже Нюрок не нашла ее там; за несколько минут до звонка она выскочила на улицу, на автобусную остановку, и уехала домой, испытывая небывалый страх: если уж нынешний день был таким, что же будет дальше?

СЕРГЕЙ НИКИТИН

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ

В сырой осенний день Воронов надел резиновые сапоги, плащ и вышел из комнатушки при больнице, покручивая через палец ременный поводок. Был Воронов высок, с поднятыми плечами, короткой шеей, смотрел вниз и потому казался угрюмым, старше своих двадцати пяти лет.

Откормленная на больничных объедках гончая сука, ласкаясь, завертелась у него в ногах. Он взял ее на поводок и повел через жидкую от дождей, суглинистую дорогу к избе егеря Фиалковского.

Егерь сгребал в саду палые листья. Он прислонил к стволу яблони грабли, пошел навстречу Воронову, потрепал гончую за ухо.

— Решил?

— Ну а зачем же она мне в Москве, на седьмом этаже? — мрачно сказал Воронов и подал Фиалковскому конец поводка. — Держи. Цену сам дашь, тебе виднее.

— Собака хорошая. И как раз к сезону, — сказал Фиалковский.

Он накинул петлю поводка на заборный столбик, ушел в избу и вскоре вернулся с пачкой десятирублевок, подал ее Воронову.

— Не считай, цена справедливая.

— Ладно, — сказал Воронов.

Он отводил глаза. Ему казалось, что этот горбоносый, по-охотницки поджарый Фиалковский смотрел на него пренебрежительно. Какой порядочный охотник продает собаку в самом начале сезона!

— Не нужна она мне в Москве, — повторил Воронов, стыдливо пряча деньги в карман.

Он пожал егерю руку и, не оглядываясь на забеспокоившуюся собаку, пошел прочь.

От ходьбы по скользкой грязи ему стало жарко. За селом он расстегнул плащ, ворот рубашки и глубоко вдохнул влажный, грибной воздух леса. Великая тишина стояла в полях и в лесу, уже отшумевшем листопадом. Мокрые соломенные ометы рано успели побуреть, да и все кругом было теперь до первого снега буро, серо, тускло, кроме изумрудно-зеленых, точно лакированных, озимей.

Воронов, постояв и отдышавшись, вступил в лес, где дорога, выстланная листвой, уже не была такой трудной. Высокий и частый лес сквозил далеко впереди, но было в нем все-таки сумеречно так, что день казался глубоким, послезакатным вечером.

Воронов за два года жизни в селе ходил по этой дороге, должно быть, не одну сотню раз, но теперь шел в последний. Это сообщало привычной обстановке привкус необычности, и Воронов острей присматривался ко всему, что давно уже примелькалось ему, трепетней и глубже вдыхал знакомый запах осеннего леса, лиственной прели, мокрой земли. Он присел на скамейку на двух стесанных кругляшах под табличкой «Берегите лес от огня», покурил, бросил окурок в предназначенную для этого ямку, потрогал вырезанные на одном из кругляшей буквы «Л + З». Все — в последний раз. На душе у него было торжественно и грустно, ему хотелось бы не говорить ни с кем сейчас, уехать бы с этим приятно щемящим чувством грусти, но его ждали, и он, пересиливая себя и морщась, поднялся и опять зашагал по дороге.

Уже по-настоящему смеркалось, когда он наконец подошел к маленькой, в один ряд домов деревне. Искристо светились ее запотевшие от избяного тепла окна; залаяли, вторя друг другу, собаки — басами, визгливыми фальцетами, с подвывом — всем бестолковым деревенским дворняжьим хором со скуки и преднощного страха. Воронов вымыл в пруду сапоги, вытер их на крыльце о чистый, круглый, плетенный из разноцветных лоскутков половик и привычно нашарил в темных сенях дверную скобу.

В передней за столом, покрытым закапанной чернилами клеенкой, сидела девочка лет десяти, смотрела в раскрытую книгу и беззвучно плакала.

— Ревешь? Опять задача не получается? — спросил Воронов, снимая плащ.

Девочка не ответила, даже не взглянула на него.

Сняв сапоги и сунув ноги в валяные опорки, приготовленные у порога, Воронов подошел к ней по чистым пестрым половикам, которыми был застелен сплошь весь пол, сел на стул с гнутой спинкой.

— Сестра где?

— Она к надомнице пошла, — сильно окая, сказала девочка.

Воронов подвинул к себе задачник, спросил, какая задача у нее не получается. Прочитал и долго смотрел на заплаканное белобрысое лицо девочки, раздражаясь ее непонятливостью, думая о том, что в последний раз видит это невзрачненькое лицо, эти жиденькие косички-хвостики, эти белесые тупенькие глаза, в последний раз — и слава богу: такую беспросветную скуку нагоняет на него их вид.

— Ну что ж тут мудреного? — раздраженно спросил он. — В составе было восемь вагонов с каменным углем, в каждом вагоне по пятидесяти тонн...

Он принялся толковать девочке задачу, но та, заранее приготовясь ничего не понимать, только смотрела на стол, моргала посеревшими от слез ресницами и, наконец не выдержав, крикнула своим басовитым окающим голосом:

— Что ты пристал ко мне, как со-о-оба-а-ака!

Воронов шлепнул на стол задачник, дрожащими пальцами выхватил из пачки папиросу. Как раз в это время застучали в сенях каблуки, и в переднюю, запыхавшись, вбежала женщина — без пальто, в одной только серой пуховой шали, накинутой на голову, прижимая что-то под шалью к груди.

— Ох, — сказала она, приваливаясь плечом и виском к косяку, — ты уже тут... А я к надомнице бегала, задохлась совсем... Раньше-то не сообразила как-то.

Она, не нагибаясь, скинула туфли и в носках козьей шерсти мягко подошла к столу, поставила на него водку, белое десертное вино, несколько банок рыбных консервов.

— А ты, Люська, опять заревванная? Задача не получается?

— Тупица она, — сказал Воронов, хмуро глядя на пепел папиросы. — Дай пепельницу, Васена.

Васена подала ему из посудной горки блюдце с золотым ободком, собрала со стола Люськины книги и тетрадки, нетерпеливо запихнула Люську в плюшевое пальтишко.

— Ладно, ладно, девонька, потом решишь. Ступай поиграй у Маньки Феоктистовой, там котеночки маленькие.

И когда закрылась за Люськой дверь, порывисто обняла вставшего ей навстречу Воронова, прижалась к нему всем своим крутым сильным телом и тянулась губами к его лицу — была невысока ростом, — привстав, задержав дыхание в стиснутой груди, отчего лицо ее пошло сизоватыми пятнами, и шепотом выдохнула, наконец оторвавшись от его губ:

— Последняя моя ночка...

— Ну я же говорил, что приеду летом в отпуск.

— Не приедешь, — сказала Васена.

Она стала собирать на стол, он опять закурил, смотрел на бутылку десертного и с отвращением думал:

«Гадость какая, боже мой! Сургучом пахнет... Частиковые консервы... И ведь не понимает, что холодный огурец из погреба, грузди с луком, с постным маслом — вот закуска nec plus ultra [1], а не эта «роскошь» от надомной торговли».

— Выпьем на разлуку, — сказала Васена, присаживаясь к столу.

Она откинула теперь шаль с головы на плечи — вся раскраснелась от быстрой ходьбы по холодному воздуху, от стопки вина — и смотрела на Воронова блестящими, со слезой, глазами.

«Только бы плакать не начала... А ведь любит меня! — вдруг подумал Воронов, словно лишь сейчас открыл это. — Не на шутку любит. Уеду — мокрую подушку по ночам кусать станет».

[1] Самый лучший, непревзойденный (*лат.*).

Он встал, обнял ее с нежностью и силой, отшвырнув на пол шаль, чтобы чувствовать под тонкой кофточкой сильные плечи, — он знал, что они очень белы, как и вся она, что только лицо, шея, кисти рук, икры у нее обветрены и загорелы, — и рывком поднял ее со стула.

— Подожди, надо крючок накинуть. Как бы Люська не вошла, — шепотом сказала Васена, освобождаясь из его рук.

...Ночью в горнице напряженно горел зеленый глазок приемника. То затихая, то усиливаясь, звучала далекая музыка. Приемник весь светился внутри, точно приглушенный фонарь, и этого света ж хватало, чтобы Воронов мог видеть лицо Васены в раскиданных по белой подушке черных волосах.

«Всегда буду помнить ее... — думал он. — Вот ведь и старше она меня. На сколько? Кажется, лет на шесть-семь. И простая деревенская баба, вдова, дальше районного рынка не бывала, а знаю — буду помнить, даже тосковать первое время. И, может быть, действительно приеду летом в отпуск».

Он считал, что жил два года после института в деревне, где был единственным врачом, серо, однообразно, глухо — начал уже ворчать по-обывательски и пить, но теперь подумал, что выпало в его здешней жизни много и таких дней, когда он бывал по-настоящему счастлив. Осенняя охота с гончей, мелкая дрожь азарта, когда где-то в гулком облетевшем лесу вдруг с подвизгом раздастся собачий лай, запах листвы, пороха, окровавленной заячьей тушки, лесная дорога в сумерках, таящих какие-то волшебные страхи, и потом чистая изба Васены в пестрых половичках, ощущение под руками крепости, силы, жара ее тела...

«Ах, ведь не теряю же я все это навечно! Буду приезжать... Буду приезжать! Это же еще лучше, когда вместо привычного, доступного в любую минуту опять мне выпадут, как праздник, несколько таких дней».

Он улыбнулся от ощущения легкости и удовлетворения, которые принесла ему эта мысль, вытянул в сладком зевке все здоровое молодое тело свое и уткнулся, продолжая улыбаться, в плечо Васены, чтобы спать, спать, спать...

Утром пили чай на серой льняной скатерти. Люська ушла в школу. Воронов поглядывал то на ходики с цветастым циферблатом, то на свои ручные часы.

— Ну, вот и пора, — громко, с неподдельной веселостью сказал он, отодвигая от себя стакан, тарелку, вилку.

— Присядем на дорогу, — серьезно сказала Васена, хотя оба они и так сидели.

Она положила руки на колени, выпрямилась и молча смотрела в пол.

Наконец вышли. Утро было морозное — с инеем и тем острым блеском всего воздуха на солнце, который предвещает бесснежную, ясную осень. На дороге теперь хрупал ледок, и уже не пахло из леса листом и сыростью, а стоял повсюду колкий запах инея.

Шли молча, и опять, как вчера, было тихо в лесу, но совсем по-другому — не глухо и ватно, а чутко к любому звуку — и «хруп-хруп» под их ногами раздавалось далеко окрест.

Когда вышли из леса, остановились. Воронов не хотел, чтобы Васена провожала его до села, потому что, кроме него, в машине на станцию ехали еще двое — бухгалтер колхоза и почтальон за почтой.

— До свидания. Я напишу, — сказал Воронов.

У Васены были холодные руки и губы, а щеки горели; она терлась лицом о его лицо, не целуя, и чтобы отстранить ее, ему пришлось сделать усилие.

Уходя, он представлял, как она возвращается одна по лесной дороге — идет медленно, опустив голову, пряча зябнущие руки под шалью, а кругом это острое сияние, эта хрупкая тишина...

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ

В Шунгулешский промхоз Арканя приезжал уже не в первый раз. Он быстро оформил договор, получил небольшой аванс и десять банок говяжьей тушенки в счет пушнины, смотался в соседнюю экспедицию, где всегда можно было застать вертолет, договорился с летчиком на пятнадцатое, через три дня, число и вечером уже сидел у своего старого знакомого Пикалова за столом.

Летчик в экспедиции попался какой-то новый. Фиксатый, прыщавый, тоненький, в шелковом шарфике, папироску жует. Арканя подвалил к нему будто спросить про Дормидонтова — летает ли, дескать, старик. Но вертолетчик Арканю правильно понял; молодой-то молодой, а ухом не поворачивай, откусит. Да это и спокойнее, потому что если человек на деньги падкий, то он и дело сделает. Прилетит. Договорились: сотню сразу и сотню или пару соболей — это видно будет — за обратный конец.

Арканя привык жить удачливо, фартово, и Пикалов слушал его не без зависти, удивлялся и радовался за своего оборотистого друга. Арканя же поучительно цедил сквозь зубы:

— Это вы здесь сидите и сопли на кулак мотаете!

Шунгулеш — село действительно темное, отсталое. Здешние жители измеряли трудности не деньгами, а по старинке: лошадьми, которых можно перекалечить, перетопить в болотах; лодочными моторами, которые можно переломать на перекатах, мелях и порогах; временем, которое потребно на заходы и выходы, особенно на заходы — с продуктами-то.

Арканя человек другой, его аршин — деньги. Никаких лодок, никаких лошадей. Кому надо уродоваться без пользы? В любом районе, где действует вертолетная служба, Арканя без хлопот попадал на место. Механика не сложная, да не всякий понимает. Вертолет — не попутка на шоссе, трояк не сунешь. Вроде бы. А если не трояк? Так ведь на большую сумму рука у деревенского не поднимается, он конями лучше пойдет.

Гуляли эти дни с Пикаловым отменно, на водку у Аркани было, но и дело он не забывал, а между прочим толковал со знакомыми охотниками про намеченные места. Он не говорил прямо, что собирается на Нерку, на Предел, в самые дальние и недоступные тайги, в верховья Шунгулеша, а наводил на эти места разговоры будто невзначай, вскользь, пока не выяснил, что, кроме него, туда никто не собирается. Там уже года никто не бывал. Кто в молодости хаживал, кто слышал только, кто летом, по большой воде, на рыбалке был. Чтобы досконально знать эти далекие таежные места — таких не оказалось людей. Говорили разное, вроде бы и есть там зимовья, а вроде бы и нет. Будто из Красногвардейского района заходили туда охотники, и даже строились. Но точно было, что давным-давно охотились там легендарные уже братья Балашовы, а в последние времена стояли геологи в бараке.

Что зверь в тех местах есть — в этом никто не сомневался. Зверь там есть. Ждет смелого человека.

Было у Аркани еще более важное дело, чем собирание сведений, — собаки! Отсутствие собак коренным образом отличало сезонного охотника Арканю Алферьева от истинных и настоящих охотников. У Пикалова, и у того бегала по двору собачка охотничьего вида. Хоть он и на лесопилке работает, а все-таки в субботу-воскресенье да на отпуск отбегает в ближние места соболей погонять.

Но и тут Аркане повезло: совсем кстати случилось со знакомым Пикалову пасечником несчастье — обезножел разом матерый охотник и на сезон остается дома.

Завели пикаловский мотор и поехали в Федоровку на пасеку.

Пасечник сидел в сарае и колотил улейки. По нему видать было, что уже не охотник этот здоровенный и молодой еще мужик. В сарае пахло чистым деревом, медом от висевших по стенам рамок. Тут же в стружке лежала и собака Дымка, низкорослая лайка лет шести, с белым ухом, серая, с провислой спиной и мягкими ногами.

Дымка вышла, когда в столярку ввалились пахшие вином и безобразием гости.

Арканя поставил вино на верстак, бутылки сыто стукнулись друг о дружку. Пикалов сходил, вызвал из дому хозяйку, она стала греть на таганке под навесом похлебку, принесла в рассоле огурцов и чеснока с салом.

Хозяин смотрел настороженно, не зная, зачем пожаловали гости, а когда они сказали, что приехали за собакой, раздумался:

— Продать? Почему не продать. Нынче не пойду в тайгу-то.

— За деньгами не постоим, — сказал Арканя.

— В тайгу нынче не пойду, — не обращая внимания на тороватость Аркани, продолжал пасечник. — Но ведь и то сказать — собака вроде хорошая. Достойная. Так что приходится, хозяева, сорок рублей просить. И то все равно что даром отдавать. Вот что получается, дело-то какое. Поеду в город лечиться. Деньги нужны.

— Возьми сорок, — сказал Арканя, подтолкнув коленкой Пикалова под верстаком, чтобы тот не начал торговаться и не портил бы картину. Любил Арканя, погородски легко относившийся к деньгам, озадачить медленно зарабатывающего и медленно тратящего деньги деревенского человека. Лихость эта Аркане обходилась недорого. Вот и теперь — в лучшем случае пятерку можно было выторговать, не больше. Цена и без того оказывалась бросовая, — сотню Арканя приготовил на собаку! Своих он не держал с тех пор, как переехал из собственного дома в квартиру (ванна, газ, огород от комбината ежегодно нарезали под картошку), так что заранее готов был платить за собаку сколько спросят. Дымка эта самая бывала в тайге, вернулась оттуда живая, — значит, понимает в охоте. Отщипнул Арканя четыре красненькие, портмоне — в карман, деньги — на верстак.

— Вот только сукотная она. Потому и прошу мало,— медленно продолжал пасечник, не обращая внимания на деньги. — Будь она пустая, например, меньше чем за восемьдесят не отдал бы.

— О паря, чё делатца! — сказал озадаченно Пикалов.

Замолк и Арканя, прикидывая. Сукотная, оказывается. Дымка...

— И с брюхом работать будет, она старательная. Ощенится, день-два полежит, не шевели ее. Потом опять начнет ловить. Это уж такая собака, я тебе доложу. Она как человек, за кусок уж она отблагодарит.

Выбора не было, совсем никаких собак в это время по Шунгулешу не найдешь. Арканя тряхнул кудрями, подвинул пасечнику деньги и в знак согласия разбросил на троих вторую бутылку.

— Покупать с легким сердцем надо. Это правильно, — сказал Пикалов, беря стакан.

Пасечник закурил, а пачку «Беломора» положил на деньги.

— Куда собираисся?

— Да вот на Нерку наметился. Не знаю, что будет. Есть там соболя, нет ли. — Слова Арканя растягивал по-здешнему. У него была такая привычка — подстраиваться под разговор, рассуждение, интонацию. Он ценил это умение в себе и других, как признак ловкого и сильного человека, который берет свое вежливо и обходительно, а не прет грубо, как бульдозер.

— В раскольницкое зимовье, — подсказал Пикалов.

— Говорят, есть на Фартовом ручье избушка. Не знаю, худая, не знаю, целая еще?

— Хорошо на Нерке, — вздохнул пасечник. — Бывал. Надо на геологический барак рассчитывать. Ночевал я в нем.

— Слышал я про этот барак. Да не сильно верю, казенку строят. Вот если балашовские избушки целы...

— Сгнить уж должны. Я-то в них когда еще зимовал, парнем был молодым. Тебе надо на геологический барак держать. Все же там партия стояла. Орлов еще зимовал у них, когда они хозяйство оставляли там. А балашовским избушкам — им сто лет в субботу. Разговоры от них одни остались.

— Ты мне вот лучше скажи, — повернул разговор Арканя. — Если от Предела, от хребта, значит, взять нашу сторону, то Фартовый — это будет направо, так? А который левый — это будет Малый Верблюд, а за ним Большой Верблюд? Так или нет?

— Если от Предела? — пасечник задумался. — Нет, не так. Значит, направо будет Большой Верблюд, потом Малый Верблюд. А Фартовый упадет налево. Вот как получается. Верблюды пойдут направо, а Фартовый — налево.

— Ну как же так? — удивился Арканя, хорошо знавший карту и начавший всю эту географию, чтобы поближе подвести пасечника к разговору.

— Да уж так! И перетакивать тебе не приходится, если я там с Колей Макандиным зиму зимовал.

— Да ты не обижайся, а давай разберемся.

— Об чем речь, я без обиды.

— Он без обиды, Арканя, ты это не смотри. Вот по стакашу сейчас придавим, и все путя нам откроются. Скрозь пойдем!

— Значит, налево будет Фартовый, направо — Верблюды пойдут?

— Кто прав?

— Обои правы, — засмеялся Арканя, — ты же против меня сидишь. Это у тебя какая рука? Левая?

— Левая.

— А у меня — правая.

— Во, паря, мужики! Во, деревня бестолковая! — засмеялся пасечник.

Засмеялся и Арканя. Пикалов суетливо заглядывал то одному в глаза, то другому, весело ему было с хорошим разговором.

— В общем, значит, не держать особую надежду на балашовские избушки? Твой такой совет?

— Да ведь что я тебе скажу. Сколько лет я там не был! Пойти-то бы пошел — помню хорошо. А сказать — что скажу? Вот Ухалов, Петр Панфилович, тот везде бывал, и там был. Вот с кем поговорить! Только он тебе тайгу не откроет, камень. Заготавливали они прошлый год там северного оленя. Пятнадцать голов с Мишей Ельменовым забили и вывезли. Вот тебе и дело с концами. А что осталь-

пым охотникам ни одной лицензии не досталось — это их не касается. И мое — мое, и твое — мое! Понял? На вертолете залетали. Промхоз платил. На вертолете — не на ногах, куда хочешь можно залететь, хоть к черту на рога.

— Обыкновенно, средство транспорта. В других промхозах вертолеты небось нанимают, бригады забрасывать.— Арканя засмеялся.

— Средствие, говоришь? Для Ухалова средствие, а для меня, значит, не средствие? Я от этого без ног оставайся? Справедливо получается?

— Про справедливость я молчу. Каждому свой интерес. Кто успел, тот и съел, как говорится. Я квартиру получал. Мне следующий дом дожидаться надо, а голова на что? Председатель профкома комбинатский у меня на кухне неделю бюллетенил. Баба только мелькала в магазин. Поддавали. Ящик водки и ящик портвейного — квартира моя. Надо по современности сообра-жать. Ухалову — вертолет, лицензии, а вам фиг с маслом! Так они, наверно, и план кинули промхозу, и мясом по губам помазали в домашнем обиходе. Всем и хорошо.

— Черт с ним, с Ухаловым. Жизнь у него так в деньги и ушла, у Петра-то у Ухалова.

— Зря ты на него говоришь. Сумел человек — сразу завидовать. Деньги у него, конечно, есть, — возразил Пикалов, уважавший богатых людей. — Но и большого ума мужик, не отымешь. Большого. Он и в промхозе умеет — на хорошем счету, передовик, и в газетке про него писали, фотографию помещали.

— Вот именно, — подчеркнул Арканя. — Вот то-то и оно.

— Эва! — согласился пасечник. — Так-то если смотреть — оно все правильно. А уж только ни я, ни ты да никакой самостоятельный охотник в соседи к нему не согласится идти. Так?

— Значит, было раньше на Фартовом, а таперь нет, — вернулся Арканя к интересовавшей его теме.

— Все там было. Там, может, скит был! — Пикалов даже обернулся, сказав про скит, будто опасаясь подслуха. — В общем, поселение у них там целое было.

— Раньше ведь большими селами в тайге не жили, — сказал пасечник. — Большие села были трактовые, на больших пашнях да на приисках, где промышленность развивалась. А глубинку осваивали заимками, починками. Три семьи живут, у них и пашни на три семьи, и сена — на своих коров, они и перебиваются с пасеки на скот, со скота на охоту. Тайга, она — мать, если с умом брать! Орехи те же, ягоды.

— Это так тоже нельзя рассуждать, — уперся Пикалов. — Кого же тогда в колхозы организовывать? Пока Петька до Ваньки добежит, распоряжение принесет! А электричество? По всей тайге линии гнать прикажешь? И пользы от них государству никакой, сидят, самогонку варят! А тут, допустим, ЛЭП для них ведут! Понимать надо, линия-то! Я работал, знаю...

— Долдон ты, Пикалов, долдон! Столбов, видишь ли, пожалел, линий! А откуда обозы в город шли по зимникам? А пушнина? С малых поселений, отвечу тебе! Это же ресурс для снабжения строек и промышленности!

— Частью ты прав, а частью опять же нет, — мотнул Пикалов головой. — Ресурс, это и мы понимать можем, в тайге сена на десяток коров любая полянка даст, это ладно. Но ведь ты продавать хочешь, за что же тебе тогда пенсия, если у тебя личная собственность?

— Это кто же личная собственность? Своими руками если? А! Пенсия! Дети были у каждого заместо твоей пенсии, понял? Да с тобой, с дураком, чего спорить!

— Спорить и не надо, одно другому не мешает, — вмешался Арканя. — Можно бы и пенсию, и детей, и пасеку, и колхоз, и технику. Тайгу осваивать надо. Мне вот, например, это до фонаря. Я приехал, взял что хотел,— и Арканей звали. Но общую пользу я понимаю — осваивать надо. Тут одно к одному получается. Летом —пашня, скот, сено, ягоды; зимой — охота. Осенью твоя баба корову продаст, поросенка. А если пять продаст? Это сколько денег в семью?

— Что ему доказывать. Вот Балашовых взять, правда, они здоровые были, как лоси, за ними не всякий утянется. Но в чем дело все — в том, что тайга твоя и без

тебя в нее никто не пойдет, не нарушит. Занимались они как раз этой тайгой на Нерке. На Фартовом у них базовое зимовье было. Далеко, туда никто не ходил, а им спокойнее. Обстроились, и в такие концы — все пешками! Идут, посвистывают. Плашник[1] у них был хороший. Избушки-ночевки, в каждой продукты заготовлены. Они не таскали на спине, заранее завозили. Котомочка маленькая у него. Пришел — все готово. Обсушился, пушнину обработал, поел, на лыжи — и дальше. На Фартовом и на Нерке стояли у них базовые зимовья. На Верблюдах, между прочим, круга тоже были налажены. — Пасечник чертил толстым ногтем по иссеченной и изрезанной доске верстака. — Они и за Предел ходили. И там, говорят, тоже круга имели. Во, сколь тайги обрабатывали. Из наших мужиков тоже сильные охотники были, но за этими лосями не утягивались. Походили-походили по балашовским местам и отстали, уж сильно далеко. Ведь вот соболя в те поры кончили в тайге, а Балашовы приносили. И воровского заведения не было, чтобы куда-нибудь налево пускать. В Центросоюз, в Заготконтору, всегда сдавали государству. А теперь и люди специальные появились — скупать стали. Испортился народ. Контора тебе сколько дает? А скупщик!.. Вот то и оно. Да сразу на лапу, чистыми! Государству урон получается, скупщики барыши между собой делят, а охотник поеживатца — сёдни не посодят, завтре заберут. И куда денесся — рад бы сдать, дак ведь против живых денег не поплывешь!

— И правильно, — сказал Арканя, глаза у него блеснули. — Если соболь деньги стоит, ты и бери за деньги. Скупщику выгодно сотню платить, а почему конторе невыгодно?

— Ну, кабы контора под скупщика цену подняла, тот бы сразу усох, как муха на морозе. Кому хочется жить на воровском положении, в честном дому теплее.

В столярку снова пришла Дымка, стала в дверях, поставив лапки на порог. Арканя на правах хозяина подозвал ее, она подошла, но под руку не далась и легла в углу.

[1] Плашка — ловушка. Плашник — цепь ловушек по тропе охотника.

— Плюнешь в морду, если плохо ловить будет, — сказал пасечник. — Вот сам не могу, а то бы не продал! — Покачиваясь на табуретке, пасечник стал рассказывать, как хорошо он охотился с Дымкой, какая она вязкая, как хорошо идет и держит; рассказывал, как он молодым еще ходил далеко, и за Предел, и на Нерку, в поисках хорошей тайги, чтобы сорвать большую взятку; рассказывал, как простуживался и болел. Теперь ноги отниматься стали, пухнут, но иногда он понемногу ходит. Что-то с сосудами. Врач не велел пить, но особенно — курить. С одним таким же, как он, приходилось ему лежать в больнице. Ни курить, ни пить тому нельзя. А он и пьет, и курит. Курево в больницу жена носила. Плачет, дура-баба, а носит.

— Не принеси она, дак... — отозвалась со двора проходившая мимо столярки жена пасечника, незаметно приглядывавшая за мужиками, неосторожно курившими на стружках, и, не договорив, махнула безнадежно рукой и ушла в дом.

— Да, носит дура-баба. Ноги отрезали по щиколотку — не кури! Отрезали ему пальцы на руках — все это у него отнимается, закупоривает кровяные сосуды. Отрезали, значит, пальцы, а он свое: неси, жена, «Беломор», и непременно фабрики Урицкого. Двумя культями папиросу берет и курит. Так и умер с папиросой. Под конец врач говорит: теперь пусть курит!

— Теперь пусть курит! — эхом повторил Пикалов и радостно мотнул головой. — Во, мужик!

— Молодец, — презрительно сказал Арканя.

Пасечник замолчал, повесив большую свою кудлатую голову на грудь, — в волосах и в бороде с сединой перепутались мелкие стружки, — потом вскинул голову и стал смотреть долгим внимательным взглядом на лампочку, засиженную мухами, глаза у него наполнились слезами.

— Отходил, — зарыдал грубым голосом пасечник, — отходили мои ноженьки-и!

— Вот те раз, хозяин! Да ты чё? — засуетился и тоже сморщился Пикалов. — Ты чё, хозяин!

— Ревишь, я бы имел пасеку налаженную! — утешал Арканя. — Я бы разве килограмм сдал сверх плана? За

твою зарплату? Ни в жизнь! Все в город — по пятерке! Хочешь не хочешь, покупать будут! Благодарить будут, слышишь, ну?

— Спичку не зароните. Шли бы в избу, — говорила жена пасечника, стоя в дверях и глядя на плачущего мужа.

Замахиваясь на кого-то невидимого, ворочая безногим туловищем, пасечник повез рукавом по верстаку и уронил стакан. Арканя тоже махал руками, и Пикалов тоже начал махать. Они смутно пришли к общему согласию, и каждый считал, что именно он прав и все с ним согласились в чем-то важном. Арканя объяснял жене пасечника:

— В город бы вас, на комбинат. С магазина попитаться. Надо уметь вертеться! Учи вас, долбаков деревенских! Отделение! Слушай мою команду!

Стакан мягко подпрыгивал в стружке, катался под ногами...

Дымка упиралась, когда ее на веревке-удавке затаскивали в лодку. Арканя тянул, Пикалов толкал сапогом сзади. Потом они плыли вниз по Шунгулешу, Пикалов все пытался завести мотор, но у него не получалось. Плыть вниз можно было и без мотора. Шунгулеш — быстрая река. В лодке они запели песни. Дымка смотрела вниз, пока ее везли в лодке, нарыскивалась прыгнуть за борт. Подплывали к селу, и Дымка стала смотреть вперед, навстречу доносившемуся по воде чужому собачьему лаю. Пикалов простуженно напевал:

Посмотрите, как пляшу,
Я бродни с напуском ношу.

Арканя смутно прорастал воспоминаниями в дальние годы детства: когда подпивали его дед и бабка, у которых он воспитывался, то на пару пели частушки и песни, и вот эту, про бродни с напуском, тоже, а он, маленький, в красной рубашонке, плясал босой посреди избы. Он пытался подпевать и теперь, но слова плохо помнились, забыл их, а помнил «Ландыши-камыши» и «Ладушку».

Лес в темноте осенней светился по берегам, светились в основном березы и осины, редкие, вперед других скисшие лиственницы. Еще не сильно было темно, а так, сумеречно.

2

Утром Арканя проснулся тяжело, — с годами стал болеть на похмелье, — пошел проверить собаку, которую привязали ночью в стайке. Вчера она укусила кого-то, то ли его, Арканю, то ли Пикалова, — Арканя вспомнить не мог, — но укусила. Собака показалась сильно маленькой. Брюхо у нее было заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее. На промысле ощенится. Арканя принес ей вареной картошки и половину хлебного кирпича. Дымка не ела и от нового хозяина отворачивалась. Лапки, ошибочно показавшиеся Аркане при первом взгляде разношенными, были хорошими комочками, только женски длинноват был следок. Вполне хорошие лапки.

— Собачку мы с тобой зряшную сосватали, — сказал Арканя не то, что думал.

— А ты чего хотел перед промыслом?

— Да я так просто. С пузом еще. Дам сапогом, выкинятся!

— Не-е, это нельзя. Она совсем тогда не сгодится.

Они опохмелились с Пикаловым и решили, что надо искать еще одну собачку, для страховки. Какую ни на есть. Бывает, возьмется за соболя и вообще какая-никакая дрянь. Всю жизнь под воротами пролежит, а потом раз — и на тебе! — пошла соболей ловить. Таких историй они рассказывали друг другу несколько и, убедившись в своей правоте, пошли думать со знакомыми мужиками в деревню.

Арканя был действительно озабочен второй собачкой и поэтому к разговорам относился серьезно, пил поменьше и соображал, как бы обмануть какого раззяву-охотника да купить у него принародно за хорошие деньги собаку. Это случалось в Арканиной биографии. Это, говоря прямо, был его коронный номер. Выпьет охотник — море по колено, тут его и начинай вертеть. Особенно ловко выходило, если вдвоем, если напарник подпевает. Опомниться не успеет охотник — деньги у него в кармане, собачка в чужих руках. Все при свидетелях, никакого мошенства. И чем больше уплачено, тем дело честнее. Плачет иной наутро, — а чего ты, ворона, вчера куражился?

— Дворового купи? — в шутку предлагали мужики, но Арканя не обижался.

Вечером в каких-то гостях, — уже по избам гулянка пошла, — потребсоюзовский шофер предложил Арканe своего дворового кобелька, дескать, есть надежда, что в нем талант проявится, потому что одним боком кобелек произошел от известной в недалеком прошлом по Шунгулешу сучки Альмы. Сам хозяин его не пробовал, а держал во дворе.

Кобелек толковый, понятливый, правда, во все драки завсегда лезет, и посейчас у него лоб распластан, отец у Верного (так звали кобелька) был драчун известный, шеленковский лабазный кобель, Верный и характером пал в отца, — но матерь его, Альма, сука добрая была. Ее брали на медведей, на сохатых, соболей она тоже хорошо находила. На морде у сохатого Альма и погибла.

Шофер на охоту не ходил из-за лени и огромного брюха, он и за столом-то сидел боком, и руль брюхом приваливал, когда закуривал в машине на ходу.

Арканя про себя потихоньку соображал, что вот если купить кобелька подешевле, как бы по пьяному делу, то он немного потеряет. Деньги, оставшиеся от продуктов, он все равно пропьет — тридцать рублей, не брать же их с собой в тайгу, для вертолета деньги под плексигласом лежат неприкосновенно. Чего ж еще. Все собака. Не хрен с маслом. Деньгам один конец. Вот если он их сейчас отдаст шоферу, то деньги эти, при умном поведении, все-таки будут совместно пропиты. Не понесет же их такой солидный, самостоятельный мужик — с таким-то брюхом! — под зеркало! На месте расстреляет! (Но в таком рассуждении Арканя дал просчет, потому что в этой деревне пропивали мужики от десятки вниз, а от десятки вверх клали под зеркало.)

Кобель был рыжий, крупный, мясистый (мясо не картина, в первые дни сойдет), не сказать, чтобы дурного сложения, локотки разве сильно разведены да хвост дворняжий, провисает меж ног, но глаза у него были умные, воровские, челюсть бульдожья, а грудина широкая. По глазам судя, не простой кобелек, хоть особых надежд на него возлагать не приходилось.

— Ты чё, тятя, пьяной? — удивленно спрашивала девочка шофера, когда отец вытаскивал за цепь на улицу — в дом Арканю с Пикаловым не приглашал — упиравшегося кобеля. Присутствующие посмеивались. Верному надели на шею веревку (цепь Аркане была не нужна, хотя хорошая, самокованая), привязали к заплоту. Девочка поняла, что Верного продали, заплакала, стала просить отца. Вышла хозяйка, пристыдила мужа, что из-под цепи собаку продал, а шофер, тоже смехом будто бы, отдал ей тридцатку, но не шутя, а совсем отдал, со словами: «Бери-ка, Алевтина, Верный у нас поросенком отелился!»

Пришлось посмеяться и идти от чужих ворот не солоно хлебавши. Девочка шоферская плакала, убивалась, бежала следом, целовала Верного в морду. Аркане стало жаль девочку, сказал, что ничего, Верному хорошо будет: «Мы с ним в лес пойдем, соболей ловить будем!»

— Соболей, — усмехнулся Пикалов, которому было жаль пропавших из общего дела денег, — в самолучшем случае рагу из него получится. На нем мяса, как на телке!

Лет Верному было около трех-четырех, шофер и его жена разошлись во мнении по этому поводу. Он говорил, что сначала стайку построили новую для коровы и телка, потом Верный появился, а она, призывая в свидетели отсутствующих своих родителей, припоминая, сколько она слез пролила, пока заставила мужа делать новую стайку, доказывала, что Верный появился за год до этого счастливого события. Стайка, выходившая задом на перекопанный огород, была видна. Хорошая, теплая, с сенником, срублена она была из старой бани с добавкой новых хороших бревен на нижние венцы. А три-четыре года для кобелька — это такое время, когда изменения еще могут произойти, может, и толк в нем окажется. Кобельки против сук запаздывают на полгода-год в своем развитии.

3

Поблескивала на дне леса Нерка — приток Шунгулеша, — отражая случайно пробившиеся сквозь таежную темень солнечные лучи, поблескивали кое-где болотинки, озерки. Арканя сверху жадно схватывал, запоминал тайгу,

широко открывавшуюся ему: там гарь, поворот река делает, там болото, там россыпи, вот он, почти рядом, голец...

До Фартового не долетели, покружили где-то над ним и вернулись на гарь, километрах в пяти, очень густо было для посадки — кедрач, ельник, плотная сильная старая тайга с буреломом и валежником. На гари трава, пышно разросшаяся за лето, сжалась, спеклась, укутала колодины, полегла, причесанная и зализанная ливнями. В ямках стояла вода и зеркально вспыхивала. Арканя махнул летчику: «Давай тут». Все равно, подумал он, перетащусь, если найду жилье на Фартовом, а если не найду, если погнили и погорели зимовья, здесь и балаган сочиню, на краешке гари.

Чувствовалось сверху пространство свободной, незанятой тайги. Сколько ее пустует из года в год! Кто здесь последний охотился? А освоенная тайга — тесней год от года, и площадь ее сокращается. Ближние удобные тайги дорожают, из-за них и охотники ссорятся, их и рубят в первую очередь, их и переопромышляют. Трещат доступные тайги от охотников! А здесь — во! И все оттого, что как будто всем все равно. Не мое, даже не наше! Все, что встретил, — мое, сегодня возьму все, что смогу взять, а то завтра другой возьмет. Любой бродяга — с договором, без договора — приходи, черпай до дна. Как Мамай. Да что бродяга, бич, сезонник! Мелочь какая-нибудь бестолковая, туристишка, забредет и спалит все дотла. Ничья тайга...

Волновала Арканю тайга, расстилавшаяся внизу бесхозно: хоть вверх по хребтам, хоть вниз по урманам, по перевалам — все твое! Успевай, Арканя!

Вертолетчик равнодушно взял приготовленную четвертными сотню.

— Ни пуха ни пера! Так, что ли, у вас говорят?

Завертелся как дух и полетел в своей ступе над тайгой. Вертолетчик сильно рисковал, забрасывая Арканю, а охотник уважал риск во всем: будь он вертолетчиком, тоже не ленился бы, а калым сшибал.

Собаки разбрелись по гари, нюхали, смотрели.

Арканя строил план, как искать зимовье. Сидя на горелой валежине, — теперь уж все равно, чистые или в саже будут штаны, — шарил взглядом по сопкам, свыкаясь с новой этой землей, с этими, по слухам, сказочно богатыми местами, про которые он давно уже, несколько лет как мечтал и в которые наконец-то забрался, и где он теперь, на этот только сезон, хозяин.

Барахла было два тючка легких, — продуктов, раззява, опять недобрал. «Зато нести легче, — подумал Арканя о продуктах. — Ничего! Зверька завалим рогатого, строганину будем есть».

Судя по карте-синьке, идти следовало вниз, за маленький перевальчик, и если там будет ключ, то, значит, Фартовый, а если ключ будет справа, на той стороне Нерки, то, значит, летчик-долбак, значит, далеко сели, и будут идти один за другим Малый и Большой Верблюды, а выше их — маленький ручей со славным именем Болонгуй.

Арканя достал из мешка топор и ружье, которое сразу собрал и зарядил. Ружье было не очень подходящее, но счастливое, «Зимсон» шестнадцатого калибра, с вынутыми за ненадобностью и экономией эжекторами. Вот с топором он сплоховал и сейчас уже об этом пожалел — башка у топорика болтается. Пьянствовал, а надо было о топорике позаботиться. Когда-нибудь застынет как пес, и все из-за беспечной лени, халатности и излишней смелости — «авось не пропаду».

Пока что действительно не пропадал. А возможно, и будут гнить в тайге его косточки, мышки обточат, дождички обмоют, травка прорастет, никто не найдет. На вертолете — не на спине, взять надо было у Пикалова большой топор, у него их вон сколько. Хоть бы тот, который в сарае лежал, в дровах. Если сломается эта тонковатая ручка, то куковать ему да куковать.

Захватив с собой немного продуктов, Арканя сделал, как решил: одолел перевальчик, спустился и внизу увидел ключ слева, как и положено было по карте и по предположениям, а самое главное, по чутью, на которое Арканя единственно и в жизни, и в тайге полагался. Значит, Фартовый.

По ключу Арканя и повернул вверх, сделав, от греха, затесь на том месте, где надо было поворачивать на гарь, к вещам. Хотелось Аркане найти старые зимовья, хоть они и погнили, разумеется, но он был не против и полуразвалившегося барака, хоть его и не натопишься. В таком бараке всегда пила найдется списанная, топоры брошенные. А если раскольницкое зимовье искать, то смотреть надо в отнорочках, пазушках, в щелочках каких-нибудь, в распадочках боковых, неожиданных они свои зимовья прятали.

Набрел Арканя на старый затес, заплывший на широком боку кедра, — значит, направление у него правильное, и пошел веселее. Потом второй затес, — совсем правильно: тропы ближе к зимовью стягиваются со всей тайги в пучок, в фокус. Кто-то не из больших охотников орудовал здесь, если затесы такие ему были нужны частые. Не иначе — геологи. Настоящий охотник для мальца или для женщины затесы делать будет тоже. Геологи, вернее всего, те ходят — тропы тешут.

Внизу идти было сильно мокро. Вода сочилась по всему дну распадка, и там, где виднелась старая тропа, было мокро совсем, — значит, это только зимняя тропа, и выше по склону должна оказаться тропа сухая, летняя. Чтобы не путаться и время не проводить, Арканя шел все низом, низом. Бродился он в рабочих казенных башмаках, взятых для зимовья на сменку, у него в запасе были белой резины японские сапоги — «ботфорты», на которые теперь пошла мода: ходят в них в тайгу хоть зимой, хоть летом, махнув рукой на ревматизм. А для зимы у него была ценная вещь — полудомашние ичиги. Сделал ему их один случайный старичок. Им уже третий сезон, только промокать начали подшитыми стельками. Хорошей кожи не нашел, пришлось фабричную ставить, и осоюзил фабричной кожей (а то бы горя горького не знал про резиновые сапоги).

Нынче сибирские охотники домашнего производства ичиги давно уже не делают, поразучились. Сначала поступали фабричные, потом и фабричные кончились. Кто же будет делать уродливые право-левые, лево-правые ичиги за девятнадцать рублей? Да и не нужны такие ни-

кому. Кожа не та. И бродни плохие. Кожу делают для городской носки, другим способом, чем раньше в деревне, химия другая, вот и промокают. А собрать бы старичков, кто помнит, научить молодых, артель организовать. Десять старичков десять деревень обули бы таежной обувью. Перешли на резинки!.. Ревматизм от них только. Старики вот перемрут, как с броднями тогда быть?

Зимовье Арканя просто почувствовал. Остановился и почувствовал. Вот если бы он не был слесарь—золотые руки на химкомбинате, а был бы штатный охотник, — конечно, кабы контора по живой цене принимала пушнину, — то тут бы, на Фартовом, и была его тайга, именно здесь бы он поставил свою главную базу. На излучине этой. Сделал бы переход через ручей. Пробил бы круги плашника, кругов пять-шесть по сотне ловушек. Тут как раз похоже на лужок, коню сена накосить летом. Епифанов-балагур говорит: «Одному коню горстям нарву». Зачем «горстям», литовочку бы занес. Для зимовья место удобное, сухое, и вода рядом. Кедрач кругом отличный, не молодой, не старый, самый колотун, шишки на нем висят, как гранаты-лимонки. Баню бы поставил! Не чета местным долбакам, сладости не понимают, по сезону не моются. Да у них и стимула нет, при обезличке угодий, — построишь, а участок как раз и передадут Федьке. Будет он париться да смеяться: спасибо, мол, друг, хорошая баня!..

Зимовье тут и стояло. Тропки к зимовью, то есть к геологическому бараку, конечно, через чащу стекались, заросшие. Пять на пять — гараж! Труба буровая на фундаменте. В трубу сена пищухи натаскали, им, пищухам, все равно. Упавшая лесина, криво зарубленная, жженная с этого же боку: смола накипела, а дурачок какой-то поджигал, баловался; упала от бури, зацепила, сдвинула крышу. Щепа побурела уже. Стекла же остались целы, и только двери не было. Внутри сырость, и в нескольких местах стены белели плесенью, зияли щелями. Печка совсем прогоревшая, но был очаг и выходное отверстие в стене — «хлебальник» — для дыма. Очаг был большой. Жег тут сторож Орлов целые лесины, не ленился таскать. «Вот только кто-то дверь снес. И кто это насвинячил?!» — с обидой думал Арканя, радуясь в то же время, что не

надо строить балаган, что не придется дрогнуть ночами на морозе, не придется сезон вертеться по-собачьи клубочком под тентом, который он на всякий случай приволок. Дворец! Дверь сделать — полдня делов, вон нары на десятерых, половину разобрать на дверь, гвозди вынуть. Петли от сожженной каким-то проходимцем-туристом двери Арканя нашел в костерике, они были словно из музея, истлевшие, но в дело годились.

Арканя натаскал сушняка, разжег его на очаге, набил им печку полняком и на четвереньках выполз из-под дыма на улицу, — дым валил из всех щелей. Пусть сохнет, а он побежал за мешками.

Дымка встретилась на дороге. Потом за кустами мелькнул и Верный. Они пришли к Аркане на службу. Другого человека, получше, они не нашли, сколько ни искали.

Мешки Арканя потащил сразу оба, чтобы зараз отпотеть, устроиться и вступить во владение. Где-то недалеко вроде бы взлаяла собака. Аркане было тяжело, отдыхал он через каждый километр и думал при этом: на кого же лают собачки?

Лес был разноцветный, прохладный по-осеннему и по-осеннему солнечный. В заводях ручья было набито листьев и хвои. Плавились маленькие ленки, гонявшие в ручье харьюзков. Рябчики встречались и на том пути, и на обратном тоже встретились. Прошумел где-то глухарь. Хлоп-хлоп крыльями, хлоп-хлоп. Было два следа изюбровых на мокрой тропе, по болоту виден был след сохатого. Но это все, конечно, не занимало Арканю, беспокоил его собачий лай.

Верный тоже через время голос подал, толстый голос, грубый, отрывистый. Хоть голос хороший, и то ладно, на такой километра за четыре зимой идти можно. Дымка лаяла заливисто, страдательно.

В барак Арканя притащился затемно, ноги после городского безделья дрожали, пиджак промок по всей спине. С темнотой наступил сильный холод, от травы встал пар. В бараке пахло грибами, было сыро еще, и ночевать в нем Арканя не решился, стал ладить костерик. Устроивши ночлег и навалив дров в очаг, чтобы и ночью барак сушился, Арканя попил чаю у костра, покурил хорошо да

так и заснул от усталости первого дня сидя. Время от времени он просыпался, взбадривал костерик, смотрел на малознакомых собак, на индевеющую под луной тайгу и снова засыпал, кутаясь в курмушку и в железный брезент.

Много таких Арканей дремало сейчас у костерков на просторах остекленевшей тайги Саян, Бурятии, Якутии, Эвенкии, Иркутской, Красноярской, Хабаровской областей. Остывало, простуживалось, дышало дымом чужих зимовий. Все эти сезонники-любители имеют одну общую черту — удивительную приспособляемость, способность переносить наравне с четвероногими все трудности таежного доисторического быта, способность мерзнуть и голодать, способность бежать весь день и не помереть, лежать под снегом сутки, способность слышать и видеть — как зверь и обмануть зверя — как человек. Они плохо оснащены сравнительно с профессиональными штатными охотниками (хотя штатные тоже наполовину неотличимы от любителя), не имеют своей, за долгие годы оборудованной тайги (у настоящих профессионалов тайга оборудована и превращена почти в цех, в огород) и уж, разумеется, не имеют никаких гарантий. Оттого и пушнина идет налево, и происходят с ней всяческие чудеса. Говорят, и есть тому свидетели, что на хабаровской барахолке, в воскресенье, среди белого зимнего дня нормальный мужик продавал шкурку зайца-беляка за десять рублей! И, говорят, шкурку эту купили на шапку. Казенная цена беляка — рубль. Только хабаровчане утверждают, что неправда, что продавали этого злосчастного белячонку на иркутской барахолке.

Скоро, скоро закипит тайга...

Арканя не самый худой человек на сибирских просторах, хоть, разумеется, далеко и не лучший. И у него имеется надежное местечко, куда он пушнину понесет. А рублей на триста — четыреста, для отвода глаз, сдаст в контору промхоза: надо выпить-закусить, надо оставить после себя квитанции. Сдаст всю белку да несколько соболишек — вот неудача, всего и добыл для вас, товарищи!..

4

Солнце вставало не по-городскому, медленно.

Арканя дрожал спросонья от сырого, мозглого холода. Быстро раскочегарил костерик, размялся, пробежав по стеклянной траве за водой, с ледяными пленочками принес котелок, протянул руки к огню и удивительно быстро и радостно очнулся, огляделся и повеселел.

Повставали и собаки, смотрели, ждали харчевку. За спиной зияла теплая дыра барака, свистели синицы на кедре над головой, на вершинах деревьев на восточном склоне Фартового ручья, о котором Арканя мечтал на перекурах и пересменках за домино, лежала, прожигая и плавя под собою землю, большая — больше сопки — половинка солнца.

Арканя перекусил, покормил хлебом собак и взялся ладить дверь, отвалив доски от нар. Барак он опять затопил, пол побрызгал, подмел. Траву, пролежавшую на нарах неизвестно сколько лет, вытащил и сжег вместе с нашедшимися тут гнилыми портянками и дырявыми носками. Под травой оказались журналы и газеты, он отложил их до лучших времен. У родника нашел вкопанную косо — в склон — трубу, из которой бежала вода особого вкуса. Воду эту Арканя, полагая, что она полезная, и стал пить.

В обед он прорубил в новой двери пазы для шипов-поперечин, и осталось только насадить дверь, когда раздался недалеко совсем звонкий, с заливавшимися на высоких нотах визгливыми концами голос Дымки. Сердцу у Аркани заходило, как рыба на крючке.

Дымка лаяла на белку, конечно, а не на соболя. Верный ходил вокруг дурачком, время от времени взлаивал, смотрел на дело со стороны. Арканя, похваливая собаку, выстрелил. Верный, чему Арканя очень обрадовался, не испугался выстрела, а наоборот, озлобился и кинулся к медленно падавшей сквозь ветви белке. Он даже закусить ее хотел, но Дымка взвизгнула и ударила его по загривку верхними клыками. Верный отпрянул, не заворчал, присел и, как показалось Аркане, сразу все понял в охоте. В повадке Дымки видна была собака характер-

ная. Быстро обрезав лапки, сдернув с белки носочек шкурки — красноxвостка, отметил про себя, выходная, — он разрубил на валежине теплую тушку ножом, кинул задок Дымке, передок Верному. Цепной пес схамал на лету, а Дымка для приличия подержала в зубах, вывалила в траву, отошла.

Дымка была охотничьей собакой, и белок ей всегда парили, из уважения.

— Фу-ты ну-ты! — засмеялся Арканя, — гордая, значит? Нау-у-чим!

Зимовье Арканя оборудовал прекрасно. Он даже законопатил щели мохом, вспоминая при этом, как за таким же занятием — за собиранием моха — одного из братьев Игнатьевых задавил медведь, пока старший брат отлучался на минутку. Старший брат подскочил и стрелил медведя наповал, но было поздно. Стол Арканя вымыл, выскреб, размел от порога дорожку шагов на пять, вырубил корытце собачкам из колодины, чтобы пища дольше не замерзала. В журнале нашлась репродукция — женщина, белая, полная, даже розовая, будто распаренная, сидит в газовом платочке, а возле нее негритенок стоит на коленях. Женщину щепочками к стене над столом приспособил и поглядывал.

Вечером было уже три белочки, добытых между делом около зимовья. Все три были выкунявшими — готовыми, а это Арканя считал признаком близкого снега.

Теперь сидел он, наслаждаясь тишиной теплого вечера, последних теплых деньков, планировал, в какую сторону идти-подаваться, откуда начать блицтурнир. Решил Арканя быстро, стремительно взять все, что можно, и встретить снег полным мешком пушнины. Вспоминался комбинат, жена, Колька, главный инженер цеха, от которого он ушел, как колобок. Последние дни Арканя работать не лез особенно, жил предпраздничнo. В третьем цехе случилась авария, трубы разошлись, хлор попер, Арканя в заваруху не сунулся, сделал вид, что ему переодеваться не хочется, а был он в свитере новом, в костюме своем лучшем, синем, — в управление с бумагами ходил.

Конечно, не из-за одежды, поостерегся просто, наглотаешься газа, как в шестьдесят седьмом наглотался, долго ли до греха, попадешь в больницу — и плакала пушнина. Осень наступила. Значит, увольняться пора. Без содержания месяц никто не дает, хоть и пишет заявление, на всякий случай показывает — вот, мол, по семейным обстоятельствам. Не пройдет — сразу из другой руки: прошу уволить по собственному желанию. Заработанные дни, он, мудрый человек, уже отгулял.

Иванов взбесился. Конечно, занаглел Арканя, уже при Иванове он свою штуку откалывает третий раз, пользуется нехваткой рабочих высокой квалификации, золотых рук. Так каждую осень у Иванова по куску от сердца отрывает.

Пальцем постучал Иванов по столу:

— Не приходи больше, Алферьев, больше не возьму. Ясно?

Стучи пальчиком, пальчик твой.

— Александр Викторович! Кто вам лучше работает? Может, Минягин? Кто вам вентили подгонял? Пока кто другой додумается — у Алферьева все готово! Правильно? Обидно, конечно. Я о себе уважаю хорошее мнение, как о специалисте.

— Иди, Алферьев. Ты рвач. Летуны и рвачи так рассуждают, а не советские люди. Нужен цеху человек моей специальности до зарезу каждый год и каждый день — значит, то и ворочу, что мне выгодно. Прежде, значит, мои собственные интересы, а потом производственные. Они подождут?

— А как же? Если я о своих интересах не подумаю, так вы за меня будете думать? Смешно вы рассуждаете. Интересы!

— А квартиру получал, ты что на месткоме говорил? Как каялся?

— Это дело прошлое, я не против...

На том они и кончили базар. Никуда не денутся, возьмут. Не возьмут — на любом производстве с руками оторвут. Арканя все понимает прекрасно, мозги ему не надо вправлять, он сам разговорчивый человек. Труба из легированной стали была, они ее с Васей Конем на бочки порезали, особоустойчивые бочки получаются под

соленья, маринады, — стоят, сколько швы держат, а сам материал как новенький. Полста рублей штука. На миллион лет рассчитано, под кислоту идут, штучно делали на каком-то заводе в Свердловске. Конь договорился с крановщиком, тот и закинул трубу на свалку, в металлолом. Полежала она там, пока ее обыскались и новой заменили, а потом подходи, спрашивай — в мусоре нашли, жалко, что ли? Особая сталь? А нам откуда знать, мы не инженера, видим, лежит, для смеху бочечки поделали, для себя...

Закончил Арканя и ножичек охотничий с наборной ручкой из клееной кожи. Отникелировал, выточил. Игрушка. Охотничьи ножи — Арканина страсть. В этом только году сколько сделал, а сколько всего произвел их за сознательную жизнь! Он, может, из-за них и слесарем стал. Арканина марка известна — ножи у него бриткие, острие держат хорошо, гнущие ножи, не ломятся. Строгать хорошо, шкурку снимать хорошо, консервы открывать — пожалуйста. Несколько ножей у него получилось — гвозди рубили. Каждый слесарь делает ножи, не редкость, технология известная: подшипниковая, рессорная сталь, отковать, оформить, закалить, выточить. Ручку можно плексигласовую, кожаную, из березовой щетки. А вот один нож получается ломкий, другой мягкий, третий не заточишь, четвертый на морозе ломается.

Секрета Арканя не выдавал, его ножи были особые. Как-то после драки в снегу возле столовой нож нашли, посмотрели, попробовали — Арканин. Пивоваров — капитан — пришел, расспрашивал. Вещественное доказательство! Кому давал, за сколько? Цена, фактическая вещь, четвертная, а вот как он в драку попал — это уж вы, товарищ капитан, разбирайтесь. Нож сделал — виноват, больше не буду. Делал дома, не на работе. Остальное не мое дело.

Пивоваров по своему профилю большой мастак. Знает на комбинате ходы-выходы. Его сюда прикрепили, когда растащили электромоторчики. Моторчики снимут, а машина — миллионы стоит — работать не может из-за мелочи такой, тем более машины-то заграничные. Капитан даже жить наладился на комбинате, но прекратил. Никого,

между прочим, не посадил, ни одного человека, а мог бы. Моторчики очень хорошо годились для насосов, огород поливать. Под конец они подешевели, по пятнадцать рублей шли. Ведь как сделал капитан? Готовые насосы с трубами привезли — магазин завалили, приходи, плати сорок пять рублей, включай, радуйся! Капитан проверять грозился, у кого что стоит на огороде. Не надо проверять, ворованное честному всегда уступит, это и так понятно. Ведь от соседей стыдно. От капитана можно в землю зарыть, а от соседей? Совести условия создать — она свое возьмет!

Ножи чем хороши — ножик подарить можно. Пикалову, например, или какому-нибудь охотнику, охотоведу, даже директору. У любого сердце дрогнет, если на его глазах с гвоздя стружка под лезвием побежит. Вот с топором у Аркани неувязка. Отковал он как-то в кузнице один топор. На поковку смотреть противно, такая она культяпистая, делать ее не хотелось, кусок железа, и все. То ли дело ножичек — лежит на верстаке рыбка, вид у него личный, прогонистый такой, о молодости хулиганской напоминает. Ходил Арканя с таким ножичком за голенищем хромовых сапог. Шарфик вискозный белый, курмушка из нового сатина, стеганная узором кожаная шапка с каракулем, в меру наколотый, в меру приблатненный. Срок маленький мотнул, два годика. Как выскочил — ша, семья и свобода ему дороже всего. Арканя научился жизнь понимать, теперь пусть другие которые...

Заготовочку топорную кто то не поленился свистнул, унес раззява какой-то. Так уж больше Арканя и не делал топора. У соседа как-то взял один, согнал углы на наждаке, обух спустил — полегче чтобы стал, но бросил все же на обратном пути в лесу — тяжело показалось. Да кто хороший топор даст? Чаще сам в зимовьях под нарами шарил, случалось, находил — если пошарить под нарами глубоко, на чердаке, по углам, под печкой; найдется почти в каждом зимовье или пила, или топор. Пользуйся. Сколько раз бывало. Но однажды чуть насмерть не замерз. Все дурная голова ногам покоя не дает. Не сделал топор, таскается с каким попало. Вплоть до туристских из магазина, людям на смех. Сколько раз с то-

норища топор соскакивал, в ногу попадал, в снег заваливался — час приходилось с матюгами по снегу голыми руками шарить во тьме кромешной, а костер тухнет! И теперешним топоришком попасть в лиственничный сучок — развалится.

Беда здесь не в том, конечно, что топор себе никак не запасет, не в лени дело, а в том, что жизнь у него половинчатая. Каждый год у него делится на принудиловку-работу — комбинат, и на праздник — азартную, как карточная игра, выгодно-доходную и в то же время радостную охоту, в которой и труд, и свобода Арканиного характера сливаются в одно, во что-то третье, среднее между ними. Но охотники зарабатывают два-три месяца в году, остальное время зубы ихние хранятся на полке или труд их разливается куда-нибудь на погрузку-выгрузку, в истопничество какое-нибудь, известь какую-нибудь жгут, черт знает чем занимаются. На комбинате же, с премиями, двести у Аркани твердых, всегда и по гроб жизни. Поневоле пойдешь обратно в цех.

Каждый раз на выходе из тайги Аркане кажется, что последний раз он был на охоте, каждый раз с легкостью бросает он тяжелый топор. Случись, изменится положение на комбинате, текучка прекратится — все, не рискнет Аркаля уходить. Так что дело получается не в топоре, а в обстоятельствах жизни, да и стаж прерывистый может плохо сказаться на пенсии, договорная промхозовская бумага — надежда плохая.

Эту ночь Арканя ночевал в зимовье, дверь подогнал хорошо, ручку сделал из сучка. Слушал маленький транзистор, глядел в огонь и мечтал, мечтал... Нюра сейчас, наверное, спит, раскинулась, халат у нее нейлоновый, такого заманчивого цвета — розовый, стеганый. Добрая баба. Девушкой досталась Аркане. Он и бросал ее, другими увлекался, но вернулся к ней все же, такая она вроде бы и безответная, а тянет как магнитом, надежная жена, из колонии ждала, из армии ждала, письма писала. Кольку родила. До самой больницы по дому летала, прямо от печки увезли, два раза охнула — парня родила на четыре кило. Чтобы по пиджакам получку шарить, чтобы упрекнуть когда выпившего?! Знала, что если выпил Арканя, значит, надо было; если денег мало принес, значит,

надо было; если друзей привел — молча собери на стол, стаканы подай, улыбнись, пригуби, в разговоры не свои не мешайся.

Особо красивая Нюра была, когда Кольку родила, — пышная, белая. Кольку кормила — проснется ночью, глаза закрыты, лампу включит, Кольку приложит к груди и сама опять спит, а малый наестся до отрыжки и тоже спит. Тогда надо Аркане вставать, сцену эту демонтировать. Очень он боялся, что она со сна мальчишку задавит, и доглядывал, тоже просыпался. Кольку в кроватку, а Нюрку в кровать. Тогда он еще пол в старой хате не перестилал, и понизу несло холодом, снежинка упадет у порога и не тает всю ночь. Ноги у Нюры заледенеют, бывало.

Вот за эту свою жизнь Арканя мог и в хлор полезть, и в любую другую аварийную обстановку, мог и по хребтам пластаться, замерзать и мокнуть и на пушнине рисковать. Пушниной капитан Пивоваров тоже интересоваться начал, видно, распоряжение такое вышло.

5

Охота началась.

Больше всех старалась Дымка, она искала с жаром, со страстью, не успевал Арканя выстрелить, а она уже мчалась на поиски, вот уже за сопкой лает, и бежать туда Аркане полчаса бегом.

Семь белок сгоряча добыли, у Аркани глаза помутились, взопрел с отвычки, развел костерик чай пить. Пришел сразу откуда-то Верный, лег у костра обессиленный, язык вывалил. Видно было, что в охоте Верный чувствует что-то и свое, но вот как немтырь — сказал бы слово, да язык не шевелится. Мотается Верный за Дымкой, тоже поднимается лапами на ствол дерева, кору скребет когтями, а толку еще не понимает. Видит, что спутники азартным делом занимаются, вроде собачьей драки, но не нашел еще себе места в работе. Характер у Верного показывается умный, даже хитрый. На хозяйских глазах бегом бежит, даже хвост в полкалача подожмет деловито, — оглянется, мол, стараемся, товарищ инженер, к обеду готово будет! Но лаял без толку. Бел-

ка уже ушла на соседнее дерево, а он под прежним сидит и гавкает толсто. Дымка новое убежище показывает беличье, вьется от нетерпения, готова как кошка на дерево заскочить, Верный дураком сидит: гав да гав!

Дымка летала по кустам, по валежинам, не подумаешь, что сукотная. Старательная собачка, самоотверженная, нарадоваться невозможно. Такие вот собачки всю охоту и делают, весь план по пушнине, валюту. Бегают по тайге собачки, ищут, зовут охотника.

Дымку Арканя старался кормить, давал ей больше.

В зимовье вернулись таким порядком: сначала пришел Верный, он уж давно, видно, у зимовья околачивался, набегался, устал и повернул домой раньше всех; потом пришел Арканя, а Дымка еще где-то старалась. Но у Аркани уже сил не было идти на голос доброй собачки, только чаю попил, белок сварил, — не ела сырых Дымка, упиралась, — да и завалился без задних ног и заснул, как умер. И снилось ему, что лаяла Дымка на соболя, на такого красивого — светился соболек.

К чему такой сон приснился?

К снегу. Мелким снежком ночью пробежалась зима по осенним еще владениям, отволгло небо, помутнело, посерело, разбухло

Похолодало. Бегать стало ловчее, легче, или сам Арканя подтянулся, усох, согнал воду, укрепил жилы, дыхание прочистил крепким осенним воздухом, выдышал, выплевал комбинатские вредные осадки и стал нестомчивее

Дня три-четыре не было соболей. Похоже становилось, что Дымка-то бельчатница, а хоть грешить на такую счастливую собачку было бы стыдно, все-таки закрадывалось Аркане в душу сомнение. Капканов у него всего двадцать штук с собой, много ими не наловишь. Еще и снег нужен для капканов. Может, соболей здесь мало? Тоже снега не было — проверить. Снег выбелил только склоны гольцов, лег полосой по вершинам хребта. Туда и отправился Арканя, наскучив белочками, проверить соболей.

Случается, что собака привыкает к видимому следу соболя, а на один запах не берет; такие бывают, что по

снегу возьмет, а по чернотропу белочку предпочтет облаять. Может, и соболя сейчас повыше держатся, может, им мыша по следу легче искать? Такие соображения погнали Арканию вверх, а чувствовал он себя уже хорошо в ногах, в плечах и в груди и готов был, в случае чего, если есть наверху соболя, и ночевать там.

След, мягонький и свеженький, Арканя обнаружил, отойдя от зимовья километра три-четыре. Позвал Дымку, она не шла, потом оказалась наверху, на этом же следу, и на морде у нее была забота. Арканя подозвал ее и потыкал все же носом в след. Дымка конфузилась и отворачивалась, отбежала, встряхнулась и ушла куда-то. А через час подала сверху голос. Голос был уже не по белке, особый. Рядом грубо забухал Верный.

Это был соболь. Славный такой, светленький, маленький, молоденький соболек. Первый..

По горсти сахару дал собакам Арканя и по сухарю.

Ночевать остался наверху, где уже был зимний холод и льдистый снег-чир. Ночевал Арканя, по своему обыкновению, по дедовской еще науке, у искори. В затишке нашел вывороченную кедрину с корнями, торчащими вверх, настелил против корня запаленного лежку из лапника, натянул за собой простынку-экран, для отражения тепловых лучей. Корень смолевой может всю ночь гореть ровным жарким пламенем. Конечно, много значит удача, хорошо, если корень попадется подходящий, а другой начнет тухнуть — снова его надо будет палить, таскать среди ночи сушняк. Но с удачным корнем можно спать почти как в зимовье, особенно осенью.

Зимой, конечно, не разоспишься. Зимой ночь с год.

На радостях Арканя зашиб пару рябчиков и заварил супцу, мочил в супе сухари и давал собакам. За соболя.

Ночью шел снег, а тент Арканя по легкомыслию натянуть не позаботился и слегка промок и озяб, хоть корень и горел ровно.

С утра его ломало от сырости. Он пошел опять вдоль хребтика. Дымка искала, а Верный крутился все время около, хитрый и ленивый, предпочитая халтуру стара-

тельной работе. Арканя попинал его, когда пес подвернулся под ноги. «Не вертись под ногами! Не вертись, паразит!» Но когда далеко залаяла Дымка, — а залаяла она, как показалось по голосу ее, на соболя, — Верный, без всяких понуканий, на махах, исчез в чаще и буреломе, оставляя прямой след к Дымке. Это оказалось удобно. По следу Верного Арканя напрямую и прибежал, задыхаясь, с колотьем в боку. Дымка уже вырыла в корнях целую нору. Соболь сидел в дупле, в корнях, где-то в глубине, и уркал.

Дымка то судорожно скребла когтями землю и взвизгивала от страсти, то замирала, вслушиваясь, высовывалась на божий свет, — морда у нее была засыпана землей, снова кидалась рыть, углубляясь в корни. Излишне азартная оказалась собачка. По норам и щелям опасно закапываться. Арканя с матерком оттащил ее за хвост от выкопанной ямы и сунул в нору капканчик, загораживая соболю выход. Дымка капкан понимала и опасалась, лезла в нору сбоку, а Верный дураком сунулся, получил капканом по носу, заскулил, стал тереть о лапы ушибленную нюхалку. Арканя снова насторожил капкан и напихал в прорубленную сбоку трухлявого пня дыру травы и горящей бересты. Соболь не выдержал дыма и, чудом миновав капкан и собаку, выметнулся на низкорослый кедр и сразу упал оттуда, сбитый быстрым Арканиным выстрелом.

Соболь оказался темным, дорогим. Усы у него были опалены. «С перманентом», — пошутил Арканя. Брюшко у соболя было сытое, полное, теплое, голубовато-шелковистое, на носу красная рубиновая капелька крови, коготки кривые, острые.

Собаки взвизгивали, заглядывая Аркане в руки, и подпрыгивали, выражая азартную злость к добытому зверю.

По ночам шли небольшие снега, местами навалило уже по щиколотку. Арканя ночевал чаще в бараке, он уже привык к нему и возвращался почти как домой. Охота шла, не сглазить, хорошо. Набралось уже за сотню белок и одиннадцать соболей. Дымка, совсем уже отощавшая, как ни старался напихивать ее Арканя хлебом и тушенкой, совсем избегавшаяся на охоте, уже задевав-

шая отвисшим пузом снег, поскучнела и собралась щениться.

Ночью она завозилась в своем углу за ржавой печкой, заскулила. Глаза у нее сверкнули, когда Арканя чиркнул спичку, чтобы растопить камелек. Арканя сидел на нарах под слоем синего, медленно двигавшегося по потолку дыма, и наблюдал за собачьей жизнью. Верного, за излишнее любопытство, Арканя выгнал на мороз. На улице шел мелкий сухой снег. Щенка происходила некрасиво, даже страшно. Арканя освещал подробности происходящего головней, матерками подбадривал собаку. Дымка отворачивалась, ползала, живот у нее необычно шевелился.

Всего сеанса Арканя не выдержал, заснул на середине.

Утром Дымка лежала счастливая, пластом, подгребая под себя расползавшихся из общей кучи щенят.

Делать было нечего, и Арканя весь день спал-отдыхал, поставив на всякий случай пару капканов с наживкой на следах поблизости от зимовья.

Дымка благодарно лизнула хозяйскую руку, к самой ее морде поднесшую теплой тушенки на доске, давшую воду в консервной банке. В глазах у собаки светилась невыразимая любовь и гордость за свой выводок.

Арканя обезжиривал шкурки, общипывал жирные огузки, зашивал незаметно ободравшуюся одежду. Дымка покусала Верного, неосторожно зашедшего за печку и сунувшегося к щенкам. Вечером Арканя сбегал пострелял рябчиков, наварил супу, долго пил чай и читал у камелька старый «Огонек».

Ночью прорубь уже затягивалась крепким льдом, а по всему ручью в этом месте, в затишке, на медленном течении с глубиной лед был толстый, и по нему можно было пройти без опаски, он только потрескивал и был прозрачен местами, как витринное стекло. Из травы в заводи мелькнули тени трех следовавших одна за другой небольших рыбешек. Тут был рядом омуток, куда скатывалась с ближайшей части ручья на зиму рыба. Они шли, будто прикасаясь спинными плавниками к ледку витрины, и в движении казались большими, солидными рыбами. А были они в ладошку. Поймать — на уху его-

дились бы. Арканя провалил резиновым сапогом ледок, утопил в бурливом слабом течении обломки. Вода тихо шуршала на бегу.

Шапка тянула грамм семьсот. Щенята ползли куда-то в темноте своего неведения, они не ползли в действительности и не могли бы ползти из шапки, так как лежали кучей — друг на друге, они производили такие ползущие движения, тянулись к жизни. Щенята открывали куда-то в пространство свои маленькие розовые пасти. Вода сразу унесла их под лед. Арканя выбил шапку о колено и, криво посмеиваясь, натянул ее на голову, потому что подмораживало.

Оставив Дымке пару вареных белок в бараке (в поилке еще были сухари), Арканя, от греха, пошел с Верным на охоту, — уж так хотелось ему отпинать Дымку за ее проделки, за скулеж и беспокойство. С Верным добыли пару белок и безуспешно гоняли по россыпи соболя. Верный не успевал сообразить за соболем, зазевывался, отходил, когда отходить не надо было. Не хватало кобелю вязкости и старательности, хоть смысл охоты он уже понимал и разделял желание хозяина поймать и задавить зверька с определенным запахом и видом.

Арканя вернулся уставший и злой от неудачи. Дымка пулей выскочила в открывшуюся дверь из-под ног Аркани и стала суматошно искать своих детей вокруг барака.

— Ну, дура! Поломаесся мне еще, поломаесся, сучий потрох! Во! Черти понесли! — ругался Арканя.

Оставленных белок Дымка не съела, не тронула и сухари в корыте, все это быстро сожрал Верный.

Дымка подходила к Аркане, смотрела ему в глаза, спрашивала: «Где мои дети?» Арканя отпихивал ее ногой, а один раз ударил рукавицей по глазам: «Пошла, дура! Нашла время щениться, охоту срываешь!»

На следующий день Арканя опять решил попуститься охотой и зря с глупым кобелем ноги не ломать. Дымке надо было отдышаться, она ничего не ела, болела, у нее

перегорало молоко. Арканя слушал радио и смотрел «Огонек».

Дымка вспыхивала глазами в темном углу, она то лежала, то ходила, скребла лапой дверь, искала детей. Арканя жарил у камелька спину, по потолку плыла горячая дымная наволочь, ходить по бараку можно было только низко нагнувшись, видно, под потолком рубить «хлебальник» Орлову было неудобно, и он прорубил его очень низко, и низко потому ходил дым. Слышно шумел вершинами ветер в тайге, сыпался в окно снег, сухой и мелкий. Верный скулил за дверью, просился в избушку. Дуло откуда-то из-под нар, из щели; когда Арканя поворачивался туда спиной, горячая кожа чувствовала сквозняк. Арканя соображал по этому поводу, что если ударит сильный мороз, то придется топить барак круглые сутки. Дымка опять просилась наружу.

— Да идите вы, мать-перемать, куда хотите! Козлы вонючие! — крикнул Арканя, вышиб дверь пяткой и еще пинком поддал Дымку. Так она и улетела кубарем в свежий молочно-белый снег. На Верного, приниженно скользнувшего льстивой тенью к теплу и к свету, Арканя тоже прикрикнул:

— Лежи здесь, фраер горбатый, а то я тебе сделаю!

Куда делись щенки, Дымка не могла понять. Она сонно, как пьяная покачиваясь, ходила вокруг жилья, задевала снег горячими набухшими сосцами, скулила в тоске, просилась обратно в барак, где сильнее пахло детьми, скребла лапой. Арканя хоть и был страшно зол на беспокойную собаку, но терпеливо матерился и запускал Дымку в тепло, чтобы она не застудилась, горячая и слабая после щенки. Утром Дымка не волновалась. Она не смотрела на Арканю, лежала в своем углу, свернувшись калачом, как чужая.

И еще на один день для гарантии оставил собаку в бараке Арканя. Сказал ей ласково, несмотря на ее неприятный вид: «Поправляйся, Дымка, вон соболей сколько, а мы лежим. Долежимся до глубокого снега, и все, накроется наша охота!»

«Мы лежим», «наша охота», — двулично это звучало, будто «нам» соболей надо. Дымке соболя были теперь не нужны, ей нужны были ее маленькие теплые щеночки.

В тот день Арканя с Верным хорошо ловили. Верный самостоятельно загнал соболя, держал его, хоть и отбегал за хозяином, оставляя зверька без присмотра, а делать этого было никак нельзя. Оказалась хорошая соболюшка. Верный на радостях порвал ей заднюю ногу, когда она упала, додавливал ее. Арканя и это простил ему, бить Верного сейчас было нельзя, не полюбит сам ловить соболей. Вот пойдут снова с Дымкой, и уж как попадется Верный на грехе, тут его Арканя отмолотит. Добыли и белок три штучки, хотя белкам Арканя внутренне не радовался, как бы чувствуя в каждой из них какую-то подмену соболя и во времени затраченном, и в снаряде, — патронов оставалось маловато. Но уж очень хороший был снег, новый, следки на таком ночью упавшем снегу короткие, свежие, называется такой снег — пеленовка, пеленова. Новая пелена, пелена новая.

Спугнули изюбрей, и Арканя стрелял по ним картечью. Верный погнался за ними немного, но сразу вернулся на зов хозяина. Изюбрей гонять бесполезно, это специальная охота. На обратном пути распугали и перебили выводок рябчиков. Они глупо слетели с косогора в распадок, расселись и смотрели, как охотится на них человек. На выстрелы и примчался сверху Верный, начал лаять изо всей дурацкой мочи и носиться по распадку, здесь-то и выяснилась основная страсть Верного — гонять птицу. По голосу отличал кобель птиц от остальной живности, на птиц он лаял с подвизгом, радостно, по-щенячьи, а на белку и соболя лаял не особенно старательно, раздельными гав-гав, гав-гав.

Вечером ели рябчиковый суп с перловкой. Дымка тоже ела, по виду ее казалось, что она все забыла, утомилось и сошло на нет материнское горе. Она даже обрадовалась их возвращению: когда они вышли на тропу возле барака, она услышала их в резонаторе прогоревшей печки и поскуливала в ответ на басовитое гавканье Верного.

Дымка бегала вокруг своих сотоварищей, обнюхивала, улавливала запах соболя, белок, тайги, погони, страсти. Она заметно окрепла после щенки. Но что-то осталось, что-то изменилось в ее характере. Это было заметно, когда она лежала в своем углу и вдруг взглядывала на Арканю, положив острую свою легкую морду на лапы. Взглянет — и отведет глаза. Аркане не нравилось, когда она, безрадостно лежа в углу, вдруг уставится на него долгим взглядом. Он кидал в нее за это правилкой, ложкой, ичигом, и она глядела украдкой. В спину. Взглянет — и отведет глаза.

Арканя был немного суеверный, в деда.

6

Не зря ключ был Фартовый.

Волшебное золотоискательское счастье и удача обозначались на языке пропойцы-деда именно этим словом. Не просто неожиданная удача, повезуха, а именно ф а р т. Необъяснимо это — фарт есть фарт, это как бы особые правила, особые законы, которые вот здесь, например, предназначались именно для Аркани, а может, и для кого-нибудь еще неизвестного.

Даже в кое-как поставленных, на арапа, капканах лежало два соболя. Один был живой; пока Арканя подошел к нему, Верный его уже задавил, обогнав и Дымку. Теперь часто кобель шел впереди, он постепенно матерел, а Дымка была еще слаба, но уже старалась по-прежнему, рыла, что называется, землю, плакала-кричала, со стоном каким-то облаивала соболя или белку. Торопливо приходилось стрелять, чтобы только поскорее отпустить, в надежде на соболя, собаку. С ней какие-то кликушеские истерики стали случаться от сильной ее страсти к охоте, она даже кусты стала перекусывать вокруг, где облаивала зверька.

Уверившись в капканах, Арканя перестал есть рябчиков и драл их для приманок. Он расставил капканы по покати водораздела, с которого сбегал Фартовый ключ, а сам — проснулась уже неразумная жадность — пошел дальше, в необловленную еще тайгу. Дальше... Там, ему казалось, соболей видимо-невидимо, кишмя кишат. Он и

принес за пять дней мученических блужданий, бессонных у костров ночей семь штук, и ему казалось, что охота получилась счастливая, редкая, что надо хватать, седлать удачу. Если бы он подумал спокойно, то не стал бы ловить с надрывом семь соболей, а предпочел бы без напряги, сохраняя здоровье, поймать пяток.

Его уже кружила игра, гнал азарт.

Планы разрастались, он уже глядел за белки, на Предел. Ему снились ускользающие соболя, собаки, гон, ловля. В оставленных капканах он с чувством некоторого разочарования — уж разыгралось воображение, притупилось чувство реальности — обнаружил только трех соболей, и у двух мех был пострижен мышками, бравшими мех для тепла в гнезда.

Арканя собрал капканы и свалил их в бараке. В одном была кедровка, он присовокупил ее к не съеденной мышами приманке и сварил для собак суп. Некогда с капканами, пока снегу мало, надо ходом с собаками, раз позволяют условия.

Обувь у Аркани развалилась, весь он оборвался, пропонял потом и оброс щетиной. Борода, он заметил, была не такая, как прошлую зиму, теперь она оказалась сильно седая. Серединой, от нижней губы к кадыку, шла целая полоса седины. Глаза от недосыпа, дыма и от того, что в лесу Арканя не умывался, — здесь все чисто, — стали красными. Ногти были обломаны. Пороху и дроби осталось мало. Добыть мяса, как он планировал раньше, ему не удалось, да он и не сильно стремился, чтобы не терять на это времени. Теперь он сам обгрызал беличьи задки и время от времени не гнушался стрельнуть кедровку и зажарить ее на вертеле прямо в перьях; грудку он разгрызал сам, а остатки, обколотив угли о пенек, отдавал собакам. Верный жрал все, в том числе обгорелых кедровок. Беря планы вперед, Арканя принимал теперь во внимание как продукты и те несколько десятков беличьих тушек, которые он наморозил в хорошие времена и оставил на полке под крышей. Две с небольшим недели оставалось до вертолета — пятнадцать дней, если брать на сытое брюхо, а на голодный желудок — полмесяца. Срок большой, загнуться можно. «В случае чего, — говорил он при таких мыслях Верному, потрепывая

его по загривку, — на рагу тебя пустим. Для качества!» Верный юмора в этих словах не улавливал, отворачивался.

Соболя бежали в Фартовый ключ со всех сторон. В один счастливый день Арканя добыл трех. Правда, выпадали и снежные дни, когда Арканя если и выходил из жадности на охоту, то и следка не находил.

В такую плохую погоду случилась неприятность с Дымкой. Она загнала накоротке под корень соболя и долго рылась одна, только изредка выскакивала на поверхность, взлаивала. Она лаяла, конечно, и в корнях, в откопанной норе, но голос из-под земли не доходил. В это время проклятый кобель гонял глухаря и делал много шума, отвлекая внимание Аркани, пока они вдвоем не обманули глухаря и он не упал к ним, сламывая ветки, черным стогом с лесины. Найдя Дымку, Арканя едва оторвал ее от соболя. Полузадохшаяся сучонка рвалась из рук, кусалась, чтобы только дали ей рыться, рваться к злобно уркавшему собольку. Арканя вынужден был привязать ее на ремень, а сам поставил капканчик, постучал топором, и соболек выскочил, — лязгнуло, как живое, прыгнуло железо. Дымка чуть с ума не сошла, так раздразнил ее соболь, едва отошла, очухалась.

Верный смотрел на Дымку с недоумением, он тоже понимал теперь: охота — страсть, азарт, игра, но не до такой же степени, ведь соболя, ненавистного зверя, тяжелую эту добычу, забирает в конечном счете рукастый Арканя и кладет в мешок. Они же, собаки, даже есть-то не могут соболятины, уж разве от большой нужды.

Верный был рассудительный, хладнокровный пес, мир понимал объективно и свои интересы в нем старался соблюдать. Для видимости, при подходе, например, хозяина, мог и подпрыгнуть, в ярости якобы, со вспышкой будто бы ослепляющего азарта, на дерево, скребя кору когтями, даже мог куснуть направо-налево кусты и ветки, ногами пошаркать, раскидывая снег, грязную траву и мох под ним. «Хитрым станет к старости, воровать будет», — думал про него Арканя.

Как-то бык и корова с телком мелькнули — оставили три слившихся в одну тропу следа. Телка можно было еще

достать картечью, но картечи не осталось, разошлась по глухарям — любимой птице балбеса Верного, втравливавшего в это глупое дело хозяина, потому что Арканя влет не попадал. Верный и Дымка прибежали на сохатиный след, но сделать они, конечно, ничего не могли. Верный, поди, и не сообразил, что это охота, лоси. Он их за Пеструх каких-нибудь принимал, наверное.

Собаки уже составили пару, артель, они вместе дружно тянули в россыпи, например, потому что там соболей легко было находить, и соболь долго сидел в камнях, откуда выкурить его для Аркани не было никакой возможности, и горячил охотничье чувство у собак своей близостью. От этого часто весь день пропадал — вязкая сучонка раз за разом возвращалась к какой-нибудь пропахшей соболем безнадежной каменной щели даже после того, как Арканя пинками отгонял ее и утаскивал, упиравшуюся, на ремне. Верный в таких случаях не особенно страдал, стоило крикнуть ему, и он уходил от запаха. Он не перемогался, не надсаживался, а приносил соразмерную корму пользу человеку. Дымка же работала самоотверженно, с восторгом жертвенности, гнала как летела. Со стоном, с последним хрипом закапывалась в норищу, задыхалась там, исходя предсмертной слюной...

7

Арканя ценил радость фарта, именно потому тянуло его перевалить водораздельный хребет Предел и проверить наудачу таинственную, неизвестную страну за ним. Если бы его не сдерживал недостаток припасов, он бы уже давно не выдержал, — ему представлялось, что там охота еще более удачливая, чем здесь. И сказался характер деда: взяв последние продукты, оставив в запас мороженых белок и мешочек перловки, подвешенный на гвоздь на балке от мышей, взяв глухариную голову, шею, лапы, пошел Арканя «просто посмотреть», дня на два хотя бы — туда-обратно — в запредельную тайгу.

Вышел он очень рано, день выдался отличный, и часам к трем Арканя уже был на линии голых вершин, нашел

перевал, и при полном солнце перед ним раскрылась с перевала неизвестная эта тайга, состоявшая из таких же лесов, падей, ключей и рек. Это была широкая, полого и очень далеко спускавшаяся покать, прорезанная послеполуденными тенями, ключами-падями; кедровый лес был голубовато-зеленым, темным в своих глубинах от сильного солнца.

На высоте чувствовался ветер больших пространств, летящий над континентами. Арканя посидел на камешке. Сориентировался на возвращение: сосчитал распадки, отметил все вершины и, в необъяснимой уверенности, граничившей с наглостью, стал спускаться вниз, за собаками, которые уже оставили следы на нетронутой пелене этой новой тайги. Здесь, наверху, были только цепочки глухариных следов — глухари любят такие места и берут на них камешки.

С вершинки корявой сохлой лесины на границе леса с отчаянным и пугающим криком самоубийцы сорвался, упал вниз, плавно взмыл, спланировал на другое дерево жесткоперый, с разбитой будто бы, красной головой дятел. «Только бы не навалил снег, — ворожил Арканя. — Только бы не снег. Не ровен час...»

Тайга заманчиво шумела легкими ветрами, обдувавшими снежную пыль с желто-зеленых, синих и черных ее лап. В темноте могучих кедровых крон соболя играли друг с другом, сияя мехом дивной красоты. На пригретых щедрым солнцем лежках спали звери...

С деда началась охота. Дед и назвал Арканю Арканей, в память об удачливом своем напарнике, который обогатился в молодые годы, создал дело, а потом, когда счастье отступило от него, загулял широко, запил и погубил, пустил все прахом. Судьба друга всю жизнь волновала деда, и он в тайне своей темной души мечтал и внуку своему судьбы смелой, наглой, развивающейся по особым волшебным законам и правилам фарта.

Дед на памяти Аркани был горбатый, ревматичный алкоголик. Бабка под его кулаками и пьяными проклятиями напрятала золотишка маленькими частями, и это только спасало их в тяжелые времена от голода. В войну бабка

ползала на пункт, сдавала золото на боны. Носила в чекушках, в пузырьках аптечных, в спичечных коробках, на донышке. Дед ждал ее у окна, матерился и колотил ее, если она не приносила спирта.

Голодовка, как сказал врач, спасла деда от неминучей смерти. И действительно, после военных лет дед как-то приободрился, стал ходить недалеко от прииска, строил планы обогащения за счет охоты на зверя. Случалось, что, терпеливо высидев, он подстреливал косулю. Бродил и терпеливо сидел с дедом и Арканя, таскавший оружие и харч. Стрелять дед ему не доверял. Стрелял Арканя первый раз по раненой косуле, она висела на кусте недалеко от стога сена и все равно никуда бы не ушла, ее прирезать можно было, у нее был отбит зад. Арканя сбежал вниз, стрельнул и потащил косулю волоком. Деду видно было, что внук хочет стрелять. «Стрельни уж!» — сказал он, нахлобучивая шапку, сброшенную во время вылезания из засидки. Руки у Аркани дрожали, он прицеливался в голову, повернутую к нему. В сарае и в огороде он стрелял по пугалу, но тут забыл прижать. Щека распухла. Это дед заметил, что распухла щека, сам Арканя не чуял ног от радости. В поселке потом говорили, что он охотник.

Мясо дед продавал и пропивал. Он даже был в своеобразной кабале у завскладом Пухачева. Пухачев наливал в баклажку спирт из цистерны, и Арканя восхищался таким количеством драгоценного продукта и видел в Пухачеве некое спиртовое божество. Пухачев делал отметочку карандашом в тетрадном листке. Дед знал, что это идет в долг, вперед, за мясо. Но на спирт дед перевел бы все на свете, разве только кроме внука Аркани. Любил он незаконного сына своей заблудшей, потерявшейся в неизвестности несчастливой дочери.

Дед был сильно тронутым. Идет по грибы, по ягоды, на охоту, а как увидит плесики по ручью, побредет, ноги намочит, так и лезет в воду. Арканя в таких случаях должен был «отпугивать счастье» и говорить бабкиным голосом, оттягивая деда за рукав: «Деда-а, брось, а? Деда-а! Нет тебе щастя-я на золото-о! Не ходи в воду!»

Бабка его научила говорить так, потому что помяни про золото — оно пропадет. Сердился дед. Один раз Ар-

каня повторил заклинания бабки, дед сел на камешек здесь же, ноги в воде, и заплакал. Очень его дразнило, когда отпугивали счастье. Бабка золото ненавидела, проклинала. В молодости дед после большой удачи уехал в Россию с красивой мещанкой из приисковых и бросил бабку с дочерью и пропадал так до двадцатого года. Вернулся весь больной, постаревший, алкоголик конченый Он каялся и просил прощения на коленях, а бабка тоже встала на колени перед ним, как она любила вспоминать впоследствии, и простила ему все, сводила к ссыльному священнику отцу Егорию, и тот побеседовал с дедом. Не помогли ни зароки, ни клятвы. Временами он опять приносил золото, хвастался, трезвонил. А это уже значит — не в себе человек, если кричит на мир. Золотом добрые люди не хвастаются, а таят его, как болезнь и возможную смерть. Пил, гулял. Бабка же отщипывала золотишко щепоточками и прятала, прятала бедная старуха с молитовкой, в бутылочках, в флакончиках, в тряпочках, в кисетах, по крупиночке на больную, голодную старость, в огороде прятала, на покосе, в палисаднике, в лугах, под камни прятала в тайге, на старой, бывшей ее отца когда-то заимке, даже в печку замуровывала при побелке.

Арканя золота боялся из-за бабкиных рассказов и из-за материного, через все тех же приискателей, несчастья и своего сиротства. С гулящими людьми мать Арканина затерялась. Но слушать дедово вранье про заветные слова, про исчезающие жилы, про кости и черепа, про давние времена и про сегодняшнее производство Арканя любил. Дальше охоты он не пошел, но фарт и азарт воспринял от деда, наверное, с кровью.

Вечер наступил очень быстро, так что первый день собаки ничего найти не успели. День пропал невыгодно, в Фартовом же без соболька такой хороший ходовой день не обошелся бы.

Для ночевки Арканя нашел большой корень-выворотень и запалил его. Пока он устраивался, корень разошелся так, что на соседних пихточках снег сбежал с лапок, стеной стоял огонь, смолевой корень дышал жаром столь

сильным, что, закрыв глаза и качаясь на корточках против жара, Аркапя вспомнил берег реки и солнечное тепло, и знойный день, жар песка, жену свою горячую, сильную, разметавшуюся, лень вспомнил, истому. Вспомнил Кольку, бегущего по воде.

У него было с килограмм сахару, несколько черных, с забитыми мучной пылью ноздрями сухарей, мешочек перловки и несколько шоколадных конфет. Конфеты в мешок напихал Колька, своих пе пожалел, бесепок. Конфеты эти до сих пор Арканя пе ел, суеверно таскал с собой, они измялись, исплющились, и от этого таившаяся в них сладость была особенно заманчивой.

Собакам он отдал тощую кедровку, обуглив ее на костре, сам попил чаю с сахаром, съел сухарь. Спал он все равно плохо, перед рассветом сила сна и слабость тела не могли пересилить холода, он уже не спал, ворочался, задремывал, подкладывал в огонь сушины, развесил сохнуть портянки и ичиги. Ичиги сильно промокали, когда таял на них снег перед огнем, они обтерлись, смазка истратилась, побелели швы. Собаки замечали перемену и усталость в хозяппе, поднимали голову, из клубов превращались в длинные тени, снова ложились.

К утру мороз прижал чугунно, Аркане хотелось с головой залезть в костер, в жар его, сладостный, как парная баня. До самого рассвета Арканя варил в котелке глухариные остатки с перловкой, чтобы как можно сильнее разварить калорийную шрапнель. Подкладывал в котел снегу, когда вода выкипала, засыпал сидя на корточках с протянутыми к огню руками. Суп Арканя разделил с собаками — уж сильно он обжуливал их последнее время, запивал получившуюся кашу кипятком, обжигая губы п рот. На боль Арканя слабо реагировал. Ему хотелось, чтобы прилетел скорее вертолетчик и увез его домой, где Нюра сварит из забитого ее родителями на праздники подсвинка натуральный борщ. Еще ему хотелось пирожков с потрохами и печенкой. «Если плохо пойдет — сегодня же вернусь, — решил Арканя, — напрасно сменял Фартовый на эту тайгу...»

Но из игры своей волей не выходят. В кедровнике внизу Дымка загнала соболя, и тут же залаял, забухал в другом месте Верный. «Дымка все равно не отпустит, — быстро прикинул Арканя, — а Верный ненадежная собака, ему и подвалит счастье, так отвернется», — и побежал по уже глубокому снегу наверх, к Верному.

Верный долго мотал Арканю, не мог найти соболя в четырех росших на поляне отдельно огромных кедрах, таких высоких, что дробью до вершин достать было бы трудно. Кроны нависали как черно-зеленые облака, и маленький зверек терялся в гуще веток и хвои. С болью слышал Арканя доносившийся снизу слабый лай Дымки, лай временами терялся, и Арканя жалел, что связался с балбесом Верным. Верный метался между кедрами, лаял то на один, то на другой. Арканя выгребал из-под снега камни и кидал вверх, стучал по стволам тяжелым суком. Наконец соболек, в которого Арканя уже перестал верить, мелькнул в вершине. Арканя еще раз пугнул его, и зверек опять пробежал и затаился, высунув только мордочку. Арканя выстрелил и ранил соболя. Соболь зацепился в сучьях и дергался там, раненый, потом затих и запал окончательно. Хвост у него из развилки свесился. Сбить его дробью теперь невозможно, нужно или лезть за ним, или рубить кедр в четыре обхвата. Внизу лаяла Дымка. Арканя бросил соболя и Верного, недоуменно лаявшего вверх, и побежал.

Дымкиного соболя Арканя взял сразу.

От возбуждения и усталости не хотелось есть, появилась какая-то настырная злость, удача-неудача, светлый соболь, темный соболь, головокружащее движение, подобное карусели или калейдоскопу, в котором встречались под ногами собственные следы, крики насмехающихся кедровок, собачий лай, костры, валежины, рвущие одежду ветви, дым в глаза — все смешалось, сдвинулось и пошло мелькать перед глазами, кружась, заманивая, увлекая и, что самое страшное, подчиняя сознание Аркани.

Соболя сделались похожи один на другого, и он их будто бы не столько ловил, сколько хватал, как однажды хватал его дед кошельки во сне. Кошельки с деньгами висели на ветках в лесу, по которому дед бродил всю ночь,

а проснулся, пьяный и обобранный, в Петрограде. Дед рассказывал Аркане, и мальчик это запомнил и воображал в детстве такой лес, увешанный кошельками. Еще воображалась ему удача в виде чекушки с золотом на три пальца, тяжелого и маслянистого, как дробь. Чекушку эту он видел, проснувшись от драки, которую устроили дед и бабка. Чекушка стояла на столе у керосиновой лампы, холстинка была расстелена: видно, золото пересыпали. Утром все лицо у бабушки было синим, она лежала под полотенцем, охала...

Если не считать пропавшего на дереве, добыл Арканя трех соболей. «Жадность фраера губит», — помыслил Арканя и не полез за соболем на тихо и угрожающе качавший высокой вершиной кедр: голая колонна ствола без длинной веревки была непреодолимой. Хвост виднелся. Перекурив, Арканя взял себя в руки и повернул назад, на хребет, чтобы перевалить в спокойствие, к обжитому бараку. Но собаки не дали ему вернуться, опять залаяли, и опять далеко внизу. Четвертый соболек укусил его за палец, пока Арканя сворачивал ему голову, поймав на лету раненого.

Ночь застала его на середине подъема, и он заночевал, отаборившись кое-как на скорую руку. Он механически ободрал соболей, насадил тушки на прутья — жарить, шкурки комком сунул в мешок. Для себя Арканя мимоходом добыл рябчика, но драть его не решился, боясь чутьем за завтрашний день. Вообще, кроме кружения удачи и полета, Арканя чувствовал какую-то непонятную угрозу, он, например, не захотел бы поймать теперь пятого соболя.

Он вдруг с тревогой подумал, что собак с ним нету. Он перестал шуметь снегом и сучьями и уловил далеко внизу зовущий, как бы заманивающий его в коварную темноту ночи Дымкин голос. Ему показалось также, что кто-то опасный подделывается теперь под Дымкин голос. «Не пойду», — ответил вслух Арканя и расслабился перед пылавшим костром. Он отломил у одной тушки задок и с отвращением стал жевать, запивая сладким чаем. Ноги немели, мокрые, зябла влажная спина. Телогрейка задубела. Еще донесся безнадежный призыв Дымки. Арканя задрал телогрейку и подставил огню голую спину. Спи-

на накалилась, и стало сонно, безразлично: «Пропади ты пропадом, Дымка, лай ты там, хоть разорвись!» Арканя не мог в уме сосчитать, сколько же у него теперь пойманных соболей, и это его немного обрадовало, как хорошая примета для суеверного человека. К голосу Дымки подключился Верный. Арканя заставил себя сжевать еще один соболиный задок — обгорелое, с углями, противно отдававшее псиной мясо.

«Этот прибежит», — подумал Арканя. И вскоре из темноты вывернулся Верный. Он поскуливал, отбегал в темноту, звал за собой, возвращался. Это злило Арканю, будто Верный понимал предательство. Он подманил Верного и кинул ему обжаренную тушку. Верный не устоял, захрустел, замолол челюстями. «Пусть она лает, пусть лает, дура!» Арканя задремал в сообществе с Верным, а проснулся — Верного рядом опять не было. Хотя дремал Арканя недолго.

Дымку было не слышно, или вой вплетался в ровный шум леса. Потрескивали, лопаясь в огне, суставчатые угли. Он опять заснул, а заснув, пошел в темноте к Дымке, через сплетение кустарниковых ветвей и еловых и кедровых лап, через глухой непролазный пихтач, ноги легко несли его вниз, и там он упал на пихтовые мягкие лапы, пружинисто повис и заснул на солнечном припеке, обессиленный сенокосом, и сквозь сон лениво отмахнулся от паутов, липших к нему, потному... Жена ходила по кухне и стучала чугунами. Арканя еще велел ей, перед тем как ложиться спать, накормить собак его, Капсика и Найду, но увидел, что Колька еще совсем маленький и лежит в зыбке. Это испугало Арканю, он сообразил, что чугуны и Капсик с Найдой были у них еще в старом доме, до переезда. Он проснулся в цехе, на стуле в курилке; в цехе была авария: из-за неплотно пригнанной и разошедшейся заслонки необычной конструкции шел видимый газ, глаза щипало, заваливало дыхание, кто-то со сваркой подошел к нему сзади, Арканя схватился за раскаленный прут и закричал: «Назад! Мать-перемать!» Прут светился в руке, верхонка пошла пламенем.

...Вскочил Арканя от страшной боли, махая руками, он сбросил рукавицу и стал хватать правой рукой снег. Рукавица тлела, сохраняя вокруг огненной каймы форму

полусогнутой горсти. Было тихо, как под одеялом, но Арканя этого не заметил, его била дрожь от боли и холода, он забыл про собак, про то, что где-то лаяла перед сном Дымка. Корень горел вглубь, в ствол, и оттуда, как из жерла, выходил толстый, жаркий сухой заслон. Уголь, видимо, отскочил от торчащего вверх и горевшего щупальца. Потом Арканя вспомнил, что нету собак, и выстрелил два раза, с продолжительным интервалом, в воздух и снова лег, свернувшись в клубок, спиной к огню, зализывая, как учил его дед, ожог, прикладывая к нему снег, и незаметно снова заснул.

Снег выпал за остаток ночи и к утру покрыл землю рыхлой добавочной тридцатисантиметровой толщей. Шел снег и утром, густой, как простокваша. Толща снега росла, на глазах замуровывая тайгу. Влажная одежда сковала простуженное тело, мозжили колени, спина, крестец. Из снега в ногах встал Верный. Дымки не было. Арканя вспомнил, что он стрелял ночью, вспомнил, как он перестилал влажное свое логово, как сушился и переобувался, как уползал в сугроб и как кормил Верного. Верный к чему-то прислушивался, встряхнулся, и снежная попона свалилась, а через минуту снова наросла на рыжей худой спине с выдавшимися лопатками.

Снег валил густо, толсто, едва слышно шелестел. «Дымка!» — крикнул Арканя, и безголосость горла его испугала. Простыл. Верный взлаял с подвывом. Снег как подушка придавил звуки.

Они позавтракали, откопав, нашарив под снегом полуобожженные тушки соболей и ободрав рябчика. С первыми же шагами, когда они пошли вверх в молочной стене снегопада, Арканя заметил в ногах какую-то слабость, было что-то не так, как вчера, было что-то мешавшее широте и легкости шага, было похоже на необычную болезнь. Арканя сначала не понял и посмотрел себе под ноги: было такое ощущение, будто он наступает себе на размотанные портянки. Но это был снег, в котором нога утопала выше колена. Снег валил и валил! Из страха выколупнулась мысль: «Скорее, пока не завалило по горло, с головой! В барак, через хребет!»

Верный испуганно заглядывал в глаза, терялся, отплывал по снегу в сторону, забивался под ветки. «Чего смот-

ришь? Пропадем мы стобой, с оглоедом!» — кричал на пса Арканя. Верный отпускал Арканю вперед и трусливо нырял за ним по ямистому следу.

Ориентир был один — идти прямо вверх, другого не было. Идти вообще не надо было, Арканя поддался панике, надо было сидеть под елкой у костра, терпеливо ждать, балаганчик соорудить, запалить корень, экономить силы. Но вгорячах Арканя далеко уже отгребся от ночевки. В тайге было пусто, мертво, не было ни соболей в этой тайге, ни белок, ни сохатых, не было вчера ни азарта, ни росомахиного следа, ни Дымкиного тоскливого предсмертного голоса, никакие вороны вчера не летали в небе. Каша там в небе, там рыбы большие могут плавать, в такой гущине.

Арканя бы так и шел, не остановился, пока не упал бы, если б не набежал на свой свежий, но уже мягко заваленный снегом след. На следу стоял Верный и, извиняясь, вертел хвостом. Арканя вспотел от страха. Он испинал, свалил собаку в снежную яму. А пинать, подумал он, остынув, не надо было, дело такое... Может, подманивать еще придется, чтобы патрон не тратить. Такого блуждания у Аркани еще не бывало. «Кружит», — подумал Арканя про кого-то.

Ночевка была в двух шагах. Выворотень горел ровно. Арканя перетряс лежку и, нарубив елок, соорудил плотный балаганчик, настелил пихтового лапнику.

Голодная политика проста: пить чай и спать в тепле, пить чай в тепле и в тепле спать. В полудреме он провел весь день, балаган нагрелся и протекал подтаивавшим на нем снегом. Мысли плыли, сменяя друг друга, забывались, стирались. Начинали звучать забытые голоса, он с ними переругивался, сердясь на возражения. Снегопад может продолжаться день, два, три. Можно сожрать Верного и все равно пропасть в глубоких снегах, замерзнуть. Только соболей найдут в зимовье, если летчик заявит. Мыши соболей не достанут. Ссохнутся, заплесневеют соболя к лету. Летчика с работы выгонят...

Мысль осенила Арканю в полудреме. Он успокоился. Перед глазами у него встала до тонкостей запомнившаяся картина: освещенная трехчасовым солнцем покать — кедры, гольцы, морщины распадков — пять почти параллель-

ных долин, и он сейчас находится в третьей от верха. Распадки углублялись и подчеркивались глубокими от сильного солнца тенями. Идти надо через низ, спустившись туда, подниматься вверх по дну, по ручью. Долина обращена к небу, как большая ладонь с пятью пальцами, и между указательным и безымянным лежит подъем на перевал. Не выпасть из этой ладони, не свалиться в край. Идти ручьем, буровить прямо по снегу, лес по сторонам не даст сбиться с пути хоть днем, хоть ночью. Этот ручей поднимается ближе всех к перевалу. Дотянуть до россыпей, там ветер, найти спуск к Фартовому... На той стороне он уже все знает.

Дымка залезла под корень, звала. Задохлась... Не пошел... Вот за что на тебя все навалилось! «Верного сожрешь — совсем пропадешь!» — сказал Аркане на ухо простуженный голос.

Идти надо было скорее. Арканя встал и пошел прямо вниз. Ручей оказался совсем рядом, снег на нем лежал ровный, как постель. Идти было можно, только тянуло лечь. Верный плыл рядом. Иногда Арканя сбивался с пути, но ветви деревьев толкали его обратно в ручей, ноги упирались в обрывистые берега под снегом, но вмерзшие в лед коряги, окостеневшие водопады Арканя перелезал на четвереньках; ручей петлял, измеряя Арканины силы, но тем не менее, прощая ему бездумную азартную вину, вел вверх. Стало светать. Арканя часто присаживался. Верный тоже сразу же ложился.

На безлесье россыпи снег летел косо, здесь уже был ветер высоты, ровная завеса снегов прерывалась время от времени, открывая впереди ориентиры: пятно стланика — к нему Арканя дошел; большой бык-камень, останец, — и к нему Арканя дошел, а потом в разрыве увидел весь гребень Предела и седловинку, через которую он нагло входил в эту негостеприимную волшебную страну. Над седловинкой сторожем стоял белый, закутанный до плеч в одеяло снежных синих облаков пик гольца. Но пик этот был все-таки далеко и рядом только казался. Арканя обернулся и увидел, как внизу, в покинутой им долине, будто пена в стиральной машине, клубятся серые и синие на слабом рассвете облака. Облака стекались и возились в долине, как стадо больших зверей.

Верный посмотрел на Арканю, напоминая, что в этой стране осталась Дымка. Верный все понимал. На миг Аркане показалось даже, что Верный — не собака...

Фартовый ключ дался под ноги сразу, его вершину Арканя знал отлично. Снегу здесь было меньше, ветра больше и небо светлее. В барак Арканя ввалился чуть живой, натаскал на очаг бревен, сунул между ними всю растопку, оказавшуюся под рукой, чиркнул спичку. Он не забыл снять с балки соболей и перловку, спасая их от дыма. Просыпался он уже не в обросшем инеем бараке, а в жаре, скидывал одежду, сдвигал обгоревшие бревна, подкидывал новые, снова возгорался и нагревал жилье огонь, и снова ссыхался и уменьшался барак от накапливавшейся в нем жары, и опять остывал, растягивался и увеличивался в прозрачном бездымном холоде.

Проснувшись окончательно, Арканя съел перловку и кинул Верному двух мороженых — варить не было сил — белок.

В тайгу прокралось солнце, лучи его пробежали между кедрами, и все засветилось, заиграло блеском свежего снега, льда, легкой висячей пыли. Сойка с лазоревым пером села против зимовья, Арканя убил ее и изжарил, выел грудку, отдал остальное Верному.

Между Арканей и Верным все отношения начались сначала, от того как бы момента давнего, когда первый человек накормил первую собаку и за это купил всю ее со всеми поколениями.

8

Арканя ничего не делал, спал, доедал перловку, пил чай с сахаром и курил махорку. За два дня он набрался сил, и все прояснилось в голове. Он подранил кедровку и привязал ее проволокой к сушине; чтобы она кричала, пошевеливал ее палкой. На крик товарки слетались глупые подруги, над бараком стоял стрекот и чекот. Стараясь зацепить одним выстрелом двух птиц, Арканя случайно зацепил и манную кедровку, и охота прекратилась, дав кучу перьев и кучку мяса.

Верный стал уходить куда-то от жилья. Однажды он залаял близко, на другой стороне ручья. Арканя сходил и убил соболя, сидевшего на низенькой березке. Верный, пока пришел хозяин, вырыл большую черную яму под березой. Эта яма удивила Арканю: очень было заметно изменение повадки у Верного.

Арканя разбирал пушнину, подчищал ее, чесал соболей, разрезал и зашил, вырезав остриженные мышами куски, капканных соболей, зашил соболя, порванного Верным.

От хорошей жизни Арканя окреп и сделал наброд к гари, чтобы в вертолетный день пройти это расстояние без задержки.

Семь хороших соболей Арканя отложил для того, чтобы сдать их с белкой в промхоз по договору. Тридцать соболей он оставил для Дяди — так звали серебристоголового старика, который жил в центре соболиного края, занимаясь крупными скупками пушнины. Белок Арканя увязал бунтами по двадцать штук.

Чай был последний, с мусором. Много было только махорки: с голоду Арканя меньше курил, не тянуло.

В вертолетный день Арканя проснулся еще раньше обычного, обмусолил соболиную ножку, сказал, поворотившись на очаг: «Спасибо этому дому», и на рассвете они с Верным уже были на гари. Тут же на краю гари Верный указал в вершине кедра соболя. Сначала Верный выгнал этого соболя из валежника, а когда на шум и драку подбежал, задыхаясь под грузом, Арканя, соболь уже был на кедре. Верный действительно изменился, может быть, оттого, что ему теперь не на кого было сваливать всю тяжесть собачьей работы, может, от голода, может, от пережитых страхов. Прорезалась в нем Дымкина старательность и самоотверженность.

Видя открывшийся в кобеле талант, Арканя с благодарностью думал, что Верного не продаст, как намеревался, а возьмет в город. С Нюрой можно будет договориться, а Кольке будет хороший товарищ. Арканя три раза выстрелил, прежде чем достал соболя дробью на такой высоте, обдирать добычу сел уже у балаганчика, разжег

давно заготовленный костер. Верный сел тут же, ожидая подачку. Собака и хозяин были довольны друг другом, тяжелый срок подходил к концу. Обуглив на рожне тушку, Арканя отломил себе задок и отдал Верному все остальное. Они хрустели костями. Подлетевшая еще на собачий лай кедровка долго сокращала дистанцию наблюдения и, перейдя границу дозволенного познания, тоже попала в костер. Обугленный, дымящийся кусочек мяса, начиненный пластинчатыми костями, съели быстро, и оказалось еще много времени. Арканя решил обойти гарь таким образом, чтобы все время держать на виду балаган, чтобы успеть и не задерживать летчика. «Левый» вертолет не может ждать. Проснулся поостывший было азарт, потерявшие было в его глазах цену соболя опять стали казаться ему новенькими сторублевками.

Верный ходил старательно, местами плавал в глубоком снегу, а когда они незаметно для себя поднялись вверх, далеко убежал по обдутым россыпям и дал отчаянный, новый, сильно похожий на Дымкин голос. Отчаянный и старательный. Как ни торопился Арканя, но чувствовал, что силы его подорваны, что он теперь очень слаб и что надо было оставить мешок у костра: только сумасшедшему может показаться, что летчик схватит пушнину и улетит, бросив его помирать в тайге. В ушах сильно стучало, пришлось идти шагом. Потом он не смог идти прямо вверх и стал подниматься зигзагами, ударился коленом о камень и сел. Верный лаял на виду, вскакивал, припадал, разбрасывал снег и щебенку, совал морду в камни.

Россыпь, камни, навряд добудется соболь. Азарт сплошной. Щелка, где сидел и слышно поуркивал соболь, казалась небольшой, но чтобы поднять камни, чтобы разворотить укрытие, потребовалось бы граммов двести аммонала. Арканя торопился, мешок он бросил на пути, и под рукой ничего не было. Он расстегнулся, стянул и, пластая ножом, клочьями сорвал с себя, не снимая рубахи, майку. Майка была черная от копоти и жирная от пота. Он проверил спичкой тягу, потянуло в камни, но неуверенно, слабо. Майка, забитая в щель, вонюче задымилась, но дым выходил рядом и, видимо, на соболя не действовал.

Затарахтел внизу вертолет, косо перерезал долину, плывя по воздуху, завис на минуту над балаганом, покачиваясь и, вздымая снежное облако, сел. Арканя помахал летчику и побежал вниз к мешку, отзывая Верного. Сначала у Аркани мелькнуло — договориться с летчиком, притащить бересты, выкурить соболя, но мысль эта заметалась между мешком, черневшим на склоне, летчиком, стоявшим у вертолета, и завывавшим на россыпи Верным, ожидавшим близкой победы.

Мешок лежал в снегу как пьяница, был легким сравнительно с объемом, но и сладостно тяжелым. Вертолетчик в собачьих унтах, расстегнутый, похаживал и присаживался возле костерка. Верный посылал азартный зов.

9

Летчик видел, как человек мелькает между деревьями, сплывает с лавой снега вниз, падает, торопится, переваливается через валежины; через гарь человек почти полз, будто придавленный огромным своим мешком.

— Два часа у меня времени на все про все. Если через час не буду на аэродроме, я пропал, понял? — сказал летчик, когда Арканя, хватая его за брезентовую куртку, униженно шептал, вскрикивая время от времени вверх, в россыпь: «Верный! Верный!»

— Собачка у меня там, собачка! — шептал Арканя.

Летчик не узнавал кудрявого хвата, щедро кидавшего четвертные, в этом худом, изголодавшемся, клочками обросшем сумасшедшем.

Арканя вынул из-под плексы портмоне две четвертные и взял сверху из мешка приготовленную пару соболей.

— Полста добавлю, друг! Полста. Сбегаю за собачкой?

Арканя выстрелил вверх, но Верный не понял и ответил лаем.

— И за сто не могу, ты пойми! — летчик положил мешок с пушниной в машину, а пару своих соболей не глядя небрежно сунул в карман.

— Котелок берешь?

— Не надо котелок! Сто — последняя цена. Верх!

Летчик пнул котелок, круглое дно черно и отрицательно глянуло из снега.

более плавное, более естественное для человека течение времени. Сев за стол, я взглядываю в окно и вижу, что в тот же самый момент на улице появляется Паша. Опираясь на суковатую палку и немного волоча одну ногу, обходя весеннюю грязь, она направляется к нашему дому. Раньше было нельзя. Люди с дороги, им некогда. Нехорошо мешать им. А теперь, когда прибрались, — можно. Как Паша узнает этот нужный момент, я не ведаю, но вот мы сели за стол, я наливаю себе рюмку с дороги — и Паша появляется на улице.

Когда я писал «Каплю росы» и рассказывал о жителях нашего села, то не пропустил ни одного олепинского жителя, хотя бы и в грудном возрасте, хотя бы и живущего на стороне. Как же вышло, что для Паши не нашлось места в «Капле росы»? Не говорю о целой главе, но хотя бы упомянуть, назвать. Мол, существует такая олепинская жительница, Прасковья Павловна. Судьба у нее такая-то, живет в таком-то доме....

Из-за дома главным образом и получился пробел. Я в «Капле росы» обходил дома, а у Паши своего дома нет.

Но вот она сама на пороге, и можно ее теперь разглядеть. Хотел сейчас про нее сказать: «старуха», семидесятилетняя старуха, худощавая старуха, хромая старуха, с морщинистым и смуглым лицом старуха, но чувствую, что «старуха» применительно к Паше не подходит и не звучит. Не то чтобы она выглядела моложе своих лет или слишком энергична и деятельна, — не знаю уж, чем объяснить, но слово «старуха» как-то не подходит для Паши.

А между тем это действительно старая семидесятилетняя женщина, худощавая, со смугловатым, в сеточке мелких морщин лицом. Свое лицо она носит как-то так, что нижняя его часть выдвинута вперед и приподнята, а затылок откинут назад. Поза Нефертити, сказал бы я, если бы речь шла не о нашей олепинской хромой, никогда и в самые молодые годы не блиставшей красотой и к тому же временами заговаривающейся *старухи* (упрямое слово встало-таки на свое место!).

Одета она во что бог послал, в ситцевое, темное — старинный, с острыми плечиками жакет, поверх платья еще

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

ПАША

Весной, как только обогреется воздух, а вместе с ним и наш деревенский, закрытый на зиму, промороженный за долгие зимние месяцы дом, мы переезжаем в деревню. Это случается, смотря по погоде, то в середине апреля. то в начале мая.

Холодом, пустотой, нежилым духом встречает дом. Воздух в комнатах застоялся, на все осела сыроватая липкая пыль. Скорее топим печку, скорее включаем электрические обогреватели, скорее перетираем все, перетрясаем, моем, сушим, проветриваем. А если уже майское тепло, то скорее распахиваем все окна.

Надо еще перетаскать из машины в дом вещи, книги, провиант, надо еще в нетерпении пройтись по саду (по садишку, если выражаться точнее) и увидеть, что волчье лыко, пересаженное мною из леса, уже отцвело. и пожалеть, что не застал его чудесного цветения, когда не весь еще растаял снег, и вот рядом со снегом красуются на кусте яркие цветы, похожие на цветы сирени. Но теперь последние числа апреля, цветы волчьего лыка уже увядают. они потемнели и ссохлись. Что ж... Нельзя захватить в жизни все прекрасное, что-нибудь да приходится пропускать. Впереди цветение вишенья, рябины, одуванчиков, шиповника, ландышей... Все еще впереди. Вот только весен остается меньше и меньше.

То, что около нашего дома появилась машина, видно всем, и, значит, все уже знают, что мы приехали. Но Паши пока не видно. По своей тактичности она не придет, пока мы разбираемся с дороги, трем и моем, суетимся и кружимся. Но наконец — все в порядке. Жить можно. Аврал окончен, мы садимся за стол. Теперь можно и даже нужно никуда не спешить, переключившись на

более плавное, более естественное для человека течение времени. Сев за стол, я взглядываю в окно и вижу, что в тот же самый момент на улице появляется Паша. Опираясь на суковатую палку и немного волоча одну ногу, обходя весеннюю грязь, она направляется к нашему дому. Раньше было нельзя. Люди с дороги, им некогда. Нехорошо мешать им. А теперь, когда прибрались, — можно. Как Паша узнает этот нужный момент, я не ведаю, но вот мы сели за стол, я наливаю себе рюмку с дороги — и Паша появляется на улице.

Когда я писал «Каплю росы» и рассказывал о жителях нашего села, то не пропустил ни одного олепинского жителя, хотя бы и в грудном возрасте, хотя бы и живущего на стороне. Как же вышло, что для Паши не нашлось места в «Капле росы»? Не говорю о целой главе, но хотя бы упомянуть, назвать. Мол, существует такая олепинская жительница, Прасковья Павловна. Судьба у нее такая-то, живет в таком-то доме....

Из-за дома главным образом и получился пробел. Я в «Капле росы» обходил дома, а у Паши своего дома нет.

Но вот она сама на пороге, и можно ее теперь разглядеть. Хотел сейчас про нее сказать: «старуха», семидесятилетняя старуха, худощавая старуха, хромая старуха, с морщинистым и смуглым лицом старуха, но чувствую, что «старуха» применительно к Паше не подходит и не звучит. Не то чтобы она выглядела моложе своих лет или слишком энергична и деятельна, — не знаю уж, чем объяснить, но слово «старуха» как-то не подходит для Паши.

А между тем это действительно старая семидесятилетняя женщина, худощавая, со смугловатым, в сеточке мелких морщин лицом. Свое лицо она носит как-то так, что нижняя его часть выдвинута вперед и приподнята, а затылок откинут назад. Поза Нефертити, сказал бы я, если бы речь шла не о нашей олепинской хромой, никогда и в самые молодые годы не блиставшей красотой и к тому же временами заговаривающейся *старухи* (упрямое слово встало-таки на свое место!).

Одета она во что бог послал, в ситцевое, темное — старинный, с острыми плечиками жакет, поверх платья еще

и темный фартук. Но однажды я нарочно пригляделся к Пашиной одежде и увидел, что все на ней стираное, заштопанное, оставляющее впечатление опрятности. И это после зимования в Агашиной избушке. Другой бы вылез оттуда по весне в коросте, пропитанный разными запахами. Поистине, чтобы содержать себя в таком порядке в подобных условиях, нужна либо огромная воля к жизни, либо озаренность идеей, либо уж опрятность и порядочность, ставшие натурой человека. Никаких высоких идей у Паши, конечно, нет, значит, берем третье.

При разговоре Паша производит впечатление глуховатой. Иногда приходится переспрашивать ее по три раза и кричать. Но это происходит не от дефекта слуха, а оттого, что Паша, как соловей или глухарь: когда сама говорит, то ничего постороннего уже не слышит.

Паша одна во всей нашей округе говорит московским говором, на «а», приобретенным в детстве, в дореволюционной еще Москве. Среди поголовно окающих жителей ее говор выделяется заметно резко. Тем резче и заметнее московское произношение Паши, что человеку, впервые увидевшему и услышавшему ее, наверно, странно встретить чистейшую московскую речь в обстановке Агашиной халупы, в устах безусловной аборигенки.

Паша появляется на нашем пороге, стоит, опираясь на палку и обводя всех улыбающимся, теплым, как бы даже удивленным и восторженным взглядом.

— Здравствуй. Паша! — кричим мы ей от стола.

Паша начинает говорить сама по себе, а не в ответ на наши слова:

— Да... Все харашо. Все па-доброму. Розочка. Деточки. Харашо. На улице теперь тепленько Да... Скоро грядки капать. Все па-доброму.

— Проходи, Паша, садись. Рюмочку-то налить ли?

— Рюмочку можно. Я люблю винцо, вот ей-богу (слово «богу» она выговаривает через чистое «г», и когда произносит эту свою присловицу, сама себе обязательно подхихикнет). Тетя Поля умерла, царство небесное. Мы с ней выпивали. Паша, говорит, схади, купи четвертиночку. Мы выпьем, галава меньше балит. Вот ей-богу. Старому человеку винцо полезно. И тетя Поля любила.

Винцо, ано кровь согревает. У старого челавека кровь уж халодная, в рюмочку выпьешь — и харашо. Мы с тетей Полей частенько выпивали, вот ей-богу.

Я наливал Паше рюмку, и Паша долго глядела на нее, держа в руке, улыбалась и пила маленькими глоточками. Ела она очень мало, обломит хлебушек, соблазнится ломтиком московской колбасы, возьмет конфетку.

После рюмки глаза ее делались живее, улыбка еще добрее и умиротвореннее. Перебить или остановить ее рассказ становилось еще труднее. Но все же громкими переспросами удавалось навести ее разговор на ту или иную стезю.

Нужно сказать, что мать ее, Александра, была «жиличкой». Разные существовали в Средней России отхожие промыслы. Уходили в Москву плотничать, извозчиками, половыми в трактиры, женщины иногда шли в «жилички», то есть в прислуги, в кухарки, по-современному — в домработницы. Не знаю, где как, но у нас в селе к жиличкам относились с некоторой долей презрения и смотрели на них свысока, как на людей чем-то неполноценных. Женщина, побывавшая в жиличках, становилась, если возвращалась в деревню, как бы отверженной. Эта отверженность часто переходила и на детей, поэтому получалось, что если женщина пошла в жилички, то она в некотором роде начинала собой династию жиличек. Дочь шла по ее стопам, а у дочери — дочь, а если сын, то все равно пристраивался в Москве.

В нашем селе зародилась только одна такая династия. В прислугах жила мать Александры, прислугой сделалась и Александра — мать Паши.

— Да... Скоро грядки капать. Земличка сагреется. Начнет расти всякая травка. Все па-доброму, па-харошему.

— Паша, все забываю, как звали того фабриканта у которого вы с матерью жили?

— Степанида Ивановна винцо не любила. А мне хочется другой раз, вот ей-богу.

— Я говорю, как фабриканта звали?

— Чего? — как бы просыпалась Паша.

— Фабриканта, у которого вы жили?

— Ну и что? Теперь там фабрика Красина.

— Как звали, я говорю.

— Карл Иванович, — отвечала Паша, словно с упреком. Как это так не знать? Карл Иванович.

— Что ж у него, семья была?

Но вопросов уже больше не требовалось. Паша, так сказать, выходила на орбиту, и нам оставалось только слушать.

— Карл Иванович был фабрикант. Фабрику содержал. Сам он был англичанин, а фабрику содержал в Москве. Мама жила у него в прислугах, и я с ней. Куда ж мне было деваться? Я была молоденькая, девочка еще, и выделил он нам в своем доме комнатку, вот ей-богу. И Карлу Ивановичу хорошо. Получалось у него две прислуги. Постель убрать, подмести. Это все я могла. Как же так, жить в доме и не делать ничего. Это не полагается. Это нельзя. У людей должно быть все па-доброму. Па-хорошему. А Карл Иванович хитрый был, вот ей-богу. Стану я подметать у него в спальной, вижу, — что такое? — денежка на полу валяется, двадцать копеек. По тем временам двадцать копеек большие деньги. Ну, я положу денежку на комод. Брать нельзя. Как же так, чужую собственность брать, никак нельзя. На другой день опять денежка, а то две денежки, вот ей-богу. Я маме и говорю: денежка валяется на ковре. Мама поглядела и смеется. Это, говорит, Карл Иванович тебя проверяет. А я не брала. Как это можно чужую собственность брать. Никак нельзя, не полагается. Карл Иванович увидит денежку на комоде, тоже смеется. Молодец, говорит, Паша. Вот ей-богу. Дом у него был хорошо обставлен. Цветы, ковры, граммофон, посуда тонкая. Потом Карл Иванович мне говорит: как советуешь, Паша, хочу жениться. Вот ей-богу. Сам смеется. Я говорю: вы мужчина видный, почему же вам не жениться. Тут вскоре и новая барыня появилась. Интересная такая, чистенькая дамочка. Екатерина Михайловна. Белокурая, высокая, глаза строгие. Как посмотрела на меня, я испугалась. Вот ей-богу. Сперва она так приезжала, дом посмотреть. Потом они поженились. Все как полагается. Как у добрых людей. Все па-доброму, па-харошему. Тут Карл Иванович говорит моей маме: Александра, говорит, придется тебе уходить. Я тобой был доволен, но Екатерина Михайловна, молодая

хозяйка, хочет новую прислугу иметь. Ну что же, мама ему отвечает, вы хозяин, ваша и воля.

Пока Паша рассказывала, я налил ей еще рюмочку, и она прервалась, чтобы медленно, маленькими глоточками, прижмурившись, вытянуть «винцо» и съесть пол-ломтика колбасы.

— И куда же вы с матерью пошли от Карла Ивановича?

— Строгая дамочка была Екатерина Михайловна. Ко̀робок, ко̀робок понавезла, и в каждой ко̀робке шляпка, вот ей-богу.

— Да вы-то куда пошли, когда он вам расчет дал?

— А как же, полный расчет. Сколько было заработано. Полную цифру. Ты хозяин, мы, понятно, прислуга. А что заработано, отдай.

— Куда ж вы пошли от него?

— Как куда?

— Вот я и спрашиваю, куда?

— Он нас к себе на фабрику определил. Выделил комнатку, и стали мы жить. Но тут революция началась. Рабочие с флагами ходят, фабрика остановилась.

— И ты принимала участие в революции?

— Кого?

— Принимала участие в революции?

— А как же? Пришли за мной, говорят, надо слово держать. Народу собралось во дворе фабрики! Все, конечно, рабочие. И тут, как сказать, руководители, ораторы. Выставили меня напоказ, говорят, речь держать. Говорят, пролетарии, эксплуатация, дочь кухарки. Вот ей-богу. А я говорю: вы революцию делайте, а чужую собственность трогать не смейте. Как это так, трогать чужую собственность. Не полагается. Народ смеется, а меня, как сказать, слова моментально лишили. Да... А у вас все па-доброму, па-харошему, Розочка, деточки. Скоро грядки копать.

— Ну и что, не послушались тебя, лишили собственности Карла Ивановича?

— Карл Иванович? Они в Англию уехали, а мы с мамой — в деревню, потому что, как сказать, началась разруха, продовольствие прекратилось. Мама паглядела, паглядела и говорит: паедем, Паша, в деревню.

Об этом деревенском периоде своей жизни Паша рассказывать не любит, но внешний порядок событий известен каждому, и мне в том числе.

Возвратившись в родное село, мать с дочерью оказались в плачевном положении. Своего дома у них не было. Была, правда, родня — Иван Митрич и тетя Агаша — бездетная, зажиточная, крепенькая, что называется, крестьянская пара. Зажиточность могла произойти именно от бездетности (много ли двоим надо), от скуповатости и от невероятной, прямо-таки лошадиной трудоспособности тети Агаши Еще и в восемьдесят лет она жила так, что за ней не поспевали молодые жницы. Но тогда, конечно, ей было не восемьдесят лет, тогда она была в цвету и силе. Жиличке с дочерью негде было поселиться, кроме как у родни. Стоит ли говорить, что это жилье могло быть временным

Подобные вопросы решались тогда на мирских сходках. Не знаю уж, на какие средства: дал ли мир, дала ли церковь, дал ли кто-нибудь из богатых мужиков, но только Александре с дочерью построили маленькую избушку. «Дамо́к», называет его Паша до сих пор. «Пастроили нам дамо́к, и стали мы с мамой жить»

Я говорил, что на жиличек в наших местах ложилась печать отверженности Может быть, поэтому избушку Александре и Паше поставили не в селе, не продолжением какой-нибудь сельской улицы, а на отшибе, в овраге. Избушку почему-то стали звать «келья», а овраг — «кочетник» Впрочем, может быть, овраг прозвали гораздо раньше несколько веков назад, когда село принадлежало еще московскому Новодевичьему монастырю и когда в нем могли, возможно, жить настоящие монашки. В таком случае «дамок» для Паши с матерью срубили на месте древних келий, память о которых, возможно, жила в народе. Так и звали бы овраг до сих пор, если бы он не потерял постепенно, по масштабам нынешнего колхоза, своего хозяйственного сенокосного значения. Теперь его не зовут никак.

Этот овраг начинается за селом, за огородами, его склоны были грязным местом наших салазочных и лыжных катаний Весной по дну оврага бежит бурный ручей: из сельского пруда вытекают излишки воды. Они широко

растекаются по лугу в сторону речки. Сначала ручей бурлит в глубокой снежной траншее, местами даже под снегом, а потом снег обрушивается, тает, а вода течет уже по голой земле, по прошлогодней траве.

К июню весь овраг превращался в яркий буйный цветник с желтыми лютиками на дне оврага, где бежала вода, и с малиновыми махровыми гвоздиками по сухим склонам. Ну и ромашки, конечно, и полевая клубника. Лежа среди цветов, можно было за целый день не увидеть здесь никого, кроме пчел и бабочек. Место чистое, тихое, одинокое. Там и поставили миром избушку для Александры с дочерью. Тотчас ли посадили, росла ли раньше — но помню, что перед окнами избушки, всю ее осеняя, распространяла зеленую крону большая ветла. Был еще огородик в четыре грядки, ходили куры. Гераньки на окне, иконы, золотящиеся фольгой в переднем углу. Все чистенько, все, как бы сказала сама теперь Паша, па-доброму, па-харошему.

Избушку поставили, надо полагать, не раньше девятнадцатого года, а я мог ее видеть так, чтобы помнить, пяти-шестилетним. То есть уже году в двадцать девятом или тридцатом. В это время и Васеньке, Василисе, Пашиной дочке, было столько же лет, потому что мы с нею оказались одного года рождения.

Ветла, о которой я только что упомянул, играет в устном предании о Паше важную роль. Около этой ветлы ее изнасиловали три олепинских парня. Имена их известны. Имя главного насильника известно тоже, так что когда родилась у Паши дочка, Васенька, как звала ее сама Паша, «Васичка», как звали ее в деревне, то отчество ей было твердо обеспечено: Василиса Петровна. А для Паши — первая и последняя любовь.

Из некоторых фраз самой Паши (из оттенков), а также из олепинских разговоров можно сделать вывод, что после драмы, происшедшей около ветлы, Петр несколько раз опять ходил в овраг, но уже, как говорится, «по-доброму».

Моя память фиксирует события уже в тот момент, когда Васичке, как и мне, лет пять-шесть, мы катаемся с ней на салазках в том самом овраге. Как дикий затравленный зверек, она сначала боялась ко мне подходить, потому что

от других деревенских мальчишек не слышала ничего, кроме дразнения, и ничего не могла ждать от них, кроме больших обид. Я не сознавал тогда, что простым катанием на салазках свершаю большое, доброе дело, разламывая ледяную скорлупу отчуждения и одиночества в другой детской душе. Но помню, что мне было тогда очень хорошо, как бывает хорошо, когда душа прикасается к настоящему человеческому добру.

Овражная горка, где стояла избушка, обтаивала самой первой, и земля прогревалась там раньше, чем где бы то ни было в селе. Помню эту теплую весеннюю землю, кур, греющихся на солнце, а из убранства самой избушки уцелела в памяти только золотая фольга, которой был украшен киот в переднем углу. Из-за этой фольги убогий киот избушки мне казался красивее, да и богаче нашего переднего угла, где могли быть, вероятно, иконы в серебряных, по-настоящему красивых окладах.

Сельские мальчишки дразнили меня Васичкой, и я принимал на себя тогда долю ее отверженности. Но отец с матерью, как помнится, не препятствовали нашим салазкам или собиранию черепков в летнее время.

Момента, когда все там в овраге распалось, не отметилось в моей памяти. Александра умерла, Паша и Васичка уехали в Москву, избушка развалилась, и скоро след ее стерся с лица земли. Осталась одна только ветла, которая все стояла и напоминала о том, что здесь жили люди. Но недавно рухнула и она. На этом месте бульдозером наскребли плотину, желая образовать прудик. Действительно, прудик образовался. Но так как не было взято никаких мер к его поддержанию, то в первую же весну плотину промыло. Вода утекла настолько, чтобы остатки ее уже нельзя было называть прудиком, но не настолько, чтобы не было тут грязной лужи, вместо сухого и чистого оврага.

О нескольких годах жизни в Москве Паша не может сказать больше трех-четырех фраз. По-видимому, никакой личной жизни у нее не было, а внешне — она работала на каком-то заводике (мыла бутылки), жила в общежитии. Васенька к началу войны окончила ремесленное училище, осталась в Москве, вышла замуж. Сама Паша во время войны вернулась в деревню.

— Пошли карточки. Заводы подверглись эвакуации. Продовольствие прекратилось. Начали бомбы бросать. Ночью пушки палят. Вот ей-богу.

Однако справедливости ради нужно сказать, что Паша сама о себе многое забывает. В деревню она вернулась вовсе не в первый год войны, когда Москва была, по существу, осажденным городом и когда ее бомбили, но к исходу войны, потому что потеряла хлебные карточки. Она собиралась перебиться в деревне один месяц, а потом и застряла.

В то время Иван Митрич и тетя Агаша были хотя и пожилыми людьми, но еще в силе, на своих ногах, и ничья посторонняя помощь им не требовалась. Паша оказалась для них неожиданной гостьей. С этих пор и появилась у Паши одна-единственная мечта, выражаясь по-другому, навязчивая идея — домок.

— Мне бы домок, маленький, вроде баньки, я бы там и жила, никому не мешала. Колхоз обязан мне построить домок. Я живой человек, а домика у меня нету. Где же я должна обитать? Я не зверь лесной. Каждому человеку полагается домок. Когда мы приехали с мамой из Москвы после революции... Карл Иванович, как сказать, уехал к себе в Англию, Екатерина Михайловна тоже с ним, а мы с мамой в деревню. И построили нам домок. Умные люди понимают, что без жилища нельзя. И тварь лесная все равно устраивает себе норки, гнездышки. Все па-доброму, па-харошему. Поросятки содержатся па ферме, овечки и козочки в хлеву. А как же это так, чтобы у живого человека своего домика не было? Пойду к Ворошилову, объясню ему, он человек умный, поймет. Я в Москве работала. Пожалуйста, скажет, Паша, тебе жилье. А как же так, без жилья...

— Почему же ты в колхозе не захотела работать? Кажется, тебя Дмитрий Кузьмич, когда был председателем, звал на работу. Если б ты работала все эти годы в колхозе, — глядишь, колхоз устроил бы тебе жилье.

— Ворошилов мне сразу скажет: ты, Паша, человек трудящийся...

— Почему в колхоз-то не пошла работать?

— Колхоз?

— Ну да.

— Что колхоз?

— Я говорю, почему работать в колхоз не пошла?

— Я бы пошла. Меня Дмитрий Кузьмич приглашал.

— Ну и что?

— Я говорю: назначьте мне цифру. А они этого не могут назначить. Работай, Паша, за трудодни. Я сначала работала. Месяц прошел. Я прихожу, как сказать, в контору: давайте мне цифру. Я человек трудящийся, мне полагается цифра. А какие такие трудодни...

Так-то вот, еще в первые послевоенные годы произошел у Паши с колхозом конфликт. Жить ей было, по существу, негде, и ее приютила моя мать, Степанида Ивановна. Тут не было чистого благотворительства. Степанида Ивановна входила в преклонный возраст. Все ее дети разбросались по другим городам, сыновья в армии, у дочерей свои семьи. Возраст был вот именно переходный, когда Степанида Ивановна еще не хотела трогаться с места, покидать дом, в котором прожита жизнь, но и одной управляться стало уже трудно. Жизнь у них шла по принципу, который, шутя, определяла сама Степанида Ивановна: «Кот не может жить без деда, дед пропал бы без кота». Главная обязанность Паши состояла в хождении на колодец, потому что Степанида Ивановна все домашние хлопоты передоверить ей не могла, а за водой была уже не ходок.

Сосуществование двух старых женщин продолжалось несколько лет. Мирные дни перемежались у них неизбежными конфликтами. У жителей нашего села сложилось определенное мнение, что Паша просто-напросто лентяйка и таковой прожила всю жизнь. Но все же, наблюдая Пашу рядом со Степанидой Ивановной (во время каникул, скажем), я не мог бы назвать ее лентяйкой. Она, как говорится, — кошка, ходящая сама по себе. Паша, ходящая сама по себе. Пожалуй, это вернее всего определяет главную особенность Пашиного характера. Она и в сад пойдет, приведет в порядок малину, то есть обломает старые, сухие и привяжет к колышкам молодые побеги. Она и дров в избу внесет. Она, вероятно, и постирает. Но все это она должна делать по собственному желанию. Заставлять же ее делать то или это — бесполезно. Может быть, она и сделает то же самое, но позже и как бы самостоятельно, а не в тот момент, когда ее просят. Из-за этого, вероятно, и случались у них со Степанидой Ивановной конфликты.

Они прожили годы, но дом наш приходил в крайнюю ветхость, никакие подпорки и затычки уже не помогали, жить в нем сделалось невозможно, и Степанида Ивановна решилась наконец покинуть родные стены и переехать в Москву.

Проблема домика опять выросла перед Пашей. Возможностей было две. Попроситься к дочери, к Васеньке, качать внуков, или попроситься к олепинским родственникам. Но Васенька все обещала прислать письмо с вызовом в Москву, которое Паша ждет и до сих пор. Одно обстоятельство смягчило к этому времени ее судьбу и сделало Ивана Митрича и тетю Агашу более терпимыми к своей незадачливой родственнице. Паша стала получать пенсию — двадцать два рубля в месяц. Ее московских справок о мытье бутылок не хватило бы и на половину пенсионного стажа, но Степанида Ивановна тоже дала ей свою справку, в которую вписала столько лет, сколько требовалось.

Невелики деньги — двадцать два рубля, но все же подспорье, все же не в чистом виде лишний рот, особенно если учесть, что сами старики, будучи колхозниками, пенсии тогда еще не получали, и наличные деньги, пусть и небольшие, в хозяйстве помешать не могли.

Паша оказалась под крышей, но в досадной зависимости. В руках — чистые деньги, но нужно каждый раз их отдавать чужим людям.

Я не знаю наверное, требовали ли старики у Паши пенсию или обогревали и кормили просто так. Но, вероятно, все-таки требовали, потому что тоска Паши по собственному домику не прекращалась, не утихала. Так, когда мы отремонтировали свой дом, она очень просила, чтобы зиму мы разрешили ей в нем пожить. Но дом после перестройки оказался пригодным только для летнего обитания.

...Выпив рюмочку маленькими глоточками в течение многих минут, она заводила свою песню:

— Да... Все па-доброму, па-харошему. Розочка, деточки. А я своей Васеньке говорю: взяла бы ты меня, ей-богу. Говорит, я письмо пришлю. Вот уж сколько лет жду-пожду, а письмеца нет. Да. Это неправильно. Как это родной матери письмеца не послать. Это не полагает-

ся. Родителей почитать надо. И мать живой человек. Я вот к Ворошилову пойду. Он разберется, кто прав, и скажет: возьми, Паша, себе домик, как ты есть человек трудящийся...

— Да ведь Ворошилов давно умер!

— Он посмотрит и скажет, как это так, чтоб живой человек остался без помещения. Это не полагается.

— Я говорю, умер давно.

— А если зима, мороз да метель, куда же деваться живому человеку. А я говорю, у вас домик в саду, отдали бы его мне.

— Пожалуй, возьми, да жить-то в нем невозможно.

— Я бы там и жила. Уйду в магазин, на дом замочек повешу. Поставлю коечку.

— Жить-то в нем нельзя. Он продувной, без фундамента, без чердака. Только для лета годится.

— Попросила бы Юру Патрикеева, он бы мне печечку там поставил.

— Это все равно что на улице печку топить.

— На окошечко занавесочку бы повесила. Вот ей-богу.

Дом, в котором жила теперь Паша у своих родственников, тоже был не дворец. Надо сказать, что дома в нашем селе исправные, крепкие. Вовремя кроются, вовремя красятся, суриком или в зеленую краску. Наличники покрашены особо, палисадники особо. Один только дом Ивана Митрича и тети Агаши выглядит завалюхой. Осел на один угол, врос в землю почти до окон, железо на крыше заржавело.

Видимо, старички решили, что на их век этого дома хватит, что смерть к ним придет прежде, чем дом окончательно обрушится или повалится набок. И то правда — простой ремонт не мог бы исправить дело. А перебирать капитально... Именно про такие дома говорят: пока стоит, а как тронешь — и гнилушек не соберешь. Пришлось бы им строить фактически новый дом. А зачем им новый дом, когда обоим под восемьдесят? Так что решение стариков доживать в покосившейся избушке нужно считать правильным.

Первым убрался Иван Митрич (при желании смотри мой рассказ «Поминки»), тетя Агаша осталась одна, и Паша сделалась ей даже необходима. Лучшую жницу и

запевалу перегнуло в пояснице под прямым углом, зубы все выпали, отчего губы ввалились внутрь рта, а нос и подбородок в свою очередь сошлись почти до прикосновения. Казалось, не перезимовать тете Агаше наступающей зимы, но приходила весна, пригревало солнышко, и на обогретое крыльцо выползала обитательница избушки. Остановишься около нее, поздороваешься, заговоришь, — а она все одно и то же причитает:

— Я уж молюсь, молюсь: господи, да скоро ли ты мне смерть пошлешь! Ну что я живу, зачем? Молодые вон умирают — жалко. Мишан Балдов умер, Ванушка Патрикеев, Николай Жильцов. Молодые все мужики. Им бы жить. У них семьи, жены и дети. А я что? Гнилушка, прости, господи. Ни тепла от меня, ни света, чад один. А все никак не дотлею.

Удивительнее всего, что тлеющего тепла хватало еще, чтобы тетя Агаша дотащилась до поленницы и там с Пашей на пару водила пилой по бревну (оно и удобно, все равно сгибаться во время пилки) и в конце концов распиливала бревно на дрова. А колола Паша. Тоже кольщица-то... Поднимет колун в замахе, а ее и покачнет под тяжестью колуна.

Одиночество все больше окружало Пашу. Умерла Степанида Ивановна, которая, пока жива была, приезжала в Олепино на пять-шесть теплых месяцев, и было Паше к кому прийти, с кем поговорить. Умерла тетя Поля, главная Пашина собеседница за потягиванием из рюмочки «винца», то есть той дряни, которая иногда появляется в магазинах под названием то вермута, то хереса, то портвейна. Впрочем, тетя Поля не пренебрегала и белым винцом, в отличие от своей компаньонки, не подымавшейся выше тридцатиградусной перцовки.

— Перцовочка очень хороша, очень пользительна, потому что в пей — вещества. Согревает внутренности. Вот ей-богу. А тетя Поля ругается: что, говорит, ты, Паша, опять этот вермут или херес принесла. Принесла бы ты. Паша, беленькой. А оно, беленькое-то, крепкое, сразу в голову ударяет. А в перцовочке — вещества.

Умерла тетя Поля, и лишилась Паша своей главной подруги и компаньонки. Умерла и тетя Агаша. Ну вот, наконец-то исполнилась, казалось бы, Пашина мечта о

своем домике. Осталась она в Агашиной избушке одна. Но, во-первых, по завещанию все имущество тети Агаши отошло соседям Тореевым, которые за это обязаны были взять на себя хлопоты по похоронам тети Агаши, что и было исполнено. Тореевым избушка не нужна, разве что на дрова. По всей вероятности, они позволят дожить Паше в этой избушке до конца дней. Но опять и снова — позволят. То есть опять не совсем свое, спокойное, но висящее на волоске и готовое уплыть из рук. Во-вторых, избушка эта досталась Паше в таком состоянии, что каждое утро олепинцы, тот же сосед Тореев, могут найти Пашу на печке, придавленной потолком и крышей, потому что на чем там все держится — известно одному только богу. Приходила как будто комиссия от колхоза, осмотрела избушку и заключила, что для жизни она непригодна. Но можно понять и колхоз: в самом деле, не строить же для Паши новый дом, как если бы для колхозного бригадира или для нового председателя.

Есть один очень хороший выход и для Паши, и для колхоза. Я однажды завел с Пашей разговор об этом.

— Говорят, избушка у тебя совсем падает?

— А перцовочка, она полезна для старого человека, потому — в ней вещества. Бывало, мы с тетей Полей...

— Я говорю, избушка плоха у тебя.

— А Степанида Ивановна ни-ни. Совсем не любила винцо. И меня ругала. Ты, говорит, у нас, Паша, пьяницей станешь. Вот ей-богу...

— Я говорю, избушка-то...

— Ну и что?

— Плоха, говорят.

— Домик-то мой?

— Ну да.

— Скоро упадет. Придавит меня па печке. Вот ей-богу.

— Хочешь, я поговорю в области, и тебя сразу возьмут в дом престарелых. Будешь на всем готовом. Тепло, чисто.

— Ну?

— Что ну? Давай согласие, я поеду в область.

— А пенсия?

— На всем готовом там будешь. Зачем же пенсия?

— А как же? Мне, можно сказать, государство навстречу пошло. Ты, говорит, Паша, трудилась, получай свою цифру. А если я в магазин захочу сходить? Бывает, селедочки привезут. Или вон колбасу давали. Вот ей-богу. Захочется посолиться селедочкой, и пойду в магазин. Белое винцо очень крепкое, сразу в голову ударяет, а если красная или перцовочка... Бывало, мы с тетей Полей...

— В общем, ты подумай. Если надумаешь, скажи мне, я тебя сразу и устрою.

— Иван Митрич тоже не любил винцо. А тетя Агаша любила. Бывало, говорит: Паша, ты пенсию сегодня получила. Сходила бы, принесла четвертиночку. Я схожу, мы и выпьем. Огурчиком соленым закусим. А если, как сказать, в дом престарелых, там уж все будет по расписанию. Завтрак по расписанию. Обед по расписанию. Мне Дмитрий Кузьмич тогда говорил: иди, Паша, к нам в колхоз...

— Что же, ты решительно отказываешься от дома престарелых?

— Я ему говорю: я человек трудящийся. Ты мне скажи, что сделать и назначь цифру. Может, я раньше других выйду, может, позже. Как это так без цифры. Не полагается. А если по расписанию на обед ходить, как сказать, по сигналу, то мы не согласны... А у вас все па-харошему, па-доброму. На будущий год, наверно, опять приедете?

— Приедем, если живы будем. Так, значит, не ездить мне насчет дома престарелых?

— А я опять приду к вам, погляжу. Все па-доброму, па-харошему.

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова — ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, — не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить, — то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых... за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя не ему чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника...

Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно — от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи... У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: «Вот так, наверно, падают в обморок». И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение— исцеловать письмо — было. Ваганов вырос в деревне, с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то — поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь «дала трещину», что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: «Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?» Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг,что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань... «Ну-ну-ну — легче, матушка, легче, — с удовлетворением думал молодой Ваганов. — Подожди пока цыплят считать».

Вот с этим-то письмом в портфеле и шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал... А сердце нет-нет да подмоет: «Неужели же она моей будет? Ведь не страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как...»

Целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заныла... В проем осторожно просунулась стриженая голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте. —Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь, — велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут... это... характеристику принес, — сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводют... А я хочу объяснить...

— Вы Попов?

—Ага.

— А что вы объяснять-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? При чем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный... Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся... Эхма!

— Ну-ка, дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие — веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают,

так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

— Попов... это ведь не меняет дела.

— Как не меняет?

— Не меняет. Вот вы тут пишете, что она такая-то и такая-то — плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

— Как же? — удивился Попов. — Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим... Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю... Она мне сама говорила.

— Как говорила?

— Говорила! — воскликнул доверчиво Попов. — Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

— Да ну... Что, так прямо и говорила?

— Да в том-то и дело! — опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормально мужской. — Тебя, говорит, посажу, а сама — на зло тебе — поживу с Мишкой.

— Она именно «назло» и говорила?

— Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю — сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил...

— Ну, не знаю... — Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду. — Тогда уж разводиться, что ли, надо?

— А куда я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это... ребятишки еще не оперились, жалко мне их...

— Сколько у вас?

— Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти... Мне на стороне не сдюжить — вовсе сопьюсь.

— Ну, слушайте! — с раздражением сказал Ваганов.— Вы уж прямо как... паралитик какой: «не сдюжу», «сопьюсь». Ну, а как быть-то? Ну, представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а... к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого — живи, не сможешь...

— Смогу, — твердо сказал Попов. — Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много, не шибко ласковый... Если б я был маленько поласковей она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадют, у их свидетелей полно, медицинские экспертизы обои прошли... Года три впаяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?

— Чтоб они закрыли дело.

— А характеристика-то зачем?

— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут... Ну, не зараза она после этого!

— Здорово избил-то?

— Да где здорово! Шуму больше, крику...

— А без битья уж не мог?

Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.

— Не сдюжил...

— Опять не сдюжил! Ах ты господи, — какие ведь мы несдюжливые! — Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов, даже при своем небольшом еще опыте, научился различать: когда нарочно стараются разжалобить, и делают это иногда довольно искусно. — Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и... Впрочем, что же теперь об этом?

— Да, чего уж, — согласился Попов.

Некоторое время они молчали.

«Ну, что вот делать? — думал Ваганов. — Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а...Эхма!»

— Как вы поженились-то?

— Как? Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала... Ну — сошлись. Я ее и раньше знал.

— Вы здешний?

— Здешный. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.

— А жена где сейчас?

Попов вопросительно посмотрел на следователя.

— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.

— На работе сейчас?

— На работе.

— Тебя кто научил с характеристикой-то?

— Никто, сам. Нет, говорили мужики: надо, мол, навстречу бумаги какие-нибудь двинуть... Я подумал... чего двинуть? Написал вот...

— Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся... Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

— Ну что, Майя? Что будем делать? — Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило. — Фу ты, черт! — с досадой сказал Ваганов. И дальше додумал: — Вечером напишу.

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо — это было рядом.

Ваганов просмотрел пока «бумаги», обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и писарь. Ваганов пододвинул к себе «характеристику» Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ... Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося: «Пришел я, бритый, она лежит... как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланить. Я ее жогнул разок:

ты можешь потише, мол? Она вырвалась и — не куда-нибудь побежала, не к родным — к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось...»

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

— Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганничать. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

— Да, да... — Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил ее дальше. — Безобразник. Что он, не знает, что сейчас за это — строго! Забыл.

— Он все на свете забыл! Ничего — спомнит. Дадут года три — спомнит, будет время.

— Дети вот только... без отца-то — ничего?

— А что? Они уж теперь большие. Да потом, такого отца иметь — лучше не иметь.

— Он всегда такой был?

— Какой?

— Ну, хулиганил, дрался?..

— Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут — к Михайле-то приревновал... С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

— Так, так. А кто такой этот Михайло-то?

— Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали... Шофером в сельпо работает.

— Он что, одинокий?

— Да они так: переехать-то суда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а у нас тут рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь... Вот она и успеват-ездит, жена-то его: там огород содярживат и здесь, — жадничат, в основном.

— Так, так... — Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще нагло, с потерей совести. — Вот он тут пишет, что, дескать, вы ему прямо сказали: «Тебя посажу, а сама тут с Мишкой поживу». — В «характеристике» не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал. — Было такое?

— Это он так написал?! — громко возмутилась Попова. — Нахалюга! Надо же!.. — Женщина даже посмеялась. — Ну надо же!

— Врет?

— Врет!

«Да, уверенная бабочка, — со злостью уже думал Ваганов. — Ну нет, так просто я вам мужика не отдам».

— Значит, сажать?

— Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделашь. Пусть посидит.

— А не жалко? — невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась... Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

— В каком смысле? — спросила она.

— Да я так, — уклонился Ваганов. — Идите. — Он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала «ага», поднялась, прошла к двери, обернулась, озабоченная... Ваганов все смотрел на нее.

— Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его... От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

— А не беременела, — сказала она. — Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

— Ничего, идите, — еще раз сказал Ваганов. — И положил руку на «бумаги». — Во всем... — он подчеркнул это «во всем» — во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу... Уходила она не так уверенно, как вошла.

— Да, — вспомнил еще следователь, — а кто такой... — он сделал вид, что поискал в «бумаге» Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было, — кто такой Николай Королев?

— Господи! — воскликнула женщина у двери. — Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то?! — Женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

— Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции.

— Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были...

— Ну, хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его... Задумался, глядя на эти листы. Майя... Далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя... Можно и начать наконец писать слова красивые, сердечные — одно за одним, одно за одним — много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать... И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы, — и втыкать, и втыкать их в точеную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви... Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где — живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь вдруг ясно и просто подумалось: «А может, она так? Способна она так любить?» Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла... Вообще не сможет, и все. Вся эта история с талантливым физиком... Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. «Э-э, — с досадой подумал про себя Ваганов, — повело тебя, милый: заегозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему — что за чушь! — почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностью, должны подсказать, как ему решить теперь такое — *такое!* — в своей не простой, не малень-

кой, как хотелось и думалось, жизни?» Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание «обстреливать» далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось... «Вечером напишу, — решил Ваганов. — Дурацкое дело — наверно, по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще».

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол — писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства... Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично... Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним, — вот что спутало мысли и чувства. «Ну, хорошо, — вконец обозлился на себя Ваганов, — если уж ты трус, то так и скажи себе — трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя — такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почуял, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: «Все они одинаковы!» — и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский!»

Ваганов долго сидел неподвижно за столом... Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще... Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там тоже, наверно, врожденная трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. «Плебей, сын плебея! Ну, ошибись, наломай дров... Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уж и так-то во всем копаться... это же тоже — пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Бу-

дем писать не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так».

... Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особого тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал, — все время чувствовал, что больше кокетничает, чем... Он вчастую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

«Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это, Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение... Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя. И именно это обстоятельство дает мне сейчас право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну, что же... приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю (как на допросе!): что это, Майя?» Так начал Ваганов свое длинное письмо... Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. «Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу!.. Слизняк». Это, правда, было как горе — эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился... «Господи, да что же делать-то? Что делать?» Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь — он готов был и на это пойти, — никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил бы. А вспомнил он только... Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб... А что? «А что, Майя? — съязвил

он еще раз со злостью. — Это ничего, Майя. Просто я слизняк, Майя».

Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: «А я играю на гармошке у прохожих на виду-у...» С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен он сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такого — умного, деятельного, а другие, как дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца — пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным и его будущее — накроется. «Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный, — думал он про себя с искренней злостью. — Подождем и посмотрим».

Работу он начал с того, что послал за Поповым.

Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

— Входи! — Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

— Как твое имя?

— Павел.

— Ну, как там?.. Дома-то?

Попов помолчал... Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много... Не это ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное — хамство, рвачество и жестокость?

— Ничего вроде... А что? — спросил Попов.

— Не говорил с женой?
— Мы с ей неделю уж не разговариваем.
— Не заметил в ней никаких перемен?
— Заметил. — Попов усмехнулся. — Вчера вечером до-олго на меня смотрела, потом говорит: «Был у следователя?» — «Был, — говорю. — А что, тебе одной только бегать туда?»
— А она что?
— Ничего больше. Молчит. И я молчу.
— Возьмут они свои заявления назад, — сказал Ваганов. — Еще разок вызову, может, не раз даже... Думаю, что возьмут.
— Хорошо бы, — просто сказал Попов. — Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже...
— Павел, — в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило, — хочу с тобой посоветоваться... — Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно, и вроде не смешон. Что уж тут смешного!— Есть у меня женщина, Павел... Нет, не так. Есть на свете одна женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять... — Вот теперь только почувствовал Ваганов легкое смущение — оттого, что бестолково начал. — Словом так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.
— Чего так? — спросил Попов.
— Да боюсь, что она такая же... вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: чтоб ей интересно жить было, весело, разнообразно... Ну, в общем, все мои замыслы — побоку, а только ублажай ее.
— Ну-у, как же это так? — засомневался Попов. — Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе — горе, радость — тоже...
— Да постой, это я знаю — как нужно-то! Это я все знаю.
— А что же?
У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.
— Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю,

что она... никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

— Да моя-то!..

— А что «моя-то»? Люди все одинаковы, все хотят жить хорошо... Разве тебе не нужен был друг в жизни?

— Я так скажу, товарищ Ваганов, — понял наконец Попов. — С той стороны, с женской, — оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся? — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос. — Попов говорил свободно, убежденно, — правда, наверно, думал об этом.—Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой нуль. Чего же мы тогда детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходки...

— Но есть же... нормальные семьи!

— Да где?! Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря... бушуют.

— Ну, елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов. — Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она — друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они так сделаны. Чего обижаться? — В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной — он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

— Так, так, — проговорил Ваганов. — Ну, нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все...

Попов пожал плечами.

— Вы меня спросили — я сказал, как думаю.

— Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так... это...

— Конечно. Каждый так и живет — с самого начала. Скажи мне тогда: «Не женись, мол, Пашка, — ошибесся». Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

— Да, да, — согласился Ваганов. — Это верно. Ну, хорошо. — Он встал. Попов тоже встал. — До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...

— Да нет, что вы, товарищ Ваганов! — заверил Попов. — Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это... Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно — нашумел... Хожу, кляузами занимаюсь — рази ж не совестно?

— Ну, до свидания.

— До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу — писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

«Приезжай. Палат нету — все мое ношу собой. Встречу. Георгий».

Он записал так... Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: «Я играю на гармошке...» Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Постоял над корзиной... Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день.Он подошел к столу и размашисто, во весь лист, написал:

«Нездоровится. Пошел домой».

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то — это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья —
Только ра-аз в го-оду-у.

День стоял славнецкий — не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг или начинало цвести, или только что отцвело, и там, где завя-

ли цветки, завязались пухлые живые комочки — будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день — впереди.

Ваганов свернул к почте. Зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику, с краешку, написал адрес Майи... Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст... И написал: «Приезжай».

И уставился в это айкающее слово... Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

— Что, раздумали? — спросила женщина в окошечке.

— Адрес забыл, — соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

«И врать ведь как научился! — подумал о себе, как о ком-то — отчужденно. — Глазом не моргнул».

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СВЕТЛО

Ты посадил меня на «Енисей» и пошел по своей Москве привычно-торопливым шагом. Может, ты думал обо мне, а может, вообще о чем-то ласково-летнем, но близком расставанию, потому что всегда так: проводишь кого-нибудь, и сам в мыслях помчишься куда-то к своим берегам.

Я удалялся от нашего короткого свидания на московских горах, глядел на первые подмосковные поляны, еще соединенный с тобой прощальными словами и сожалением, соединенный уже и с миром попутчиков, с солнечными зайчиками на пыльных окошках, на бревнах, с хмурой сибирской родиной, куда полетела с утра моя телеграмма. А ты шел по надоевшей столице мимо машин, мимо спрятанного во дворе страдающего Гоголя и домов, в которых живут знакомые постаревшие вдовы русских писателей, повторял, может быть, свое тайное выражение, что у нашей литературы остались одни вдовы, и тебе смертельно хотелось унестись поскорее в белые чумацкие степи к свежим ночам над черной дорогой, по которой, мнилось тебе во тьме, совсем будто недавно пропылили и княжеские полки, и калмыцкие кони твоих дедов, и тачанки.

Ты историк, ты чувствуешь, что истина не питается навязанными мгновениями. Ты ценишь древние, не всеми еще потерянные корни России. Ты ходишь, — я знаю, — в «Старую книгу» и всякий раз охаешь, впившись глазами в чудные названия, жалея, что нету денег купить драгоценности. А дома, едва появится кто-то хороший, вытаскиваешь из дальних уголков секретера антикварные томики и, воскликнув «а вот!», торопишься вслух сообщить позабытую правду — в надежде, что в госте твоем она отзовется так же сердечно, как и в тебе самом. Я уже

понимаю тебя и легко представляю твои дни. Ночами ты часто просыпаешься и лежишь в одинокой думе. О чем она, дума? Ты не знаменит и не салонная звезда, но зато старые вдовы, наследницы отчаянно-великих страниц, нуждаются в тебе крепче, чем в ком-то другом. И ты сам-то не ведаешь, каким настоящим русским хранителем стал.

После утомительной службы ты иногда сидишь на закате в комнатах на Тверском бульваре или на улице Горького и не подаешь виду, как тебе больно оглядывать скромную обстановку, гордых русичей. Наоборот, ты шутишь и разыгрываешь, и потом невзначай попросишь бледные листочки с почерком творца и скажешь, связывая ниточки бумажной папки: «Попробуем протолкнуть!..»

Я вспоминаю тебя и не пишу. Я пишу тебе мысленно, проветриваясь на осеннем затоне. Осень окурена желтым прозрачно-путинным светом, и на окраине, в виду по-старинному мудрых полей, хочется вспоминать о великих. Хожу и говорю с тобой, потом еду дальним трамваем в однообразные Черемушки, ничего не вижу, не слышу, все говорю с тобой. На сиденье кто-то читает газету, и я случайно натыкаюсь на траурную каемку. Так неожиданно. Умер человек, о котором почти никто не слыхал, пока он вставал каждое утро в московской квартире и сидел над исполнением своего святого долга или порою отправлялся в знаменитую усадьбу, озарившую его молодость. Я-то считал, что давно уже нет на русской земле счастливцев яснополянской жизни. Нынче в словесности наплодилось так много сомнительных классиков, так часто их поминали и возносили, что я уже привык в провинции к мысли, будто они только и правят миром и будто им одним и обязана благодарностью просторная Родина. А человек, которого не стало сегодня, полвека жил рядом с нами, и не слышен был его голос. Умер последний секретарь Толстого. Еще не погребенный и уже навеки отданный царству небесному, он ясно-ясно видится мне. Внезапно рождается высокое чувство к нему и ко всем, кто так прожил. Только он один, возвращаясь к тульским лесам и оврагам, подходя благостным зеленым вечером к

белой усадьбе, внутри которой мерцают к ночи похожие на старых хозяев окна барского дома, только он один мог потосковать и припомнить отпавшее так близко и наяву, как никто другой, только ему почти с суеверным счастьем простонародья шептали голоса забвенных гостей, гулявших и катавшихся в давновсти меж высокой травы... Понятно ли тебе мое чувство? Вот походить бы мне с ним по следам, послушать и перенестись туда, в дни бога в простой рубашке. Сегодня стоят у его гроба. И с обидой чудится, что при жизни редко у кого возникали бок о бок с ним тихая умилительная зависть и не по праздничным дням уважение. Странная поздняя гордость отпущена русскому. Поздняя гордость, позднее сожаление и любовь к прошлому.

В тот же день умерла простая старуха. Ей было сто шестьдесят шесть лет, и я тут же прикинул, кого и когда она могла бы видеть, и слышать, и знать.

Она мыкалась где-то в деревне, молотила цепами, таскала детей, и мир ее был замкнут околицей. На Псковщине она могла бы встретиться Пушкину, в орловских полях напился бы из ее кружки охотник Тургенев, а в Ясной ходила бы она жаловаться к Льву Николаевичу. Как-то невольно, по-детски думается об этом, когда вспомнишь, что Россия полтора века влекла ее за собой. И если бы я подошел к ее изголовью и спросил, знает ли она, каких великих сынов пережила, она бы никого, кроме царей, господ и соседей, не вспомнила. Какая печаль.

Ни о чем не писал я тебе. И, наверное, зря. Может, в ту минуту, когда я думая о тебе как о прекрасном друге, тебе кажется, что я позабыл тебя, и тебе одиноко. Я же на всех полустанках думаю о друзьях, покупаю конверты и, однако, пишу редко. Лето прошло, ты вернулся из чумацких степей. Кончилось и мое путешествие.

Я поздно сошелся с тобой, и в моих письмах нет постоянных воспоминаний о том, как много лет жил я вечерней тоской по Константинову, по необходимости повторить свою поездку к Есенину, побродить теперь уже не только по его следам, но и по своим. Ну почему же и по своим? Да так, много чувства было тогда. Я, кажется, ничего не сказал тебе об этом и нынче, разве чуть-чуть, но ты скоро, по-братски, уловил мое настроение, и напо-

следок, когда мы выпили на кухне по рюмке медка из польских кувшинчиков и пропустили, вставая, по кружке домашнего кваса, ты вдруг принес из комнаты белую папку с надписью и вложенными туда листиками. «Ради бога, попросил ты в надписи, — помни это лето: продают за углом русский квас, на тринадцатом этаже играют Генделя, ты уезжаешь, я остаюсь». Потом я открыл в поезде папку и нашел перепечатанные с тщательностью, присущей тебе в любом деле, три письма Клюева к Есенину, очень давние, об очень старинных отношениях — нас еще и на свете не было. Конечно, не напрасно ты их мне положил. Поэтому я берег их и не заглядывал до того самого дня, когда можно было раскинуться на траве над Окой и удариться в воспоминания. Но стихи Клюева я прочитал. Ты выбрал их специально, чтобы поделиться своими чувствами, которые трудно передать в глаза собственными словами. Я читал и думал о тебе, и знал, какое слово ты бы мог подчеркнуть как свое. Не раз после работы, перед сном в маленькой комнате на тринадцатом этаже, ты взглядом выделял строчки: «Мы любим только то, чему названья нет, что, как полунамек, загадочностью мучит: отлеты журавлей, в природе ряд примет того, что прозревать неведомое учит». Сейчас пишут не лучше, и благодаря тому, что старцы пылятся в хранилищах, новое племя получило возможность ступить на чужой пьедестал. Ты нередко спасал меня от суеты и был рад, когда я направлялся к родному дому.

Родные углы. К ним тоже привыкаешь, и, если живешь сильным чувством, они после радости тут же чем-нибудь огорчают. Мне уже плохо сидится дома. Первое чужое слово в письме издалека обманчивым своим тоном говорит мне, что я не успеваю жить. Там, где бросалось письмо, хоть на короткое время ты опять станешь новым и новым, кажется, будут те же друзья, те же слова и те же закаты над крышами и тополями. Как, однако, год от году отвыкаешь от комнаты, где ты спал несмышленым и тебе к изголовью подносили парное молоко, от приступок крыльца, на которых ты любил греться спросонья, от выросших сверстников, казалось, навечно незаменимых, до могилы верных бездумным играм и матерщинным историям, от дорожек из дому в город, из города в дом, на которых мель-

кали одни и те же, одни и те же лица, наконец от родной матери своей, не мыслившей провести без тебя вечер, но тоже стерпевшейся, такой же кровной, дорогой и (зачем скрывать?) все же застланной туманом расстояний, живым отсутствием изо дня в день, украденной наступившими твоими заботами, женскими лицами, новыми голосами. А больше всего меня огорчала заметная возрастная перемена в людях, в сверстниках в первую очередь. Ведь в детстве, когда жизни, как небу, не видно конца, в юности, когда воображается вечное ночное свидание под черемухой, трудно поверить, что и нас обратают сроки: закружит нас жизнь, весенней травкой поднимется кто-то моложе, кому-то — нетерпение и горячие губы, глупое счастье от лихости и кому-то из нас уже редеющий волос, первые морщины, неудачи, воспоминания, болезни и даже молодое еще одиночество. И другие стихи стали мы подчеркивать ногтем.

Бегут наши шестидесятые годы, и мы, повзрослев, глядим на себя как бы издали.

Вот наконец-то побыл я дома; как увидел из тамбура Барабинскую степь и мигом всполошился: какую же родину я оставил! Обошел все детские местечки, дышал сибирским воздухом, с огорода глядел на заобские облака. Лето стояло душное, ставни были закрыты, улица точно спала. Часто сидел я на лавочке за воротами. Люди тянули свою судьбу без меня, заботились о детях, окучивали картошку, гуляли по праздникам — без меня, без меня, я в стороне другой внимал новым знакомцам, с ними срастался. Здравствуйте, здравствуйте, ответишь кому-нибудь, да, вот приехал ненадолго, да, оторвался от родимого края, что сделаешь. И человек пойдет дальше. Хотя мне уже тридцать лет, я люблю раннее и вряд ли научусь высокомерию. Меня же им в юности осыпали сполна. Был я странно неподвластен бесстыдным ухищрениям по устройству судьбы и ждал чьей-то ласковой братской руки, но в той ханженской среде, где я не потакал притворно честным товарищам, никто даром руки не протягивал. Надо было куда-то уехать, чтобы обнять друга. И уже было обещано встретиться нам с тобой через пять-шесть лет и молча сказать: «Здравствуй, я твой друг!» Да, нет пророка в своем отечестве. Если ты трешься в провинции и ночами

колдуешь над песнями, никто из ближних тебя не признает. Если ты прогремишь в Москве, мелкоте это покажется странным, и долго-долго будут хмуро подсматривать за тобой и шептаться в злом неверии. А ты, в юности искавший их проворной компании, уже пошел и пошел от них теперь не только в сердце своем, не только сам, но люди и справедливая молва тебя понесли. И чем неустаннее соседские шепоты сплетников и лжецов, тем суевернее стучишься в далекие тонкие двери друзей.

В жизни, оказывается, так важен внешний успех. Но разве от этого человек становится лучше, нежели был? Отправляясь десять лет назад в Константиново, не сказав никому ни слова, разве менее чисто и нежно я думал, чем нынче? Наоборот, того не воротишь. Сейчас у меня будут выспрашивать, а тогда я рад был найти такого, кто бы выслушал без важности. А что изменилось? Пожалуй, стал я чуть хуже. В общежитии я лежал ночью так же тревожно, как в константиновской кладовке у тети Нюши, в десяти шагах от знаменитого домика. Кладовка была узенькая, на бочке стояла керосиновая лампа, щели пропускали закатный и утренний свет, тетя Нюша не будила меня, потому что слышала, что я засыпаю в четыре утра, слышала, как в полночь щелкает задвижка, чиркают спички под окном и приезжий юноша уходит по туману к Оке, мимо вырубленного сада барыни Лидии Кашиной, зазывавшей когда-то к себе поэта нескромной порою. Я думал: вот приеду, расскажу обо всем кому-нибудь. Напрасно так думал. Чувствуя себя несправедливо одиноким, я иногда сокрушался: «Зачем я ездил? Не дико ли тащиться за сотни верст в какую-то деревню, спать в душном вагоне на третьей полке, положив голову на трубу отопления, предаваться воскрешению старых голосов и походов и на минуту удручаться, как отстаешь ты и отстаешь от материальных забот, как вместо того чтобы бить в одну точку и учиться «мудрости жизни», еще сильней отравляешь себя видениями, которые ни хлеба, ни денег тебе не принесут».

Но, положим, иногда люди просто не могут попасть на одну и ту же волну или, уловив ее, пугливо уходят в себя, потому что привыкли к осторожности. Кто догадается, что творится в другом! Чуткие натуры, плененные

старыми обычаями любви, стыдятся нежнейших своих дум, едва выйдут за ворота и столкнутся с внешней обыкновенностью быта. Они пишут на корочке книги своим милым по примеру давнишних барышень: «Любить себя я не прошу, на это прав я не имею, но если можешь — не забудь, вот все, о чем просить я смею», — и стесняются показать. Темна душа, недоступна, ищет-поищет сочувствия и замкнется в гордости. Вот и теперь я боюсь, что меня не так истолкуют, либо коварно воспользуются моей откровенностью.

А хочется, очень хочется быть откровенным. Столько накопилось всякого за эти годы. У каждого почти лежит в недрах заветное слово — радостное или печальное. Русскому характеру были не к лицу недомолвки. Когда я говорю все, я чувствую себя человеком. Я потому и люблю Есенина, что он не умел притворяться.

Об этом я тоже думал на родине. Когда наступил черед прощаться, Серега Малашкин, сорокалетний чалдон, голова которого, казалось, была забита одним футболом, вдруг размякший от вечернего застолья и сочувствия к дальней дороге и к какой-то поднебесной, в его понятии, моей профессии, крепко сжал меня в сторонке и бойко сказал:

— Витя! Витя, земляк! Я, знаешь... ты, наверное, подумал, что я только выпил... ты... да что — я, конечно, необразованный, но кое в чем кумекаю. Мама говорила, ты скоро приедешь, и я тебя так ждал, поверишь, ну, думаю, с Витей переговорю обо всем. И стеснялся. Поверишь! Ей-богу, я стеснялся тебя, несмотря на то, что я тоже много знаю. Так хотелось взять поллитру и — по душам! А вот теперь ты через час уезжаешь, я выпивши, тебе с мамой надо быть. Ну, в следующий раз, Витя! Серегу извини! Ты понял Серегу? Серегу извини! Я коечто почитываю. Я за сорок восемь лет, — набавлял он себе, — повидал кое-что. Описать — заплакать можно. Я человек такой: по морям, по океанам, но люблю Сибирь. Видал, как живу? Я — машинист паровоза. Сел на мотоцикл — восемьдесят, девяносто! Сел на паровоз: надо восемьдесят — даю восемьдесят, мне говорят — шестьдесят, а я — вот вам — даю восемьдесят. А почему? Потому. И во всем так надо. Ты, мама говорила, к Есенину

едешь, а Сибирь не теряй. Чалдонов не теряй, Витя! У нас в Сибири так: пришел гость— на тебе! Видел, как я живу? Жену видел? Видел, что было на столе? Нет, ты скажи, чего там не было? Сына видел, красавец, чуб-парень? Здоровый, пожрать хватает. А хочется, чтоб и для души было. По сыну сужу, что душа просит. А что ей дать? Я тебя разве плохо встретил? Вот, Витя, у меня смородина, вот крыжовник, вот огурцы, помидоры, ранетки, все твое, кого люблю — того уважаю. Для души ты себе сам нашел. А мне хочется, чтоб и у сына было. Я вижу, я вижу, Витя, что что-то не то у молодежи. Не то, не такое, пуп крепкий, а в голове — шаром. Жалко, что ты не пьешь. Я пью. Крепко! Серегу извини. Вот я тебя поцелую, земляк. Напиши что-нибудь такое, знаешь... чтоб на сто верст видно. Выдай, знаешь! Чтоб мы сказали: да-а, это действительно из жизни, а не то что — раз и мимо. Полетел высоко, но все-таки нет-нет и присядь на свою крышу. На своей крыше люди тебе всегда крошечку кинут. Пиши правду. Только. А наврать мы сами молодцы. Серегу извини...

Расстались мы горячо. Э-эх! Не вернуться мне домой навсегда. Такая моя доля. Как из чужой страны забреду на материнский порог, осмотрю углы и подивлюсь своей ужасной забывчивости в стороне. Сибирь. Сибирь. Родина, студеная чалдонская земля моя, зачем я покинул тебя? Детство мое, школа, весны и зимы, дожди, под которые мы выбегали с крыльца босиком. Огромная, неписаной тишины Барабинская степь и Чулымские озера, за которыми стелются и влекутся на запад воспетые центральные земли Руси. Туда, в край рассыпавшихся могил, глядел я в детстве со своего огорода.

Что понимал я, что знал тогда? Знал разве то, что там, в теремах и курных избах, началось русское летосчисление и еще в темные годы люди нашего языка сложили песни и книги великого смысла. Там бы и жить мне нынче. Все кажется мне, что там бы или в Сибири заботливее окружен был бы я и задрожали бы во мне поржавевшие струны.

Я не писал тебе и от матери. Впервые за последнее время все хорошо складывалось у меня: наконец попал я в откровенный круг, столько услышал умного и ред-

кого. Да только, по теперешней поре, личным счастьем гордиться, пожалуй, стыдно. Не буду громким, если скажу, что за маленьким своим удовольствием мы часто забываем обо всем на свете. Мы никого не помним, не сочувствуем горю, мы живем, наслаждаемся своей удачей, тешим свою хитрую душу временным превосходством над кем-то, превосходством от непомерного тщеславия нашего, тогда как на самом-то деле мы ничуть не выше других. И вдруг увидишь настоящее лицо и поймешь, что ты-то маленький. Так случилось со мной, когда я отыскал Ярослава Юрьевича Белоголового. Я ведь давно с ним знаком, с того памятного лета, когда я поехал к нему в среднерусский городок на Оке. Я любил и боялся его. Любимый мастер вроде бы и не человек для тебя, а бог. Как постучать к нему, что сказать, как обращаться с ним? Я кружил целый вечер возле дома, в котором он снимал комнату, переспал у старушки и утром издалека подсматривал, когда он появится на веранде. Он вышел к колодцу с ведром. Он шел и глядел в землю, волосы падали ему на глаза, он подгребал их рукою, никого не замечал. Я застыдился, надо было подойти и представиться. Он шел по широкой мягкой траве, болтая ведром и низко клоня в землю голову, косолапя, — рослый, сухощавый, обыкновенный. Но лицо прекрасно! Счастливый, подумал я. К нему едут, ему пишут, его чтят. Он, кажется, все знает, все видел, все понял. И вот зовет меня к себе, греет чай и даже смущен несколько. С первого слова так просто с ним хорошо. Впереди целый день с ним, он бросил работу и говорил, говорил. Рядом блестел свежий березовый лес, белый, сквозной, и средь этой красоты, как и в Сибири в минуты неожиданного явления человеческих характеров, хотелось быть очень талантливым и воспеть свой край, своих близких, эти березы, это короткое наше пребывание на земле, наши никому не известные чувства, ожидание чуда, разлуку. На Оке гудели катера, пароходы шли в сторону есенинской деревни или оттуда. Вечером мы закладывали в самовар прошлогодние еловые шишки, курили на траве, и опять жалелось мне, что бог не отпустил вволю таланта и потому никакой песни я не сложу. Напрасны старания. Но вот уезжаешь, и в прощальный срок молнией сверкнет в тебе что-то свое и,

кажется, осветит на миг всю жизнь твою, и мечты в ней,и то, как ты можешь передать все словесно бумаге. И кажется, поймут тебя, и обнимут, и заплачут над твоим горьким ли, сладким чувством, и сам ты вознесешься к небу. Таким я был на катере, отплывая в то лето, таким уезжал нынче от матери и таким был целый день, пока звонил тебе. Телефон не отвечал, ты гостил еще в степи, и я пошел искать Ярослава Юрьевича, вспоминая встречи с ним, его книги, всех похожих на него избранников, и постепенно, помаленьку — еще до встречи, и особенно во время ее — летнее самодовольство мое сняло как рукой.

2

Найти Ярослава Юрьевича в Москве нелегко.

— Только что был, — ответят по телефону, — куда-то ушел с переводчиком.

Переводчики, корреспонденты, гости, приятели и всякие прочие шатай-болтающиеся... Несть им числа. Звонят с утра до ночи, соседи уже смирились, что вечно звонят, приходят и уходят когда вздумается, на кухне непременно кипит вода в коричневом чайнике, высокий шумный жилец бегает за водкой, кричит в трубку: «Да, да, милый! Приезжай!», и никогда не закрывается у него дверь с тяжелыми шторами, остаются без него ночевать какие-то странные люди, старые и молодые, прилично и бедно одетые, и когда бедно — еще подозрительней, потому что у Ярослава Юрьевича выносить, кроме книг, картин и иконок, нечего, а у них и хрустальная посуда, и серебро, и всякое другое, да и шум этот, стихи, громкие споры надоели уже до смерти и никакого спасения больше нет — милиция не отзывается. А квартиры ему не дают, видно, не очень-то заслужил и, видно, не слишком уж «гениально» пишет, как старются уверять разные его товарищи. Но вообще-то сам по себе он не сказать что плохой, даже добрый и тихий, если не пьет. Денег никогда не считает, за все услуги платит сполна, детям носит конфеты, отдаст в дорогу первому встречному самую дорогую вещь и постоянно ищет куда-то пропавшие после бесед старые книги... Часто живет под Москвой, но и тогда становится

не легче, все равно звонят и спрашивают, и сам он звонит и просит переслать с кем-нибудь корреспонденцию. Иногда, раза три в год, корреспонденцию везу я. Я получаю ее от старушки соседки, которую Ярослав Юрьевич зовет н я н е й. Она знает о нем все. Они ровесники, но разговаривает она с ним как с ребенком.

— Ты, Ярослав Юрьич, мне вчера что говорил? Вспомни, вспомни. Ты помнишь, откуда ты приплелся и когда? Я не посмотрю, что ты великий писатель, возьму вот эту половую тряпку да тебе по дурной голове нашмотаю, и тогда посмотрим, что останется от твоей литературы. И когда ты в носках перестанешь ходить по комнате, стыдрам, носки дырявые, брюки неглаженые, пуговички на рубашке нет. Тебе прислали из Средней Азии за перевод деньги — куда ты их дел? Поро́здал опять, дружки появились на мед? Великий писатель! А для меня ты не великий писатель, хоть выше Толстого будь, — для меня ты Ярослав Юрьич: спать не даешь, грязь носишь, комнату не проветриваешь, громко разговариваешь.

— Подожди, милая, когда я тебе так говорил? Что ты. Не смей меня упрекать в этом. Я не великий. Я тебе этого никогда не скажу, грех, грех мне будет так мнить о себе.

— Вчера ж и говорил. Вот здесь. Где сидишь. Не помнишь? Конечно, где тебе помнить — сколько выпил: поллитрой не обошлось. Ты мне деньги положил, сказал: на, няня, попрошу — не давай, закричу — не давай целый месяц. Три дня не успело пройти: няня, выдай из резерва десяточку. Зачем тогда давать? Не можешь сдержаться. Тебе роман надо кончать, а ты... О чем ты думаешь, Ярослав Юрьич, где оно, в твоей великой-то голове, настоящее соображение? Тебе бог столько дал, сколько тысячи других не имеют, и ты пускаешь себя по ветру, маешься, места себе не найдешь. Сел бы и писал. Чудак-человек.

— Ты меня уважаешь?

— За что тебя уважать? За то, что ты в старой рубашке сидишь?

— Любишь?

— Не любила б, — улыбалась в таком случае няня, — не ругала б. Смешной человек. Поглядеть на твой вид —

не похож ты на великого писателя. Возьми Тургенева на портрете — солидный, одет как. Или Шекспир твой. Я, конечно, только не знаю, ну, наверное, к нему дружки такие не звонили. «Ярослав, Ярослав!»— попили и ушли.

Он задумчиво и по-школьному покорно качал головой, порою печально улыбаясь и думая о чем-то не таком уж простом.

— Тургенев... Толстой... — повторял он за няней. — А ты, няня, любишь Тургенева?

— Не знаю, люблю или нет, я его только на портрете видела. Не до него было.

Там, куда направляла меня няня, кто-нибудь окружал Ярослава Юрьевича. На столе среди рукописей и книг, которых он читал множество, лежали хлеб, сыр, конфеты и возвышались головками бутылки. Как всегда, шел разговор о жизни, о смерти, о политике. Часто я натыкался на очень славных людей, иногда заставал тех, кто обвораживал меня сперва, потом выявлялся совсем не таким. Зато всегда было радостно увидеть Ярослава Юрьевича с Костей Олсуфьевым, плотным, кудрявым другом с высоким лбом и круглым русским лицом. Однажды была с ними еще яркая дама в ажурных чулках, курила, подпирая локоть ладонью, американские сигареты «Кэмел» и обоих называла ласково, преданно — Славочкой и Костиком, обоих боготворила, но держалась наравне, и все-таки видно было, что главная страсть ее была где-то там, в своих не слишком тягостных обязанностях, и, кажется, для тайных минут нужны были ей другие, импозантные, спортивные мужчины, а для умных бесед — эти двое, не от мира сего.

Они уже пили чай, и Ярослав Юрьевич по обычаю топтался от окна к двери, говорил длинно и прекрасно, выходил на кухню, проверял чайник, продолжал, потом снова скрывался на кухне, возвращался, зажав кончиком пальцев дужку чайника, а в другой руке сминал булочку, которую он, видимо, позабывал надкусывать в разговоре. Был он еще трезв, не читал стихов и не кричал: «Ура! Я вас люблю!» Костю Олсуфьева провожали в Париж. Отпускали его впервые, и еще не было уверенности, что в последний момент что-нибудь не случится, однако с

радости он сказал всем: уезжаю в Париж! Посему шутили, импровизировали, сочиняли, как на аэродром явится провожать французский посол и как в Орли выйдут навстречу толпы поклонников, понесут на руках, а репортеры сбегутся брать интервью, и он их, старики, устало пошлет подальше, переоденется и пойдет по славным Елисейским полям, вспоминая великих писателей и придумывая дерзкую телеграмму на родину, Ярославу Юрьевичу. На всем был легкий тон иронии и воображения, и смеялись как дети.

— И обязательно, старички, попаду на выставку охотничьих собак!

— Костик, — советовала дама, — если будешь покупать крючки, то спрашивай норвежские, тогда примут за настоящего рыболова: если скажешь: «Силь ву пле, мне французские», — тебя не оценят.

— Старуха, они будут счастливы, что я зашел в их магазин.

— Купи розыгрыши, Костик. Мы купили много всяких: рюмочки, из которых пьешь и не льется, чернила — брызнешь на белую рубашку, и через пять минут пятно сходит, рубашка вновь белая.

— Нет, старуха, я куплю браунинг, есть, знаешь, такой пистолет, игрушечный, выстрелишь в нос, и человек погружается в состояние шока, и когда приходит в себя, не понимает, в чем дело.

— Книг привези, — сказал Ярослав Юрьевич. — В Париже много русских книг.

— Да, да, Костик. На улице Монтань Сент-Женевьев есть прекрасный магазин. Я купила там «Лолиту». Да! Ты ведь будешь как раз к празднику светлого воскресения Христова и в магазине Василия Ивановича Ростовцева можешь попробовать куличи и сырную пасху.

— Когда? У меня будут приемы, пресс-конференции, я поеду в Приморские Альпы, в Ниццу, в Марсель. А может, я еще не уеду.

— Ты позвони, Костик, когда узнаешь точно. Мы помашем тебе платочками. Честное слово. Я так рада за тебя. Наконец-то. Известный человек, переведен там и там — и никуда не ездил.

— Я чувствую, ты меня любишь. Спасибо.

— Я тебя сначала не любила, несколько раз видела за столиками, ну, молодежь говорит, я в стороне, а потом я прочла одну за другой все твои книги, и я действительно влюбилась, я часами, всю ночь напролет, произносила речи о тебе, муж даже сердился, и с тех пор говорю о тебе всем переводчикам русской литературы, где только можно. Я о тебе говорила в Америке, в Италии, ты знаешь, там перевели все твои лучшие вещи...

— У меня все, до единой, одинаково хороши, — улыбнулся Костя.

— Допустим.

— А вообще, мы так мало друг о друге говорим и мало друг для друга делаем. В Париже, между прочим, я буду говорить о тебе, старичок, — сказал Костя Ярославу Юрьевичу. — Обязательно, старичок.

— Да бог с ними, — спокойно сказал Ярослав Юрьевич. — Я убежден, что мы там никому не нужны, что нами готовы спекулировать и потом забывать. Я не понимаю, почему писатели так наивны в этом отношении. У меня только что вышел роман в издательстве «Плён». Самое старое в мире издательство. Масса статей. Езжай, Костя, я рад, только никому не верь.

— Я привезу тебе, старик, магнитофон, и ты будешь наговаривать свои прекрасные страницы.

— Я ухожу, — сказала дама, — и позвольте, я расскажу вам одну смешную историю, которую я узнала от Б-ва. Его пригласили на кинофестиваль в Европу с Л. Ну Л., западник, знаток Парижа, бывает там по нескольку раз в год, посоветовал Б-ву не прививать черную оспу в Москве, с тем чтобы привить в Париже и задержаться там на три-четыре дня. Они не стали прививать в Москве, прилетели в Париж, пока их не пускали, пока им впрыскивали, они пробыли три дня. Л. устроил Б-ва в меблированные комнаты, в центре. Он переночевал, проснулся, за окном в тумане Сена, Париж, в постель несут ему завтрак.

— Сейчас не носят.

— Л. оставил его у старых знакомых, не спорь. Б-в выпил кофе, оделся, вышел из подъезда, смотрит — к автоматическому ящику подбежала француженка, опустила пять сантимов, автомат выпустил такой мешочек с

конфеткой, девушка проглотила его и побежала на работу. Б-в думает: что такое? Дай-ка попробую. Кинул в щелочку пять сантимов, развернул мешочек: таблетка, положил на язык, приятно, кисло-сладкая, и отправился, и так, пока шел, еще несколько раз бросал монету и глотал таблетки. Наконец встречает Л., рассказывает ему об этом, тот дико смеется и говорит, что таблетка от... зачатия. Так вот, Костик, ты не привози нам браунингов, игрушек, а привези э т о г о...

«И вот она ездит по Европе, по Америке, — мелькнуло у меня, — а все остальные, в сто раз лучше, сидят дома. Может, она и не плоха, судить сразу нельзя, однако лучше ее-то сколько...»

Ярослав Юрьевич чуть заметно, как-то мудро улыбался, как улыбаются в затаенных думах чему-то слишком постороннему, не принимая чужих слов близко к сердцу, но и не осуждая за то, что людям весело и живут они по завету Горация: лови день. Костю Олсуфьева он любил за талант, хотя, может, порою считал, что стихийного таланта сейчас недостаточно и надо очень хорошо знать то, что ты делаешь и что должен делать, несмотря ни на что, и также что звезды, поэзия жизни, любовь к женщине, песенность, вечные проблемы добра и зла хороши, но на историческом фоне. Стихия вознесла Костю, и, если бы он чуть меньше любил себя, ему бы не было цены. Сам Ярослав Юрьевич слишком рьяно ругал себя, и оттого труднее было писать. Костя на двадцать лет был моложе Ярослава Юрьевича. Без Кости он бы не начал романа. Костя увез его на окраину и спрятал от дурных друзей. Все же они таили друг к другу мужскую нежность, прощали взаимно слабости, не испытывали той притворной необходимости хвалить неудачное, что так водится между старыми знакомыми по цеху, когда из-за частых встреч неловко сказать правду в лицо; наоборот, орали и обвиняли друг друга до жестокости, пили и мирились, и снова цапались, гремели стульями, крича и смущая покой окружающих: «А у Чехова, помнишь! Не-ет, старик, ты отупел! Ты потерял слух! Ты напоминаешь мне чудовищного графомана!» Первое время, когда бедный, безденежный Ярослав Юрьевич свалился как с неба, они часто встречались, без конца выпивали под Москвой, на охоте, в

деревне, парились в бане и ночами бродили по темным прекрасным полянам, а разъезжаясь, очень скучали. Тоска начиналась с простого — не с кем было пропеть романс Баратынского, или с воспоминания о каком-нибудь вечере при свечах: они для согласия долго подбирали ноту и упрекали друг друга в отсутствии музыкального слуха и даже уходили, если были посторонние, тренироваться в ванную, откуда слышалось: «Не... не-е... не-е-е искушай меня-я без ну-ужды-ы...», целовались и плакали, уверяя, что все равно их запомнят и все равно о них еще услышат не раз. Однако же непростительно мало жили они вместе, ударяясь в свои заботы и одинокие писания. А зачастую наваливалась такая черная тоска, адски больно было душе, и казалось, будто уже все, конец: конец надеждам и желаниям, уже никого нет на свете близкого, никто тебя не любит и никому ты не нужен, а все, из-за чего ты стонешь и меняешь места, никуда не годится, никем не вспомнится даже через десять лет, и новое младое племя имя твое назовет с отвращением или посмеется над бедным отшельником, потому что ты не угадал ни тайных слов, ни вздохов, не услышал ни колокольного звона, ни дальнего голоса, и, значит, зря ты страдал, спал на лавках на пристанях, хранил достоинство и зеленел от неправды, и все ловил, ловил в полях немой зов русской земли, в которую ушли и великие и поганые. Но вдруг просыпался от явившейся сцены, и писал легко, страстно, и ликовал, верил объятиям, и письмам, и самому себе, и другу своему, которого не видел лет сто. И возвращалась нежность, чувствовал, как необходим ты на свете со своим скромным, но честным словом, и уже толпами шли будто навстречу с сочувствием те безымянные люди, которые теперь спали после трудной работы. И к другу хотелось.

Так вечно. Один бродит по лесу, другой на востоке у рыбаков, третий в Париже, в Индии, в херсонских степях, поврозь и поврозь, в то время как угодливые и откормленные всегда вместе, на одной огороженной площадке, тесно сдвигают после собраний столы, лижут друг друга и только успевают носить к машинисткам свои пухлые рукописи. Из провинции приезжали богатые дяди, которые давно променяли слово на деньги, входили в Клуб и странно менялись, прятали местную выправку, не знали, куда

приткнуться, и если с кем их знакомили, то было им стыдно произнести свое заштатное имя, и тогда они играли в «передовых», в прогресс, держась в душе все той же хитрости, выгоды и пробитой дорожки, и, подавая швейцару номерок, щелкали тут же монетой, и шли по Москве, чувствуя благостное освобождение от споров, умных слов, которые им все равно никогда не понадобятся. А тут надо мучиться, отказывать себе во всем. Сколько бы дней было украшено дружескими гимнами, безобидными побасенками и приятными сердцу мнениями о жизни, если бы судьба не отдаляла от ближних и если бы не так пространна была российская равнина. Однажды сидел он в подмосковном домике, читал на вечер Шекспира и лег поздно. Ветер шумел, пустота ночи, к томительной тягучести которой он давно-давно привык, напоминала ему почему-то высокий берег на юге, в молодости, в тот последний сезон их оборванного счастья, и он уснул так, уже не в силах ни сожалеть, ни мечтать лишний раз, потому что ничего не воротишь, и спал спокойно, снилось черт знает что, и под конец, перед раскатом грома, почудилось, будто умер его последний друг Костя Олсуфьев. Он по-древнему верил в предчувствия. Он соскочил, нащупал неглаженые брюки с подтяжками и никак не мог найти другой носок. Наконец он толкнул дверь и вышел на крыльцо. Ночью лил дождь. Вдруг ударило в голову воспоминанием о тысячелетиях и краткости человеческой жизни. Земля вымокла на многие версты, и на этой земле не было уже Кости Олсуфьева. И его охватило отчаяние. Музыка, романсы и мелодии, которые они напевали вдвоем, внезапно зазвучали в безразличной утренней тишине, зазвучали в его душе, и от наступившего сиротства качало тело. Он запахнул плащ и пошел по грязной дороге, впотьмах, в соседнюю деревню, куда Костя приезжал летом. Он уже не соображал, то ли представилось ему от одиночества, то ли правда душа угадала несчастье на расстоянии. Шесть километров он спотыкался о мокрые кочки и камни, ощущал свою недолгую теперь жизнь без друга, вспоминал веселые посиделки в Клубе и договаривал с Костей, высказывался, жалел, что мало осталось писем, и почему-то искал виновных, думал опять о них с выстраданным презрением, хорошо понимая, что ничто никог-

да не приведет их к раскаянию и жертвам ради высокого.

А на рассвете занялась жизнь, женщины спешили с корзинками в город, и вокруг дома бегал в одних трусиках Костя Олсуфьев, кричал на белого лохматого пса.

Я рос без отца, а Ярослав Юрьевич был того же года, что и он. Ему исполнилось семнадцать лет, когда обносили вокруг памятника Пушкину гроб с телом Есенина. Он стоял в толпе. Он бы еще мог поехать в деревню на берег Оки и застал бы деда, мать и отца, в Москве ходили еще мимо и любили других подруги поэта — текли, словом, при Ярославе Юрьевиче те обыкновенные живущему дни, которые мне казались недавно старинными. Много веков летал я где-то над землей, не дышал и не видел солнца, и как же это я снова куда-то уйду, перестану смеяться и никогда не воскресну? Что было до меня? Так же росла трава, всходила луна, совсем молодой высокий красавец Ярослав Юрьевич жил, как положено в молодости, чистыми надеждами на счастье, носил книги под мышкой и на южном берегу собирал гальку, ловил крабов, ранними теплыми вечерами стоял с любимой актрисой возле причудливого памятника на древнем русско-турецком кладбище, говорил длинно и красиво о жизни, о любви, о поэтах. Молодость, любовь, погибшая юная дева под камнем. Молодость, любовь и чужая разлука, чужая смерть. Деве-то все равно, кто приходит к ней, какие слова негромко ложатся на плиты ее вечного дома, что написали ей на прощание и что напишут потом, догадываясь о ее судьбе и связывая этот вечер любви с личной судьбой и с образом милой актрисы в легкой шали. Ей все равно. Но, неизвестная и простая, она возродилась сперва в мраморном изображении, потом в строках, в воспоминании, потом в приснившемся живом ангельском существе, уже она и не она, просто женщина, образ, который любят в юности. В тесной своей квартирке, годы и годы спустя, Ярослав Юрьевич вспомнил далекое напевным словом: «Пьедестал тяжеловесным золотом блистал и отдан был лирическим поэтам. Некрасов, Майков, Пушкин, Блок, конечно Надсон, Лермонтов, Плещеев, кто посвятил стро-

ку, кто десять строк, невесту провожая в дом Кощеев. И говорил лирический букет: люблю тебя, хотя тебя и нет». Кто она, кого он сравнивал после с юной девой под камнем? Актриса. Большего я никогда не узнаю. Старшим, которых любишь, слишком интимных вопросов не задают. Кое о чем постепенно догадываешься, но главная тайна все-таки остается. Я очень многого никогда не узнаю. Он, конечно, писал ей письма. Неужели это было, и неужели он писал ей? И кто теперь вернет берег, лодки, ночь, и слова, и то, как ее укачало тогда? А где его письма? Они сгорели, конечно сгорели. И вот он стар, и может так случиться, что от него ничего не останется, кроме писем, которых некому было сберечь, и кроме книг, из которых она не прочла ни строчки. А может, прочла? Ведь он всю жизнь писал женщин с нее. Он помнил ее там, где не держалось в обмороженных пальцах перо, да и не было ни пера, ни бумаги. Триста стихотворений умрут с ним, никогда никому не достанутся. Он так и не записал их — стихов своих он стыдился. Пока я рос и послушно повторял счастливые песни, он проходил великие круги жизни. И однажды, в тот день, когда кто-то простился с миром и кто-то еще не появился в нем, мы встретились случайно — поживший и молодой, и он сказал мне, как будто я был ровесником.

— Милый друг, не называй меня, ради бога, на «вы», я от этого давно отвык...

Язык не поворачивался. С юности благоволел я перед божьими избранниками. Нередко дивился я легкости обращения мальчиков клубного таланта, изумляла всегда эта их манера бить по плечу седоволосых и выпрашивать трояк на похмелье с такой школьной непосредственностью, точно не было страшных границ возраста и точно мерилом уважения и приятельства была ранняя способность сосать водку, триста — четыреста граммов которой давали как бы право бросить большому таланту: «Да ну тебя, Ярослав, в...!»

«Талантливые люди», — говорил мне ты, мой точный историк, — они же все простецкие в быту люди, у них всегда, извини меня, ширинка расстегнута.

— Все правильно, только видеть панибратство противно.

— Ярослав! — кричали со всех сторон, подходили, и он, растрепанный, громкий, поднимался и целовал ни за что какого-нибудь борова, уделял ему место за столиком, вынимал скомканные в горсти красные бумажки и бежал заказывать водку и закуску, а потом, разливая, просил встать и произносил страстную речь в честь кого-то.

«Зачем? — думал я. — Зачем такая щедрость понапрасну? И перед кем же?»

— Ура! — насильно выливал он в рот водку и забывал о закуске.

«Пить можно всем, — читал я на цветной стене строки, — необходимо знать только где и с кем, за что, когда и сколько».

Теперь я стоял в буфете Клуба и глядел на столики, на эту шутливую надпись аварца. Зал был полон, и казалось, не умолкал еще с того раза гул и звон ложечек, но за памятным столиком я не встретил Ярослава Юрьевича. Где же он? В углу, под рисунком Бидструпа, он, помню, размахивал руками и вспоминал памятник на высоком берегу. Тогда был и Костя Олсуфьев, помолодевший, в парижских золотых очках.

— Тебя читают в Европе с наслаждением, — сказал он Ярославу Юрьевичу.

— Да, да, — спокойно покачал он головой и сказал: — Меня приглашали.

За столиком, сверкая соблазнительными чудными коленками, курили бог весть отчего просвещенные дамы. Они кем-то горячо восхищались, кого-то цитировали, и так было заметно, что цитировать и восхищаться легко, потому что это ни к чему не обязывает. Тот, кто лежал в могиле или где-то терзался в квартирке, был просто посторонним, уже образом, полубогом.

Честное слово его, болезни, нелегкая натура, малый достаток — все вдалеке, на небе, не досаждая милым блестящим глазам, не трогая чудесных коленок.

Рано утром я иду на квартиру. На Сретенке есть маленький магазин «Старая книга». Самое древнее и ценное Ярослав Юрьевич купил здесь. На звонок мне никто не отвечает. Я нажимаю на кнопку все настойчивее. Нет, квартира пуста, и соседи, видно, на даче. Я мысленно

проникаю в узенькую комнатку Ярослава Юрьевича, чувствую устоявшийся запах немытых полов, вижу античные книги, портрет Шекспира, рисунки с *чувственными* посвящениями, икону богоматери Одигитрии, и фаюмские древности, и толстую антологию 1917 года, которую он доставал с полки и выбирал оттуда что-нибудь подходящее случаю, например, старые слова забытого поэта: «Нет, долго думай ты, и долго ты живи, плачь и земную грусть, и отблески любви, дни хмурые, утра, и тяжкое похмелье — все в сердце береги как медленное зелье. И может, к старости тебе настанет срок пять-шесть произнести как бы случайных строк».

— Ну я-то, ну я-то, — вдруг говорил он, — я-то неудавшийся поэт, понимаю. А ты, ты тоже без ума от стихов? Ты знаешь, за что я вас с Костей люблю? Не знаешь? За то, что вы на меня совсем-совсем не похожи. Понимаешь, какая штука. Ура, выпьем! Ура! И да долголетен будеши на земли. Ура!

С этим криком он и открывал всегда дверь, поднимая руки, целуя и затем топая в носках в свою комнату. На столе, под столом, по углам валялись тетрадки и большие листы, валялись его романы: неделями, месяцами, годами.

— К сожалению, — отвечал он мне по какому-нибудь поводу размышлениями, — вековая проблема Буриданова осла — какая охапка сена лучше: левая или правая? — и ее подлинная неразрешимость виноваты, по крайней мере, в пятидесяти процентах жизненных неудач. Понимаешь, какая штука. Ты меня правда любишь?— Он улыбался, начинал ходить по комнате, наливал водку в чашечку, пиво в стакан и носил в пальцах вечный кусочек хлеба, забывая надкусить его, нервно тер щеки и глядел светлыми удлиненными глазами на богоматерь Одигитрию Рязанскую на стене. — Понимаешь, какая штука, милый: не ладится у меня нынче работа. Понимаешь. Годы не те, да и надоело писать в ящик. Я потерял свое ценное время. Талант — вещь прихотливая, и, к сожалению, об этом совсем забыли. Ведь все расцветали очень рано, не то что теперь — ему тридать лет, а он только «подающий надежды». Мы как то разговаривали

по этому поводу с Костей. Послушай, говорит, самым лучшим нашим писателям уже больше тридцати лет. Мы уже давно должны были написать свою *Мадонну*. Рафаэль в эти годы написал. Пушкин написал, Есенин написал, о Лермонтове вообще упоминать не приходится. Не обязательно гениальную, но сво-ою, но Мадонну, одним словом. Понимаешь, какая штука. Где бы ты пропел все, и после этого и умереть можно бы со спокойной совестью. Ни у кого из нас нет своей Мадонны. Не только в тридцать, нет и за тридцать, за сорок, люди наполучали комплиментов, но не написали Мадонны. Мы катастрофически отстаем не только от своего времени, но и от своего возраста. Понимаешь. Что ему было ответить? Я-то знаю, почему так происходит, я пережил это на себе, потому что мои цветущие годы пропали. Мне, наверно, дан был талант, и я страдал не оттого, что провел лучшее время на морозе, а потому, что я не смог бы полностью развить свой талант, как и многие другие, и не просто ради себя, а ради того, чему с молитвой служил русский писатель. Вот какая штука. Литература, может быть, единственная штука, где пошлость не права. Разрешить этот парадокс в порядке достоверности невероятно трудно. Если, конечно, не заводить известную волынку «в наше время не может быть...» Ведь п о ш л о с т ь — старое русское слово, и означает оно обыденность, обычность. Я думал, ты королева, а ты пошлая девица, писал Иван IV Елизавете Английской. И необычное всегда очень плохо поддается изображению, оно кажется притянутым за волосы, высосанным из пальца, — трудно, поистине невероятно трудно, когда оглянешься на род человеческий, показать попранное зло и торжествующую добродетель. Материала не хватает. Так же трудно, как милиционеру, которому я писал сегодня объяснительную записку, трудно представить, что я, Белоголовый, человек, с твоей точки зрения, нежный и милостивый, что я, понимаешь, не хулиган, а всего-навсего не последний, имевший мужество заступиться за женщину. Понимаешь, какая штука. Пыхчу вот, извожусь над переводом. У меня роман в голове, а я должен перевести, это хлебец мой. Прости, господь, мои великие согрешения, но ничего более противного я в жизни не делал. Как будто пьешь касторку с сахарином,

и она попадает не в то горло. Вот уж действительно «люди гибнут за металл!» Так-то, дорогой!

Опять хотелось послушать его. Ни жалобы, ни злобы никогда не было в его голосе. Чуть грустно склонив голову, глядя светлыми удлиненными глазами в одну точку, он говорил, говорил обо всем с мудрой выдержкой. Подпив только, отставив книгу на вытянутую руку, с изумительной страстью читал что-нибудь свое, зачастую одну и ту же страницу с пронзительными словами, которые кто-то произносил расставаясь: «Ми-и-ла-я! Ми-илая ты моя-я!»

Еще бы раз услышать его, да где он, куда пропал?

Я звоню Косте Олсуфьеву.

Лето, проклятое лето. Никого не сыщешь в душной столице. Через день, через два я тоже буду средь зелени, в лугах за Окой. Я звоню Косте еще раз.

— Старичок, — отзывается он, — не знаю, не знаю. Он совсем бросил пить, его теперь никто не видит, я звал его как-то, он не пришел, некогда, говорит, работаю, тороплюсь. А ты чего, старичок, раньше не позвонил, ты меня случайно застал, я прибежал на минутку, забыл, понимаешь, тут одну штуку, машина на дворе стоит. Ты вообще-то, старичок, скажу тебе, нехорошо поступаешь, писем не пишешь, не звонишь, сидишь у себя в провинции, коньяк, наверное, тянешь, а великих писателей забыл. Нет чтобы, старичок, в ресторан позвать, посидеть, понимаешь, с лучшими представителями отечественной культуры, старичок, — шутливо ворчал Костя, — поговорить о разном, ты прости меня, бегаешь по Москве и ездишь по местам, воспетым Есениным. Ты, старичок, свое место найди, чтоб к тебе потом ездили, милый, вот так надо писать, да, чтоб е з д и л и потом, а ты с графоманами у себя связался и забыл хороших. Каждый из нас должен иметь свое Михайловское, не за тем, конечно, ты пойми меня, чтоб там табличку вешали после того как загнешься, а для души, милый мой, для раздолья, и к народу-то поближе, открыто тебе все, понимаешь, никакой коммунальной замкнутости. Мы сироты по сравнению с классиками. Мы все командированные, а люди раньше умели через какое-нибудь заброшенное Тригорское показать весь мир. Вот, милый мой, какие делишки. Без своего уголка ничего мы не создадим, хоть тебе мильон авансов.

Ну что ты живешь где-то около гор, объедаешься фруктами? Тебе Россия, милый мой, нужна, Россия, где татары проходили, вот это твое дело, это звучит и пахнет, ты ж русский, русскому складу во как нужна древняя земля. Там и речь-то наша, нигде такой нет больше, нигде, старичок, это я точно говорю, нигде художнику так не раскрыть рот в восторге! Русь! Поезжай на Валдай, где я бываю, во, старичок, куда надо, ты узнаешь, что Русь т а м. Шутки шутками, а я еду на Валдай. А Есенину поклонись от меня, старух послушай. Ярослава не ищи, никто тебе не скажет, где он. Но если увидишь, скажи ему, что я его люблю и пусть он мне хоть открыточку кинет, потому что он пропал, старичок. Я на тебя сержусь, но, в общем, желаю тебе хорошего лета, ты напиши мне тоже. Попробуй в Царицыне найти Ярослава...

Помню, ехали мы в Царицыно зимой, полтора года назад. Подмосковье лежало в снегу, мелькали теплые дачи, темнело, желтый вагон электрички помаленьку пустел. Поглядишь за окно, на белые поля, и опять почувствуешь себя временным, мимолетным. Все реже и реже за муравьиной заботой бывают минуты свидания с самим собой, беспрестанно топчешься и несешься, вечно кажется, что в суете-то и обретаешь себя. А потом идешь усталый по тишине, и другого, чего-то осеннего и прозрачного, желаешь на свете.

— Я давно это понял, — сказал как-то Ярослав Юрьевич, — но в том-то и дело, что времена Оптиных пустыней прошли, впасть в постоянную монашескую созерцательность даже на старости лет невозможно — погибнешь. Не тот век. С удовольствием бы оставил этот порочный двор Цирцеи, как говорил Пушкин. И терпения не хватит, и друзья с поллитрой отыщут. А Михайловского своего — Костя любит напоминать об этом — у меня нет. Вот езжу при первой возможности в Царицыно. Понимаешь. А я не могу жить по частям, мне необходима долгая забывчивость, утонуть надо и долго не выплывать, тогда что-нибудь создашь. Нельзя же, право, ехать и ехать в поезде. И работаю я странно. Я пишу быстро и подряд. Иначе у меня ничего не выйдет, понимаешь. Я дописываю и начинаю править каждую страницу. Если я начну чи-

стить сразу же, я никогда не доберусь до конца, ты понимаешь, какая штука. Поэтому я пишу без остановки, а потом семь-восемь раз сливаю воду с каждого листа! Наша остановка.

Мы сошли.

Теперь я бродил по царицынским дорожкам без Ярослава Юрьевича. Где он? Вдали от него я начинаю мечтать, находятся слова для него, я не стыжусь, издалека, нестесненно общаюсь с ним и обретаю то состояние, когда он то есть где-то, то теряется вовсе. Вот, кажется, его нет совсем, и я хожу по местам, где он косолапо плутал по опушке и обходился со мной так, словно и я прошел великие круги жизни. Каждое слово теперь становилось воспоминанием. Легче находилось спасение, никто не мешал быть возле него с утра до ночи, и вообще теперь принадлежал он только мне, моей памяти, моим мечтам. Я спасал его от случайностей, я вроде бы мог способствовать его настроению.

«Как это легко, — думал я, очнувшись, — любить издалека, любить через десять, двадцать, сто тридцать лет, когда уже никто в твоей любви не нуждается, а преданность твою за столом трудно проверить. Как легко заблуждаться и надеяться на добрую память. Мечты, сон, книжная мудрость. А в чем же не книжная? Посмотришь, легко некоторым быть вдовой, верной уже после смерти мастера, когда ей все почести за его муки. Легко найти правду на листе бумаги. А в чем же вечная мудрость?»

В такие минуты теряешься, и нет опоры для прекрасных, возвышенных слов. Люди кажутся то лучше, нежели о них думаешь, то подозреваешь их в нехорошем. Как не разбиться в жизни, а не разбившись, ежечасно остерегаясь ее ударов, как не засохнуть? Надолго ли хватит юной мечты? Хочется быть мудрым-мудрым и хочется ясной, непугливой дороги. Но в чем же мудрость и далека ли намеченная дорога? Возвышенная мудрость ночи и одинокого веяния полей так больно бьется о каменные ступеньки магазинов, столовых и заведений. «Меняем мы, — повторял Ярослав Юрьевич Шекспира, — на почести и лесть то лучшее, что в нашем сердце есть».

Я ходил по столице, и меня толкали в проходах и на улице, и однажды, в самую трепетную минуту, когда я

думал, как чисты и высоки художники, меня вдруг поразило слово «толпа». Нас было много в городе, и мы не замечали тайных переживаний друг друга. Каждый стоял и думал о своем.

Потом я плыл по Оке к Рязани. Опустились колокольни и вышки столицы, и надежда моя на свидание с Ярославом Юрьевичем отодвигалась к зиме. Я думал о деревне на горке, о доме, возле которого я стоял почти десять лет назад. Желтый вечер спускался к земле. Как будто изменился я за десять лет, как будто и нет. Как будто все уже знаю, как будто не знаю уже и того, что знал раньше. Отчего кончилось мое веселье, пока я искал Ярослава Юрьевича?

Я вскрикнул на пристани в среднерусском маленьком городке. Пароход подвалил, прицепился веревками, и я на горке, на фоне мягкой вечерней зелени случайно увидел его косматую голову. Я побежал к сходням.

— Как ты меня нашел? — спросил он растерянно.

— Случайно. Я еду к Есенину. Случайно увидел с палубы. Я целый день искал вас в Москве.

— А я, понимаешь, снял комнату, второй месяц обретаюсь здесь. Так ты погоди, забирай свой чемодан, переночуем у меня.

Он взял у меня из рук вещички и повел по траве к знакомому мне дому с верандой. Он стал неузнаваемо тих, брюки были поглажены, рубашка навыпуск придавала ему изящество. А то, что он обрадовался мне, даже вроде соскучился, и, подкинув мне на веранде плетеное кресло, посеменил за водой, потом забил еловыми шишками старенький самовар и стал расспрашивать, как и что, вернуло мне восхищенное умиление перед ним, перед всеми-всеми, на него похожими и в года былинные, и ныне.

— А что, ты впервые едешь к Есенину?

— Нет.

— Вот, грешен, никогда не благоговел перед ним. Никогда не понимал его младенческой нервозности, кабатчины. С молодости так застонать, заплакать и износиться — не понимаю. Не понимаю, потому что после него люди не менее нежные вынесли и не такое.

— Я замечаю, что вообще-то и писатели мало ценят друг друга.

— К сожалению, да. Но вся-то штука в том, что наши расценки идут совсем по другой категории. То, что обо мне думает какой-нибудь чиновник, несравнимо с самым крайним отзывом обо мне самого злого критика. Я к этому привык. Занятие наше — дело глубоко одинокое, милый мой. Неблагодарное. А для некоторых литература стала средством «выйти в люди». Если бы эти «выдвиженцы» только путались под ногами — ну, бог с ними. Они же лезут наперед, унижая самое дорогое и чистое, и при так называемых возвышенных побуждениях не забывают и о самых низменных. А наша литература с древности несла в себе черты жертвенности. Иначе и быть не может. Возьми ты игумена Феодосия или автора «Слова о законе и благодати». Возьми летописца Никона. Возьми ты Аввакума, Епифания. И так во все века. Пушкина убили еще как будто вчера. В нашем ремесле если сказать «А, Б...», то надо проговорить всю азбуку. Одной буквы не хватит — и правда исчезла. В мире еще убивают людей с трех шагов, а мы взялись воспевать бумажную романтику. Когда ты повзрослеешь, ты меньше будешь любить Есенина. Это милое, запутавшееся дитя. Я бы близко не подпускал к нему некоторых его друзей, этих чудовищных снобов, которые, одурев от тщеславия, солнце хотели заменить клизмой с розовым лекарством, между «мочой» и «зарей» ставили знак равенства и выдавали это за внутреннюю покорность творческому закону. Так нагло, так хамски изъяснялись перед всем миром, и это когда! Надо бы драть за уши тех, кто в тяжелые часы Родины с милой непосредственностью предается хохмочкам и высасывает из пальца новые формы.

Над лесом возрождалась луна. Белеющие дорожки вели мимо берез под горку, на дальние огоньки деревенских окон. Опять, опять со мной то же чувство. Едва окажусь в поле или рядом с прекрасным человеком, молнией проносится внутри весь трепет жизни и хочется быть талантливым и мудрым, чтобы все постичь, воплотить и отдать душу другому.

Мы шли и молчали. Вот русская ночь, березы, бесконечная жизнь полей, и вот мы вдвоем, на секунды задержанные в потоке мирового неисчислимого времени. Вспоминалась родина с дней своей колыбели, ее бег в тысяче-

летия, вспоминались князья, цари и безымянные мужики, которых никто не отметил в гербовниках. Хотелось обнять Ярослава Юрьевича за плечи и сказать что-то нежное, сказать, что он не один, что все равно его запомнят и будут приезжать на его следы, ходить по траве, взирать с тех же тропинок и думать, как водится у паломников, скорбно и просто: вот жили люди... И я молчал.

Ночь серебрилась на крышах.

— Смотрите, Ярослав Юрьевич, как светятся. Чернота дома и фосфор поверху. И бревна, как свечки.

— Хм... — удивился он. — Какие у вас с Костей глаза. Да еще Бунин был, он перещеголял вас, он видел и слышал за семь верст. А я, знаешь, не замечаю этих деталей. Не то что не замечаю, а забываю о них. Костя видит собаку, сбивающую дыханием одуванчик, ноги у его женщины стеариновые, прическа — крыло птицы, в листьях берез отражаются облака — какое упорство зрения!.. Я вижу целое, громадное в объятиях с громадным — луну, например, огромную, ясную, ее музыкальный трагический свет. Огромная луна, и откуда-то с тех холмов возвышенный крик: «Ми-ила-я! Ми-илая ты моя-я!» Ты посмотри, как просто вокруг. Ночь, круглая луна, кости под землей, и мне скоро шестьдесят лет, и я в этой истории, непременно в истории. Как у нас, в сущности, любят закатывать глаза горе и поднимать палец: «О-о-о! Какая сложная вещь!» Я же всю жизнь, с младенческих ногтей, понимал, что сложность — это порок и что разбитый писсуар куда сложнее и непонятнее Венеры Милосской. Богатство — это другое дело. Но его берут только простотой. Остальное — слова, и ничего кроме слов. Нечто вроде спора лисы и волка о том, кто из них больше любит медведя. Найти метафору и написать балаган с переодеванием чертей куда легче, чем сказать два-три простых слова, от которых бы видно было окрест.

Придем домой, я дам тебе одну старую статью, там хорошо сказано и об условном блеске, и обыкновенной мудрости.

«Милый Ярослав Юрьевич, — говорила ему переводчица из братской страны. — Вы такой большой-большой, кажется, будто вы объехали весь мир, все-то вы знаете,

все видел я...» — «Да где же весь мир, — по-детски смущался он, — и нигде не был, кроме России. Кроме своей Родины. Ведь у нас заведено уж так — стараться увидеть мир с Тригорского холма. Я не разочаровал вас? Серьезно?» — «Ну что вы, что вы, Ярослав Юрьевич, я очень довольна, что наконец увидела «человека из легенды», столько читала вас, переводила, я именно таким вас и представляла. Я вам желаю счастья». — «Счастья», — повторил он и склонил голову.

— Ах, Ярослав Юрьевич, Ярослав Юрьевич, — внезапно потянулся я к нему и положил руки на плечи. Я не посмел досказать. Понял он меня или нет, не знаю. Только мое беспомощное чувство не расстроило его, не вызвало элегии, он, вместо того чтобы поддаться моему младенческому сочувствию, неожиданно, со спокойной и сильной готовностью стал успокаивать меня.

— Что, милый, что? Грустно, да? Нагнал я на тебя стариковскую тоску. Не обращай на меня внимания. А вообще, скажу я тебе, надо жить и радоваться. Надо все-таки помнить Пушкина. Он умел. Все слова, все женщины вас ждут. Кто возьмет умом, кто лаской, кто тяжелым портфелем. А тебе — свое. Не надо по молодости выдумывать рыданий. Пой, пока поется, хочется плакать — плачь. Да, душа отыщет свое. Лет пять назад мы возвращались ночью из Муранова, от Тютчева. Ну, валяли дурака, пели, рассказывали анекдоты, острили, потом затеяли вспоминать эпиграфы, замечательные, кто из Лермонтова, кто из Бёлля, Бруно Ясенского, Хемингуэя, Толстого, один прекраснее другого. И незаметно перебрались к стихам, ночью, при лупе, в обители мудреца, да все рыцари пера, — представляешь, как звучит! И тут Костя после передышки стал в одиночку бормотать «отченаш», начал как-то не слишком серьезно, вот, мол, старички, еще сказочка отцов и дедов, и за строчкой, за строчкой — каждый присоединился — кончили хором, путая, сбивая и поправляя друг друга. И вдруг! Заплакали. И от растерянности даже в глаза друг другу заглядывали: не я ли один? Заплакали, не сговариваясь. А я, понимаешь, не мог заплакать, потому что уже плакал много-мно-

го раз до этого и часто жил с этим... Понимаешь, какая штука...

— Имя мое, — сказал он вечером с улыбкой, — «и др.».

Кто вздрогнет, когда однажды он сложит руки на груди? Кто захочет услышать его, да не услышит больше? Кто рад бы пожать руку ему, да не пожмет? И там, куда стекают дождевые воды, он никогда не узнает о сиянии своего яркого имени и о поздней благодарности поздних сынов. Буду приезжать и на среднерусскую равнину, тихо ступать по траве, вспоминать сегодняшнюю ночь, гордое лицо с удлиненными светлыми глазами, глубокое затишье окраины, где на веранде я мигом увидел подчеркнутые красными чернилами слова на мягком желтом листе:

«Старый французский писатель на ночь, лежа в постели, берет книгу Гете. Читает, перелистывает и, наконец отложив книгу, обращается к Гете с вопросом, но тут я, конечно, принужден цитировать по памяти:

— Ты, — мысленно говорит писатель, — ты, человек, долго живший, так много видевший и знавший, так много думавший, чему ты можешь меня научить, без парадоксов, без условного блеска, без красивых слов и звонких фраз, без стихов? В чем твоя настоящая, последняя, не книжная мудрость?»

И писатель отвечает за Гете:

«Делать в жизни свое дело и вложить в него хоть маленький разумный смысл. Не сражаться с ветряными мельницами, не донкихотствовать, не потакать улице с ее вечно сменяющимися требованиями... Нет, забыть об улице, не думать о ней. И по мере сил способствовать осуществлению бесспорных положений добра. Их немного. Беречь их как сокровище».

Утром Ярослав Юрьевич проводил меня к пароходу.

— Ну, напиши мне, — сказал он, — с есенинских лугов. Будь счастлив, дорогой.

— Вы долго здесь будете?

— До осени. Надо работать, времени уже осталось

мало. Раньше, когда хоронили, клали под голову подушку, набитую древесной стружкой. А нам надо писать так, чтобы под голову положили еще и неопубликованную рукопись.

Мы поцеловались, он тронул меня за плечо, коротко поднял руки и пошел, согнувшись, глядя под ноги, и в эту минуту на пароходе пустили магнитофонную запись: «Тополя, тополя, и как в юности, вдруг вы уроните пух...»

Я отвернулся, чтобы не заплакать.

3

Было 6 июня.

Как только повернули от яра к косогору, я увидел берег, белую дорогу к деревне, где я жил тогда десять дней в неповторимом настроении, сразу защемило, закололо, и сразу же подумалось: вот ушло десять лет, и уйдет еще больше, и никого не будет, ни-ко-го, только берег, трава, Ока и где-то в земле останки живших. Вот был я здесь, был и себя теперь вспоминаю. Был ребенком, наивным, верующим, сиротливым, и какое же утешение я получил в тогда еще естественно заброшенной деревне, — да, таким больше не быть!

То ли окно тети Нюши? Оно глядело на усадьбу барыни, т у д а он ходил, и, может, там, в самом начале приобщения к женской тайне, обещали крестьянскому мальчику славу женские глаза.

Стояла пасмурная погода. Как и тогда, осенью, десять лет назад. Как и тогда, облезлой верхушкой маячила заваленная мусором церковь и пуста была площадь. На церковь, на поворот Оки засматривался я из тети Нюшиного окошка в августовские дожди, и во всей деревне был я, наверное, единственный из приезжих.

Кто прожил в Константинове век, тому непонятно. Всегда странно бродить с отрешенными чувствами мимо обычных примет жизни: кто-то доит коров, тащит на плечах тяжелые корзины, с рассветом бежит в лес с пилою, а ты с праздным восторгом наблюдаешь со стороны, воскрешаешь пропавшие картины и какой-нибудь Параньке приписываешь в забытьи и мечте свои чувства и отзывчи-

вость на твое тайное желание кого-то повстречать, с кем-то разделить умиление. Будничное оскорбляет.

По вторникам в Константинове был базар. Паранька, которую под окном пустившей меня на ночлег бабки Фильки я в первые минуты посчитал прекрасной, торговала яблоками. Я поздоровался, и она спросила, как мне спалось. С того вечера я нигде не видел ее, хотя очень мечтал, переправляясь в луга, натолкнуться на нее у реки, где поят коров, или вдалеке у леса, вот так, случайно и ненадолго, но с обещанием позднего свидания за тьмой жилого. Тут я воображал старину, покосы, калядушки, песни и почему-то она. Паранька должна была принести с собой давно забытое, чисто русское, пленительное, тем более что оно сполна досталось ее нежному земляку, — это любимое мной растворение в ночи, когда луга, реки, пустынные дороги под звездами того и ждут, чтобы мы пришли с приметами и суеверием, шептались и были близки и откровенны с кем-то похожим на нас, кого мы ждем, выдумываем и редко видим.

Я спал в кладовке, просыпался и ждал, когда же наступит необыкновенное. Порою страшно делалось по ночам. По ночам подступали самые тайные мысли, и на рассвете угнетала растерянность. «Что я, кто я? Что мне назначено, по какой дороге пойду я, кто будет любить меня, кто ненавидеть? Почему никто не приходит ко мне, не слышит меня, почему трезвый день мне терзает душу во тьме, когда я не живу, а лечу, как писали, под облака? И зачем же, в конце концов, мне эта деревня, что пригнало меня сюда под дождем, чем это кончится и откуда такая непонятная мне власть чего-то тайного?» — думал я в кладовке, вспоминая, с каким упорством продолжается внешняя грубая жизнь. Становилось жалко себя, напрасными вдруг казались мечты. Мечты опережали меня, одни они и обволакивали душу тогда, только они и вспоминались в нынешний раз по пути в Константиново. Вновь, на минуту, становилось жалко себя. Не так вроде бы жил, мало видел, ничего не успел.

Жил одним чувством. Уже вижу себя со стороны, в тридевятом царстве, гляжу на константиновскую горку с дальнего далека: на горке стоит парень в затертом пиджачке и дешевых ботинках, и этот парень то понятен мне,

то нет. Это я сам, за десять лет себя позабывший. Странно и тяжело было теперь наделять ушедшее десятилетие вековой отдаленностью, как вообще странно представлять, что через пятьдесят — сто лет постоит кто-нибудь после нас на сбереженном холме и воскресит воображением наши древние дни. Было же время когда-то, подумает. Было же время — хотел бы я воскликнуть из тьмы через сотню-другую лет, когда лежал я в кладовке у тети Нюши и не загадывал о черном сне. Я собирался жить вечно, я думал, что никогда не кончатся для меня рассветы, что еще долго-долго, вечно я буду странствовать по земле, без конца приезжать в это высокое село, и не настанет срок ложиться лицом на восход. Но опыт учит. А то юное чувство и было необыкновенным. Оттого не случилось свиданий за околицей с Параньской (она поздоровалась и позабыла меня), не ходили мы, как водится в счастливой любви, по траве и близ воды не стояли. Оттого не мог я найти слов, когда старики меня спрашивали: «А почему тебя это интересует?» В домах чистили картошку, купали детей, берегли свои семейные предания, продолжали свой род, и только у резных наличников никто не поджидал своих детей. Была жизнь! Была, отшумела. Так и про нас скажут. Так, может, дальний родственник или престарелый друг и под моим окном постоит когда-то. Скажет: было — прошло, было всегда и всегда так будет.

В тот последний год Есенин прибыл в деревню шестого июня. От станции Дивово он шел, наверно, пешком. Он не любил ждать. Ждать попутной телеги на родине тем более было невыносимо. Шел он полями, торопился: на возвращение всегда возлагаешь столько надежд. Что-то придет, нахлынет, усыпит, отмучается. После утомительных вздыханий по желанной ширазской древности опять та же луговая сенокосная сторона с простыми бабьими платками и долгим светлым русским вечером на крылечке. Опять! Опять редкое (с каждым годом все реже) свидание с пропавшими днями. Идешь — ты это и не ты, вчера еще шел с боязнью к Москве, простой и хороший, никому не нужный, некому было встречать, не просили писать письма, а нынче все зовут, лезут в друзья, и домой не

соберешься. Только на деревне ровно ни к чему его слава и не до него людям. Нюшка Хрякова встретила первой, поздоровалась, спросила что-то неважное и вечером сказала, наливая уставшему хозяину полную тарелку супа с кусками сала: «У Тани-монашки Серега приехал. Одетый куда с добром...»

Тетя Нюша Хрякова, пожилая высокая женщина с прямыми плечами, обстоятельная и раздумчивая в ответах, усаживалась по вечерам рядом со мною и рассказывала про старину, изредка заставляя что-нибудь вспоминать своего тихого мужа... Иногда, не доверяя себе, начинали перебирать соседей — кто знает больше, кто знал да умер, кто просто врет и к нему ходить не надо. Слышалось в основном одно и то же: «...веселый... с легкой походкой... выпивали... луга любил...» — и я не мог его представить живым. Далекое видишь в воображении непременно в сумерках каким-то таинственным взором.

Я то глядел из комнаты в окно на угол старой барской усадьбы, то бродил по деревне. Робко заходил в избы и заставал в сборе почти всю семью с хозяином и внуками и объяснялся, все надеялся: авось скажут интересное. Вопросы мои как бы нарушали обыкновенный ритм жизни хозяев, и я боялся помешать им. «Да, знал, как же, — откладывал хозяин ложку и просил у жены полотенце, — помню...» Было грустно, а человек казался древним, особым — и все из-за того, что он был просто соседом поэта. Я уже думал по пути, что все умерли, а когда старики вспоминали е г о — мальчика, юношу, молодого, — постигало состояние, будто деды вспоминают внука. И с портретов глядел нежный мальчик. Как с ковра-самолета, оглядывался я с холма на зеленые луга — заколдованное временем место пахарей и сенокосцев. Там, на полуострове, возле Старицы, в утекшие дни белели на шелковой траве бабьи платки и сверкали потные мужицкие спины. С высоты и правда обретается ощущение старинной картины. Катилась с горки по веснам ручьями вода, переливалась Ока через край, и плавали по сырым лугам облака, и над водою, в смутной тоске по судьбе, ходили молодицы и просили взойти ясный месяц, обнажить дубраву

и показать степные дороги, по которым повел бы их милый. Падали звезды на землю — мучило женское счастье, падали звезды в колодец, в Оку — выходили девицы замуж. Рано провожали сына в поход, рано умирали в дороге, рано будила девица милого после тайных свиданий, и на серой заре плакала девица по своей молодости, замечая, как падает под ветром с вербы роса. Как дождливым вечером тянутся из-за яра тяжелые тучи, как по тонкому черному снегу прилегают с желтых земель птицы, так со всех четырех сторон шло издалече время и растворило мальчику двери в свое царство. И увидел он небо, воду и землю, и услыхал дедовскую сказку перед темной ночью. И узнал он тогда, что любимое место русалок — березы, и так с ранней жизни насытился сказкой, что, когда шел от станции Дивово уже после заморских стран, душа возвращалась к старому чистому чувству, и хотя бы смутно, хотя бы стороной, но пролетали перед ним несусветные образы — мостили кому-то перстневые мосты, ставили золотые столбы, вешали шелковые ковры и за руку вел кто-то девицу: мосты зазвенели, столбы заблестели, ковры заколыхались, и загорелись восковые свечи... Ока неохотно поворачивала от яра, вытягивалась вдоль берега, мимо дома деда Федора Титова, где столько раз пели по всякому случаю про все такое, что было когда-то, было до него, что донесли к нему и в него вложили, сами не замечая того. Зачем он покинул их, зачем променял на манифесты и застольных хохмачей?

Шестого июня опускалось за Окой, за лесом солнце, потемнели окна, пробежала с ведром соседка, а вокруг, постарев еще на день, вечным сторожем обступала природа... Взошла и упала в Оку луна, волны катили ее, но унести не могли... Деревня не была больше островом, за которым таится незнамо что, — он ведал, куда уводят дороги. Немножко грустно было от потери прежнего таинства. Когда сманила его барыня в яр, думал, что сердце разорвется от любви — к ней ли, к кому-то, и когда зашелестел в лесу дождь, скрыл луга и теплый дом с матерью — думал: никогда это не забудется. А по столицам будто только и ждали его другие...

Он стоял у калитки предпоследний раз в своей жизни.

В темную летнюю ночь верится в загадочное счастье. Когда-то Люся, провожавшая меня с моря и более уже меня не встречавшая, набросала на чистом листе черточки, палочки, дужки и просила подрисовать к ним, что придется по настроению. Я изобразил женщину, тополь, бугорок, месяц, окно и забор, беседку, речку и лопату. Ко всему этому надо было еще нарисовать слона.

— Ну какой ты молодец, — сказала она, — как хорошо нарисовал!

— А что это?

— Психоанализ по Фрейду. Слушай. Живешь ты в рамках естественных ограничений, и по тому, как ты нарисовал слона, ты — очень живой и довольно прочно, хотя не совсем, стоишь на ногах. Удивительно: ты первый, кому я задаю, нарисовал женщину. Это природа, ты естественный, близок к природе. Что значит для тебя твоя карьера, твоя звезда? Это тонкий месяц на небе. Это изумительно. Любовь — окно в мир, настолько сильна, что ты любовью отгорожен от мира. Дом для тебя — это беседка у речки. Что тебя ждет? Лопата, труд. А я себе все перечеркнула в этом месте. Смотри, как похоже на тебя!

— Да это неправда, — сказал я. — Мечта, сон, ворожба.

— Научная ворожба. Ты не читал Фрейда? Никогда?

— Нет. Не читал.

— Ты вспомнишь меня, все сбудется.

— Хотелось бы поверить. Судьба — месяц на небе, приятно, хотя есть в этом что-то короткое. Очень уж поэтично. Хорошо, я запомню.

Я стоял на горке над лугами и вспомнил гадание по Фрейду. Сбылось ли хоть что-то? Не знаю. «Смотри, как это на тебя похоже!» Мне друг говорил: ты попробуй встать с постели и взглянуть на себя со стороны: ходи по улице и гляди на себя как на чужого, ты откроешь много любопытного. Я гляжу назад, в юность, т а м я себя вижу как чужого. А сейчас не могу. Мне уже тридцать, и неужели правда, я переступил рубеж светлого царства молодости? Конечно. Чего-то уже нет у меня. Ну что ж. Да благословит время на мудрость, и пусть поищут новые го-

ды мне счастья — без снов, без гаданий, без надежд на чудо.

Он спал крепко, как всегда в деревне. А перед сном высоко кралась над яром луна, и снова было так тревожно-прекрасно вокруг, что хотелось кого-то позвать и хотелось любви и слов, которые произносятся вдалеке, в одиночестве. Он столько раз прощался и с любовью, и с молодостью, и ставил точку, но вдруг настигала полевая мечта. Что было, казалось— было не так, или было слишком мгновенно, или обещалось загаданное, но являло свою прелесть не в пору: то он жил в стороне, то отравляла сладость нервная суета. Забыть ли, как сливался с Даниилом Заточником? *«Яви ми зракъ лица твоего, яко гласъ твои сладокъ, и уста твои мед источают, и образ твои красен, послания твои яко раи с плодом; руце твои исполнены яко от злата аравииска; очи твои яко источникъ воды живы; чрево твои яко стог пшеничен, ниже многи напитая...»*

Что посылалось в молении князю, он принимал для любимой.

Мечты, мечты...

Вот здесь я стоял прошлый раз. Посреди улицы, в тумане, в полночь. Вон там, в бедном ларьке, я покупал селедку и бутылку водки, чтоб попрощаться с хозяевами. В клубе я сидел в уголке и следил за скучным гармонистом, пиликавшим три раза в неделю за небольшие деньги. А под горою за садом я писал письма и ощущал окрестное так, будто расстался с жизнью. Разве мало по России похожих лугов и разве не нашлись бы, казалось, у тебя самого те же слова, разве не носил ты их в себе где-то по другим полям и почему-то вдруг не сказал, не запомнил? И разве дом с табличкой менее обыкновенен, чем соседние, и не та, что ли, жизнь, не те, что ли, люди пережили длинные годы? Но отчего же затмило сознание и отчего же не в силах представить живые подробности, не слышишь будничного голоса певца, не видишь его простым, как слышишь и видишь друга? Не мог и не смогу я представить

великих в обыкновенной одежде, в быту. Вот и теперь летит над лугами, над тысячеверстной зеленой русской равниной чистое небесное диво России, впервые закричавшее в ногах у матери в конце века. Мальчик из сказки, и я не могу расстаться с ним, и кажется порою — не вижу ни одной реальной черты. Так было. Там, на конце села, измученный полуночным воображением, я думал, что и о н тут стоял, и потому иначе дымился для меня лес, и хохот девчат напоминал мне вечерние побаски и любовь у стогов, в поле, с суеверными приметами старины: упала с неба звезда и рассыпалась, и девица собрала ее в горсть, заткнула себе за волосы и пошла по воду, сверкая и радуя милого... Кому-то досталась глухая свежая ночь на просторе... Я же стоял один и верил в безумие. Знакомо ли тебе, друг, то возвышенное состояние у святого места, когда кажется, что, куда бы ты ни вернулся, тебя выслушают, и поймут, и поверят? Я надеялся на это, когда трясся на почтовой тележке до станции Дивово, когда снова лежал головой на отопительной трубе вагона, когда шел желтым полднем по зеленым аркам казачьего города, которого в путешествии для меня не существовало, надеялся на крепкую взаимность с теми, кто волей-неволей толкался со мной на одной улице. Там, без меня, наверное, многое изменилось за лето, и я буду легко продолжать в душе свое странствие, и никто не испортит мне настроение. Однако расчетливому кругу нет дела до нашего трепета.

— Он ездил к Есенину? А что ему там делать?

— Ему дорог Есенин? Ну, конечно, — что-нибудь про *до печенок меня замучила*, это?

— Не говорите мне о его путешествии! У него нет и ничего не может быть за душой!

Теперь я на н и х и не надеюсь. Но легче ли стало?

— А я вас сразу узнала! — воскликнула тетя Нюша. — Вы жили тогда у нас десять дней и оставили свою чернильницу. Мы по ней часто вас вспоминали. Я теперь одна, мужа похоронила, дети далеко, а вы тогда к нашему Сергею Есенину приезжали и вот здесь сидели, там спали. У меня память хорошая. Я как глянула: кто-то идет зна-

комый, а это вы! Сколько лет не виделись. Я так и подозревала, что вы все равно приедете, ведь я помню, как вам тогда у нас понравилось. Теперь легче: музей, пароходы подходят, а той осенью вы с грехом пополам с почтой отправились. И вы такой же молодой, ну, возмужал, конечно, небось и женат уже? Сергею Есенину исполнилось семьдесят лет, тут такой праздник был, миру съехалось со всего Союзу, я думаю — ну, это Виктор не знает, то б приехал, или работает далеко.

— Одному лучше, ходишь, думаешь.

— Чернильница ваша вон она, так и стоит на окошке, как письма писать — вспомним вас. Да, а народу было — мас-са! Раньше действительно редко кто приезжал, только те, кто писать о нем хотел, выспростят, и домой, тихо было, не поминали и по радио не передавали, а нынче и по радио, и в газетах, и машин понагнали... Вот узнал бы Сергей, как его оценили. Отец с матерью, бывало, против были: «С Горького, босяка, пример берешь? Толстой, так он барин, у него земля своя, прокормит, а ты?» Он не послушался, и вот любят. Теперь и пароходы останавливаются, пристань сделали, в доме у них пообставили. Мой сын учился, ну, говорю, Сергея-то проходите? Нет, не проходим. А почему?

— Вы разве не догадываетесь?

— Ну, как тебе сказать, Витя: чувствовали, чего можно, чего нельзя. Мы ведь люди простые, своих забот много. Что касается поэтов — так мы вовсе: не печатают и не печатают, то ли бумаги нету, то ли не нужен стал — бог его знает. Жизнь закрутит — и забудешь про все. А и у нас тут объявились друзья только недавно, а то тоже не больно разговорится, хотя бы и этот, — она назвала по фамилии, — он только сейчас вспоминает, подчитал кое-где в журналах и выдает себя за друга, чего он там помнит: в школу ходил с Сергеем два года, в бабки играл, «вот он на меня, а я его как повалил», вот и вся дружба. Вы же его знаете. Бред собачий. Я знала их семью, не вру. Не хочу хвастаться, но я своим простым глазом выделяла его ото всех. Не простой был человек. И барыня Кашина недаром его к себе зазывала. Теленочек-то молоденький был, красивый. Его и в Москве-то сразу обкрутили, вашего брата недолго прибрать к рукам. А я

ведь, Витя, тебе все это рассказывала, однако, десятью лет назад? Ты, как сейчас, у окошка сидел. Молоденький был. И все равно я тебя сразу узнала! Умывайся, вешай пиджак, койка твоя, я на ней не сплю. Будь у тети Нюши как дома. Мама-то жива? Жалей, жалей мамку. Как вон Сергей писал, а она потом тридцать лет одна да одна жила... Никому ровно и не нужна была.

«Я холодею от воспоминаний, — жаловался ему Клюев в письме, которое я читал, лежа в лугах, — о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моем творчестве, которые в свое время послужат документами, вещественным доказательством того барско-интеллигентского, напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и еще того, что салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества».

Теперь причаливают белые пароходы. Они плывут издалека, по другим рекам и наконец достигают узкой Оки. С вечера, когда загоняют в деревне коров во дворы, кто-то, еще блуждая поворотами, мечтает на палубе о завтрашнем свидании с Константиновом, в котором задержится на несколько дней, чтобы подумать о жизни острее, а другие, пользуясь случайным совпадением, степенно обойдут во время остановки комнаты и огород музея, купят яблок и вишен и поплывут как ни в чем не бывало, завершая оплаченное туристское удовольствие в дорогой каюте, — счастливые, спокойные и вольные на язык только в дороге.

Я часто спускался к пристани. Тетушки приносили в корзинках вишни и яблоки. Они сидели па земле друг подле дружки, по обе стороны тропы, и у последних брали хуже, чем у нижних. Они были пожилые и очень-очень просты, и я думал, жадно наблюдая за ними, что, когда он возвращался домой, они были еще маленькими, а дед, застрявший среди них на коленках, наверное, годился в ровесники, и тогда вообразить даже не мог, что

к старости его так повезет дому Тани-монашки, такой же соседки, как все, и повесят в ее комнатах картины, плакаты и койку застелют старинным покрывалом на диво далеким людям, бормочущим стихи, которые он не запомнил, потому что читать было некогда.

«Где же хранится тайна любви, печали и разочарования? — думаю я и на пристани, и в лугах, и у дома. — И кому она дается? И отчего внезапны и радости, и конец?»

Женщины покрывают тряпицами вишни и поднимаются вслед за приезжим, помаленьку отставая и сворачивая к своим воротам. Свежим глазам открывается пустая длинная невзрачная улица с ямками. Тут незнакомец удивляется простоте и несхожести заповедного села с тем, что воображалось ему по печатному слову поэта. И спрашивает себя: неужели это оно, в черемухе и садах, и если его не было такого никогда на свете, то неужели душа может сыскать такое нежное, чуткое слово?

А в доме, ступая по обыкновенным полам и принимая устроенный музейный уют за крестьянский, дальние видят на больших фотографиях и рисунках юное, мягкое лицо и бережно запечатленные дорожки, берега, деревья и огороды, и чья-то слабая, неиспорченная душа коснется песенного славянского наречия. Кому-то суждено молитвенно постоять и унести свои чувства надолго, не имея смелости и проворства передать их толстой тетрадке на столике. Кому-то не терпится причаститься к тетрадке, и я угадывал человека тотчас же, по первому слову.

Милый Сережка! Юность так многим обязана тебе. Твои стихи заставляют трепетать сердце, грудь так и рвется вперед. Очень жаль, что так рано оборвалась твоя жизнь певца мещерской Руси! И позволь мне закончить стихами:

И клен у знакомой калитки,
И волшебная трель соловья —
Все это душу волнует,
Как будто было вчера.

Из Грузии, с берегов Арагвы, мы привезли Вам цветов.

Приходили из Федякино земляки Есенина. Так радостно почувствовать себя как бы близким поэту.

Очень жаль поэта. Когда я читаю русские сказки, я вспоминаю Есенина. Самые поэтические образы русского народного творчества напоминают мне его — вечного, прекрасного, очень похожего на матушку-Русь.

Был у Сережи Есенина!
Восхищен его творчеством!
Преклоняюсь перед ним!
Есенин был!
Есенин есть!
Есенин будет в веках!

Как мало мы ценим своих певцов при жизни и как легко, в сущности, припадать к их ногам через 50—100 лет после смерти.

Здесь все так просто. Будто приехал в деревню к старым родственникам. В этом вся прелесть. Такое волнение, когда подходишь к домику, когда входишь в него. Сердце сжимается.

Таня Зуева

А я спустился с крыльца, зашел к тете Нюше, сказал, что пойду в луга, если кто-нибудь меня переправит. Тогда, в августе, я мало знал о нем, и легче мне было. Я сбежал с косогора мимо школьного сада и нового коровника и крикнул на другой берег мальчишкам в лодке. Пароход прошел кузьминские шлюзы, коротко вскрикивал над алеющими полями в невидимых далях, где в ту рязанскую осень плыл наш катер с женщинами и каким-то гармонистом, спешившим к любушке на ночевку.

В лугах пахло теплой травой. Я шел, шел между болотистых ям, остановился, оглянулся вокруг и весь вдруг приподнялся на цыпочках, выкинул руки вверх, к небу, с какой-то не то радостью, что живу на свете и нахожусь в лугах, не то грустью, что никого сейчас нет со мной, чтобы сказать или посмотреть понятно другу в глаза.

«Таня Зуева, — вспомнил я. — Да, Таня, молодость, нежность, впечатлительность. Такие вот и переписывают в тетрадку слова, что я видел на корочке книги: «Любить себя я не прошу, на это прав я не имею, но если сможешь — не забудь, вот все, о чем просить я смею». Такие постарше спрашивают себя: «Неужели могут быть злые люди?» Таких мы ждем в юности, а они где-то идут мимо, либо

приходят уже другими. Такую и о н хотел найти — простую, близкую, как в селе, как п е р в а я. Изряднова, которую он забыл ради именитых, пышных и неродных...»

О как далеко ушла жизнь и унесла с собой младенческое понятие о судьбе! Сначала была Аня Изряднова, потом Клюев — оба с первого взгляда родные, утолившие его сиротскую бесприютность в столицах нехитрыми словами и лаской. Аня была проста и безгрешна, а он так юн и наивен, и она вспыхнула для него, самая первая, самая золотая и навеки, казалось, любимая. Клюев обнял его крепко и стал называть братиком, голубем белым, и он его тоже посчитал единственно близким, тех же, но северных корней, с окуньей реки, от часовни на бору, от хлебной печи... И как скоро перевернулась жизнь, как закружился он в пестрой смене друзей и позабыл глаза, которые следили за ним длинные годы. Минуло десять лет, и вот в таком же июле, озолоченном хлебами и солнцем над речкой, только совсем несмышленым и готовым внимать, читал он у материного окошка письмо с Олонецкого края. Странный, не по-мужски лепечущий Клюев учил его жить и беречь себя. Он почему-то боялся за него: ты, мол, как куст лесной шипицы, которая чем больше шумит, тем больше осыпается. Быть в траве зеленым, а на камне серым — вот, мол, что наше, чтобы не погибнуть. Беги от лавров Северянина, говорил он, от ядовитых колючек, беги, просил всю жизнь, от тех книжников, которые всех, кроме себя, почитали за варваров, беги и гордо держи сердце свое перед соблазном. Мир тебе и любовь, слышу душу в твоих писаниях, в них жизнь не вольноидущая. Любящий тебя светло, заканчивал он в ожидании. Может, и прав был его олонецкий брат. Тогда он верил ему. Тогда нравились ему избяные песни, колдовство свирельной мечты, девушки-царевны, и тогда с гуслярами и ржаными апостолами дальних деревенских гнезд, брезгуя каменным логовом, сошелся он братски в крестьянской купнице и удивил столицу пастушескими нарядами. И ударились они от трудных дней в лапотную старину и сказку. Да скоро проснулся он. Сквозь скифскую вольницу и писания праотцев посветил ему дальний огонек настоящей

Руси. Посветил и померк. Не мог и не хотел он вместе с братцем Пименом опрокидывать корабль интеллигентов. Он молча простился с братцами, с древним благочестием и попал к тем ученым разбойникам, которые жили с таким видом, будто без них не восходит солнце. И пошел он скитаться и мучиться, целовать красавиц, и расставался с колыбельным порогом, плакал и убегал, принимая за истину то, что расплывалось как дым, и не было друга. Порою глядел он на связавших его манифестом и думал: ни одного-то сердечного слова они не нашли, ни одна старушка не вызывала у них желания покаянно склониться долу и никакого бога в душе не носили: так бы и шлялись из клуба в клуб, из театра в театр, заваливали окурками пепельницы, пили и спорили все о чем-то далеком от настоящего дела и настоящей жизни да похвалялись изощренными выдумками. Гоняло его по городам, гостиницам и дачам — зачем же? И отчего же плакалось чаще по дому, но не сиделось в родной баньке на огороде, и на третий-четвертый день тоска снимала в столицу, как будто только там, в шумных стойлах, и было уже теперь мудрое присутствие жизни? А Русь жила, и жив был русский ум, и в лугах-то и ютилась правда. Ах, мечтатель, сказочник, обманули его лунные ночи, оскорбили постные дни. Кабы знал он, что счастье достается по возрасту. А он помнил всегда себя ласковым мальчиком.

«Сережа, Сергунь...» — шептали женские губы, и женщины жалели его, и всегда в их голосе, в их отношении покровительственно-бережная нотка старшинства. Сколько бы он ни задавался, сколько бы ни дрался, ни пил, ни матерился по-мужицки, ему прощали, с ним обращались как с мальчиком, как с сосудом, который боязно уронить. И в деревне, на родной улице, сверстники стали мужиками, стали незаметно, от забот и ежедневной усталости, как и положено, как и ему суждено от рождения. А он выделялся задержавшейся юностью и рядом с ними выделялся еще заметнее. Все еще преданный и понятный соседям, уже с отвыкшим настроением наблюдал за покачнувшимся бытом. Только мимолетно, с нездешним вниманием любовался он милыми простыми молодицами и не тянулся к ним воочию, забывал, терзая сердце какой-то странной, какой-то всевышней любовью к неизвестной.

Да, мечтатель. Вдалеке и за давностью времени слова по телефону и слова на листочках вспоминались с песенной нежностью к той, которую теперь не видел в опустошающих душу подробностях, но кого снова выдумывал, и она летела в тумане, над лесами и долами, и легкой обманчивой тенью колыхалась на белой занавеске в высокой московской квартире. «Очень хочется видеть тебя, — былью-небылью наплывали слова, — и говорить, или просто сидеть, или, например, пить чай. С тобой легко и спокойно. Потрогаю тебя по голове, ты все так же вьешься после дождя? Грустно чего-то. Вижу тебя». Летела бы она к нему, что ли, в эту лунную константиновскую ночь, в этот час, пока не испорчено чувство, и обнял бы он ее как царевну. Но никто не слышит через леса и дороги, и короток сон во тьме: там, где сейчас она на себя не похожа, где она женщина-песня, с незаспанным лицом, без простоты отношений и слов п о с л е в с е г о, там рухнет писаный образ, и глупому детству снова настанет конец. Бедный немудрый мечтатель. Его просто убивало, когда он встречал знакомую замужнюю женщину, еще молодую и прекрасную, еще вроде бы ту же, но уже с потухшей стыдливостью на лице, с небоязнью в глазах от дареного порока, и он мог бы свободно сказать ей те запретные, те мучительные девичьему сердцу слова, от которых она уже не краснела. Пора было привыкнуть к вечной перемене человека, и еще недавно почудилось, что время такое настало. Но осень, но желтые подмосковные рощи, молчание, медленные шаги по лестнице, диван, усталость, сон, и теплое касание губ, и большие глаза Августы—и опять омут, детство, мечты... Опять мечты. Так без конца. Да что же дальше-то? В Персию! На горячие камни, на цветные базары! Кого из них позвать с собой? А может, встретится персиянка, Шахразада, хотя бы мелькнет и обвеет духами, растает, приснится потом на ночь глядя — мечта! Удрать в Персию, чтобы вспомнить родину! Удрать к избам, чтобы вспомнить Персию! И так без конца, во всем и во всем. Утихнет ли, переменится сердце? Если вспомнить, то и в юности, с тех пор, как позвал его бог к очарованию, душа не знала терпения: взлетая поднебесно, она как бы боялась упасть и разбиться. Он так дорожил дружбой, столько распахивался для всех, и вот оглянулся, и что же: кто

за спиной, где она, родная мужская душа? Умру, думал он, и напишут, как пили, гуляли со мной, и какие глупости я говорил, и сколько баб у меня было, полезут лапами в душу, в тот терем, который мы никому не раскрываем. Вспомнятся случайные слова, и каждый использует их как ему выгодней, и лишь тот, кто любил меня, может быть, в стороне, промолчит, негодуя, или запрячет правдивую тетрадку на будущее. Может, зря он не верил Клюеву, отпугнулся его сектантской любови, может, этот странный брат погорюет самым искренним образом? Прощайте малиновые волосы, золотые сандалии балерин, прощайте ветреные поклонники музы, явись русское поле, тишина, простая женщина и на людское похожий очаг. Да что же так гонит в столицу, с лугов, что не держит родная земля?

Так ли с ним было? Не знаю, не знаю. Придумалось мне именно так, и ничего я не мог с этим поделать. Наверное, представлялось ему набегавшее тридцатилетие, не чье-то мудрое, спокойное, а свое, как бы нежеланное, поспешившее, к которому он дошагал смертельно усталый. Отчего такая усталость в тридцать лет? Наверно, страшно было ему одному по ночам, когда признавал, что эта луна светила другим и посветит младшим, а он не сможет проснуться и не сможет до тонкостей разузнать, зачем же он был на зеленой траве и каким явился позднему племени — любимым и близким или имя его занесли нарицательным? Наверное, было много в жизни непрочного и было много искаженного в нем трудными днями и, наверно, не хватило ему радости для иных песен и для надежд...

Олонецкий его друг писал когда-то:

Забудет ли пахарь гумно,
Луна избяное окно,
Медовую кашку пчела
И белка кладовку дупла?

В лугах косили траву.

В середине июля он был в деревне последний раз в своей жизни.

— Так особо мы не приглядывались к нему, ну, Серега и Серега! Парень был веселый, не сказать, чтобы очень озорной, но не лапша, в деревне лапшой быть — заклюют, сами знаете. Шалун был.

— Шалун? — переспросил молодой человек с аппаратом на груди, тот самый, что напророчил Есенину остаться в веках.

— Шалу-ун, — повторил старик, сидевший на лавочке в сумерках. — Бывало, чуть что — драться. Ни одной игры без драки не проходило. Маленькие были. Ну и ему часто влетало. В драке-то он слаборукий был, ну, а затеи его. Как что не так — р-раз, смотришь, уже влепил соседу. Сейчас все на него. И не серчает. Тут же отвернулся, утерся и опять играет. Беззлобный был. Простак. Последним поделится. Дед-то бочку с вином выставлял на дорогу, поил прохожих.

— Что вы говорите! — воскликнул мужчина хозяйственного вида с сеткой яблок в руке. — Вы и деда знали?

— Ну, а как же. И деда по матери, и бабушку, всех, с одной деревни. Кто ж думал, что он у нас свой поэт будет.

Раньше воду с Оки носили, на горку. Соберемся, ни одной бабе проходу не дадим: то песку насыплем, то еще чего, и он с нами. В школу ходили, в церковь. Бывало, часто тетрадки давали. Их надо было сшивать. У каждого иголка с ниткой. И вот он впереди меня сидел. Сейчас повернется: «Глянь, ребята!» Втыкает иголку в ладонь и здесь вытаскивает. И не поморщится. Отчаянный.

— Да, да, — подтвердил мужчина, — по стихам видно. Горел на ветру. Да.

— Было за ним.

— А еще что помните? Насчет этого правда он был? — щелкнул по горлу парень.

— Вот когда приезжал, собирал, здесь теперь колонка, любителей выпить и другого дела не было. Вот особенно и помню, что приезжал, выпивал, в луга ездил. Так я его помню. Ему все это хотелось рыбу ловить, сено ворошить, со стариками любил потолковать. Ведь давно

это было, как в клюшку играли, как еще красота в бабе нравилась, хе-хе. Давно.

— Давненько я не брал в руки шашек, да? — засмеялся парень.

— Если бы знатьё, что Серегой будут так интересоваться, приглядывался бы, записал на худой конец. А то жили и жили. У него в Москве свои дела, у нас — по-крестьянскому. Серега и Серега. Поэт. Зайдет — хорошо, не зайдет — значит, некогда. Раз на свадьбу приезжал, по-моему, за год до смерти. Двоюродного брата. С женой ли, с кем. Черная, наподобие грузиночки, с косой, развитая девушка.

— Галя?

— А кто его знает! Папиросочку можно?

— Она застрелилась на его могиле, — сказал парень.

— Он с двумя наезжал: год с одной, год с другой.

— Может, это балерина? Айседора?

— Айседору он уже бросил, нет.

— Шаганэ ты моя, Шаганэ?

— Вот чего не знаю, того не знаю. Шаганэ — это грузинское?

— Армянка! — сказал парень и как-то противно потер руками.

— Нет, тогда нет. Помню, на свадьбе горшки бил, в шубу рядился. А потом я с охоты шел, он с ней в лугах мне попался. Коня отобрал у мужика, ее наперед посадил, сам к ней спиной и бьет кобылу по заду. Смеху было! Чудак. Они все такие, видать... И Пушкин тоже... Все. А? Насчет политики не знаю. Не хочу врать. А? В это нам с вами вдаваться трудно. Кто мы, откуда — это наши родители знают.

— А я у вас тоже хочу спросить. Вот сколько у меня бывало вашего брата, и всем задаю вопрос. С тех пор как Сергей похитил себя, больше сорока лет прошло. А чего раньше-то...

— Так это я-ясно, — сказал парень и встал. — Тут, батя, надо сесть, выпить, и тогда выясним. Запросто.

«Здесь все так просто... — вспомнил я Таню Зуеву. — Такое волнение, когда подходишь к домику...» Да, так и есть: кто понимает живых, тот поймет и мертвых.

Я не повернул к тете Нюше, а пошел к околице, мимо заколоченного крест-накрест досками дома с рябиной, к Федякино. Солнце давно уже светило чужим краям. Месяц-помощник еще висел над другими деревнями. Ходили раньше под ним девицы по воду и, окуная ведро в белые пятна, загадывали на тех, по ком вздыхали. Не мог я сейчас не вспомнить о них и о песнях, всеми забытых, потому что ночь, звезды, черное слепое пространство приближают к вещему порогу. Да, ходили по воду и верили месяцу, благословляли его слабый любовный свет. Верили звездам, воде, к которой я теперь приближался и остановился наконец над ее пасмурно скользившей средь земли дугой. Ока. Тихая путеводительница, всех пережившая, отдавшая в изгибистые рукава воды прежние и влекущая воды свежие. Ока точно стоит и дремлет. Опять подумал, что десять лет прошло. Гонишь в стороне свои важные дни и не часто обращаешься к вчерашнему, но вдруг встретишь пропавшее лицо, услышишь слово, взглянешь около — что-то ушло, и жалко его. Завидно месяцу, воде и звездам: они не устанут.

Чего мне хотелось к ночи? Хотелось сложить хорошую песню и хотелось настоящих слов. Чтобы все вздрогнули и оглянулись на звук. Хотелось сесть в лодку и плыть по ночной белой ленте меж дремных избушек-стогов и причальных сырых досок, думать о тех, с кем не увиделся на этой земле и с кем застал дальний от сказок век. Что только не является человеку во тьме! И в тишине, под размягчающим дыханием рязанской ночи, которая вечно просит признаний, я вспомнил друзей и стал обращаться к ним, писать им устные письма, звать к себе. В любой стороне воскрешал я их, а в этой особенно. Далеко вы порою бывали, но вы с утра до вечера жили со мной на русской земле, где-то дышали и думали. И если в Москве длинными гудками в пустой квартире напоминали о ваших странствиях телефоны, я все равно знал, что мы встретимся и напишем друг другу. Вы спасали меня одним своим присутствием в этом мире. Не все удалось вам из того, что намечалось в сладкой юности. Разбросаны вы по градам и весям, скучаете друг без друга и шлете такие длинные письма, которые хитрой породе и не снились. Да и не нужна им такая откровенность: она принадлежит

совестливым. Да и бог с ними, иждивенцами жизни, с их счастьем, дипломатией, умелой покорностью, интригами. Кому что дано от природы, то и сказалось. Вы помните, как мы начинали жить? Помните, сколько ночей прокурили, книг перебрали и сколько раз мчались в общих вагонах с бабками Марьями и необидчивыми Иванами? Беднее, что ли, была наша юность, чем у осторожных сверстников наших? Да лучше мы век будем сдавать бутылки из-под кефира, но зато в редкие свидания мы потянемся пешком в Верею, в Боровск, вдоль Протвы-реки, любуясь старой русской окраиной и чистыми детскими лицами, опять жалея об одном, о том, что мало отпустил бог таланта, чтобы с древней широтой и удалостью воспеть то, чему мы молились. Мне легче становится, когда я думаю о вас и так высоко обольщаюсь. Стоял я над великой Окой и желал вам негромкого счастья. Судьбы — что как тонкий месяц на небе, прямых дорог, ласковых женщин, подобных тем, кто затыкал звезды за волосы, мостил перстневые мосты, зажигал восковые свечи, кто просил испить воды у криницы и верил в превращения в камень, в шепот зеленых дубрав, сравнивал свою младую тоску с тающим снегом в руке, потому что просилась душа высоко. Ночь ли тому виною или жалко мне было любимых героев, но я обожествлял близкий мне круг. Ничто не кончится прахом, и запомнит мир своих певцов. Запомнит рыжих и бородатых, и будет еще настоящее слово о рязанцах, вологодцах и о вас, псковский хранитель.

А за день до отъезда я шел с поля в деревню. За день до отъезда прощался. Стоял серенький денек, один из тех стихших в молчании дней осени, когда даже походка человека становится задумчивей и когда на закате хорошо сидеть у окна и, глядя на далекую дугу реки, слушать по радио элегические песни, стихи об осени. Осень пришла, пора отправляться домой и неусыпно продолжать заботы. Осень пришла на эту дорогую мне рязанскую землю, и я шел, покорялся природе, что-то напевал, рассуждал о великих, летел опять куда-то. Сами собой повторялись во мне слова с пожелтевших страниц: «... не донкихот-

ствовать... не потакать улице... по мере сил способствовать осуществлению простейших бесспорных положений добра. Их немного. Беречь их как сокровище».

Осень пришла.

Возле дома с рябиной я повстречал старушку. Маленькая, опущенная к земле головой, она перегоняла через дорогу свинюшек. Рот ее провалился, а глаза светились, как водица.

— Здравствуйте, бабушка, — сказал я.

— Здравствуй, деточка. Чей ты?

— Приезжий.

— Небось к Есенину?

— Да, к Есенину. А вы знали его?

— Сергея? Суседи мы были... Филоновы. Поэт, в газету писал. Царство ему небесное, хороший был человек. Чего писал — не скажу, а человек был хороший.

— Сколько ж вам лет, бабушка?

— А восемьдесят.

— Ну-у...

Она засмеялась, потому что намного убавила годы.

— Уморилась считать, деточка. А зачем тебе мои годы? Открою правду — глядишь, и помру назавтра. А так и живу, и живу, и все молодая.

— Живите, бабушка. Наверно, трудно жилось?

— Всяко. А зачем тебе, деточка? Все равно ты моей жизни не поможешь. Каждый сам себе.

— Живите, бабушка. Живите на здоровье еще столько же.

— Хлебушко будет — поживем. Рук на себя не наложишь. И вы живите, набирайтесь терпения. Хлебушко будет, а остальное ладно.

Я провожал ее взглядом. Свинюшек погнала. Целый век загоняла коров, свинюшек, доила, цедила, резала мясо, пекла хлеб. Пела только те песни, которые дошли сами собой. За лесом тянется в ее сознании нескончаемая Русь, и оттого, что она делеко не отлучалась, свет белый рисуется ей таинственней, чем нам. Пускай бы, и правда, пожила она столько же, как и та незнакомая русская старуха. О певцах не расскажет, но все же живой свидетель

древности. Это при ней-то, в канувшие годы, были сложены песни, которые мы повторяем. В глубоких могилах полегли ее спасители-певцы, а она еще здесь на траве. Кто-нибудь приедет, и укажут ему окошко, где дышит еще в полузабытьи сама старина, странно сохранившая свои хрупкие косточки, водицу-глаза, голос и сонную походку. «Хлебушко будет — поживем».

Хлебушко-то будет...

«О, как бы найти мне то верное слово, которое бы совпало с русскою жизнью,не похожею ни на какую другую!»

Я ухожу далеко по улице, а она еще бредет, стукая палочкой, ко двору, цепляя подолом траву. Что видела, что слышала, что думала и пела — все уже далеко от нее, будто не на этом свете. Но пусть еще долго живет. Раз уж не достается протяжной доли избранникам, хоть матерям бы, Арине Родионовне или простоволосой соседке отпустил бог бессрочную жизнь. Мы бы все-все почувствовали, глядя на них, мы бы со слезами на глазах шли к их воротам от самого края земли. Шли бы и думали: «Это еще оттуда... от е г о времени... Это еще Русь...»

Вот, дорогой мой историк, о чем я подумал на прощание.

ЮРИЙ КАЗАКОВ

СВЕЧЕЧКА

Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться, — хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять.

Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как об автомашинах. Было их у тебя дюжины две — от самого большого деревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и я возил тебя в нем по комнатам, — до крошечной пластмассовой машинки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вышли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосновения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

— Хочешь кататься на настоящей машине! — сказал ты.

— Что ты, милый! — возразил я. — Теперь поздно, скоро спать... А потом — куда же мы поедем?

— Поедем... поедем... — ты запнулся, перебирая в уме места, куда бы мы могли поехать. — В Москву!

— Ну — в Москву! — сказал я. — Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а потом это ведь так далеко!

— Хочешь далеко! — упрямо возразил ты.

— Ладно, — согласился я, — поедем, но только через дня три. Зато я тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении?

Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше.

— Слушай, любишь ты позднюю осень? — спросил я у тебя.

— Любишь! — машинально отвечал ты.

— А я не люблю! — сказал я. — Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Все уведоша, яко трава, все погребишися... Понимаешь ты, о чем я говорю?

— Понимаешь! — тотчас откликнулся ты.

— Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня.

Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, это лето было как целая жизнь?

Но и ранняя осень хороша: тихо светит солнце, по утрам туманы, стекла в доме запотевают — а как горели клены возле нашего дома, какие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь?

Ты молчал, мчась куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам пришлось свернуть с тобой вбок по дороге, я свернул, но ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было куда идти, ведь ты не шел, ты ехал!

— Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво, — это просто кажется, а на самом деле все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать.

Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, так это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву — это ты ехал уже по моей дубленке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побежал впереди.

— Ничего, — заговорил я снова, — скоро ляжет зазимок, станет светлее от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие хорошие горки — как раз для тебя! И станешь ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвращаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сиротливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких фонарей.

— Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! — вдруг, неожиданно для самого себя, сказал я. — Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром есть такое выражение: отчий дом! Хотя не знаю, почему, например, не «материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не проходили мои дни — и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и камины, и даже — представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке — средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы ходили в свои походы, и вместо деревянных полов были каменные плиты, а камин в зале был такой, что быка целого можно в нем зажарить

а рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уж никогда туда не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

— Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с приятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, ехали мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни перебросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу...

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге, — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всею душой, что все вокруг тебя, все это и есть твоя родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только вошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и недаром назывался «музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов с погнутыми ножками, резных стульев, столько прекрасных картин висело по стенам, та-

кие заунывные и радостные пейзажи открывались из окон!

А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными окнами, узкие, длинные, затененные деревьями, и совсем крохотные, с низкими потолками! А какие окна там были — большие, маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А между комнатами, коридорами, закоулками, площадками — какие шли скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми ступеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было — не то пахло чабрецом, сорванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя. Как все-таки мало знаем мы о них и как порою равнодушны к ним и даже насмешливы? подумаешь, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься ты на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери, — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: «Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену гвоздь? Ах, я

рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство!» — вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку — а был он десантником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!

Так, разговаривая о том, о сем, свернули мы с тобой на едва светлевшую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснушке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув несколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших листьев, я решил закурить — и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взяться за твою нежную ладошку и повернуть назад, к дому, — тебя не было возле меня!

— Алеша! — позвал я.

Ты не отозвался.

И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался, когда тебя звали!

Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по которой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опята и оглядываясь временами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не подбежал ко мне — ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебывающемся крике, а я тебя уже не услышу!

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я выезжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе дверцу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким маленьким, что когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колес:

— Ждаль-ждаль!..

И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машинку по стволам деревьев или по своим рукавам и уходя все дальше от меня, ты в воображении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок загадочно горит — до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушел. Потом зажег спичку и, загородив ее ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег еще, пошел в дру-

гую... После неверного, колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы еще темнее.

— Алешка! Иди сейчас же ко мне! — звал я тебя то ласково, то строго.

Шумел поверху лес...

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечки зажжем... — жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня, пожалуйста, к выключателю!» — бывало просил ты, подходя, обнимая мои колени и, закинув вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, щелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал: «Лампочка голи-ит!»

Но и выключатели и свечки не подействовали — ты не откликался.

Тогда мне счастливо пришло в голову последнее средство, и я оживленно-фальшивым голосом громко воскликнул:

— А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть *такая* автомашина! Скорей!

И тотчас зашуршали по листве твои торопливые шаги, и ты подбежал ко мне. Острое же зрение было у тебя!

— Хочешь *такую* машину! — с торопливой готовностью к новому счастью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.

— Никаких тебе машин! — страдальчески, даже злобно закричал я в ответ, и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится мое сердце. — Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты не откликаться, когда папа тебя зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машину ты не получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго потом пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!

Домой пришли мы обиженные друг на друга.

— И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше никогда не пойдем! — выговаривал я тебе дорогой. — И вообще, не будь ты такой маленький, я бы тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. Придя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так долго смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, как бы приобщаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, заранее зная *что* я скажу:

— Алеша, ну зачем ты это делаешь?

Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» — и ты вздыхал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь препятствие:

— Ждаль-ждаль!

Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать, — ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и вопрошения исходил от тебя, и сердце мое забилось.

— Ну-ну, милый, ладно! — сказал я. — Иди ко мне...

А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо

сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Хочешь! — тотчас звонко сказал ты.

— Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?

Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четвереньки, потом сел, повернулся ко мне лицом и, уже придвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робко еще — не раздумал ли я? — взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками и уже доверчиво, сообщнически глядя на меня, засмеялся своим непрерывно льющимся, закатывающимся смехом, который бывает только у таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепещет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, так же, как и ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково принадлежащая нам ярко-красная пожарная машина с тонким своим жужжанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой — но ты сидел! — и уже не пускал автомобильчик, а медленно катал его, выделывая самые прихотливые повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вытянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворотами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя ею, — только нежно и обо-

жающе произносил иногда своим свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половину:

— Ждаль-ждаль!

И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!

Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось ни звука, но я знал, что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник — мне подарили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, — с круглым животом в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе,

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: «Тук! Тук! Тук!» — тотчас услышал стремительный шорох, —ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:

— Све-е-ечечка!

Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» — подумал я и сказал:

— Ну! Давай!

— Это... это... — заторопился ты, трогая пальцем подставку, — подсвечничек!

— Так. Дальше?

— Это животик...

— Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!

— Знаешь, знаешь! — заспешил ты, торопясь поскорее добраться до *главного.* — Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки, и уже животик... Потом головка... шапочка...

— Опять пропустил! — напомнил я.

— Щечки, носик... — спохватился ты. — Потом шапочка, а это... это... запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, — это — такая штучка...

И вот наконец главное!

— Све-е-ечечка го-ли-и-ит! — с упоением протянул ты.

— Ну вот, — весело сказал я. — Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и — бай, бай, — хорошо?

Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоем промелькнула некая таинственная тень, будто хотел бы остановить мгновенье, потом лицо твое опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторжённо взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.

Укрыв тебя одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще и дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, — хоть кругом на сотни километров были глухие леса! — а угнетало то, что все было мокро,

под ногами чавкало, и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это — костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, — я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...

И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.

НАШ СОВРЕМЕННИК
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА ЖУРНАЛА
(1964—1974)

Редактор **В. Петров**
Художник **Ю. Маркаров**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технические редакторы
С. Журбицкая, Е. Румянцева
Корректор **М. Стрига**

Сдано в набор 24/XII—1974 г. Подписано к печати 12/III—1975 г. А10670. Формат изд. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 15,5. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 25,44. Тираж 50 000 экз. Заказ № 4460 Цена 1 р. 02 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Отпечатано в Рязанской областной типографии, г. Рязань, ул. Новая, 69. С матриц Саратовского ордена Трудового Красного Знамени полиграфического комбината Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Ваши отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу:

121351, Москва Г-351, Ярцевская, 4,
издательство «Современник»

1р. 02 к.